

ТАЙНЫ

Век XIX

Я. Гордин
МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ
14 декабря 1825 года
ПОСЛЕ МЯТЕЖА



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XIX

Я. Гордин

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ

14 декабря 1825 года

ПОСЛЕ МЯТЕЖА

(Хроника)



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1997

УДК 947
ББК 63.3(2)47
Г68

Художник
С. ЛЮБАЕВ

Гордин Я.
Г68 Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года; После мятежа: Хроника. — М.: ТЕРРА, 1997. — 400 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-01330-7

В книге Я Гордина подробно рассказывается о драматических событиях 14 декабря 1825 года, оставивших трагический след в истории России. Перед читателем предстают яркие характеры участников восстания и их противников, прослеживается ситуация междоусобицы, острая борьба в правительстве и в рядах Северного общества. Книга основана на опубликованных и новых архивных документах.

УДК 947
ББК 63.3(2)47

ISBN 5-300-01330-7

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ

14 декабря 1825 года

Мыслящие восстали...

Лунип

ПРОЛОГ

В этой книге, несмотря на ее свободную форму, нет вымысла. Нет в ней и предположений, которые выдавались бы за несомненную реальность. Книга основана на документах — как публиковавшихся, так и архивных.

Но документ сам по себе — обманчивая и коварная вещь. Документ, прочитанный через много лет, — бумага, плоскость, даже если он внешне добросовестно фиксирует факты. История — это жизнь. А жизнь — объемна. Надо не просто проверить, пользуясь разработанной методикой, соответствие документа факту, не просто восстановить картину события в ее полноте и последовательности (что далеко не всегда возможно) — необходимо найти такой угол зрения на комплекс документов, при котором плоскостная мозаика приобретает объемность, и тогда картина исторического события оказывается столь же близкой и психологически понятной нам, как то, что происходит сегодня вокруг нас. Мы можем ошибаться относительно деталей и частных фактов, но если в нас возникает живое ощущение происшедшего полтора столетия назад — значит, мы на правильном пути.

Возьмем вместо пролога два документа, описывающие главное событие книги — восстание на Сенатской площади, авторы которых придерживались противоположных точек зрения на случившееся. Возьмем два эти документа и прочитаем их.

«Господину Главнокомандующему 2-ю армию»

По высочайшему государя императора повелению имею честь препроводить при сем к Вашему сиятельству для объявления по вверенным Вам войскам подробное описание происшествия, случившегося в здешней столице 14 числа сего месяца.

Военный министр

Татищев.

Декабря 14-го поутру государь император извещен был начальником штаба Гвардейского корпуса, что несколько рот

лейб-гвардии Московского полка отказались от должной его величеству присяги и, завлеченные буйством своих капитанов, овладевши знаменами, принесенными к полку для присяги, изранили своего бригадного командира генерал-майора Шеншина и полкового командира генерал-майора Фредерикса, что толпа сия в величайшем неистовстве взяла направление к Исаакиевской площади, увлекая силою встречающихся офицеров, но другая часть полка осталась покорная и в порядке. Государь император, дав повеление генерал-майору Нейдгардту велеть лейб-гвардии Семеновскому полку немедленно идти унять бунтующих, а Конной гвардии — быть готовой по востребованию, сам изволил сойти на дворцовую главную гауптвахту, где караул был от лейб-гвардии Финляндского полка, и приказал им зарядить ружья и занять главные ворота дворца. Между тем доходили до государя императора сведения, что роты бунтовавшие были 5-я и 6-я Московского полка, что они уже вошли на площадь против Сената и что при них находится толпа разных людей в самом буйственном виде. Государь император изволил приказать тогда же первому баталиону лейб-гвардии Преображенского полка немедленно прийти к его величеству на Дворцовую площадь, что им и исполнено в неимоверной скорости, — тогда же прибыл к государю императору военный генерал-губернатор Милорадович с известием, что толпа произносит крик и восклицания «Ура, Константин!» и что он полагает, что сие иное не может быть как предлог к самым пагубным намерениям, для которых нужно без отлагательства взять строжайшие меры. Тогда послано от его величества повеление прибыть 3-м ротам лейб-гвардии Павловского полка, свободным от караула, и лейб-гвардии Саперному баталиону, которому занять Зимний дворец, а третьему баталиону лейб-гвардии Преображенского полка и Кавалергардскому полку прибыть немедленно к его величеству. Между тем сам государь император с первым баталионом Преображенского полка пошел навстречу бунтующим, дабы предупредить всякое покушение на дворец, в коем изволили находиться их императорские величества государыни императрицы и прочие члены императорской фамилии, прибыв против дома княгини Лобановой, государь император услышал выстрелы, и тогда же донесено его императорскому величеству, что военный генерал-губернатор граф Милорадович ранен смертельно бунтовщиками; в то же время прибыл к государю императору Конно-гвардейский полк и вслед за ним три роты лейб-гвардии Павловского полка, вскоре потом его высочество Михаил Павлович привел баталион лейб-гвардии Московского полка, который с большим усердием просил позволения смыть кровиею бунтующих срам и бесчестье мундиру своему нанесенное, но государь император, не желая проливать крови,

предпочел меры кротости и увещания, но ни уважения его величества, ни присутствие митрополита, ни угрозы не могли склонить их к сдаче. Напротив того буйство приметно возросло, и к шайке прибыли разные толпы лейб-гвардии Гренадерского полка солдат с тремя офицерами и знаменем оногo и тогда же начали стрелять из среды шайки. По сему решено было его величеством прибегнуть к мерам строгости, тем необходимейшим, что чернь, подкупаемая деньгами и подносимым вином, начинала приставать к бунтующим, а потому приняты государем императором следующие меры. Приказав лейб-гвардии Преображенскому полку занять площадь спицу к Адмиралтейству, лейб-гвардии Семеновскому улице, ведущую к манежу Конно-гвардейского полка, улицу и переулок, ведущий от Галерной к провиантским магазинам, лейб-гвардии Измайловскому и Егерскому полкам стать в резерве, Финляндскому одному баталиону занять Исаакиевский мост, велел и артиллерии 1-й артиллерийской бригады, быть готовой к действию; Павловского же полка три роты заняли Галерную улицу. Прежде однако ж, нежели приступить к последним мерам строгости, государь император изволил повелеть лейб-гвардии Конному и Кавалергардскому полкам сделать покушение устроить бунтовщиков атакою, весьма трудную, впрочем, по тесному месту и выгодному расположению мятежной шайки, усиленной уже большею частию баталиона Гвардейского экипажа; но и сия мера не имела желаемого успеха, мятежники стояли твердо и, пользуясь выгодю своего места, продолжали неистовство, тогда его величество решился с душевным прискорбием вывести против мятежной толпы четыре орудия, приказав зарядить картечью, послав в последний раз им сказать, чтоб они предались милости государя императора, но, получив решительный отказ, повелел начать стрельбу. По второму выстрелу шайка рассыпалась*.

Военному министру Татищеву не было надобности обманывать командующего 2-й армией фельдмаршала Витгенштейна. Он искренне считал, что точно изображает важнейшие события дня. И в самом деле — перед нами довольно подробное и фактологически точное описание происходящего. Между тем это описание — не более чем мертвая плоская фотография живых событий, которая, давая застывшую картину, не дает ничего для понимания исторической и человеческой подоплеку катастрофы 14 декабря.

Разве можно, прочитав этот документ, понять, что за словами: «Тогда послано от его величества повеление прибыть...

* Отдел рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (в дальнейшем — ОР ГПБ), ф. 1001, № 313, л. 29—32.

лейб-гвардии Саперному батальону, которому занять Зимний дворец...» — скрывается ситуация, быть может решившая исход восстания?

Разве можно понять, что за словами: «Финляндскому одному батальону занять Исаакиевский мост...» — стоит опять-таки одна из решающих ситуаций дня, мучительные колебания гвардейского полковника, который мог склонить чашу весов на сторону тайного общества, но не решился действовать, и напротив — высочайшая решимость гвардейского поручика, который сделал чрезвычайно много, но опоздал... При верном взгляде на этот нервный, но вместе с тем холодный и слепой документ раскрывается историческое пространство, полное страстной, драматической жизни, познание которой и есть наша цель.

Но вот зеркало, поднесенное совсем с другой стороны, совсем другим человеком, совсем в других обстоятельствах и с другой целью.

«13 декабря казалось, что все было приготовлено тайным обществом к решительному действию: оно считало на гвардейские полки, в которых было много членов, ручавшихся за успех, как один член Союза, адъютант начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома, поручик Ростовцев, не из корыстных видов, а испуганный мыслью о междуусобном кровопролитии, идет во дворец и открывает великому князю Николаю намерения и надежды тайного общества воспрепятствовать его восшествию на трон. Великий князь в ту же ночь созывает во дворец начальников гвардейских полков (в числе их был один член тайного общества, генерал Шипов) и льстивыми убеждениями, обещаниями наград и т. п. преклоняет их на свою сторону: гвардейские генералы спешат в свои полки и еще до рассвета успевают привести их к присяге императору Николаю I, зная, что этим они свяжут совесть своих солдат. Этой счастливой проделкой Николай Павлович удачно избегает опасности, ему угрожавшей.

Тайное общество могло тогда только считать на части лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков и на батальон гвардейского морского экипажа, которые твердо решились стоять за права великого князя Константина, полагая, что жизнь его в опасности. Декабря 14-го на рассвете этот малочисленный отряд, над которым приняли начальство военные члены тайного общества, собирается на Сенатской площади в уверенности, что гвардия его поддержит.

Но гвардейские полки, так недавно связанные присягою, данную Николаю I хотя не с большим усердием, а по приказанию начальников, идут против отряда, собравшегося на Сенатской площади, к которому присоединилась большая толпа народа. Император посылает уговаривать солдат положить оружие. Неустрашимый генерал-губернатор граф Мило-

радович с тем же намерением скачет к отряду, но в ту же минуту, смертельно раненный пулей, падает. Трепеща от страха, петербургский митрополит Серафим в угождение царю, окруженный своей свитой, подходит к отряду, начинает убеждать солдат, но напрасно теряет слова. Конная гвардия идет в атаку на инсургентов, и они опрокидывают ее батальонным огнем.

Наконец подвозят шесть батарейных орудий (*ultima ratio*)*, и несколько картечных выстрелов на близком расстоянии расстраивают ряды инсургентов и заставляют их рассеяться. Если б отряд, вышедший на Сенатскую площадь, имел предприимчивого и отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на Сенатской площади, он смело повел бы его до прибытия гвардейских полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен всю императорскую фамилию. А имея в руках таких заложников, окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества».

Это писал в Сибири декабрист генерал Михаил Александрович Фонвизин, историк и мыслитель, человек высокой честности и любви к истине.

Во время восстания Фонвизин был в Москве и не мог видеть происходившего на Сенатской площади. Но он за годы ссылки слышал подробнейшие рассказы своих товарищей, участников восстания. Работая над «Обзором проявлений исторической жизни в России», он в описании 14 декабря свел и обобщил эти рассказы участников. Фонвизин мог проконсультировать его близкий друг — Иван Иванович Пущин, оставивший свои пометки на полях рукописи. А уж Пущин, один из организаторов восстания и участник его от начала до конца, досконально знал всю картину.

Между тем с фактической точки зрения почти все, сообщенное Фонвизиним, неточно...

Я не берусь исчерпывающе объяснить, в чем тут дело. Почему Фонвизин именно так запомнил рассказы очевидцев? Почему абсолютно осведомленный Пущин не откорректировал его версию?

Ясно одно — если военному министру важнее всего было изложить последовательность действий обеих сторон во время восстания, в результате чего и получился мертвый текст, то Фонвизину важен был дух события. Татищеву важно было, чтобы его депеша по своему сюжету укладывалась в контекст правительственного взгляда на события, а Фонвизину было необходимо, чтобы восстание 14 декабря по внутреннему своему смыслу завершало рассказ о многовековой борьбе людей России за ограничение самодержавия, за политическую свободу. И эта задача, очевидно, формировала в его

* Последний довод (*лат.*).

представлении ход восстания и его закономерности. И видимо, Пущин понял эту задачу.

Трудно, а быть может, и невозможно современникам писать историю своего времени, хотя бы приближающуюся к реальности. Это дело потомков. И задача этой книги — попытаться, опираясь на огромный труд многих поколений историков, мемуаристов, публикаторов, с дистанции в полтора с лишним столетия воссоздать великий день 14 декабря 1825 года в его живой реальности, в его человеческой населенности, в многообразии мотивов, толкавших к действию его героев, в его сюжетной многоплановости.

Я не убежден в успехе. Но мое дело — попытаться, мое дело — двинуться туда, к этому сырому и морозному дню, окончательно переломившему ход нашей истории. Авось дойдем.

Но прежде подумаем: а чем, собственно, так уж важно и поучительно для нас то, что произошло в Петербурге столько лет назад, в условиях, столь отличных от нынешних, и с людьми, столь отличными от нас?

Чтобы ответить, надо знать, чего хотели мятежники.

Полтора столетия назад Михаил Сергеевич Лунин писал: «Накануне восстания 26/14 декабря члены Союза решили: чтоб из всех губерний созваны были представители; чтоб представители сии определили новое законоположение для управления государством; чтобы представители Царства Польского были также созваны для постановления мер к сохранению единства державы. Вот очевидные доказательства, что Тайный союз никогда не имел странной мысли водворить образ правления по своему произволу. Союз обсуждал и раскрывал все политические соображения, дабы увеличить массу правительственных познаний и облегчить рассудительный выбор во время свое; но он не думал право неотъемлемое у народа присвоить себе, ни даже иметь влияние на его выбор...»

Это действительно так. Лидеры тайного общества, возглавившие восстание 14 декабря, готовы были передать взятую власть Временному правлению, составленному из людей, известных своими реформаторскими, а отнюдь не революционными убеждениями, — Сперанскому, Мордвинову...

Декабристы предстают в массовом сознании или корыстными узурпаторами, или прекрасодушными мечтателями, решившими принести себя в жертву. А они были — прежде всего! — политиками. Политиками бескорыстными в большинстве своем и, главное, трезвомыслящими. Да, они страдали крепостным рабам. Но ими двигали отнюдь не только человеколюбие и сострадание. Ими двигал и политический расчет, предвидение того, что может произойти в России, осознание катастрофы, к которой ведет страну само-

державие. Они увидели возрастание социального антагонизма и новую пугачевщину. Они хотели свободы и справедливости для крестьян, но не гражданской войны. Ибо, как писал Трубецкой, «с восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить не может, и государство делается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев...». Они смотрели далеко.

Тот же Трубецкой писал о лидерах восстания: «Они не имели в виду никаких для себя личных выгод, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они все это представляли людям, не принадлежавшим к их обществу, но таким, которых они считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению, которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущем».

Многие из них изначально не хотели кровавых катаклизмов. Они хотели реформ.

Взяться за оружие их заставило нежелание и неумение правительства начать необходимые реформы — освободить рабов, раскрепостить экономику, упорядочить финансы, установить соблюдение законности, поставить исполнительную власть под контроль представительных учреждений...

Вот какие цели ставил себе «Союз благоденствия», существовавший Северному и Южному обществам: «1-е. Поддержание всех тех мер правительства, от которых можно ожидать хороших для государства последствий; 2-е. Осуждение всех тех, которые не соответствуют этой цели; 3-е. Преследование всех чиновников, от самых высших до самых низших, за злоупотребление должности и за несправедливости; 4-е. Исправление по силе своей и возможности всех несправедливостей, оказываемых лицам, и защита их; 5-е. Разглашение всех благородных и полезных действий людей должностных и граждан; 6-е. Распространение убеждения в необходимости освобождения крестьян; 7-е. Приобретение и распространение политических сведений по части государственного устройства, законодательства, судопроизводства и прочих; 8-е. Распространение чувства любви к Отечеству и ненависти к несправедливости и угнетению».

Их вытесняли из легальной общественной жизни, перед ними закрывали пути к государственным постам. Александр, недавно вдохновивший их на патриотические деяния, откалзался от сотрудничества с дворянским авангардом, наиболее политически просвещенной и активной частью дворянства, жаждущей реформ. У них отнимали возможность «поддержания всех тех мер правительства, от которых можно ожидать

хороших для государства последствий». Их упорно ставили в оппозицию правительству. Как сказал позднее Вяземский, «вы хотите оппозиции, вы ее получите». Правительство хотело всеобщего тупого подчинения и получило вместо легального общественного движения — революционные общества.

Правительственная установка на ложную стабильность и деспотический нажим превратила реформаторов в революционеров. Лояльных, но трезвомыслящих подданных — в мятежников.

Но было и другое течение — с 1816 года, с образования первых тайных обществ, — делавшее ставку на вооруженный переворот, насильственный захват власти как необходимое и единственное условие для проведения реформ.

Чугунное давление самодержавия заставило к 1825 году слиться оба течения...

Революция — дело тяжкое и кровавое. Но ответственность за эту кровь в конечном счете несет деспотизм.

Автор

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

В период междуцарствия народ решает управлять по общему согласию или поручить верховную власть некоторым согражданам.

Куницын

ЗАСТОЛЬНАЯ БЕСЕДА О СУДЬБЕ ПРЕСТОЛА

Второе десятилетие александровского царствования заканчивалось мрачно. До императора стали доходить сведения не только о смутном недовольстве, но и о конкретных фактах, показавших ему всю ожесточенность его вчерашних соратников.

Через много лет, в 1848 году, читая рукопись Модеста Корфа о событиях 14 декабря, Николай написал на полях: «По некоторым доводам я должен полагать, что государю еще в 1818 году в Москве после Богоявления сделались известны замыслы и вызов Якушкина на цареубийство; с той поры весьма заметна была в государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видел столь мрачным, как тогда».

Александр не просто мучился от горечи отчуждения, от воспоминаний об убийстве отца и скрываемого страха перед этим простым и реальным возмездием — пистолетом в руках оскорбленного за отечество гвардейского офицера.

Александр решал свою судьбу и обдумывал судьбу престола.

Николай рассказал в воспоминаниях:

«В лето 1819-го года находился я в свою очередь с командуюемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из оногo было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.

Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью

Марией); что он счастья сего никогда не знал, вина себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божьей, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство».

Константин, уверенный, что его «задушат, как отца удушили», если он примет трон, и в самом деле неоднократно подтверждал свое нежелание царствовать. Он слишком хорошо помнил ночь на 11 марта 1801 года. Вполне возможно, что ему известно было, как убиваемый Павел, приняв одного из убийц за него, Константина, закричал: «Ваше высочество, пощадите! Воздуху! Воздуху!» К 1825 году страх этот в нем ничуть не уменьшился.

Для нас важно помнить, что Николай знал о том, что престол предназначен ему. Александр сообщил о своем решении узкому кругу лиц, но и этот узкий круг был достаточно широк и высокопоставлен, чтобы Николай не сомневался в серьезности решения императора. В берлинском придворном календаре на 1824 год Николай был официально назван наследником, и маловероятно, чтобы великий князь, при его тесных связях с Берлином, не видел этого календаря. О существовании и содержании официальных актов знала вдовствующая императрица Мария Федоровна, сообщившая о них Николаю.

Можно спорить о том, знал ли он буквально текст манифеста от 16 августа 1823 года, извещавший страну об отречении Константина и назначении наследником Николая. Но это — не принципиально.

Манифест был отдан Александром на хранение московскому архиепископу Филарету, а также в Государственный совет и Сенат. Пакеты надлежало вскрыть в случае смерти императора «прежде всякого другого деяния в чрезвычайном собрании».

Обнародовать манифест при жизни Александр не решился. Очевидно, при всей трогательности описываемых Николаем отношений, он не хотел официально объявлять наследником вместо не желающего трона Константина энергичного, напористого и жестокого Николая. Скорее всего, он опасался не каких-либо действий со стороны самого Николая, а движения против себя, с использованием имени великого князя.

Эта нерешительность стала предпосылкой междуцарствия. Но именно предпосылкой, а не главной причиной. Главная причина была в другом...

АНИЧКОВ ДВОРЕЦ. 25 НОЯБРЯ 1825 ГОДА

25 ноября, около четырех часов пополудни, четыре лица в Петербурге получили известие из Таганрога о том, что император Александр умирает.

Это были: секретарь вдовствующей императрицы Марии Федоровны Вилламов, князь Петр Васильевич Лопухин, председатель Государственного совета, генерал-губернатор граф Милорадович и дежурный генерал Главного штаба его императорского величества Потапов.

Известие их ошеломило. И дело было не только в человеческих чувствах этих людей. Они поняли, что Россию ждут перемены, которые, скорее всего, затронут их собственные судьбы.

Немедленно состоялось совещание, участие в котором приняли Милорадович, Потапов, командующий гвардией Воинов и начальник штаба Гвардейского корпуса генерал Нейдгардт.

Нейдгардт писал через три дня в Таганрог начальнику Главного штаба, генерал-адъютанту барону Дибичу: «25 числа вечером мы получили от вас первое несчастное извещение; опомнившись от первого удара, Воинов и Милорадович в присутствии моем и Потапова решили держать это известие пока в тайне, о чем оба генерала посоветовались еще с Лопухиным». Но кроме этого решения было принято на импровизированном военном совете еще одно, выполнить которое взялись Милорадович и Воинов.

Император Николай впоследствии писал: «25-го ноября, вечером, часов в шесть, я играл с детьми, у которых были гости, как вдруг пришли мне сказать, что военный генерал-губернатор граф Милорадович ко мне приехал; я сейчас пошел к нему и застал его в приемной комнате живо ходящим по комнате с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил: «Что это, Михаил Андреевич? Что слу-

чилось?» Он мне отвечал: «Ужасное известие». Я ввел его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письма от князя Волконского и Дибича, говоря: «Император умирает, остается лишь слабая надежда». У меня ноги подкосились; я сел и прочел письма, где говорят, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох».

То, что произошло в последующие часы, стало причиной междуцарствия и сделало возможным восстание 14 декабря.

Николай немедленно после разговора с Милорадовичем поехал в Зимний дворец к вдовствующей императрице, которую застал «в ужасных терзаниях». И опять-таки Марию Федоровну терзало не только естественное горе матери, теряющей сына, но внезапное крушение прочного — по видимости, — устроенного и налаженного политического, а стало быть, и домашнего бытия. Марию Федоровну, видевшую две смены власти — воцарение Павла, похожее скорее на захват престола, чем на мирное восшествие, и сопряженное с отстранением «наследника по завещанию» Александра, и воцарение Александра, с вторжением во дворец пьяных офицеров и убийством ее мужа, — Марию Федоровну, помнившую чудовищную ночь на 11 марта 1801 года, новый рубеж между двумя царствованиями и должен был привести в истерическое смятение.

Но вдовствующая императрица не играла никакой роли в надвигающихся событиях. Роль эту играли совсем другие люди.

В официальной записке, составленной позже для цесаревича Константина, говорилось. «Подав нужное пособие ее величеству (Марии Федоровне. — Я. Г.), его императорское высочество, граф Милорадович и генерал Воинов приступили к совещанию, какие бы нужно принять меры, если бы, чего Боже сохрани, получено было известие о кончине возлюбленного монарха. Тогда его императорское высочество предложил свое мнение, дабы в одно время при объявлении о сей неизречимой потере провозгласить и восшедшего на престол императора, и что он первый присягнет старшему своему брату, как законному наследнику престола».

Однако документ этот, как многие официальные документы российского самодержавия, призван был не столько обнародовать истинное положение дел, сколько скрыть его. Скрыть первое столкновение интересов в правительственном кругу, первую схватку за власть.

Схватка эта важна не сама по себе, но как начальная, исходная ситуация междуцарствия, его механическая причина.

Кроме официального документа и позднейших воспоминаний Николая о 25 ноября мы располагаем еще одним свидетельством — записями в личном дневнике того же Николая. Запись за 25-е очень любопытна не тем, что там содер-

жится, а тем, что там опущено. В этой записи нет ни звука о вечернем совещании великого князя и двух генералов, в руках которых была в тот момент реальная власть, — военного генерал-губернатора графа Милорадовича и командующего гвардейским корпусом генерала Воинова.

«...У жены чай, иду в залы играть с детьми, вернулся к жене, ее нет; докладывают о Милорадовиче; пугаюсь; у меня, — он докладывает, что получил известие от Дибича, что Ангел очень плох! Уходит совершенно расстроенный. Матушка посылает за мною. У жены; сказал ей; у себя с нею; Крейтон, она отпускает его. В одноконных санях едем к матушке; она удручена, но покорна. Рюль, Вилламов, побыл и вернулся к себе; жена; с нею в двухместной карете к матушке». (Ночь Николай провел в Зимнем дворце. На следующий день он перебрался в Зимний дворец — навсегда.)

Как видим, ни слова о совещании с Милорадовичем и Воиновым в этой педантично подробной записи нет. Совещание между тем было. Оно состоялось в тот промежуток времени, когда Николай «вернулся к себе». Но то, что произошло в этот час-полтора, было настолько неприятно Николаю, что он, быть может, полуинстинктивно исключил это кардинальное событие из общей цепи, когда перед сном заполнял страницу дневника.

Произошло же в Аничковом дворце после восьми часов вечера следующее. Граф Милорадович и генерал Воинов, которого генерал-губернатор известил о происходящем, встретились и договорились о совместных действиях. Более того, их поддерживали и другие генералы, занимавшие командные посты в столице.

После этого оперативного совещания генерал-губернатор и командующий гвардией отправились в Аничков дворец. Николай только что вернулся от императрицы Марии Федоровны. Он, как мы помним, прекрасно знал о том, что российский трон предназначен ему. Знали об этом и генералы — иначе им не о чем было бы беспокоиться.

Через несколько дней Федор Петрович Опочинин, бывший адъютант Константина, сохранивший с ним добрые отношения и потому избранный Николаем в качестве неофициального посредника, человек совершенно осведомленный, рассказал декабристу князю Сергею Петровичу Трубецкому, а Трубецкой записал в своих мемуарах реальный вариант беседы генералов с великим князем. Когда Николай сообщил Милорадовичу и Воинову о своем праве на престол и намерении его занять, у них был уже готов ответ.

Граф Милорадович отвечал наотрез, что великий князь Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не позволяют располагать престолом по завещанию,

что притом завещание Александра известно только некоторым лицам, а неизвестно в народе, что отречение Константина тоже не явное и осталось не обнародованным; что Александр, если хотел, чтобы Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни волю свою и согласие на него Константина; что ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемое затем последствие будет возмущение. Совещание продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал в своем содействии».

Объективный, лояльный к Николаю историк Шильдер, приводя этот текст и сопоставив его с другими данными, писал: «Очевидно, что факт, сообщенный князем Трубецким, вполне достоверен».

Мы же, со своей стороны, вспомнив запись в дневнике Николая, усомнимся в сообщении о «двух часах ночи». Надо полагать, что совещание было менее длительным. Но суть дела от этого ничуть не меняется.

Можно было бы вообще усомниться в сообщении Трубецкого. Но оно подкреплено другими источниками. Через несколько дней после знаменательного совещания Милорадович рассказывал драматургу князю Шаховскому, в доме которого часто бывал: «По причине отречения от престола Константина Павловича... государь передал наследие великому князю Николаю Павловичу. Оба эти манифеста хранились в Государственном Совете, в Сенате и у московского архиерея. Говорят, что некоторые из придворных и министров знали это. Разумеется, великий князь и императрица Мария Федоровна тоже знали это; но народу, войску и должностным лицам это было неизвестно. Я первый не знал этого. Мог ли я допустить, чтоб произнесена была какая-нибудь присяга, кроме той, которая следовала? Мой первый долг был требовать этого, и я почитаю себя счастливым, что великий князь тотчас же согласился на это».

Милорадович, разумеется, слегка хитрил. Он выстраивал свою версию событий. Он о завещании Александра, как уже говорилось, знал. И великий князь вряд ли согласился «тотчас». Но дело не в этом. Важно здесь, что граф Михаил Андреевич подтвердил: 25 ноября решающее слово принадлежало ему. Именно он не допустил («Мог ли я допустить...») исполнения воли покойного царя и присяги новоявленному наследнику.

Но разговор с Шаховским на этом не кончился.

«Признаюсь, граф,— возразил князь Шаховской,— я бы

на вашем месте прочел сперва волю покойного императора». Соображение было вполне здравым. Но Милорадовича воля покойного императора не устраивала. Он этого и не скрывал.

«Извините,— ответил ему граф Милорадович,— корона для нас священна, и мы прежде всего должны исполнять свой долг. Прочсть бумаги всегда успеем, а присяга в верности нужнее всего. Так решил и великий князь. У кого 60 000 штыков в кармане, тот может смело говорить,— заключил Милорадович, ударив себя по карману».

Эта последняя фраза о штыках гвардии — ключевая. Когда у тебя шестьдесят тысяч штыков в кармане, то и бумаги (манифест императора!) можно не торопиться читать, и великий князь, у которого в кармане только вышеупомянутое заветствие, но ни одного штыка, решит так же, как ты. Милорадович чувствовал себя диктатором. И был им. Ибо он знал, что Николай в гвардии непопулярен, а два генерала, занимающие второй и третий после него посты в военной иерархии столицы, его, Милорадовича, поддерживают. Поскольку командующий гвардией Воинов не вступился за Николая, ясно, что он был на стороне Милорадовича, то есть Константина. А командующий гвардейской пехотой генерал Бистром сказал своему любимому адъютанту, поручику князю Оболенскому, что он никому, кроме Константина, не присягнет. У него были веские причины не желать Николая.

И еще один существеннейший момент. Петр в свое время отменил традиционный для Русского государства порядок престолонаследия — переход престола к старшему сыну или, ежели такового нет, к ближайшему родственнику покойного государя. (Пресечение династии и выборы монарха, как было при воцарении Годунова, Шуйского, Михаила Романова,— экстраординарный случай.) Петр провозгласил право царя самому назначать себе наследника. Это привело к кровавой неразберихе в течение всего XVIII века. Павел, который никак не мог двадцать лет занять принадлежавший ему трон, специальным законом вернул Россию к допетровскому порядку престолонаследия. И в 1825 году ситуация сложилась весьма щекотливая.

По павловскому закону 1797 года все права на престол принадлежали Константину. Но цесаревич, женатый вторым браком на польской дворянке, а не на особе из владетельного дома, фактически лишился этих прав по указу Александра от 1820 года, корректирующему павловский закон. Тем более что после своей женитьбы Константин добровольно отказался от наследования престола. В декабре же 1825 года решающим обстоятельством стало то, что ни манифест, ни отречение цесаревича не были обнародованы при жизни Александра и потому не имели законной силы. Таким образом, создавалась отчаянная юридическая путаница, и по «букве закона»

безусловного права на престол не имел ни один из претендентов. Но неофициальное общественное правосознание оказалось на стороне естественного наследника Константина, чему способствовали и его титул цесаревича, и упоминание его имени на богослужениях непосредственно после имени царствующего императора. Милорадович решил опереться на общественное правосознание не потому, что его беспокоила юридическая сторона дела, а потому, что ему, как стороннику Константина, это было выгодно.

Если генерал-губернатор раньше и не знал о манифесте Александра и отречении цесаревича, то 25 ноября он наверняка услышал об этом от Николая. А уж об указе 1820 года с вытекающими из него последствиями он не знать не мог. И тем не менее занял неколебимую проконстантиновскую позицию.

При всем том Милорадович не мог не понимать, что, лоямая по своей воле ход престолонаследия, грубо вмешиваясь в отношения между великими князьями, он вступает в крайне рискованную игру — а если Константин все-таки откажется и Николай воцарится, что тогда? Мы-то знаем, что попытка стать «делателем королей» окончилась для графа Михаила Андреевича гибелью. Он этого, разумеется, знать не мог. Он вел себя последовательно и решительно до самого 14 декабря. Даже когда стало ясно, что Константин яростно отверг самую идею возведения его на престол, генерал-губернатор продолжал — законными и незаконными способами — мешать Николаю занять трон.

Он повел себя непоследовательно только 14 декабря — и погиб.

Александр был уже неделю как мертв, но в Петербурге этого не знали, и день 25 ноября закончился в тягостной неопределенности. Одно было ясно всем посвященным в тайну императорского завещания: переход престола к любому наследнику чреват событиями непредсказуемыми. В случае присяги Константину нарушена будет воля покойного императора и у партии Николая будет повод требовать восстановления справедливости. Да и неизвестно, как отнесется к этому Константин. В случае присяги Николаю — если удастся преодолеть сопротивление гвардейского командования — не возмутится ли гвардия? И опять-таки неизвестно, захочет ли Константин, опирающийся на сильную Польскую армию и гвардейские симпатии в столице, подтвердить свое отречение?

Страшный призрак кровавых междоусобиц встал перед августейшей фамилией и близкими к ней лицами.

Едва ли не самое сильное чувство, о котором постоянно проговариваются посвященные, — страх, ужас, чувство опасности.

Принц Евгений Вюртембергский, близко наблюдавший императорское семейство в эти дни, писал: «На императрицу было тяжело смотреть. Постигая все значение предстоящей опасности, она усиливалась сохранить свое обычное достоинство и величие...» И дальше: «Редко случалось мне быть свидетелем такой тревоги и самому столь живо ощущать ее».

Через несколько дней великая княгиня Александра Федоровна, подводя итог настроению при дворе, записала в дневнике: «Повсюду царит зловещая тишина и оцепенение; все ждут того, что должны принести с собою ближайшие дни».

Александр Дмитриевич Боровков, оставшийся в истории как правитель дел Следственной комиссии, вспоминал о настроениях в первые дни после 25 ноября: «Неопределенное чувство страха закралось в сердца жителей: пролетела молва, что цесаревич Константин отказывается от престола, что великий князь Николай тоже не хочет принять бразды правления; носились несвязные толки о конституции, и содрогались благонамеренные».

Александр Дмитриевич, писавший свои воспоминания через много лет после событий, подменил мотивировки, очевидно сам того не сознавая. Причиной страха были не «толки о конституции», которые возникли задним числом после восстания, а укоренившееся в головах петербуржцев представление о смене персон на престоле как о чем-то катастрофическом, чреватым кровью и потрясениями.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 26 НОЯБРЯ

Известие о тяжелой болезни императора ошеломило членов тайного общества не меньше, чем двор и генералитет. Но по иной, естественно, причине. Роковой момент, о котором мечтали не один год, к которому готовились — правда, более внутренне, чем организационно,— который должен был увенчать десятилетнюю историю тайных обществ, повернув Россию на путь разумного развития и политической свободы, наступил внезапно и несвоевременно.

В верхах в этот момент решались не столько государственные, сколько личные проблемы — в конечном счете карьерные. Николай и Константин были представителями одной идеологии, блюстителями одного, самодержавного, пагубного для страны принципа.

В тайном обществе решали вопрос в конечном счете общероссийского значения — быть или не быть попытке революции, призванной изменить политическое, общественное, экономическое бытие страны. (В случае победы революции в России изменилась бы и мировая ситуация.)

Но от своекорыстного, в достаточной степени ориентированного на личные интересы поведения Николая, Константина, Милорадовича (особенно Милорадовича!) зависела степень реальности вариантов, обсуждавшихся лидерами тайного общества. В эти две с половиной напряженно-исторические недели поступки людей, разделенных политическими устремлениями, были тем не менее фатально связаны между собой и взаимно друг на друга влияли...

26 ноября было для заговорщиков днем горькой растерянности.

Оболенский вспоминал через много лет. «Накануне присяги все наличные члены Общества собрались у Рылеева. Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того положено было вместе с появлением нового императора действия Общества на время прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть, и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни!»

Психологическая ситуация передана здесь вполне точно. Конкретно же дело обстояло так. Днем 26 ноября Рылеев был у Лавалей. К нему подошел Трубецкой и, отведя в сторону, сообщил о болезни Александра. «Говорят, опасен. Надо нам съехаться где-нибудь». Сговорились встретиться на завтра у Оболенского.

Но с Оболенским Рылеев увиделся тем же вечером. Ибо, когда он вернулся от Лавалей, Оболенский и Александр Бестужев пришли к нему.

Оболенский уже знал о болезни царя. У Трубецкого были источники сведений при дворе и в дипломатических кругах. Оболенский мог узнать правительственную тайну от Бистрома. Командующий гвардейской пехотой, союзник Милорадовича, своему адъютанту всецело доверял.

Лидеры тайного общества, стало быть, узнали о надвигающихся событиях через сутки после Николая. Если учесть, что известие старались скрыть, — это минимальный срок.

Через месяц, когда все еще было свежо в памяти, Александр Бестужев показывал на следствии. «26-го числа, т. е. накануне получения известия о кончине, приехал ко мне вечером Оболенский и сказал, что слухи есть, что государь император отчаянно болен. Так потолковали с ним и с Рылеевым, и не совсем этому доверяя, мы ничего не знали до 1 ч. утра».

Вот об этой встрече втроем и вспоминал Оболенский, но она слилась в его памяти с другим совещанием — 27 ноября, о котором речь впереди.

Вечером 26 ноября Рылеев, Оболенский и Бестужев были уверены, что престол наследует Константин.

Планируемое восстание на Юге должно было начаться с

насильственной смерти императора и ареста его окружения. Теперь же Александр умер вдалеке от расположения войск, контролируемых южными заговорщиками. Сами войска стояли рассредоточенные по зимним квартирам.

Наследник престола находился в Варшаве — вне досягаемости для тайных обществ. Помешать присяге Константину, как справедливо утверждает Оболенский, они не могли. Выступить против Константина I до того, как он скомпрометировал себя в глазах общества и гвардии, было бессмысленно. Гвардия знала, что в Польской армии и гвардейских частях, стоящих в Варшаве, служитя легче, чем в Петербурге. Оснований для агитации против Константина не было.

Надежды, которыми так напряженно и искренне жили члены тайного общества, рушились от стечения обстоятельств.

Но люди, подобные Рылеву, Оболенскому, Бестужевым, за годы пребывания в тайном обществе настолько перестроили свою психику, настолько пресной и бессмысленной была для них жизнь без той высокой цели, ради которой вели они свое смертельно опасное двойное существование, что все они почувствовали себя на пороге жизненного краха.

И с этим горьким чувством ждали они утра 27 ноября.

Исторический поток многослоен. И если человек, предназначенный для существования в активном, движущемся слое потока и осознающий свое предназначение, волею судьбы оказывается в струе вялотекущей или же в стоячей заводи — он обречен не просто на мучительную жизнь, но и на постоянное осознание этой мучительности.

Рылеев думал и сказал об этом с полной отчетливостью.

Пусть юноши, своей не угадав судьбы,
Исполнить не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Ризги!

За политической декламацией здесь скрыт глубокий общесоциальный смысл. Тяжка участь не только отдельных людей, но и целых активных социально-политических групп, вытесненных из истории. Предчувствуя будущее, вытесняемые отчаянно сопротивляются. И дело не в переломе их личной судьбы, а в невозможности выполнить свой долг, реализовать свое назначение. Когда веление долга философически обосновано, решающая схватка оказывается особенно жестокой, а возможность компромисса — нулевой.

Лидеры тайного общества, в ноябре 1825 года осознавшие

и фундаментально обосновавшие свои позиции, свое положение в историческом потоке, свой долг, на компромисс с Николаем, как символом и идеологом возможной системы жизни, пойти не могли.

Разные слои исторического потока для людей того типа, к которому принадлежали Рылеев, Трубецкой, Бестужевы, столь же отличны друг от друга, как для любого из нас воздух и вода. Можно, конечно, на несколько десятилетий заточить себя в водолазный скафандр. Но мы-то знаем, что это за жизнь!

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 27 НОЯБРЯ

Между 11 и 12 часами 27 ноября в большой церкви Зимнего дворца служили обедню. После обедни назначен был молебен за здравие императора Александра Павловича.

Вдовствующая императрица, Николай и великая княгиня Александра Федоровна во время обедни находились в ризнице.

Николай писал потом: «Дверь в переднюю была стеклянная, и мы условились, что, буде придет курьер из Таганрога, камердинер сквозь дверь даст мне знак. Только что после обедни начался молебен, знак мне был дан камердинером Гриммом. Я тихо вышел и в бывшей библиотеке, комнате короля прусского, нашел графа Милорадовича; по лицу его я уже догадался, что роковая весть пришла. Он мне сказал: «Все кончено, мужайтесь, дайте пример», — и повел меня под руку; так мы дошли до перехода, что был за кавалергардскою комнатою. Тут я упал на стул — все силы меня оставили».

Дальше все шло так, как того хотел Милорадович. Известия Марию Федоровну, которая после этого впала в беспмятство (ее пришлось унести из церкви), Николай выполнил волю гвардейского генералитета.

В церкви в эти минуты находился Василий Андреевич Жуковский. Он описал присягу: «Не прошло десяти минут (с того момента, как унесли императрицу.— Я. Г.), как вдруг снова отворяются северные двери: входит великий князь Николай Павлович. «Отец Криницкий,— говорит он священнику,— поставьте нагой и положите на него Евангелие». Это исполнилось: нагой с открытым на нем Евангелием поставлен перед царскими дверьми. «Принесите присяжный лист», — продолжал великий князь. Присяжный лист принесен. «Читайте присягу». Священник начал читать. Великий князь поднял руку; задыхаясь от рыданий, дрожащим голосом повторял он за священником слова присяги; но когда надобно было произнести слова: государю императору Кон-

стантину Павловичу, дрожащий голос сделался твердым и громким; все величие этой чудной минуты выразилось в его мужественном решительном звуке».

Василий Андреевич был человеком чувствительным и доверчивым. Это окрасило его воспоминание. Любопытно, что, потрясенный и умиленный происходящим, он увидел в церкви только Николая. Между тем сам великий князь ясно пишет в дневнике, что рядом с ним находились Милорадович, принц Евгений Вюртембергский и генерал-адъютант Голенищев-Кутузов.

Жуковский не мог знать, что в эти мгновения завершился «государственный переворот», начатый Милорадовичем и его сторонниками вечером 25 ноября. Жуковский, сквозь слезы умиления взиравший на всхлипывания великого князя, выкрикнувшего напоследок имя человека, который имел не более прав на престол, чем он сам, не мог знать, какие чувства испытывает Николай. Да и мы не можем в полной мере оценить состояние великого князя, твердо знавшего, что *присягать должны были ему*.

Но рядом стоял Милорадович.

Позже, когда стало известно завещание Александра и давнее отречение Константина, многие восхищались самоотверженностью и бескорыстием Николая, знавшего это и тем не менее мгновенно присягнувшего старшему брату.

Ни самоотверженности, ни бескорыстия, ни великодушия тут не было.

Был граф Милорадович и его 60 000 штыков.

Началось стремительное движение к взрыву. Милорадович и его сторонники загнали ситуацию в тупик.

Немедленно после собственной присяги (трое генералов присягнули вслед за ним) Николай привел к присяге внутренний дворцовый караул, дежурному генералу Главного штаба Потапову приказал привести к присяге главный дворцовый караул, а начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-майора Нейдгардта послал в Александро-Невскую лавру. (В лавре на молебне во здравие Александра собран был гвардейский генералитет во главе с Воиновым.)

Вскоре началась повсеместная присяга полков Константину.

На умных современников действия Николая произвели впечатление истерической спешки. Графиня Нессельроде писала в письме: «Великий князь проявил большую торопливость; он на все стороны приказывал присягать без всякого порядка, что к тому привело, что войска выполнили это раньше правительственных властей».

Это надо запомнить — подмена наследника повлекла за собой противозаконный порядок присяги: войска присягнули раньше правительствующих учреждений, хотя следовало при-

сягать наоборот. Но удивленная этим графиня не знала подоплеку происходящего. Милорадович так успешно запугал великого князя настроением гвардии, что Николай спешил убедить именно гвардию в полном нежелании посягать на права Константина. Призрак гвардейского бунта, прекрасно гармонировавшего с тем, что он знал о смерти своего отца и деда, стоял перед ним эти двое страшных суток.

Теперь же, однако, ему предстояло другое, куда менее страшное, но весьма неприятное испытание — объяснить свое поведение тем, кто знал об истинном положении дел с престолонаследием.

Когда Николай пришел к императрице-матери и рассказал о происшедшем, она в ужасе воскликнула: «Что вы сделали? Разве вы не знаете, что есть акт, назначающий вас наследником?»

Петербургский гарант завещания покойного императора князь Александр Николаевич Голицын находился во время присяги в лавре. Услышав о смерти Александра, он бросился во дворец. Встреча с ним была, надо полагать, одним из самых неприятных впечатлений Николая в этот день. «В иступлении, вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, он начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сим завлек, и повторил мне, что слышал от матушки, и требовал, чтобы я повиновался мне неизвестной воле покойного государя; я отверг сие неуместное требование положительно, и мы расстались с князем: я — очень недовольный его вмешательством, он — столь же моей неуступчивостью».

Теперь, когда вопреки закону и традиции войска присягнули первыми, надо было организовать присягу правительствующих учреждений, и прежде всего Государственного совета. Поскольку один из экземпляров завещания хранился именно в Государственном совете, то вопрос о престолонаследии неизбежно должен был встать и там — и с особой остротой.

**Отступление:
романтический герой
в сфере практической политики**

В июле 1826 года, перед тем как отправиться на каторгу, бывший капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович писал отцу: «Батюшка! в последний раз мне суждено говорить с вами, и я как откровенный солдат обнаружил мою душу. Вы бы могли требовать этого как отец от сына, но я признан недостойным носить имя это, законы меня осудили, и я погиб, погиб невозвратно. Надежда моя,

вспорхнувши при переломе шпаги, над полуразрушенной головой моей, опалила крылья на огне, где горел знак, купленный презрением к жизни, и я достоин этой участи. Ах! Для чего убийственный свинец на горах Кавказских не пресек моего бытия? Для чего я искал спасения в острие моей сабли? Позор ужаснее смерти! Я был не столько в душе преступником, сколько желал оным сделаться. Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиною моей гибели. Батюшка! У вас остался сын, предостерегите его моим несчастным примером, бедственная жизнь моя усладится мыслию, что я своим трупом загородил пропасть, ужасную для неопытных».

Документ этот по сути своей полон истинного драматизма. Но когда читаешь его, трудно отрешиться от впечатления, что письмо написано персонажем романтической повести.

Якубович действительно существовал в двух ипостасях — храброго до отчаянности кавалерийского офицера, толково исполнявшего опасные поручения генерала Ермолова на Кавказе, и воплощенного романтического персонажа с соответствующей фразеологией и завышенными реакциями. Мы говорим здесь об этом потому, что Якубович со своими удивительными качествами сыграл важную роль в канун 14 декабря и в самый день восстания.

Как мы увидим, в этих событиях активно участвовала целая группа людей, у которых были личные счеты с императором Александром, что в значительной степени и являлось подоплекой их революционной активности. Якубович был одним из них.

В 1818 году его выключили из лейб-гвардии Уланского полка и отправили на Кавказ, как он утверждал, за секундантиво в дуэли Завадовского—Шереметева, окончившейся смертью Шереметева. Поскольку Завадовский, происходивший из влиятельной семьи новой екатерининской знати, вообще не был наказан и отправился путешествовать за границу, то Якубович разглашал, что с ним поступили несправедливо. Приказ о переводе Якубовича из гвардии подписан был царем. (На самом деле приказ о его переводе подписан был до дуэли. Причиной послужило слишком бурное поведение уланского корнета.)

Капитан Якубович сознательно создавал вокруг себя атмосферу романтической избранности и обреченности. Несправедливая опала, прервавшая карьеру, отчаянные военные подвиги в кавказской войне, тяжелое ранение в голову, высокий рост, выразительное лицо, звучный голос, брутальное красноречие — ко всему этому Якубович охотно добавлял политическую оппозиционность.

Он не был революционером. Он был фрондером. Но по

сложившимся обстоятельствам примыкал к периферии тайных обществ. Однако в подходящих ситуациях романтическое позерство и свободное воображение заводили его очень далеко. Погубленную карьеру капитан Нижегородского драгунского полка возмещал особостью личности и судьбы.

В 1824 году в Тифлисе Якубович встретился с князем Сергеем Волконским. Волконский вспоминал:

«При первом знакомстве с ним я убедился, что опала, над ним разразившаяся, явные, нескрываемые прогрессивные убеждения его и при этом заслуженное общее мнение сослуживцев о нем, как об отличном боевом лице, угнетенном опалой,— все это могло быть мне ручательством, что я встречу в нем сочувствие к общему затеянному делу того общества, в котором я был членом, и я решился узнать от него, точно ли есть тайное общество на Кавказе и какая его цель?»

Постепенно, ведя с ним разговоры интимные, судя по его словам, я получил если не убеждение, то довольно ясное предположение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу. Это меня ободрило к большей откровенности, и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: «Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступить к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитый, известный всей России, а при неудаче общей здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности...» Был ли рассказ Якубовича отгиском действительности или вымышленная эпопея, тогда мне трудно было решить, но теперь, после совместного тюремного заключения с ним, где каждое лицо высказывается без чуждой оболочки, я полагаю, что его рассказ был не основан на фактах, а просто был, как я уже назвал, эпопея, сродная его умственному направлению».

В этом свидетельстве много интересного. Во-первых, оно дает представление о психологическом контексте, в котором существовали тайные общества: не восторженный юноша, а умный и зрелый генерал Волконский откровенно разговаривает с человеком, впервые им встреченным, о предметах смертельно опасных и верит его рассказу о тайном обществе с Ермоловым, знаменитым и высокопоставленным генералом, во главе. Странно? Нисколько. Ведь Волконский знал,

что многие влиятельные члены Северного общества стоят по своим стратегическим требованиям на уровне Сперанского, Мордвинова, конституционных проектов начала века, идеи которых зародились в веке предшествующем. Почему же Ермолову, в 1797 году арестованному по делу конспиративного антипавловского общества, одним из лидеров которого он был, общества, ориентированного на тираноборческие античные лозунги и связанного с конституционным окружением великого князя Александра Павловича,— почему этому Ермолову не возглавить конституционное тайное общество в 1824 году, когда потребность в реформах еще настоятельнее?

Во-вторых, важна характеристика Якубовича, придумавшего тут же, на месте, кавказское тайное общество. Деликатный и проницательный Волконский не обвиняет своего бывшего собеседника, а потом соседа по каторжной конуре в Благодатском руднике во лжи. Он говорит об «эпопее, сродной его умственному направлению». Якубович хотел, чтобы тайное общество с Ермоловым во главе было реальностью, и говорил о нем как о реальности, что было не только чертой его вольномыслия, но и особенностью романтического сознания. Кавказский герой выстраивал вокруг себя полувымышленный мир.

Но этому романтическому миру вскоре пришлось столкнуться с миром суровой и требовательной реальности...

Весной 1825 года Якубович получил отпуск для лечения раны во лбу.

Александр Бестужев показывал на следствии. «При поездке моей в конце апреля в Москву, для провожания е. в. принца Оранского, я встретился там с прежним своим приятелем Якубовичем. Он по всему замечательное лицо — и мы сошлись в приязнь... Либеральничали вместе, но друг другу совсем еще не открылись».

Бестужев то ли запаматовал, то ли не хотел слишком распространяться на следствии о московской встрече. Сам Якубович воспроизводит ее иначе: «Когда в разговорах с Бестужевым я выставил несправедливости правительства в отношении ко мне, объяснил ему состояние солдата, хлебопашца и дворянина, тогда он сказал о существовании общества, цель которого добродетелями, благородством и службой отечеству ввести новые благодетельные перемены и не допустить до решительного переворота государство, которое по всем признакам близится к сей эпохе, я восхитился этой мыслию, сказал: «Я ваш!»

Из этого следует, что Якубович был человек с идеями, считавший, что в России неблагоприятны все сословия, включая и дворянство, и что умеренный вариант программы принимался думающими офицерами безотказно.

Вскоре Якубович приехал в Петербург.

А ситуация в петербургском тайном обществе с 1821 года существенно изменилась.

В 1823 году Пушин принял в общество Кондратия Федоровича Рылеева, отставного артиллерийского офицера, служившего в уголовном суде.

Александр Дмитриевич Боровков, человек опытный, внимательный, старавшийся быть объективным к «государственным преступникам», в течение многих месяцев регулярно наблюдавший Рылеева на допросах, составил для себя такую характеристику: «Рылеев в душе революционер, сильный характером, бескорыстный, честолюбивый, ловкий, ревностный, резкий на словах и на письме, как доказывают его сочинения. Он стремился к избранной им цели со всем увлечением: принимал многих членов, возбуждал к деятельности, писал возмутительные песни и вольнодумные стихотворения, взялся составить катехизис вольного человека... Рылеев был пружиной возмущения; он воспламенял всех своим воображением и подкреплял настойчивостью... Рылеев действовал не из личных видов, а по внутреннему убеждению в ожидаемой пользе для отечества, предполагая, что с переменой образа правления прекратятся беспорядки и злоупотребления, возмущающие его душу».

Летом 1825 года в Петербурге встретились вождь Северного тайного общества романтический поэт Рылеев и романтический герой капитан Якубович.

Якубович приехал в Петербург убивать императора Александра.

По узости петербургского круга явных оппозиционеров Рылеев и Якубович должны были встретиться — и встретились. Романтик-теоретик и романтик-практик должны были понравиться друг другу — и понравились. Но когда дело коснулось реальных политических действий — они решительно разошлись в тактике.

Рылеев на следствии рассказал историю их отношений подробно и откровенно: «Задолго до приезда в Петербург Якубовича я уже слышал о нем. Тогда в публике много говорили о его подвигах против горцев и о его решительном характере. По приезде его сюда мы скоро сошлись, и я с первого свидания возымел намерение принять его в члены общества, почему при первом удобном случае и открылся ему. Он сказал мне: «Господа! признаюсь: я не люблю никаких тайных обществ. По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонаров и масонов. (Это — любопытное утверждение, если вспомнить его рассказ Волконскому о кавказском обществе и его, Якубовича, в нем участии.— Я. Г.) Я знаю, с кем говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем! Вы, может, слышали». Тут, вынув из бокового кармана полуистлевший приказ о нем по гвардии и пода-

вая оный мне, он продолжал, все с большим и большим жаром: «Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения». Сорвавши перевязку с головы, так что показалась кровь, он сказал: «Эту рану можно было залечить и на Кавказе без ваших Арентов и Буяльских, но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И наконец я здесь! и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем: делайте, что хотите! Созывайте ваш великий сбор и дурачьтесь досыта!»

Перед Рылевым стоял романтический герой-одиночка, байроновский персонаж, презирающий политическую суету, но готовый пожертвовать собой ради высокой страсти. А толпа может пользоваться результатом его подвига, если хочет. Все это поразило лидера тайного общества. И здесь нет ничего удивительного, а тем паче уничижительного для Рылеева. Психология байронического героя была ему очень внятна, а цареубийство, само по себе в России достаточно привычное, входило в поведенческий кодекс дворянского радикала, каким был Рылеев, в качестве тираноубийства.

Тут нужно еще помнить, что Якубович был блестящим оратором. Декабрист Александр Муравьев — в 1825 году юный корнет Кавалергардского полка — писал в воспоминаниях: старший брат, Никита Муравьев, «не позволял мне знакомиться с капитаном Якубовичем, боясь, чтоб он своим пленительным красноречием меня еще больше не воспламенил...».

Рылеев рассказывал: «Слова его, голос, движения, рана произвели сильное на меня впечатление, которое, однако ж, я старался скрыть от него и представлял ему, что подобный поступок может его бесславить, что с его дарованиями и сделав уже себе имя в армии, он может для отечества своего быть полезнее и удовлетворить другие страсти свои. На это Якубович отвечал мне, что он знает только две страсти, которые движут мир. Это благодарность и мщение, что все другие не страсти, а страстишки, что он слов на ветер не пускает, что он дело свое совершит непременно и что у него для сего назначено два срока: маневры или праздник Петергофский... Я ушел с А. Бестужевым и на дороге говорил ему, что надо будет стараться всячески остановить Якубовича. Бестужев был согласен...»

Александр Бестужев так передает ту же ситуацию: «...он (Якубович.— *Я. Г.*) признался нам, что приехал с твердым намерением убить государя из личной мести. «Я не хочу принадлежать никакому обществу,— говорил он,— чтоб не плясать по чужой дудке, я сделаю свое, а вы пользуйтесь этим как хотите. Коли удастся после этого увлечь солдат, то я разовью знамя свободы, а не то истреблюсь: мне наскутила жизнь».

«По сравнению с рылеевским текстом здесь есть важная деталь — мысль о восстании после цареубийства. Очевидно, это заявление и было первым толчком к возникновению в декабристской среде представления о Якубовиче как о человеке, который способен повести за собой солдат.

Якубович, как видим, и сам связывал свою акцию с возможной революцией.

Рылеев, идеолог тираноубийства, категорически возражал против акции Якубовича лишь потому, что тайное общество было совершенно не готово воспользоваться плодами его подвига. Цареубийство, смерть одного императора и восшествие на престол другого создавали наиболее подходящий момент для выступления, а в июне — июле 1825 года, когда происходили эти разговоры, у заговорщиков еще не было реальной силы. И Рылеев потратил бездну энергии, чтобы уговорить Якубовича отложить исполнение его отчаянного намерения.

Между тем Якубович вовсе не собирался императора убивать. Зловещий антураж цареубийства необходим был ему как элемент окружавшей его особенной атмосферы.

Трубецкой писал в «Записках»: «Никита Муравьев, который должен был отлучиться из Петербурга, известил письмом об этих обстоятельствах Трубецкого (князь Сергей Петрович в «Записках» говорит о себе в третьем лице.— Я. Г.) и просил его содействия на обуздание Якубовича. Другие члены (речь идет о Рылееве.— Я. Г.) поручили также ехавшему через Киев фон дер Бриггену уведомить обо всем Трубецкого. Последний поспешил в столицу».

Князю Сергею Петровичу изменила память. Он приехал в Петербург 10 ноября, значительно позже встречи с Бриггеном. Но сама ошибка характерна — через много лет вызов Якубовича на цареубийство представляется Трубецкому одним из центральных событий кануна восстания.

Якубович, повторю, не собирался убивать императора.

Брут был идеальным героем эпохи. Брута и Риго воспел Рылеев. Якубович, как мы увидим, попеременно играл то в Брута, то в Риго.

Капитан Нижегородского полка, носивший на сердце полуистлевший приказ о переводе его из гвардии, устраивал представления перед Рылеевым и Александром Бестужевым и в то же время усиленно хлопотал о своем возвращении в лейб-гвардии Уланский полк. В показаниях Якубович дает достоверную, документально проверяемую версию событий: «...просил отпуска для излечения ран, на что и получил высочайшее соизволение... с позволением прибыть в столицу, куда и приехал в июне месяце. Представился баронету Велье, и поручен им был по осмотре моей раны профессору Буальскому, и приглашен был мной для совместного лечения док-

тор Арент: два раза мне делали жесточайшие операции, вынули из раны раздробленные кости и куски свинцу, и я пять месяцев был в муках неизъяснимых. В это время старался через генерала барона Дибича довести до сведения покойного государя мою службу и многие неудовлетворенные представления обо мне генерала Ермолова, с объяснением невинности моей по делу покойного Шереметева, прося перевода в гвардию с обратным назначением в Грузию, где в мирное время видел более случаев к отличиям. На что впоследствии разрешилось повелением внести имя мое в приказ для перевода в лейб-гвардии Уланский полк, что и сделано 12 ноября».

И эти хлопоты, и результат их Якубович от членов тайного общества долго скрывал, не желая разрушать образ.

Но опять-таки не нужно думать, что Якубович просто фанфарон, фразер и хвастун. Выстроенный им романтический мир был для него настолько близок и естествен, что он готов был рискнуть головой, чтобы не допустить распада этого мира.

Боровков, присутствовавший на допросах после восстания, вспоминал:

«Ответы... Якубовича многословны, но не объясняли дела. Он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью. Так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с черною повязкою на лбу, прикрывавшею рану, нанесенную ему горцем на Кавказе, он импровизировал довольно длинную речь и в заключение сказал:

— Цель наша была благо отечества; нам не удалось — мы пали, но для устрашения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так пусть меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого».

Боровков пишет правду. В письменном показании Якубович тоже предлагал расстрелять его для примера. И он не мог быть уверен, что его жертва не будет принята. Николай по военным законам мог его расстрелять. Там, где нужна была личная храбрость, Якубович не пасовал.

Романтическая мистификация кавказского героя имела вместе с тем весьма серьезные последствия, последствия, если угодно, положительные, — она заставила лидеров общества задуматься над возможностью внезапного возникновения кризисной ситуации, которая обязала бы их действовать. Мистификация Якубовича, встряхнувшая не только декабристский Север, но и Юг, куда известие о намерении нового Брута привез по поручению Рылеева полковник Бригген, заставила заговорщиков трезво подсчитать свои силы и подумать о конкретной тактике в конкретных условиях. Контакты лидеров общества с Якубовичем можно считать первым круп-

ным событием на этой последней прямой — в последнем полугодии перед восстанием.

Более того, само присутствие Якубовича в столице привело северян к мысли о реальности скорого вооруженного выступления в Петербурге.

Следственная комиссия, суммировав полученные подробные и обширные сведения, точно поняла эту особую роль Якубовича в преддекабрьский период: «Приезд сего последнего (Якубовича) в Петербург, его разговоры, объявленный им умысел сильно действовали на тогдашнего начальника Северной думы Рылеева; им (Якубовичем.— Я. Г.), как утверждает Александр Бестужев, воспламенена тлевшая искра».

Член тайного общества полковник Бригген сказал на следствии: «Я уверен, что ежели бы не было Якубовича, то и несчастное происшествие 14 декабря не случилось бы...» Это, конечно, преувеличение, но смысл в нем есть...

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 27 НОЯБРЯ

Ранним утром этого дня Рылеев, почувствовавший себя больным, послал записку барону Штейнгелю, жившему в том же доме, приглашая его к себе. Штейнгель был занят, спешности приглашения не понял и не пошел.

Александр Бестужев на следствии так описал утренние события, параллельные тому, что происходило во дворце: «Пришел Якубович с подтверждением того же (болезни Александра.— Я. Г.), но мы никак не ожидали, чтобы болезнь так скоро сразила императора. Якубович вышел и через пять минут вбежал опять, говоря: «Государь умер, во дворце присягают Константину Павловичу — впрочем, это еще не верно, говорят, Николаю Павловичу по завещанию следует», — и выбежал».

Показания Рылеева дают одну живую и существенную деталь: «...Якубович... вбежал в комнату, в которой я лежал больной; и в сильном волнении с упреком сказал мне: «Царь умер! Это вы вырвали его у меня!» Вскочив с постели, я спросил Якубовича: «Кто сказал тебе?» Он назвал мне не помню кого-то, прибавил: «Мне некогда; прощай!» — и ушел».

Принесенное Якубовичем известие, по словам Александра Бестужева, «поразило нас, как громом, я надел мундир — и встретился в дверях с братом Николаем. «Что делать?» — «Я поеду узнать в какой-нибудь полк, кому присягают, далее, право, не знаю». Я и поехал в Измайловский, спрашиваю, один говорит — Константину, другой — Николаю, третий — Елисавете».

Интересно проследить, в чем сходятся и в чем расходятся

показания декабристов на следствии, данные по горячим следам событий, с воспоминаниями, написанными через много лет. Николай Бестужев писал:

«Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от Рылеева, что смерть императора была назначена обществом эпохою для начатия действий оною, и когда узнал о съезде во дворце, по случаю нечаянной кончины царя, о замешательстве наследников престола, о назначении присяги Константину, тотчас бросился к Рылееву. Ко мне присоединился Торсон. Происшествие было неожиданно; весть о нем пришла не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действия я увидел, что Рылеев совершенно не знал об этом. Встревоженный, волнуемый духом, видя благоприятную минуту пропущенною, не видя общества, не видя никакого начала к действию, я горько стал выговаривать Рылееву, что он поступил с нами иначе, нежели было должно. «Где же общество,— говорил я,— о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, когда во дворце более недели получают бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению — говори!»

Рылеев долго молчал, облокотясь на колено и положив голову между рук. Он был поражен нечаянностью случая и наконец сказал: «Это обстоятельство явно дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять ввечеру, между тем я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске».

Батенков и брат Александр явились в эту минуту, и первое начало происшествий, ознаменовавших период междуцарствия, выразилось бедным собранием пяти человек».

Николай Бестужев бежал к Рылееву утром 27 ноября 1825 года, чтобы излить недоумение и обиду, обиду сильного и ценящего свою силу человека, которого лишили возможности действовать. Это чувство разделял с ним его близкий друг Торсон. Это было главным для него через двадцать лет. И соответствующим образом его память выстроила картину события. Ибо реальная картина не соответствовала задаче мемуариста. Николаю Бестужеву было еще и чрезвычайно важно показать бессилие и растерянность тайного общества 27 ноября, чтобы оттенить тот подвиг, который совершили заговорщики, переломив свою беспомощность и героическим усилием собрав к 14 декабря достаточно сил для восстания.

Странно, казалось бы, что он забыл о болезни Рылеева и

«послал» его ездить по городу, хотя на самом деле собирать сведения отправился Александр Бестужев. Странно, что, придя к Рылееву, не увидел там Александра, а помнил, что тот пришел позднее вместе с Батенковым. Странно и то, что Александр Бестужев в своих показаниях молчит о присутствии у Рылеева Торсона. И уж совсем, казалось бы, странно, что Николай Бестужев так убежденно говорит о полной неосведомленности Рылеева. Между тем, как мы знаем, Рылееву было прекрасно известно о болезни царя, а к моменту появления Бестужева и Торсона — и о его смерти.

Но все это кажущаяся странность. Мог ведь Жуковский не увидеть в момент присяги рядом с Николаем трех генералов. На сопоставлении свидетельств декабристов об утреннем свидании у Рылеева можно изучать явление избирательности и смысловой направленности человеческой памяти. Каждый из них запомнил свое — по какой-то внутренней причине. Каждый из них говорит правду — свою правду. И общая картина восстанавливается только на основе совмещения их свидетельств.

Утром 27 ноября на квартире Рылеева действительно сошлись и братья Бестужевы, и Торсон, и Батенков. Но если Рылеев и Александр Бестужев во время следствия были сосредоточены на фактической стороне событий, то Николай Бестужев в Сибири думал о сути происшедшего. И его свидетельство для нас чрезвычайно важно.

Это — точка отсчета. Отсюда — от организационного нуля — началось их восхождение на вершину восстания.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 27 НОЯБРЯ

После двух часов пополудни собрался Государственный совет. Князь Голицын, потрясенный происходящим, сообщил собравшимся о завещании императора, которое он, Голицын, сам переписывал, о том, что оно хранится здесь, в Государственном совете. Однако часть членов совета вовсе не склонна была знакомиться с завещанием мертвого императора, которое могло привести их к столкновению с живым. Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский и адмирал Шишков предложили пакет не распечатывать, а идти присягать Константину. (Лобанов-Ростовский был настроен особенно решительно, что указывает на его изначальные симпатии к Константину. Недаром в первые дни после присяги говорили, что при Константине Лобанов «будет в силе».) Но большинство решило иначе, и государственный секретарь Алексей Николаевич Оленин принес пакет. Тут обратили внимание, что нет графа Милорадовича, который тоже был

членом совета. Начинать чтение в отсутствие столь влиятельного лица не решились. Но когда Милорадович пришел, то он вовсе не выразил желанья слушать чтение бумаг. Генерал-губернатор был настолько уверен в прочности своей позиции, что не утруждал себя дипломатическими ходами. Своим громким генеральским голосом он сказал: «Я имею честь донести Государственному совету, что его императорское высочество великий князь Николай Павлович изволил учинить присягу на подданство старшему брату своему императору Константину Павловичу. Я, военный генерал-губернатор, и войско уже присягнули его величеству, а потому советую господам членам Государственного совета прежде всего тоже присягнуть, а потом уж делать что угодно!»

Это было откровенное давление.

И тем не менее большинство совета решило выслушать манифест Александра и письмо Константина. Оленин прочитал бумаги. Воцарилось растерянное молчание.

Тот факт, что гвардия присягнула первой, ставил правительственные учреждения — Государственный совет и Сенат — в положение весьма двусмысленное. Они лишились права выбора между двумя претендентами. Выполняя волю покойного императора, они как бы противопоставляли себя воле генералитета и гвардии. Исторический опыт говорил, что это небезопасно. Здесь Милорадович сыграл очень точно.

Раздраженный этим молчаливым сопротивлением, он повторил, что совет должен выполнить волю великого князя Николая, который только что отрекся от права, представленного ему манифестом, и на его, Милорадовича, глазах присягнул Константину.

Но, очевидно, настойчивость генерал-губернатора тем более показалась подозрительной членам совета, и они пожелали услышать отречение от самого великого князя. Возможно, кто-то из них был и ранее осведомлен о позиции Милорадовича, а кто-то догадался сейчас.

Милорадовича попросили пригласить великого князя в совет. Вскоре он вернулся. Неизвестно, что за разговор состоялся у него с Николаем, но он сообщил, что великий князь, не будучи членом Государственного совета, не считает себя вправе явиться в таковой.

Государственный совет, однако, присягать без свидания с Николаем никак не хотел. Поскольку его императорское высочество отказался явиться в совет, то совет просил графа Милорадовича исходатайствовать у великого князя разрешение совету явиться к нему в полном составе.

Оленин вспоминал:

«Лишь только мы все вошли в приемную залу бывших комнат великого князя Михаила Павловича, то граф Милорадович пошел сказать о приходе нашем великому князю

Николаю Павловичу. Его высочество не заставил себя ждать, но, вышедши из дверей внутренних комнат, он поспешно подошел к нам, стоящим в куче, посредине комнаты, и начал тотчас нам говорить. Я постараюсь, сколько можно, припомнить его слова... Великий князь, остановясь между нами и держа правую руку и указательный палец простертыми над своею головою, призывая, так сказать, сими движениями всевышнего во свидетели искренности его помышлений, являл в лице своем сколько можно ему было более твердости, но глубокая грусть, на челе его напечатанная, и следы горьких и многих слез по бледным его щекам, а также по временам и судорожное движение всего тела показывали, какую сильною он был удручен печалью. В этом ужасном положении он произнес следующие слова. «Господа, я вас прошу, я вас убеждаю, для спокойствия государства, немедленно, по примеру моему и войска, принять присягу на верное подданство государю императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложения не приму и ничего другого и слушать не стану».

Тут он был прерван рыданиями членов Государственного совета, и некоторые голоса произнесли между другими восклицаниями: «Какой великодушный подвиг!»

«Никакого тут нет подвига,— воскликнул великий князь,— в моем поступке нет другого побуждения, как только исполнить священный долг мой перед старшим братом. Никакая сила земная не может переменить мыслей моих по сему предмету и в этом деле. Я ни с кем советоваться не буду и ничего не вижу, достойного похвалы».

Из всего сказанного Николаем, пожалуй, безоговорочно можно согласиться только с последними словами. Поступал он, с точки зрения законности и государственных интересов, вовсе не похвально.

Во всем остальном — даже в этом сочувственно-осторожном описании — видна истерическая взвинченность и возбужденность, вызванная прежде всего идиотическим положением, в которое поставил его Милорадович. И в самом деле — отчего бы Николаю, молодому дивизионному генералу, не искушенному в государственных делах, явно нарушающему волю Александра и Константина, то есть в данном случае — закон, почему бы ему в этой, все более запутывающейся, ситуации и не посоветоваться с теми, кто по своему положению призван советовать? Почему он так раздраженно декларирует окончательность своего решения? Ведь неизвестно, как отнесется к этому Константин.

Потому что он боялся гвардии, рупором которой считал Милорадовича. И, подчинившись воле генерал-губернатора, он болезненно относился ко всякому обсуждению вопроса, решенного вовсе не так, как ему хотелось. Но 1762 год... Но

1801 год... Чем Милорадович хуже Палена? Причем тогда речь оба раза шла о законных императорах, но и это не оставило убийц. А его, Николая, так легко обвинить в узурпации трона, в самозванстве. Он прекрасно понимал, почему с такой настойчивостью отказывался в свое время от права на престол Константин. «Пусть после этого брат царствует, если хочет», — сказал цесаревич вскоре после 11 марта.

Во время присяги рядом с Николаем стоял Голенищев-Кутузов — один из убийц Павла, его отца.

Когда члены Государственного совета предстали перед императрицей Марией Федоровной, та, куда более, чем Николай, опытная в дворцовой политике, одобрила то, за что еще недавно упрекала сына.

Через несколько дней она сказала Михаилу Павловичу: «Если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь».

Вся августейшая семья смертельно боялась вмешательства гвардии.

И есть в записке Оленина еще один существенный момент — Николай ясно и четко сказал членам совета, что содержание манифеста и отречение цесаревича ему были известны.

Тогда же решили не вскрывать пакет с завещанием, хранящийся в Сенате, и не знакомить сенаторов с его содержанием.

Государственный совет присягнул. Вскоре присягнул и Сенат.

Через четыре года в личной беседе Николай сказал Константину: «В тех обстоятельствах, в которые я был поставлен, мне невозможно было поступить иначе».

Известный историк А. Е. Пресняков, автор незаурядной книги о 14 декабря, вышедшей в 1926 году, очень удачно охарактеризовал происходящее: «Рядом с официальной легендой о борьбе двух великодушных самоотречений слагалась и нарастала другая — об упорной борьбе за власть с арестами и насилиями. Династический водевиль разрастался в дворцовую мелодраму. Затяжка междуцарствия придавала ему действительное значение кризиса государственной власти, попавшей в параличное состояние».

КОНСТАНТИН И НИКОЛАЙ: ЗА И ПРОТИВ

Теперь, прежде чем двигаться дальше, надо понять, почему симпатии гвардии (и не только гвардии) оказались на стороне Константина, достойного сына своего отца, запятнанного уголовным преступлением, солдафона, исповедующего принцип абсолютного подчинения.

Разумеется, Константина за те годы, что он жил в Варшаве, несколько забыли. А новое поколение гвардейских офицеров и просвещенных молодых людей не знало его вовсе. Но люди среднего возраста помнили его прекрасно и понимали, чего от него можно ждать.

Та же графиня Нессельроде писала: «Все эти люди, которые желают его, станут проливать горькие слезы».

Командир гвардейской бригады генерал-майор Сергей Шипов, о котором у нас еще пойдет речь, назвал Константина «злым варваром».

Но большинство было все же за цесаревича. Почему?

Главным образом потому, что проконстантиновское большинство опиралось преимущественно на слухи. Николай был тут — весь на виду. С ним все было ясно. Константин именно по причине долгого отсутствия внушал неопределенные надежды, всегда связанные с переменой государя. Про него смутно толковали, что он хочет отменить крепостное право. (Уже после воцарения Николая к Константину в Варшаву ходили крестьянские ходоки с жалобами.) Гвардия знала, что в Польше у Константина служат не двадцать пять лет и даже не двадцать три, а всего восемь. Знала, что солдатское жалование в Польше выше столичного, что кормят там лучше. Петербургскому гвардейскому солдату не было дела — да он и знать этого не мог, — что Константин существенно регламентирован конституционным устройством Польши. Измайловец или московец готов был считать цесаревича — старого суворовского служаку! — прямым отцом русского солдата и ждал от него послаблений.

А офицерство?

Декабрист Булатов писал из крепости великому князю Михаилу Павловичу: «После кончины отца отечества по городу носились разные слухи насчет престола, большая часть народа желали иметь государем царствующего в то время его императорское высочество цесаревича Константина Павловича, в опытности, доброте души, щедрости, надеялись, что будет введено устройство в государственных делах, и немалую цену давали, что не будет поселения, на стороне ныне царствующего императора была весьма малая часть. Причины нелюбви к государю находили разные: говорили, что он зол, мстителен, скуп, военные недовольны частыми учениями и неприятностями по службе, более же всего боялись, что граф Алексей Андреевич (Аракчеев.— Я. Г.) останется в своей силе».

Декабрист Батенков показывал на следствии:

«Я, однако же, сему (замене Николая Константином.— Я. Г.) радовался, полагая, что при государе цесаревиче изменится совершенно внешняя политика, греческие дела примут благоприятный оборот. Священный союз рухнет, военные

поселения не будут продолжаться и что вообще двор наш примет некоторый народный характер, имея императрицу, не совсем чуждую нашего языка и нравов и рожденную не для престола, а государь, затрудняясь в фамильном быту, искать будет в своем народе.

Против особы нынешнего государя я имел предубеждение по отзывам молодых офицеров, кои считали его величество весьма пристрастным к фрунту, строгим за все мелочи и нрава мстительного. Сверх того, казалось мне, что со вступлением его на престол множество пруссаков вступят в русскую службу и наводнят Россию, которая и без того уже кажется как бы завоеванною».

(По словам близкого к Федору Глинке Григория Переца, повсеместно осуждалась «взыскательность бывшего тогда великого князя Николая Павловича... коего описывали скупым и злопамятным».)

Если характеристики Николая почти совпадают у недалекого Булатова и у широко мыслящего, образованного Батенкова, то характер надежд на Константина существенно различается. Булатов мыслит категориями среднего офицерского слоя: государь с добрым сердцем щедрый, порядок в управлении наведет. Батенков смотрит куда шире. Он на первое место ставит проблемы внешнеполитические. Он из офицерской элиты, смертельно оскорбленной тем Александром, который после славных походов 1813—1814 годов стал душой реакционного Священного союза, тем Александром, который предал греческое дело. А европейские революции, подавленные Священным союзом монархов, и восстание греков, подавленное турками с молчаливого согласия александровской России, были для этой декабристской и продекабристской среды делом трагически личным, связанным с освобождением самой России. Батенков знает, что когда-то юного Константина императрица Екатерина прочила в константинопольские императоры и собиралась завоевать для него турецкие владения. Отсюда и надежда на прогреческие симпатии цесаревича. Батенков знает, что Польша управляется конституцией, и верит, что привыкший к ней Константин не сможет придерживаться принципов Священного союза. Он приспособливает семейные обстоятельства жизни цесаревича к своим «славянофильским» воззрениям, и польское, то есть славянское, происхождение будущей императрицы кажется ему «народнее» немецкого происхождения Александры Федоровны. Он рассчитывает, что отторгнутый своей женитьбой от придворных кругов Константин будет искать опоры в народе.

Все это были, разумеется, иллюзии — но иллюзии, много нам объясняющие. Только будучи доведен до крайности, умный и проницательный человек мог впасть в такое трагическое заблуждение.

И в одном только решительно сходятся столь разные Булатов и Батенков — оба верят, что Константин упразднит военные поселения и, стало быть, придет конец власти Аракчева.

Комплекс проконстантиновских иллюзий Булатова и Батенкова, очевидно, покрывает основной спектр надежд русского офицерства — и гвардейского прежде всего — на нового императора.

И было еще одно обстоятельство, которое они, быть может, и не формулировали для себя в словах, но которое не могли не сознавать. Как это ни странно, но Константин, участник суворовского похода в Италию, участник и активный свидетель наполеоновских войн, воспринимался ими как человек своей эпохи, с которым можно на каком-то этапе найти общий язык. Которого, во всяком случае, можно и потерпеть, с которым можно некоторое время и послужить. В Николае они видели явление *принципиально чужое*. Он был человеком иной эпохи, наступления которой допустить было нельзя. Те качества, что они в нем видели, — скупость, холодная жестокость, абсурдный педантизм, бессмысленная злопамятность — были и чертами *его грядущей эпохи*.

Розен вспоминал: «Когда великий князь Константин Павлович, в минуту строптивости своей молодости, на полковом учении, с поднятым палашем наскочил на поручика Кошкуля, чтобы рубить его, тот, отпарировав, отклонил удар, вышиб палаш из руки князя и сказал: «Не извольте горячиться». Учение было прекращено, через несколько часов адъютант князя приехал за Кошкулем и повез его в Мраморный дворец. Кошкуль ожидал суда и приговора, как вдруг отворяется дверь, выходит Константин Павлович с распростертыми объятиями, обнимает Кошкуля, целует его и благодарит, что он спас его честь, говоря: «Что бы сказал государь, что бы подумала вся армия, если бы я на учении во фронте изрубил бы своего офицера?..» Когда великий князь извинился перед обществом офицеров всей кирасирской бригады, то рыцарски объявил, что готов каждому дать полное удовлетворение; на это предложение откликнулся М. С. Лунин: «От такой чести никто не может отказаться!» Константин отшутился.

От Николая ничего подобного ждать не приходилось. Когда в 1820 году пятьдесят два офицера Измайловского полка решили уйти в отставку из-за грубости Николая Павловича, то дело было с трудом улажено отнюдь не извинением.

Когда в 1822 году в Вильне тот же Николай, командовавший гвардейской бригадой, перед строем лейб-гвардии Егерского полка кричал капитану Норову, члену тайного общества: «Я вас в бараний рог согну!» — оскорбив тем самым полк, то дело кончилось отнюдь не извинениями и «рыцарскими предложениями», а отставками и переводами в армию.

Любопытно, что после 14 декабря «норовская история» в начальственных головах безошибочно связалась с историей тайного общества. Командовавший тогда полком генерал Головин писал официальному историографу Модесту Корфу: «Беспорядок, происшедший в Вильне между офицерами лейб-гвардии Егерского полка во время командования моего этим полком, без всякого сомнения, находится в связи с печальными событиями, ознаменовавшими 14 декабря 1825 года. Из донесения моего от 8-го марта 1822-го года командовавшему тогда 1-ю Гвардейскою дивизиею великому князю, ныне царствующему государю императору Николаю Павловичу, видно, что главнейший виновник вышеупомянутого беспорядка капитан Норов принадлежал, как после оказалось, к тайному обществу злоумышленников, имевших самые преступные намерения»*. Отстаивание гвардейским офицером своего достоинства даже в пределах привычных понятий дворянской чести сливалось в сознании начальства в конце александровского царствования, а тем паче в николаевское, с мятежным духом. Такова была государственная идея, которую олицетворял молодой император.

Ясно, что психологически Константин как личность и как политический типаж был им понятнее и ближе, чем Николай, и в эти короткие дни, когда их мысль работала особенно стремительно и остро, будущие мятежники, вчерашние реформаторы, догадывались, что в империи Николая им места не будет. Не физически — затаиться и выполнять служебный ритуал они смогут. Но внутренне им придется перестроить, сломать себя — или уйти, спрятаться в имениях, в своих кабинетах, в своей частной жизни. (Они еще не знали, что и частная жизнь в грядущую эпоху не будет спасением.)

Александр Бестужев на следствии так объяснил свою приверженность присяге цесаревичу: «Я с малолетства люблю великого князя Константина Павловича. Служил в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я недурно езджу верхом; хотел также поднести ему книжку о верховой езде, которой у меня вчерне написано было с три четверти... одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом государе».

С одной стороны, это признание — тактический ход, чтобы представить свои действия в виде понятном и безобидном. Но с другой — есть в этом признании серьезный смысл.

Мы знаем, что в случае воцарения Константина вождями тайного общества положено было общество законсервировать и стараться занять важные посты — для будущих акций. И в этой ситуации Бестужев, очевидно, и собирался действовать

* ОР ГПБ, ф. 380, № 58, л. 2.

именно так, как говорил своим следователям. И чрезвычайно существенно то, что он верил — при Константине кавалерийский офицер без знатности, богатства и связей может сделать карьеру только личными достоинствами: искусством верховой езды, увлеченностью своим — кавалерийским — делом (книга о верховой езде!). При «другом государе», то бишь при Николае, этих средств, приемлемых для порядочного человека, явно окажется недостаточно.

Ссылный Пушкин, узнав в Михайловском о присяге Константину, писал 4 декабря Катенину: «...как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Декабристы верили — при Константине, в котором, казалось, жив был дух той эпохи, когда двадцатилетние храбрецы становились генералами, можно будет лихостью и офицерской сноровкой «выйти в люди». А «выйдя в люди», получив полки и дивизии, на этом новом уровне влияния потребовать реформ. То есть остаться собой, остаться в своем, активном историческом слое. Выполнить долг.

Надеялись же они, убрав — так или иначе — с политической сцены Николая, договориться, опираясь на гвардейское большинство, с Константином о введении конституции.

Константин все же был для них человеком славного прошлого, первой половины александровского царствования. А Николай — человеком зловещего, туманного будущего...

А генералитет? Милорадович? Бистром? Другие, о которых речь впереди?

Вряд ли они не знали, что такое в действительности Константин Павлович. Но при всей своей осведомленности они были поставлены перед четким выбором — Константин или Николай. (Вопрос об одной из вдовствующих императриц мог встать только после того, как отпали бы кандидатуры великих князей.) И эту альтернативу они решили одинаково — каждый из индивидуальных соображений.

Для Милорадовича Константин был старый боевой товарищ, личный друг. Милорадович, зная отвращение Константина к государственным занятиям и к самой мысли о троне, рассчитывал, что при нем он, Милорадович, будет вторым человеком империи, как при Александре был Аракчеев. При Николае он ни на что подобное рассчитывать не мог. Но вполне возможно, что им двигали не только карьерные расчеты. Правитель конституционной Польши более соответствовал полулиберальной и антикрепостнической позиции Милорадовича, чем Николай.

Как относился к Константину Бистром, мы не знаем. Но

что он терпеть не мог Николая — это ясно. Кроме их служебных взаимных неудовольствий дело было еще и в принципиально различном отношении к солдату и службе. Николай был тиран, хотя и из высокопринципиальных соображений, а Бистром — командир суворовского типа, любящий солдат и любимый ими. Бистром не обладал политическими амбициями Милорадовича, но перспектива служить под началом своего недавнего подчиненного или же остаться не у дел не могла его радовать.

Для генералов, занимавших посты менее значительные, авторитет Милорадовича и Бистрома значил много. Было и еще немало личных и служебных причин, о которых мы просто не знаем.

Во всяком случае, и участники генеральской оппозиции, совершившие «государственный переворот» 25—27 ноября, и будущие мятежники 14 декабря в первые дни междуцарствия, пытаясь оценить обстановку и сделать выбор, учитывали факторы как бытовые и служебные, так и высокополитические, вплоть до внешнеполитических.

И те и другие понимали кризисность, переломность момента. И потому — рисковали.

Отступление: рационалист в сфере практической политики

Осенью 1825 года Якубович познакомился еще с одним лицом, близким к заговору, и встреча эта имела непредсказуемые тогда, но удивительные последствия.

«Гордый, высокомерный, скрытный, с ясным и дельным умом, обработанным положительными науками» — так охарактеризовал наблюдательный Боровков подполковника Гавриила Степановича Батенкова. И у него были основания для такой характеристики.

Артиллерийский офицер Батенков воевал с 1812 по 1814 год, неоднократно был отличен за храбрость, в январе 1814-го «при местечке Манмирале прикрывал отступление корпуса, получил штыком десять ран», чудом остался жив. Но в марте он снова сражался.

Еще до войны, будучи в кадетском корпусе, он подружился с Владимиром Федосеевичем Раевским, впоследствии одним из самых убежденных революционеров. Они «развивали друг другу свободные идеи». Так что критический образ мышления присущ был Батенкову с юности.

Сам он писал о себе: «Военной славы не искал, мне всегда хотелось быть ученым или политиком. Во время двух путешествий за границу мысли о разных родах правления практическими примерами во мне утвердились, и я начал иметь же-

ление видеть в своем отечестве более свободы. Следуя природным склонностям, я оставил службу в артиллерии, приехал в Петербург, занялся опять в тишине... точными науками, с честью держал экзамен в Институте путей сообщения, вступил в сей корпус и отправился в Сибирь... Там нечем было заняться, кроме наук. Должностные упражнения, хотя занимал я место окружного генерала, были неважны».

В Сибири Батенков встретил Сперанского, назначенного управлять этим краем. Сперанский оценил способности молодого офицера и приблизил его. «Он начал употреблять меня в дела и действительно обратил в юриста. Практика и образцовые творения сего мужа были для меня новым источником учения: я сделался знатоком теории законодательства и стал надеяться достигнуть первых гражданских должностей».

Этот человек, сочетавший в себе точный ум ученого, обширные познания в сфере законодательства с желанием большей свободы России, вернулся в 1821 году в Петербург вместе со Сперанским и получил крупный пост правителя дел Сибирского комитета. Как сам он свидетельствовал, «в сие время Петербург был уже не тот, каким оставил я его прежде за 5 лет. Разговоры про правительство, негодования на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе».

Он хотел войти и вошел в общество образованных и талантливых людей — «начал с Воейкова через Жуковского, а потом всех узнал у Греча. У сего последнего были приятные вечера, исполненные ума, остроты и откровенности,— здесь я узнал Бестужевых и Рылеева».

К 1823 году у Батенкова была настолько известная репутация честного, умелого, предприимчивого деятеля, что Аракчеев потребовал перевода его в Совет военных поселений. Начиналась карьера государственного человека.

Но то, что увидел Батенков в поселениях, привело его к мысли, что «революция близка и неизбежна». Трезвомыслящие люди приходили к этому выводу независимо друг от друга. Вспомним слова Александра Бестужева о неизбежности скорого «решительного переворота» снизу.

В январе 1825 года Батенков сказал себе: «...поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим».

Если Рылеев, Бестужев, Якубович пришли к идее революционного действия из сферы романтических представлений, то Батенков, инженер и юрист, пришел к той же идее путем холодного анализа ситуации. И это — крайне важная характеристика политической атмосферы кануна восстания. Ее обуславливали не только романтический энтузиазм, человеколюбие или честолюбие, но и неумолимая логика процесса.

В том же 1825 году Батенков, не зная о существовании тайных обществ, стал обдумывать структуру собственной конспиративной организации. «Я сделал свой план атакующего общества, полагал дать ему четыре отрасли: 1. Деловую, которая бы собирала сведения, капиталы, управляла и ведала дела членов. 2. Ученую, которая бы вообще действовала на нравы. 3. Служебную, которая бы с пособием капиталов общества рассыпана была по государству, утверждала основания управления и состояла бы из лиц отличнейшей в делах честности, кои бы, занимая явно гражданские должности, тайно по данным наказам отправляли и те обязанности, кои будут на них лежать в новом порядке. 4. Фанатиков, более дядя того, что лучше иметь их с собою, чем против себя».

Естественно, что лидеры Северного общества обратили на Батенкова внимание. Этот подполковник с государственным умом, близкий по дружеским теперь уже связям к Сперанскому, конечно же мог быть им чрезвычайно полезен.

Сближение их произошло в октябре 1825 года, за два месяца до событий.

Батенков рассказывал: «Случившееся в Грузии происшествие (убийство дворовыми любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной.— *Я. Г.*) сделалось, как известно, предметом городских разговоров. Спусти довольно времени, уже в октябре, обедали мы у Прокофьева. Целый стол говорили о переменнах, кои последовать могут вследствие отречения графа Аракчеева. А. Бестужев сказал при сем случае, что решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе 50 миллионов. После обеда стали говорить о том, что у нас совершенно исчезли великие характеры и люди предприимчивые. Нечувствительно я остался с Бестужевым наедине, и начали мечтать о судьбе России. Нам представлялась она в прелестном виде под свободным правлением, я пожелал, чтоб мы пользовались свободою, что нет средств принятая за столь полезное дело и что, по всей вероятности, нет людей, кои бы могли поддержать конституционное правление. Он сказал, что люди есть уже, которые на все решились; я отвечал, что не был бы русским, если бы отстал от них. Прибавил к тому, что перевороты снизу, от народа, опасны и лучшее средство придумать так, чтоб овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив интригу или силу».

В доме Российско-Американской компании кроме директора ее, Прокофьева, жили Александр Бестужев с Рылеевым. Уходя после достопамятного разговора, Батенков спросил Бестужева, где сейчас Рылеев. «Внизу, до времени»,— ответил тот. Батенков понял, что его собеседник имеет в виду не только нижний этаж дома.

Вскоре Батенков встретил капитана Якубовича. «Обедал я

у Прокофьева; возле меня сел А. Бестужев, а напротив, в конце стола, Якубович. Бестужев, указывая на него, говорил, что такие молодцы все сделать могут. После я завел разговор, что хочу жениться на купчихе, буду купцом, дойду до звания градского главы и попробую возвысить оное на степень лорда-мэра. Якубович ответил: «Вы хотите быть головами, но оставьте руки на нашу долю».

Батенков сразу вспомнил разговор с Бестужевым о людях, на все решившихся.

Александр Бестужев, который, собственно, и привлек Батенкова к тайному обществу, подробно изложил историю их сближения — со своей точки зрения: «Я знал подполковника Батенкова года с три, ум его всегда мне нравился, но как он занимал места при особах важных — говорил черезчур легко обо всем, — я никак не мог вообразить, чтобы это не был повод или для того, чтобы выведать общее мнение, или для предания частных лиц. Поэтому кроме обыкновенных вольнодумств с ним не сближался. Мы иногда с Рылеевым говорили о нем, и я спорил с ним: он говорил, что это от души, я — что с умыслом. Наконец Рылеев этой осенью сказал мне, что он щупал нрав Батенкова и уверился, что он либерал. Однажды после обеда у Прокофьева, мечтая о том, что было бы с Россиею, если б она имела конституцию, он (Батенков.— Я. Г.) сказал: «Людей-то нет, чтоб переворот произвести; надо нам стараться выходить в люди, чтоб занимать дельные места». Я же, ему противореча, сказал: «Послушайте, вы честный человек и так или иначе думаете, но меня не предадите — есть человек двадцать удалых голов, которые на все готовы. Они нанесут удар — увлекут солдат, и Россия преобразится по-русски». Вот тут-то сказал он мне, что он бы не достоин был называться и прочее; только он начал не соглашаться на республику, говоря, что еще не созрели люди. И потом, кинувшись опять в мечтания, говорил, какие бы льготы дать народу, и понемногу, а не вдруг. В другую субботу говорил с ним уже Рылеев и после сказал мне: «Увидишь ли, кто ошибался! Он одинаких мыслей с нами...» В конце октября мы познакомили Батенкова с Якубовичем, и они друг друга полубили. Тут мы сказали ему, что Якубович назначается для увлечения солдат, и он согласился, что в нем есть все нужные к тому качества».

Из свидетельств этих ясно, что последние месяцы перед восстанием тайное общество жило напряженным ожиданием близких событий, хотя скорая смерть императора никому известна не была. Ясно из них, что с приездом Якубовича, с появлением человека, который может «увлечь солдат», группа Рылеева стала думать не только о том, чтобы воспользоваться удобными обстоятельствами, коль скоро они возникнут, но и о том, как самим эти обстоятельства создать. Ясно из

них, что задолго до 14 декабря с его конкретными условиями Рылеев и Александр Бестужев разрабатывали тактику революционной импровизации, внезапного удара, который стронет лавину, — двадцать храбрецов начинают, а потом все идет само собой. Лозунг «Держай!», выдвинутый Рылеевым перед восстанием, родился гораздо раньше и стал казаться особенно заманчивым с появлением в среде заговорщиков Якубовича.

И ясно, что в октябре—ноябре сложился альянс Батенков—Якубович, идеолог и исполнитель. «...Они друг друга полюбили».

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 27 НОЯБРЯ

К трем часам пополудни присяга Константину в Петербурге завершилась.

Для Милорадовича и его группировки дело было сделано.

Для Николая и близких к нему лиц это был первый — увы, неизбежный — этап борьбы за престол.

Для лидеров тайного общества это было началом ситуации, которую необходимо было довести до взрыва. Во всяком случае — попытаться.

Рылеев показывал: «Вскоре последовала и присяга, — и никаких мер не только невозможно было предпринять, но и сделать о том совещания. Вскоре приехал Трубецкой и говорил мне, с какой готовностью присягнули все полки цесаревичу, что, впрочем, это не беда, что надобно приготовиться насколько возможно, дабы содействовать южным членам, если они подымутся, что очень может случиться, ибо они готовы воспользоваться каждым случаем; что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Вследствие сего разговора и предложено было мною некоторым членам, в то утро ко мне приехавшим, избрать Трубецкого в диктаторы. Все изъявили на то свое согласие, — и с того дня начались у нас решительные и каждодневные совещания».

Рылеев несколько сдвинул время — Трубецкой мог приехать к нему с известием о присяге не раньше трех часов дня. А предложить избрать его диктатором Рылеев мог только вечером, на первом совещании после присяги.

Но прежде всего важно нам, что решительное слово, с которого начались целенаправленные действия, произнесено было Трубецким. И в диктаторы привели его не только «густые эполеты» гвардейского полковника, но эта твердая позиция посреди всеобщей растерянности...

Между тем по городу пошли слухи о завещании императора Александра. Трубецкой и его товарищи прекрасно поняли,

что возможное отречение Константина и неизбежная в таком случае переприсяга принципиально изменят ситуацию.

В это же время в действие вступил человек, которому предстояло сыграть сильную и странную роль в надвигающихся событиях. Подполковник Батенков показывал: «Ноября 27-го поутру я разговаривал с лекарем Яроцким. Вдруг пришел зять Сперанского Багреев и, не вымолвив ни слова, залился слезами. Зная дня за два о болезни государя, я понял горестную новость и сказал, что тотчас к ним буду. Сперанского дома не было; мы разговаривали втроем с дочерью его и зятем о положении императрицы, о необыкновенности кончины государя вне столицы и о предстоящем трауре. Не дождавшись Сперанского, я поехал кататься, думал увидеться с Трубецким, которого главные здесь сношения полагал в гвардии, чтобы узнать ее расположение, но не решился. Вместо этого обратился к коллежскому советнику Погодину. Здесь узнал, что присяга принесена уже государю цесаревичу и что огласилось во дворце об отречении его, но государь Николай Павлович поспешил присягнуть сам. По стечению обстоятельств я в сие время читал две книги: 1. Господина Тъери о завоевании Англии норманнами. 2. Госпожи Сталь об Англии. Весь был налит тремя идеями: а) неблагорасположением к иностранцам, б) уважением к народным защитникам, в) уважением к собственной народоу жизни. Мне казалось постыдным пропустить сей день, не дав заметить, что у России есть уже желание свободы. Посему говорил слишком вольно, что Совет и Сенат спят и что если б они думали об отечестве, то могли б в ту самую минуту, как Николай Павлович присягнул цесаревичу, принять сие за отречение и, огласив Александра II, сделать потом, что признают за благо. Напитанный сими мыслями и досадою, что важный случай пропущен, я поехал к Прокофьеву (директору Российско-Американской компании, в дом, где жили Рылеев, А. Бестужев, Штейнгель.— Я. Г.), отправился к Штейнгелю побранить высшие сословия, а после к Рылееву, чтобы подстрекнуть и его; но сверх всякого чаяния заметил, что тут были люди, которые в самом деле готовы броситься к солдатам и провозгласить Елисавету или Александра II-го».

Этот «следственный монолог» — образец декабристской тактики на допросах: сказать много, не сказав главного.

А главное для Батенкова в тот день было все же свидание со Сперанским, о котором он сказал, не назвав имени своего патрона. Первый раз он, очевидно, действительно Сперанского не дождался. Это и неудивительно — Сперанский был на известном нам заседании Государственного совета, на котором он, судя по всему, не проронил ни слова, как, впрочем, и адмирал Мордвинов. Батенков вернулся в дом Сперанского после трех часов, и обидные слова его о том, что

совет и Сенат спят и не думают об отечестве, неизвестно к кому в показании обращенные, на самом деле обращены были к Сперанскому.

Барон Штейнгель живо и подробно описал визит к нему Батенкова: «27 ноября ввечеру господин Батенков приехал к господину Прокофьеву и, застав меня у него, после нескольких слов, в рассеянии произнесенных, сказал мне: «Пойдемте в вашу комнату, хотя трубку выкурить». Когда мы пришли ко мне (в мезонин), то сели вместе на мою кровать, и тогда с видом крайнего сердечного огорчения он начал мне говорить: «Я поссорился со своим стариком и наговорил ему Бог знает что. Как можно, упустили такой день, каковых едва ли во сто лет бывает один, и ничего не могли сделать для отечества. Теперь все пропало невозвратно; *все предприятия надобно выкинуть из головы*; кончено: Россия на сто лет должна остаться в рабстве». Я спросил: «Что же говорит Михаил Михайлович?» — «Что говорит! — отвечал он тем же тоном негодования, — говорит: «Я один, что ж мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить». Всего разговора нашего я никак не припомню, но эти слова врезались в моей памяти».

(Тут чрезвычайно важно, что Сперанский не отверг саму идею изменения формы правления, а только сослался на свое бессилие.)

У Батенкова, стало быть, с самого начала была идея изменения политического устройства акцией «высших сословий» — Государственного совета и Сената, провозглашения царствующей императрицей Елисаветы или же малолетнего Александра Николаевича. Но надежда на сановников была столь же иллюзорной, как и на добрую душу Константина...

День, как видим, прошел для будущих мятежников в выяснении обстановки и настроений, спорах и нащупывании позиций.

Если суммировать имеющиеся свидетельства, то оказывается, что вечером 27 ноября состоялось первое программное совещание у больного Рылеева. Были там Трубецкой, Оболенский, Александр и Николай Бестужевы, Штейнгель, Батенков и, соответственно, сам Рылеев. Совещание по значимости своей может сравниться только с совещаниями у того же Рылеева 12 и 13 декабря, ибо на нем было принято решение огромной принципиальной важности.

На следствии декабристы, естественно, старались дать комиссии как можно меньше конкретных сведений об этом вечере. Оно и понятно — степень их вины многократно усиливалась, если они задумали мятеж еще тогда, когда возможность переприсяги была вполне гипотетична, когда рано еще было ссылаться на нежелание солдат присягать Николаю — солдаты об этом не знали и не думали. Четко очертив круг замыслов вечера 27 ноября, они должны были признаться в

изначальном стремлении вмешаться в политическую жизнь государства, воспользовавшись династическим сбоем как поводом. А декабристы признавались в этом очень неохотно, и скудные признания, отдельные проговорки приходится собирать по огромному пространству следственных дел.

Рылеев показывал. «С известием о слухе, что государь цесаревич отрекается от престола, первый приехал ко мне Трубецкой,— и положено было воспользоваться сим непременно; если ж слух сей несправедлив, то выждать, что предпримут на Юге».

Но Батенков свидетельствует, что узнал об отречении Константина в середине дня 27 ноября.

Штейнгель говорит, что Рылеев вечером 27-го рассказал ему подробно о том, что произошло во дворце. Стало быть, и о завещании Александра.

О том, что неясно, кому надо присягать — Николаю или Константину,— сообщил в середине дня Якубович. Так утверждает Александр Бестужев.

Николай Бестужев показывал, что 27 ноября (а это могло быть только вечером) он встретился с Батенковым у Рылеева, «где весь разговор состоял о происшествиях во дворце и в Совете. В сем случае замечание Батенкова было, что *если бы в Совете нашелся хоть один решительный человек, то Россия присягнула бы государю и законам*». То есть речь шла опять-таки о незаконной присяге и отречении Константина.

Поскольку несомненно, что сведения о возможном отречении Константина были получены у Рылеева именно к вечеру 27 ноября, то особый смысл приобретает заявление Трубецкого, сделанное в этот день, «что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные».

На этом совещании, где присутствовали все главные деятели будущих событий, принято было два варианта возможных действий. Первый. если популярный в данный момент в гвардии Константин примет трон, законсервировать тайное общество и ждать лучших времен, набирая силы,— «действовать сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках». И второй: если Константин не примет трона и возникнет удобная для выступления ситуация, непременно ею воспользоваться. А пока готовиться.

Именно в тот вечер (а не утром, как ошибочно показал Рылеев) он предложил Оболенскому и Бестужевым избрать Трубецкого диктатором. В принципе это предложение было принято, но осуществлено позднее.

Растерянность лидеров тайного общества, охватившая их утром 27-го числа, к вечеру уже закончилась. Они выработали стратегический план действий и внутренне приготовились к различным вариантам. То ощущение крушения и безнадеж-

ности, которое возникло вечером 26-го и утром 27-го, к ним уже не вернулось.

Самым главным в совещании вечером 27 ноября было то, что участники его проявили безусловную готовность к действию при минимально благоприятных обстоятельствах.

Как мы увидим, тактические соображения и различие политических традиций скоро разделят этих людей. Столкновение их обернется трагедией для общего дела. Но пока они вместе — они решили действовать.

Трубецкой писал впоследствии. «Члены общества, решившие исполнить то, что почитали своим долгом, на что обрекли себя при вступлении в общество, не убоились позора. Они не имели в виду никаких для себя личных видов, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они все это предоставляли людям, не принадлежащим к их обществу, но таким, которых считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению, которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущем».

Он оказался пророком...

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. ПОСЛЕ 27 НОЯБРЯ

После сжатого, как пружина, перенасыщенного событиями и решениями дня присяги наступила некоторая пауза.

Николаю надо было срочно связаться с Варшавой, чтобы действовать сообразно с поступками нового императора — Константина I, а кроме того, подготовиться к возможной борьбе за власть в случае решительного отречения цесаревича.

На кого же мог опереться в эти дни Николай?

А. Е. Пресняков, специально занимавшийся этим вопросом, писал: «Только в придворных кругах были сторонники Николая. Тут многим было известно обещание Константина отречься от престола за разрешение ему жениться по собственному выбору, и это вполне соответствовало воззрениям придворной среды. Николай, женатый на прусской принцессе, входил всеми навыками и связями в тон и быт этого двора, налаженного императрицей-матерью на немецкий лад. При Николае, говорили тут, ничто не изменится, а с Константином, если он станет самодержцем, можно ожидать отмены дополнительного акта к закону о престолонаследии, и тогда русской императрицей станет «простая польская дво-

рянка» и окажется поставленной «выше княгинь из домов королевских». Придворная челядь всякого ранга видела в Николае опору привычных дворцовых традиций и всего, их создавшего, политического строя».

Пресняков совершенно прав. Поддержка Николая именно придворными кругами, не связанными с практическим управлением, то, что с именем Николая была сопряжена надежда на нерушимый статус кво — ложная стабильность, — и в первую очередь сохранение в силе Аракчеева, молчаливая оппозиция воцарению Николая деятелей реформистского толка — Сперанского и Мордвинова — все это крайне характерно.

Но в момент реальной борьбы за власть в деспотических системах решающую роль играет военная сила. Гвардия в лице Милорадовича и Воинова не допустила воцарения Николая 27 ноября. Только гвардия могла и в случае любого конфликта решить дело в его пользу.

На кого мог он опереться в гвардии?

Среди гвардейского генералитета у великого князя было мало друзей. Личными отношениями он был связан только с Бенкендорфом и Алексеем Орловым. Бенкендорф, храбрый кавалерийский генерал, прошедший наполеоновские войны, неоднократно награжденный за отличия, в 1825 году командовал гвардейской кирасирской дивизией, в которую входили из стоящих в столице полков — Конногвардейский и Кавалергардский.

Волконский писал о нем в воспоминаниях: «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с того времени были мы сперва знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смысленных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству...» Благородный и добрый Волконский писал о «чистой душе и светлом уме» молодого Бенкендорфа. Нам трудно сейчас сказать, насколько ошибался князь Сергей Григорьевич. Но ясно, что Бенкендорф был человеком неглупым и понимавшим неблагополучие в стране. Но он считал возможным поправить положение созданием добросовестной карательной организации, свободной от коррупции и тупости, а его друг, которого он будет допрашивать через пятнадцать лет как член Следственной комиссии, его друг считал, что страну надо спасать реформами, а не корпусом жандармов, как бы хорош субъективно ни был каждый из них. Бенкендорф хотел идти и пошел по одному из путей, указанных Петром Великим, — по пути усложнения аппарата контроля:

фискалы, обер-фискалы, гвардейские сержанты в роли личных эмиссаров, контролирующие фискалов... Бенкендорф хотел идти и пошел вместе с Николаем по пути наслоения все новых и новых бюрократических пластов, подавлявших своей тяжестью, разветвленностью и всепроникаемостью любую дворянскую оппозицию. А Волконский считал, что функции контроля и регуляции должны выполнять представительные учреждения, не эмиссары правительства, а эмиссары сословий...

Генерал Алексей Орлов, брат декабриста Михаила Орлова, поклонник и рыцарь великой княгини Александры Федоровны, командовал Конной гвардией. На этот полк Николай особенно рассчитывал.

Явным сторонником Николая был и генерал от кавалерии Василий Васильевич Левашов, командовавший лейб-гвардии Гусарским полком и 2-й бригадой легкой кавалерии, в которую кроме гусар входили конные егеря. Но гусары стояли в Павловске, а конные егеря — в Новгороде. Левашов, таким образом, был генералом без живой силы. Но, как рассказывает Розен, стоявший 6 декабря в карауле в Зимнем дворце, во время выхода к обеду Левашов «имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от великого князя Николая».

Оба личных друга Николая располагали кавалерийскими частями, а Левашов не располагал никем.

Но в случае вооруженного противостояния в городских условиях решающая роль принадлежала артиллерии и пехоте.

Гвардейской артиллерией командовал генерал Сухозанет. Пушкин писал о Сухозанете, что это «человек запятнанный, вышедший в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока». Сухозанет действительно много лет, в том числе почти всю войну 1812—1814 годов, состоял при начальнике артиллерии действующей армии князе Яшвиле и сделал под его покровительством незаурядную карьеру: в 1808 году поручик Сухозанет назначен адъютантом Яшвиля, а в 1812 году он уже генерал-майор. По своим замашкам Сухозанет был типичный арачсеевец. Он не пользовался уважением ни в годы войны, ни в бытность свою командующим гвардейской артиллерией. Князь Сергей Волконский в воспоминаниях рассказывает историю, характерную для взаимоотношений Сухозанета с сослуживцами во время заграничного похода:

«На бывшем в этот день разводе Фигнер (артиллерийский штаб-офицер.— Я. Г.), прибыв в главную квартиру, пришел на развод, не явясь предварительно к Сухозанету и, вероятно, с отступлением в форме обмундирования. Заносчивый Сухозанет напустился на него по окончании развода, вероятно, в выражениях грубых, но напал на человека, не выносящего этого, и за грубость получил от Фигнера грубость. Все это

происходило хотя не при главнокомандующем, который уже отошел с развода в свою квартиру со многими генералами и своим штабом, но в хвосте было много еще присутствующих на разводе, — и как брани этой не предвиделось конца и как, особенно, Сухозанет боялся, чтоб Фигнер не ударил его в щеку, то принялся довольно скоро уходить, чтобы найти убежище в квартире главнокомандующего; но Фигнер за ним вслед и пинками сзади проводил до самого входа в квартиру главнокомандующего». Сухозанет не только не вызвал Фигнера на дуэль, но даже не решился дать официальный ход этому позорному делу.

Случай этот обнаруживает как средства, которыми русские офицеры вынуждены были отстаивать свое личное достоинство, так и свойства характера будущего соратника Николая по 14 декабря. Конечно же Сухозанету должны были импонировать взгляды и стиль великого князя Николая Павловича.

Но беда была в том, что Сухозанет совершенно не пользовался любовью в гвардейской артиллерии, а Бенкендорф и Орлов, как показали обстоятельства, имели весьма ограниченное влияние на свои полки. И в кризисной ситуации, если бы Николаю пришлось отстаивать свои права от посягательств легальных сторонников Константина, то есть когда одного приказа было бы мало, рассчитывать всерьез на артиллерию он не мог бы. Влияние Милорадовича и Бистрома было неизмеримо сильнее в гвардии.

Но была одна гвардейская часть, в преданности которой Николай не сомневался, — лейб-гвардии Саперный батальон, командовал которым полковник Геруа.

Лейб-гвардии Саперный батальон сформирован был в декабре 1812 года из лучших солдат, унтер-офицеров и офицеров инженерных частей русской армии. Численность его была доведена до тысячи человек.

В 1817 году Николай, назначенный генерал-инспектором по инженерной части, стал шефом гвардейских саперов. А когда в 1818 году он получил в командование 2-ю бригаду 1-й гвардейской дивизии, в которую входили Измайловский полк, Егерский полк и Гвардейский морской экипаж, то по его специальной просьбе Саперный батальон тоже включили в эту бригаду.

Николай всячески заботился о саперах и старался привязать их к себе, следя за условиями их жизни и время от времени приказывая раздавать от его имени деньги и водку. Обучение батальона — как профессиональное, так и общебоевое — проходило под его постоянным надзором. Очевидно, благоволя к саперам, великий князь реже оборачивался к ним худшими сторонами своей натуры.

Полковник Геруа командовал Саперным батальоном мно-

го лет, был лично с ним связан, и когда Николай находился в отъездах, то Геруа регулярно писал ему письма-отчеты о жизни батальона.

17 февраля 1824 года лейб-гвардии Саперный батальон получил знамя. Это была большая честь и исключение из правил. Ни одна из инженерных частей в русской армии знамени не имела.

Николай, очевидно, не просто любил инженерное дело и потому так пестовал саперов, а хотел иметь свою, лично себе преданную боевую единицу. С молодым Саперным батальоном этого было легче достичь. И Николай вполне преуспел — отлично обученный батальон был предан своему шефу.

Но тысяча даже таких вымуштрованных солдат, какими были гвардейские саперы, не могла, разумеется, перевесить остальную гвардию.

У Николая не было реальной возможности настоять на своих правах.

Генералитет, группировавшийся вокруг Милорадовича и Бистрома, явно склонен был не допустить его воцарения, если будут какие-либо иные варианты.

В гвардейской среде, которая решала все, Николай со своими претензиями на власть был достаточно одинок.

Теперь многое зависело не просто от ответа Константина, но и от формы этого ответа.

ВАРШАВА. 25 НОЯБРЯ

19 ноября в резиденцию цесаревича Константина прибыл курьер из Таганрога от генерала Дибича. Он привез известие о тяжелой болезни императора. Когда Константин, уединившись в своем кабинете, читал письмо начальника Главного штаба, император был уже мертв.

Константин ничего никому не сказал, кроме близкого к нему генерала Куруты, на имя которого и пришел пакет Дибича.

Через шесть тревожных дней — 25 ноября, в 7 часов вечера, когда в Петербурге Николай, узнав от Милорадовича о болезни Александра, мчался в Зимний дворец, — Константин получил известие о смерти императора.

То, что произошло в этот вечер в Петербурге и Варшаве, по своей парадоксальности и нелепости, пожалуй, не имеет аналогов. Если в Петербурге генеральские верхи отодвинули от трона «законного» наследника, то в Варшаве генералы и высшие сановники стали упорно навязывать трон яростно сопротивляющемуся Константину. В первые минуты это приняло анекдотические формы.

Великому князю Михаилу Павловичу, гостившему в эти дни в Варшаве, Константин сказал: «Моя воля отречься от престола более, нежели когда-либо, непреложна!» Но первый же крупный сановник, которому он сообщил о случившемся, сенатор Новосильцев, стал упорно называть его «ваше величество», пока Константин не впал в ярость.

Как говорили, в более узком кругу цесаревич сказал: «Что они, дурачье (непечатное причастие), вербовать, что ли, вздумали в цари!»

Публичное объявление о смерти Александра превратилось в нечто еще более странное.

Плачущий Константин обратился к собравшимся придворным: «Наш ангел отлетел, я потерял в нем друга, благодетеля, а Россия — отца своего... Кто нас поведет теперь к победам, где наш вождь? Россия осиротела, Россия пропала!»

«Затем,— как рассказывал очевидец,— закрыв лицо платком, Константин Павлович предался на несколько минут величайшему горю».

Но тут адъютант цесаревича Павел Колзаков, не знавший об отречении и недоумевающий, отчего никто не приветствует нового императора, сказал: «Ваше императорское величество, Россия не пропала, а приветствует...»

То, что произошло дальше, сильно нарушило траурную атмосферу. «...Не успел он закончить свою фразу, как великий князь, весь вспыхнув, бросился на него и, схватив его за грудь, с гневом вскрикнул: «Да замолчите ли вы! Как вы осмелились выговорить эти слова, кто дал вам право предрешать дела, до вас не касающиеся? Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибирь и в кандалы сажают? Извольте идти сейчас под арест и отдайте вашу шпагу!» Сцена получилась истинно павловская.

Ошеломленный Колзаков отправился под арест, ожидая дальнейших последствий. Но последствия оказались неожиданными, превратившими гнев великого князя в фарс.

Когда к Колзакову, сидевшему под арестом, пришел генерал Курута, то растерянный адъютант попытался объяснить свое поведение: «Да помилуйте, Дмитрий Дмитриевич, я ждал, чтобы кто-нибудь из вас его приветствовал как государя, но все молчали; наконец, мне больно было видеть его отчаяние и грусть, я хотел отвлечь его на время от его горести, ободрить его тем, что Россия не пропала».

На что циничный Курута ответил со своим пришепетыванием: «Да какое вам, мон сер, дело до этого?.. Россия пропала, ну, Христос с ней, пропала!.. на словах все можно сказать, но к чему тут было возразить!» После чего Колзаков получил обратно шпагу и был освобожден.

На словах действительно все можно было сказать. Но за всеми этими чертами явного наигрыша скрывалась острая тревога.

И в тот же вечер великому князю пришлось столкнуться с совершенно непредсказуемой ситуацией.

Михаил Фонвизин вспоминал: «Мне рассказывал покойный М. С. Лунин, бывший очевидцем, следующее обстоятельство: в Варшаве, когда великий князь Константин получил известие о смерти императора Александра, он, верный своему отречению, намеревался на другой день собрать полки Литовского корпуса, гвардейские и армейские, бывшие тогда в Варшаве, чтобы привести к присяге императору Николаю. Начальники этих войск, любимцы великого князя, никак не хотели допустить того, желая видеть его самого императором, чтобы пользоваться его милостями и благоволением. Накануне принесения присяги все эти господа собрались у больного генерала Альбрехта и приняли единогласно решительное намерение заставить все полки вместо Николая присягнуть Константину и насильно возвести его на трон. На это дал согласие и действительный тайный советник Новосильцев, который тогда заведовал высшей администрацией Царства. Но бывший в собрании русских генералов граф Красинский тайно предупредил цесаревича об этом намерении и помешал приведению его в исполнение. Сам великий князь на другой день лично приводил к присяге Николаю все полки. А без этого план генералов непременно бы состоялся. М. С. Лунин сам присутствовал при этом совещании».

Стало быть, варшавский генералитет собирался сделать то, что сделала в Петербурге группировка Милорадовича, — навязать свою волю кандидату на престол.

И крайне значимо здесь имя Новосильцева. Некогда один из «молодых друзей» Александра, человек с конституционными идеями, Новосильцев не отказался и в более поздние времена от идей своей молодости. В варшавской канцелярии разрабатывались под его руководством конституционные проекты. И если действительный тайный советник Новосильцев рискнул поддержать план «государственного переворота», план, чреватый в случае неудачи крупными неприятностями, то можно предположить, что он рассчитывал встретить в императоре Константине больше сочувствия своим политическим замыслам, чем в императоре Николае.

Но — в отличие от столичного — варшавский вариант не удался. Константин привел Польшу к присяге Николаю и сообщил ему об этом. Николай в это время уже привел к присяге Константину гвардию и правительственные учреждения.

Все, что произошло в России 25—27 ноября 1825 года, могло произойти только в государстве с разбалансированной политической системой, государстве, правители которого находились в состоянии страха и неуверенности, государстве, в котором законность не гарантировала спокойную смену власти, — короче говоря, в государстве, охваченном политическим и социальным кризисом.

Лишь сравнительно небольшая группа дворян ясно понимала это и руководствовалась в своих действиях долгосрочными интересами страны.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕ 27 НОЯБРЯ

После 27 ноября наступили смутные дни. Вожди общества знали, что ведутся какие-то переговоры между Николаем и Константином. Но к чему все это приведет, трудно было предполагать с определенностью. Предпринимать что-либо конкретное в этом положении было невозможно. Только в первый вечер после присяги Константину была сделана пробная попытка массовой агитации.

Николай Бестужев вспоминал:

«Когда мы остались трое: Рылеев, брат мой Александр и я, то после многих намерений положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решили все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба.

Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным комитету.

Нельзя представить жадности, с какой слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом».

Сообщение Николая Александровича Бестужева интересно и важно, во-первых, для фактической стороны дела, во-вторых, для понимания особенностей механизма мемуаротворчества.

Во время следствия, 26 апреля 1826 года, Н. Бестужеву был задан вопрос: «...Торсон показывает, что вы говорили ему, что вместе с Рылеевым однажды вечером внушали солдатам не присягать его императорскому величеству Николаю Павловичу и выходить на Петровскую площадь. Объясните, действительно ли это было?»

Н. Бестужев отвечал: «...Это правда, что я говорил ему, что в день присяги цесаревичу, когда я был у Рылеева ввечеру, то брат мой Александр пошел меня провожать, и мы, остановив человек двух солдат на улице, хотели узнать их расположение и о внезапной перемене правления, и потому я говорил им: «Знаете ли, братцы, что мы присягнули цесаре-

вичу, а в Сенате было завещание покойного государя, в котором Бог знает что было написано, и нам его не объявили», — но их обыкновенный солдатский ответ был: «Не можем знать, ваше благородие». Итак, Торсон ошибается, смешивая Рылеева с братом; уговаривать же их мы не могли, чтоб они не присягали императору Николаю Павловичу, потому что и сами не знали тогда, будем ли ему присягать; после же Рылеев слег на другой день в постель, а я не имел случая с братом ходить по вечерам...»

Это было уже в конце следствия, Н. Бестужев знал, что показания его легко проверить, и потому — в общих чертах — говорил правду. Но если помнить его обычную хладнокровную сдержанность и точный расчет в ответах следователям, то можно заключить, что истина лежит посредине между мемуарами и показаниями. Очевидно, Бестужевы действительно ходили вдвоем по городу один раз, но реакция солдат была более «жадной», чем Николай Александрович показал перед комитетом. Естественно, что солдаты отвечали знакомым офицерам: «Не можем знать», но само сообщение должно было их волновать.

Агитация же прекратилась, разумеется, не оттого, что у Бестужевых не было случая прогуляться по городу, а потому, что идея «утаенного завещания» могла быть актуальна только в особенной ситуации. Для того чтобы поднять войска, обществу нужны были строевые офицеры. Вовлечь строевых офицеров разговорами об «утаенном завещании» было невозможно. Для действенной агитации требовалась другая основа. В первые дни после 27 ноября ее не было.

Мотив «утаенного завещания» снова возник в агитации декабристов уже 14 декабря, в совершенно новых обстоятельствах.

Пока что оставалось — ждать.

Увлечь полки конституционными и антикрепостническими лозунгами в тот период никто бы не смог. Эти стратегические лозунги способны были зажечь молодых офицеров. Но в смутные дни конца ноября — начала декабря 1825 года офицеров надо было ориентировать не на долгосрочную деятельность по воспитанию солдат в революционном духе, а на скорое — возможно, через несколько суток — выступление. Для этого им нужно было предложить безошибочные тактические лозунги.

В самом начале декабря Батенков заехал к Рылееву. «Не помню уж, кого тут нашел, ибо все мое внимание обратилось на морского офицера, который говорил с большой самонадеянностью явные несообразности. (Это был лейтенант Арбузов.— Я. Г.) Например, что ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно «закон» и ежели пронести сию книгу по полкам, то все сделать можно, чего бы ни захотели, и

тому подобное. После начали говорить о том, где должен быть подлинный акт отречения цесаревича, и полагали оный либо в Совете, либо отправленный к его высочеству. «Надобно достать его, непременно достать», — кричал сей офицер; а как другой кто-то принял в том участие и, казалось, тотчас готовы были без дальних рассуждений бежать, сами не зная куда, то сие действительно меня удивило».

Оценочная окраска этого свидетельства в значительной степени вызвана была ситуацией проигранного восстания. Но Батенков точно передает нервную, беспокойную энергию молодых гвардейцев, внезапно попавших в историческую паузу. Они искали варианты немедленного действия — и не находили их.

Когда лидерам общества стали известны после присяги Константину разговоры о правах Николая, мысль о возникновении ситуации, идеально подходящей для попытки переворота, сразу пришла им в головы. Но проходил день, другой, третий — на витринах появились портреты курносого человека с подписью: «Император Константин I». Начата была чеканка константиновских рублей.

Вожди общества в разговорах возвращались к проекту 26 ноября. Трубецкой рассказывал на следствии: «Через несколько дней после того, как дана была присяга государю цесаревичу и когда еще не говорили, что отречется его высочество от данной ему присяги, я говорил Рылееву, что существование общества в царствование государя цесаревича будет опасно, с чем Рылеев был согласен, и мы положили с ним, что надобно непременно общество уничтожить».

Оболенский говорил нечто похожее: «В один из близких ему вечеров Трубецкой, я и Рылеев, находясь одни в комнате (сколько я помню) и разговорясь о предмете, столь близком нам, князь Трубецкой утверждал, что император будет из Варшавы непременно и примет престол, и в то время предложил нам, в сем последнем случае, совершенно разрушить общество, объявить всем членам, что оно уже не существует; а самим, оставшись между собой друзьями, действовать каждому отдельно, сообразно правил наших и чувствований сердца».

Однако показание Рылеева об этом разговоре, подтверждая внешний рисунок, по сути дела существенно корректирует его содержание: «...положили в случае принятия короны государем цесаревичем объявить общество уничтоженным и действовать сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках. Это было мнение Трубецкого; причем я сказал, что в таком случае полезно будет обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию».

Во-первых, речь, стало быть, шла не о действительном уничтожении тайного общества, а о более глубоком уровне

конспирации. Это был тот же прием, который применили лидеры «Союза благоденствия» в 1821 году. Недаром предложен он был одним из руководителей «Союза...», ветераном движения Трубецким.

Во-вторых, существенно, что эта основополагающая на данном этапе идея предложена была именно Трубецким, что свидетельствует о его постоянной инициативе.

В-третьих, знаменательна мысль Рыльева о недопустимости оттока радикальных сил из гвардии в армию. И в первой трети XIX века ударной силой возможных перемен представители дворянского авангарда считали гвардию.

(Но Трубецкой, Оболенский и Рылеев не знали, что тайные общества уже преданы, что в то время, когда они обсуждают свой проект усиленной конспирации, генерал Дибич в Таганроге делает для великого князя Николая подробный свод трех доносов и что в этом своде среди прочих стоит и имя Рыльева. Они еще не знали, что у тайного общества не было иной перспективы, кроме близкого восстания или столь же близкой, но бесславной гибели.)

Но даже в этот смутный промежуток — с 28 ноября по 5 декабря — они отнюдь не ограничивались обсуждением возможной консервации общества и легальных путей продвижения наверх, к реальной власти в гвардии.

«В то же время, — показывал Оболенский именно об этих днях, — сделал я вопрос князю Трубецкому: «Если же император откажется, — в таком случае что делать?» На сие князь Трубецкой отвечал мне, что в сем случае мы не можем никакой отговорки принести Обществу, избравшему нас, и мы должны все способы употребить для достижения цели Общества. Я и Рылеев согласились с мнением князя Трубецкого. Прочие члены Общества были уже известны об сем намерении и готовились каждый в своем круге действовать сообразно с целию Общества».

Эти несколько смутных дней были особым периодом междуцарствия. Но они не пропали даром. Мало заметная, но напряженная работа шла внутри тайного общества и на его периферии — лидеры привыкали к мысли о возможном выступлении, присматривались к людям, которых можно было привлечь в случае надобности, испытывали решимость молодых членов общества.

В квартире больного Рыльева кроме Трубецкого, Оболенского, Бестужевых, Батенкова, Штейнгеля, Якубовича, Каховского стали появляться поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Александр Сутгоф и лейтенант Гвардейского морского экипажа Антон Арбузов.

Постепенно вырисовывался круг людей, готовых действовать в соответствующих обстоятельствах. Но возникнут ли эти обстоятельства — было неясно.

ПЕТЕРБУРГ—ВАРШАВА. ПОСЛЕ 27 НОЯБРЯ

27 ноября, сразу после присяги, Николай послал в Варшаву письмо:

«Дорогой Константин! Предстаю пред моим государем, с присягою, которой я ему обязан и которую уже принес ему, так же, как и все, меня окружающие, в церкви, в тот самый момент, когда обрушилось на нас самое ужасное из всех несчастий. Как состражду я вам! Как несчастны мы все! Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних!

Ваш брат, ваш верный на жизнь и на смерть

подданный

Николай».

А в это время великий князь Михаил Павлович, гостивший в Варшаве, уже сутки как мчался в Петербург, везя Николаю письмо от Константина, где были такие слова: «Перехожу к делу и сообщаю вам, что согласно повелению нашего покойного государя я послал матушке письмо с изложением моей непреложной воли, заранее одобренной как покойным императором, так и матушкой».

К этому письму были приложены два послания императрице Марии Федоровне и Николаю, где более официальным тоном сообщалось о том, что он, Константин, уступает своему брату «право на наследие императорского всероссийского престола».

Великий князь Михаил, понимая драматичность момента, двигался по осеннему бездорожью с немалой скоростью и, выехав из Варшавы 26 ноября, был в столице 3 декабря.

Его приезд вызвал возбуждение и недоумение во дворце. Приехав и повидавшись с матерью и братом, Михаил отслужил панихиду по Александру, но не присягал Константину. Это наводило на размышления.

Михаил вспоминал об этих днях:

«Михаил Павлович (он писал о себе в третьем лице.— Я. Г.), поставленный, таким образом, стечением обстоятельств в совершенно ложное положение, со своей стороны тоже томился мрачными предчувствиями. В день своего приезда он обедал с братом у императрицы... После обеда братья остались одни.

— Зачем ты все это сделал,— сказал Михаил Павлович,— когда тебе известны акты покойного государя и отречение цесаревича? Что теперь будет при повторной присяге в отмену прежней, и как Бог поможет все это кончить?

Объяснив причины своих действий, брат его отвечал, что едва ли есть повод тревожиться, когда первая присяга совершена с такою покорностью и так спокойно».

Михаил, как видим, не раскрыл того, что сказал ему Николай в объяснение своей присяги. Но недалеко в тексте есть многозначительные слова о «с.-петербургском военном генерал-губернаторе Милорадовиче, который в эти дни везде и почти неотлучно находился при великом князе Николае Павловиче». Очевидно, Михаилу известна была истинная роль Милорадовича в событиях 25—27 ноября. Однако он считал, что Николай напрасно поддавался давлению и что теперь положение стало еще рискованнее. И в ответ на самоуспокоительные рассуждения Николая о гладкости первой присяги он возражал достаточно веско. «Нет,— возразил Михаил Павлович,— это совсем другое дело: все знают, что брат Константин остался между нами старший; народ всякий день слышал в церквах его имя первым, вслед за государем и императрицами, и еще с титулом цесаревича; все давно привыкли считать его законным наследником, и потому вступление его на престол показалось вещью очень естественною. Когда производят штабс-капитана в капитаны, это — в порядке, и никого не дивит; но совсем иное дело — перешагнуть через чин и произвести в капитаны поручика. Как тут растолковать каждому в народе и в войске эти домашние сделки и почему сделалось так, а не иначе?»

Но Николай и сам понимал двусмысленность и рискованность положения. И если вступление его на престол после смерти Александра, узаконенное официальными актами, могло, по мнению генералов, вызвать гвардейский бунт, то как же увеличилась опасность теперь, после присяги Константину, которую приходилось отменять! Потому те полуофициальные, полуличные письма, которые прислал Константин, справедливо казались Николаю совершенно недостаточными, чтобы приступить к переприсяге с надеждой на благополучный исход.

Если Константин, сидя в Варшаве, уверен был, что в случае воцарения его «задушат, как удушили отца», то и Николай, окруженный в Петербурге неприязненными генералами и озлобленной гвардией, ожидал любых эксцессов. В воспоминаниях он написал об этом с полной откровенностью:

«Матушка заперлась с Михаилом Павловичем (после его прибытия из Варшавы.— Я. Г.), я ожидал в другом покое — и точно ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала:

— Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон.

Признаюсь, мне слова сии тяжело было слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на

сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желанием, — или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время, в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче.

Я отвечал матушке:

— Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того, кто отказывается от трона, или того, кто принимает его при подобных обстоятельствах».

Николай трезво оценивал обстановку. А ведь он ничего еще не знал о заговоре, о тайных обществах. Но он хотел, если уж ему суждено рискнуть головой, принимая престол, свети этот риск до минимума.

У него была определенная идея — он хотел, чтоб Константин признал себя императором, в этом качестве издал манифест об отречении и провозгласил его, Николая, наследником. А еще лучше, чтоб сделал это лично, приехав в Петербург. Тогда, как справедливо считал Николай, «семейное дело», «домашняя сделка», вызывавшая естественное негодование, станет делом государственным.

А царевич, осаждаемый просьбами принять престол, пребывал в состоянии злом и раздраженном. Одному из петербургских посланцев, в прошлом известному игроку с дурной репутацией, он сказал: «Зачем вы приехали? Я давно уже не играю в пикет!»

В Варшаву были посланы курьеры с соответствующими письмами, а затем отправился туда и Михаил Павлович. Но, выехав 5 декабря, он встретил к вечеру того же дня Лазарева, адъютанта Николая, который послан был к Константину с извещением о присяге и теперь вез в Петербург резкий отказ цесаревича. Отказ этот выглядел так: «Ваш адъютант, любезный Николай, по прибытии сюда, вручил мне в точности ваше письмо. Я прочел его с живейшей горестью и печалью. Мое решение — непоколебимо и одобрено моим покойным благодетелем, государем и повелителем. Приглашение ваше приехать скорее к вам не может быть принято мною, и я объявляю вам, что я удалюсь еще далее, если все не устроится сообразно воле покойного нашего императора».

Это раздраженное письмо еще менее предыдущих годилось для оправдания переприсяги.

Михаил Павлович решил остаться на станции Ненналь, в трехстах верстах от столицы, и здесь ждать дальнейших собы-

тий, контролируя всю официальную переписку между Петербургом и Варшавой. Для этой цели он снабжен был специальным письмом императрицы Марии Федоровны, которая оказалась теперь арбитром в деле престолонаследия: «Предъявитель сего открытого предписания его императорское высочество государь великий князь Михаил Павлович, любезнейший мой сын, уполномочен мной принимать моим именем и распечатывать все письма, пакеты и прочее от государя императора Константина Павловича, ко мне адресованные». Предписание было собственноручно подписано.

Поскольку все важные депеши в Петербург шли или на ее имя, или на два имени — ее и Николая, то Михаил получил возможность быть целиком в курсе династической тяжбы.

Николай, таким образом, после 5 декабря оказался совершенно отодвинутым от активных действий. В столице его постоянно контролировал Милорадович, а на тракте в Варшаву сидел Михаил Павлович, распечатывавший пакеты и наделенный правом задерживать и оставлять при себе курьеров.

Судя по тому, что вдовствующая императрица в открытом официальном документе назвала Константина государем императором, она вовсе не была уверена в окончательности его отречения...

После таинственного приезда и странного отъезда великого князя Михаила напряжение в Петербурге резко пошло вверх. То, что российской короной играли как семейной реликвией, свидетельствовало о глубоком несовершенстве правительственной системы и династических принципов.

Ощущение неблагополучия и чувство обиды постепенно овладевали гвардейскими солдатами и офицерами.

СИЛА КРАЙНОСТЕЙ

В один из дней смутного периода, когда перспектива была неясна, к Рылееву, у которого находился Николай Бестужев, пришел Каховский.

Николай Бестужев показывал на следствии: «Дня за два или за три (не упомяну) до 1-го декабря, когда я сидел у Рылеева один, вошел к нему Каховский и спросил Рылеева: «Правда ли, что положено Обществу разойтись?» — и когда Рылеев отвечал утвердительно, Каховский с сердцем сказал: «Не довольно того, что вы удержали человека от его намерения, вы не хотите и продолжать цели своей; я говорю вам, господа, что ежели вы не будете действовать, то я донесу на вас правительству. Я готов собою жертвовать, назначьте, кого должно поразить, и я поражу; теперь же все в недоумении, все общество в брожении; достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться в на-

шу сторону». Рылеев возразил ему на это, что напрасно он сделался членом и обещал безусловное повиновение Обществу, ежели он так безрассудно продолжает говорить о своем намерении; что ежели и сбудется преднамереваемое обществом, то участь царской фамилии будет зависеть от общего голоса всех чинов (сословий.— Я. Г.)... и что его обязанность слепо действовать как ему прикажут. Я, со своей стороны, подтвердил слова Рылеева, говоря, что цель Общества в преобразовании правительства заключается не в убийствах и что Обществу совсем не то нужно, чтобы кого-нибудь убить, но чтобы в России были законы, а к этому можно при этих обстоятельствах дойти и не по кровавому пути. На что Каховский, успокоясь, сказал: «Смотрите, господа! претенденты на самодержавие всегда вредили намерениям конституции; чтоб вам не раскаиваться».

Бестужев явно обманывал следователей,— за два или три дня до восстания вопрос о роспуске тайного общества уже не стоял, шла интенсивная подготовка к выступлению. И в этой новой ситуации Рылеев не только не возражал против царубийства, но настаивал на нем. Этот разговор мог состояться только до 6 декабря. Но дело не в этом, а в необычайной смысловой насыщенности разговора.

Когда мы говорим «декабристы», то мы покрываем этим термином широчайший спектр не только политических доктрин и практических позиций, но и не совместимых в обычном быту человеческих личностей.

Николай Бестужев и Петр Каховский, встретившиеся в квартире Рылеева, являли собой крайние точки Северного общества в декабрьские дни 1825 года.

У каждого из арестованных после восстания спрашивали: «Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?»

Николай Бестужев ответил: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжение 5 месяцев, когда там устанавливалось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских; после того двукратное посещение Франции, вояж в Англию и Испанию утвердили сей образ мыслей. Первая же книга, развернувшая во мне желание конституции в моем отечестве, была: «О конституции Англии», не помню, чьего сочинения, переведенная на русский язык (кажется, в 1805 году г. Татищевым) и посвященная покойному императору Александру Павловичу. Впрочем, все происшествия последнего времени во всей Европе, все иностранные журналы, современные истории и записки и даже русские журналы и газеты открывали внимательному читателю пользу постановления законов».

Каховский на тот же вопрос отвечал: «Мысли формируются с годами; определенно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства изучая историю греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние пере-

вороты в правлениях Европы сильно на меня действовали. Наконец всего того, что было известным в свете по части политической, дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границую, я имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдения и книги были мои учителя».

Почти все совпадает — заграничные впечатления, чтение политической литературы, европейские революции последних лет. Все, кроме исходной точки.

Бестужев начал свое развитие с трезвых наблюдений над политической практикой современной ему Европы и России.

Каховский — «с детства... был воспламенен героями древности». Он примерял к действительности тираноборческий эталон русского классицизма и рылеевского романтизма. (Он и принят был в общество Рылеевым.)

Оба они были людьми полного и твердого бескорыстия. Но Бестужев готов был подчиниться дисциплине тайного общества в критические моменты, а Каховский непрерывно бунтовал.

Для Бестужева как постепенная работа для реформирования страны, так и революция были серьезным и основательным делом.

Для Каховского это было мгновенным подвигом, не терпящим отлагательств.

Каховский показывал: «Личного намерения (то есть корыстных интересов.— Я. Г.) я не имел, все желания мои относились к отечеству моему. Положение государства меня приводило в трепет: финансы расстроенные, отсутствие справедливости в судах, корыстолюбие употребляемых, уничтожение внешней коммерции — все сие предшествовало в глазах моих полному разрушению. Одно спасение полагал я в составлении законов и принятии оных неколебимым вождем, ограждающих собственность и лицо каждого». Все это мог бы сказать Николай Бестужев, кроме одного — слов о «неколебимом вожде». Каховскому нужен был герой. Он примерял на себя тогу Брута, как Якубович — байронический плащ. (Для Якубовича и Брут задрапирован был в этот плащ.)

Но Якубович толковал о романтической мести за обиду, а Каховский готовился принести себя в жертву ради общего блага — без примеси личных видов.

И, однако, именно обида сформировала нервную, страстную, неуравновешенную, уязвленную, жаждущую подвига и гибели натуру Каховского.

Якубович, как мы знаем, мистифицируя вождей тайного общества, готовился к продолжению службы в гвардии и кавказской карьере.

Каховский не видел для себя будущего и готовился к скорой и громкой гибели.

Якубович играл в трагедию. Каховский жил трагедией.

Он был удивительно неудачлив — он пережил крушение военной карьеры, он пережил крушение великой любви, он был беден. Этот страстный и гордый неудачник умел увидеть несчастье и неудачу своей страны. Обида за свое несчастье слилась в нем с обидой за несчастье своей страны, и этот сплав породил единственную в своем роде личность.

Якубович мог отказаться от разговоров о цареубийстве, надеть лейб-уланский мундир и забыть о своем демоническом революционизме.

Рылеев и Бестужев не могли отказаться от своей деятельности революционеров-реформаторов, наполнявшей их жизнь высоким смыслом. Но они могли приостановить действия тайного общества, избрать на время иной путь борьбы, отложить попытку переворота.

Каховский в 1825 году ничего откладывать не мог. И не мог ждать. Отсюда и его вспышка при известии о роспуске общества. Отсюда его крайний радикализм. Для Каховского не существовало обстоятельств, ибо он жил в пространстве свершающейся трагедии.

Николай Бестужев и Каховский были полюсами активного слоя тайного общества. Но это не значит, что один был полезен, а другой вреден обществу — в любом порядке. Две эти крайности и делала в тот момент тайное общество жизнеспособным — способным на резкое и в то же время основательное действие.

Рылеев находился посредине между этими полюсами. Иначе он не мог бы стать политическим вождем и двигателем организации.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕ 6 ДЕКАБРЯ

6 декабря в Петербург прискакал Лазарев с известным нам письмом Константина. Если загадочное молчание великого князя Михаила усугубляло недоумение и порождало новые толки, то слухи о результатах миссии Лазарева несколько прояснили положение.

Трубецкой, осведомленный по своим высоким и обширным связям более других, показывал: «...слухи о прибывающих курьерах весьма скоро в городе распространялись; и как решение государя цесаревича на посланную его высочеству присягу было тогда повсеместным предметом разговоров и различных догадок, то и о курьерах и привозимых ими известиях верные и неверные слухи я слышал в разных домах и от разных лиц. Так, например: говорили в городе, что будто бы воротились Лазарев, Сабуров и Никитин, которые были посланы в Варшаву, и будто им не велено показываться.

Слышал я еще, будто бы еще государь император получил от государя цесаревича письмо с надписью «его императорскому величеству»... Сей же слух подтвердил мне австрийский посланник граф Лебцельтерн, который говорил, что он слышал, что еще в самых первых днях письмо с означенною надписью было прислано государю императору от государя цесаревича; но я сему не верил...»

У декабристов на следствии был такой распространенный прием — сообщать факты, которых требуют следователи, но окрашивать их соответствующим отношением. Именно это делает здесь Трубецкой — он представляет сбор важнейших сведений случайными разговорами, которым он не придавал значения. Между тем он был осведомлен очень надежно, ибо информаторами его были сановники весьма высокого ранга — сенаторы, придворные, дипломаты.

Лазарев, как мы знаем, приехал 6 декабря. С этого времени лидерам тайного общества стало ясно, что желаемая ситуация приближается почти наверняка.

Александр Бестужев, демонстрировавший прекрасную память на даты и детали, показал: «После 6-го декабря стали уже в городе носиться слухи, что цесаревич отказывается от короны, тогда князь Трубецкой и Рылеев, а потом Оболенский, я, Арбузов и Одоевский, Штейнгель и Якубович стали говорить, что сим надо воспользоваться, что солдаты не расположены к Николаю Павловичу, а цесаревича любят, и что никогда не представится для России благоприятнейшего случая отыскать права, коими пользуются другие нации. С 9-го числа стали собирать членов и вербовать единомышленников в полках».

Необыкновенная по своей интенсивности деятельность началась, очевидно, и в самом деле с 9 декабря, когда предположение об отказе Константина перешло в уверенность. Но два дня между 6-м и 9-м числом заполнены были сбором сведений, разговорами с офицерами и первоначальными прикидками конкретного плана переворота. Но как бы то ни было — восстание 14 декабря организовано всего за пять-шесть дней!

Если до 6 декабря члены тайного общества навещали больного Рылеева без определенной системы, то после этого дня начались регулярные целенаправленные совещания. Их обычными участниками были — кроме хозяина дома — Трубецкой, Оболенский, Александр Бестужев, Одоевский, Арбузов, Каховский, Якубович, Сутгоф.

Александр Бестужев, с присущей ему живописностью, изобразил общую атмосферу этих первых совещаний: «У Рылеева уже собирались члены и новобранцы с известиями, что полки хотят стоять грудью за Константина и не присягать ныне царствующему императору. Якубович сказал, что когда

он графу Милорадовичу сказал, что он не присягнет иному, откуда Константин Павлович лично не придет отказаться,— тот взял его за руку и произнес: «Поверьте, вы не один так думаете». Оболенский говорил, что генерал Бистром сначала сказал ему, что он, кроме Константина, никому не присягнет. Якубович обещал увлечь Измайловский полк, а мы, признаемся, полагали на его красноречие и фигуру большую надежду...»

Казалось, все складывается благоприятно. Надо было определить свои силы и выработать план действий. Надо было найти способы использовать настроения гвардии.

ГЕНЕРАЛЫ

Однако дело было не только в гвардии. Общая атмосфера в столице — атмосфера неопределенности, неустойчивости, недовольства и страха, то есть кризиса верхов,— складывалась из нескольких компонентов. Первый — растерянность и страх великих князей. Константин не только ни за что не желает потратить неделю на дорогу в Петербург, но и отказывается прислать манифест об отречении. Николай, законный наследник, человек вовсе не робкий, не находит в себе силы противостоять угрозам генерал-губернатора. Тот же Рафаил Зотов, который записал разговор Милорадовича с Шаховским о присяге Константину, сохранил и другой вариант этого разговора, еще более ясно характеризующий поведение наследника престола и генерала.

«Я сидел у Шаховского...— рассказывает Зотов.— Вдруг в комнату вошел граф Милорадович. Он был во всех орденах и приехал прямо из дворца. Рассказ его о случившемся там был вполне исторический.

Рассказав о привезенном известии о кончине Александра I, он — как главнокомандующий столицей и начальник всего гвардейского корпуса — обратился к великим князьям Николаю и Михаилу (ошибка Зотова: Михаил был в Варшаве.— *Я. Г.*), чтоб тотчас же присягнуть императору Константину. Николай Павлович несколько поколебался и сказал, что, по словам его матери, императрицы Марии Федоровны, в Государственном совете, в Сенате и в московском Успенском соборе есть запечатанные пакеты, которые, в случае смерти Александра, повелено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения.

— Все это прекрасно,— сказал я (так говорил граф Милорадович),— но прежде всего приглашаю ваше императорское высочество исполнить свой долг верноподданного. По государственному закону преемником престола император Константин, и мы сперва исполним свой долг, присягнем ему в

верности, а потом будем читать, что благоугодно было повелеть нам императору Александру.

Сказав это, я взял великого князя под руку, и мы произнесли присягу, какой от нас требовал закон...

Князь Шаховский несколько задумался и сказал Милорадовичу:

— Послушайте, однако, граф! Что, если Константин настоит на своем отречении,— тогда присяга ваша будет как бы вынужденной. Вы очень смело поступили...

Милорадович отвечал:

— Имея шестьдесят тысяч штыков в кармане, можно говорить смело,— при этом он ударил себя по карману».

Достоверность этой замечательной сцены, когда великого князя ведут под руку присягать тому, кто от престола отрекся,— и все это знают! — подтверждается, как мы помним, и другими свидетельствами.

В Петербурге престолом империи распорядился по своему усмотрению генерал-губернатор, а в Варшаве пытались распорядиться несколько генералов. Законность и желания самих великих князей никого не интересовали.

Милорадович, лихой кавалерист, герой наполеоновских войн, прожигатель жизни, на губернаторском столе которого лежало скульптурное изображение ножи танцовщицы Зубовой, шеф петербургской полиции и либерал, рыцарственно простивший в 1820 году Пушкина от имени царя, неплохой человек, но дурной политик, был уверен, что тысячи гвардейских штыков у него в кармане. Но через две с половиной недели выяснилось, что карман этот совершенно пуст.

Но Милорадович вел себя вполне последовательно — он кого только мог запугивал настроением гвардии.

Принц Евгений Вюртембергский вспоминал, как 8 или 9 декабря встретил во дворце генерал-губернатора.

«Он шепнул мне таинственно.

— Боюсь за успех дела: гвардия очень привержена к Константину.

— О каком успехе говорите вы? — возразил я удивленно.— Я ожидаю естественного перехода престолонаследия к великому князю Николаю, коль скоро Константин будет настаивать на своем отречении. Гвардия тут ни при чем.

— Совершенно верно,— отвечал граф,— ей бы не следовало тут вмешиваться, но она испокон веку привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями.

Эти достопримечательные слова произнес сам военный губернатор Петербурга, а потому они имели особое значение в моих глазах. Я упрашивал его сообщить, что им замечено, но он отвечал, что не имеет на то положительного приказа».

Милорадовичу в эти дни никто и не пытался приказывать.

Просто не мог же он раскрыть свои карты лояльному к Николаю принцу Евгению.

Милорадович был знаком с Якубовичем и встречался с ним в дни междуцарствия. Об их знакомстве рассказал тот же Зотов. Дело было на свадьбе актера Воротникова, где Милорадович был посаженным отцом. «В числе гостей был офицер, приехавший с Кавказа, Якубович, о храбрости которого мне тогда говорили... Я впервые увидел его на этом празднике и, познакомившись тут, хотел расспросить его об этнологии и жизни Кавказа. К сожалению моему, Милорадович подозвал его к себе и почти весь вечер проговорил с ним: до того рассказы Якубовича были занимательны и красноречивы. Меня посадили играть в карты, и я уже больше не видел Якубовича. Мог ли я вообразить себе, что через несколько недель это будет один из главных корифеев 14 декабря? Сам граф, конечно, тоже мало предчувствовал, что разговаривает с одним из шайки будущих его убийц. Уже после того горестного события вспоминал я многие фразы, вырвавшиеся у Якубовича; и тогда уже они были понятны, а тут никто и не думал придавать им какой-либо смысл, видеть в них что-нибудь, кроме молодечества полудикого жителя гор, привыкшего к резким фразам».

Если встреча эта происходила во время междуцарствия, то можно с достаточной уверенностью сказать, что непонятные Зотову резкие фразы Якубовича были вполне понятны графу Милорадовичу, для которого Якубович стал своим человеком и которому он, генерал-губернатор, пожимая руку, дал понять, что они союзники в борьбе против великого князя Николая.

Император Николай после 14 декабря явно кое-что узнал о дружбе заговорщика с генерал-губернатором. В своих записках он сказал с раздражением: «Изверг во всем смысле слова, Якубовский (!), в то же время умел хитростью своею и некоторою наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность».

Парадоксальность ситуации была такова, что позиции Милорадовича и Якубовича, соратника Рылеева, друга Александра Бестужева, оказались ближе, чем позиции Милорадовича и Бенкендорфа, друга Николая.

Эта близость позиций привела в решающие дни к удивительным результатам...

Если Якубович внезапно и неожиданно сблизился с Милорадовичем, то командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома и одного из директоров Северного тайного общества поручика князя Евгения Оболенского связывала длительная приязнь. Отношения их были известны, и Николай впоследствии даже писал о влиянии Оболенского на своего

генерала. И в самом деле, могло кого угодно навести на размышления то обстоятельство, что оба адъютанта генерала, жившие с ним вместе на квартире, — Оболенский и Ростовцев — были членами тайного общества.

Карл Иванович Бистром, настоящий боевой генерал, был, по выражению декабриста Розена, «идол гвардейских солдат». Розен пишет в воспоминаниях, как, сидя в Петропавловской крепости, слушал рассказы своего сторожа, бывшего гвардейского егеря, о Бистроме: «Он с такою непритворною любовью отзывался о бывшем полковом командире своем, К. И. Бистроме, или Быстрове, как называли его солдаты, что растрогал меня совершенно, когда уверял, что каждый день, поминая родителей своих в молитве, он также молится за Бистрома. Зато и генерал этот, герой, любил своих солдат, как отец своих детей... Он всегда делил с солдатами и жизнь, и копейку».

Во время объявления приговора Розен «заметил тотчас Бистрома в слезах: за несколько минут до того он видел осужденного любимого адъютанта своего Е. П. Оболенского...».

Бистром, второе по реальному значению лицо в гвардейской иерархии, сказал Оболенскому, когда пошли слухи о переприсяге, что он никому, кроме Константина, не присягнет.

Независимое от решений императорской фамилии поведение генералитета было вторым чрезвычайно важным компонентом атмосферы, в которой готовилось восстание. Вожди тайного общества знали о настроениях генералитета. И это их ободряло.

Но они знали далеко не все. Генеральская оппозиция была достаточно широка, и, к сожалению, истинные ее размеры нам неизвестны, но о ее существовании и активности свидетельствует не только поведение Милорадовича, Воинова и Бистрома.

8 декабря, когда Милорадович угрожал августейшему семейству вмешательством гвардии, а вожди тайного общества энергично собирали силы, дежурный генерал Главного штаба его величества Потапов писал известному генералу Куруте: «Почтеннейший благодетель Дмитрий Дмитриевич! Неужели государь оставит нас? Он, верно, не изволит знать, что Россия боготворит его и ожидает, как ангела-хранителя своего! Почтеннейший Дмитрий Дмитриевич, доложите государю, молитесь за всех нас! Спасите Россию! Он — отец России, он не может отказаться от нее, и если мы, осиротевшие, будем несчастны, он Богу отвечать будет».

Смысл этого трогательного послания, собственно, один — спасите Россию от Николая. Ибо само по себе отречение Константина не было катастрофой — трон не оставался пуст. Но Потапову страсть как не хотелось Николая, а с Констан-

тином их связывали давние отношения. Боевой генерал, обладатель золотого оружия за храбрость, Алексей Николаевич Потапов был в 1809 году, еще подполковником, назначен адъютантом к цесаревичу. С тех пор они много лет служили рядом. Потапов состоял при Константине и в 1812 году. А в 1813 году, произведенный в генерал-майоры за отличие в битве при Кульме, Потапов стал дежурным генералом при великом князе Константине Павловиче. Их связывало боевое прошлое, что было чрезвычайно важно тогда. Для боевых генералов Николай был мальчишкой, не нюхавшим пороху, а Константин — при всей дикости его характера — свой брат «старый солдат».

Отсюда и настойчивость Потапова, переходящая границы дозволенного.

Курута ответил Потапову под диктовку Константина: «Его императорское высочество цесаревич приказал вам отвечать, что он ваше письмо ко мне от 8-го сего декабря читал, и приказал вам сказать: что русский должен повиноваться непрекословно, — тех, кто свою присягу покойному государю забыли, он их не знает и знать не будет, пока ее в полной силе не исполнят. Великий князь цесаревич ее никогда не забывал и остался непоколебим к оной. Воля покойного государя есть и будет священна. Россия будет спасена тогда только, ежели своевольства в ней не будет и всякий будет исполнять долг своей присяги законной; от всех прочих действий великий князь цесаревич чужд и знать их не хочет».

Это письмо касалось, конечно, отнюдь не только притязаний Потапова. Речь в нем шла о явлении, которое привело Константина в ужас, — престолом стали распоряжаться помимо августейшей воли. «Воля покойного государя есть и будет священна» — прямой ответ на фразу, прозвучавшую 27 ноября на заседании Государственного совета: «Покойные государи не имеют воли». Константину могли приватно об этом донести.

Письмо цесаревича — истерическая реакция на своевольство, которое в критический момент полезло изо всех щелей правительственного здания. Принять точку зрения, что Николай не годится для трона и потому надо его заменить вопреки завещанию Александра, Константин никак не мог. Она не умиляла и не льстила ему. Она его пугала своей принципиальной сутью.

Но чем вероятнее становилось воцарение Николая, тем настойчивее действовали те, чьим рупором был Потапов.

10 декабря, когда первое письмо еще не покрыло и полпути до Варшавы, Потапов отправил вслед второе — самому цесаревичу:

«Государь! я был свидетелем, с каким усердием все сословия — воины и граждане — исполнили свой священный

долг. Ручаюсь жизнью, сколь ни болезненна потеря покойного императора, но нет ни единого из ваших подданных, который бы по внутреннему своему убеждению не радовался искренне, что провидение вверило судьбу России вашему величеству... Когда возвратившиеся сюда курьеры, коих донесения сохраняются в тайне, не оправдали нашего ожидания, то недоумения о причинах, по коим изволите медлить приездом вашим в здешнюю столицу, стали поселять во всех невольное опасение, которое с каждым днем возрастает и производит во всех классах народа различные суждения. Каждый делает предположения по своему понятию, и горестное жестокое чувство неизвестности о собственной судьбе переходит от одного к другому. Таковое смущение умов в столице, без сомнения, скоро перельется и в другие места империи, токи увеличатся, и отчаяние может даже возродить неблагонамеренных, более или менее для общей тишины опасных. Словом, дальнейшее медление ваше, государь, приездом сюда обнимет ужасом всех, питающих чистое усердие к вам и России.

При таком положении вещей должны ли молчать перед вашим величеством те, которым ближе других известны свойства ваши, государь!.. Все преданные вашему величеству, видя непреложные знаки общей к вам любви, решились вместе со мною довести до сведения вашего все, изложенное здесь, и избрали меня истолкователем пред вами единодушного нашего чувствования».

Письмо это насыщено явным и скрытым смыслом. Во-первых, это обращение целой группы генералов и сановников, «которым ближе других известны свойства» Константина. Это — его друзья, его сторонники. Они избрали генерала Потапова своим рупором. Как важно было бы узнать имена этих «преданных»! Но по генеральской оппозиции расследования не велось. Она не документирована. Потому письмо Потапова — драгоценно.

Потапов делает вид, что он ничего не знает об отречении цесаревича, о правах Николая. Он пишет так, как будто Константин и вправду по неизвестным причинам бросает Россию на произвол судьбы. Вариант с Николаем даже не рассматривается — он приравнен к катастрофе.

Но есть в этом письме и совсем неожиданная вещь — угроза возможным мятежом. Почему, собственно, от промедления Константина должны «возродиться неблагонамеренные»? Потапов намекает, что ему известны некие тревожные сведения. А быть может, ему и в самом деле что-то было известно? От Милорадовича, скажем, часто встречавшегося в эти дни с Якубовичем?

Милорадович пугал Николая. Потапов пугает Константина. Цель у них одна — во что бы то ни стало посадить на

трон Константина. Письмо Потапова — продуманная и весьма дерзкая акция.

Константин в своем ответе дал Потапову понять, что смысл письма ему ясен: «...одно мне остается сделать из уважения к вам, то есть напомнить долг вашей присяги покойному государю и возвратить письмо ваше, разодранное для уничтожения, дабы тем очистить совесть вашу, ибо писано в духе заблуждения и под личиною усердия оказующего дух неповиновения и отступления от долга обязанностей ваших».

«Под личиною усердия... дух неповиновения!» Цесаревич показал, что ему все понятно, но давлению он не поддастся.

Группа генералов, осуществлявших в этот момент реальную власть в столице, фактически вышла из-под контроля и попыталась взять в свои руки судьбу престола. А потому есть основания говорить о генеральской группировке, первой акцией которой было отстранение от престола Николая 27 ноября, а дальнейшие усилия сосредоточились на том, чтобы сломить сопротивление Константина.

Разумеется, это облегчало задачу тайного общества. Более того, до определенного момента интересы взбунтовавшегося генералитета и декабристов совпадали.

Вопрос заключался в том, кто кого сможет использовать в своих целях.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ

Подпоручик Измайловского полка Нил Кожевников принят был в тайное общество капитаном Назимовым еще до междоусарствия. Потом Назимов уехал в отпуск, и Кожевников остался в стороне от деятельности общества. В ноябре имел он разговор о целях общества со своим знакомым, поручиком Яковом Ростовцевым, — речь шла о введении конституционного правления в неблизком будущем. Но вскоре после присяги Константину Кожевников был привлечен к агитации среди офицеров и солдат. Его сослуживец и товарищ, тоже член тайного общества, стоявший со своим батальоном в Петергофе, подпоручик Лаппа показал на следствии:

«Будучи в Петербурге по своей надобности за две недели до происшествия, я был у Кожевникова и у Искрицкого (подпоручика Гвардейского штаба). Они не были знакомы между собою, однако согласно говорили, что его высочество Константин Павлович не отказывается от престола, но что ее императорское величество Мария Федоровна желает, чтоб он не привозил супругу свою, и что хотят заставить нас присягнуть его высочеству Николаю Павловичу, ежели его высоче-

ство Константин Павлович не согласится на предложение ее императорского величества. Они уверяли меня, что никто в городе не желает отступать от данной ими присяги его высочеству Константину Павловичу».

Допрос происходил более чем через два месяца после событий, и Лаппа несколько сдвинул время. За две недели до 14 декабря вопрос о том, что цесаревич «не отказывается от престола», еще не стоял. Лаппа конечно же приезжал не ранее 6 декабря. (В следственном деле Кожевникова названо 13 декабря, что тоже неверно, ибо в этот день уже известно было о завтрашней присяге, а во время разговора с Лаппой Кожевников о ней не знал.) Но из разговора этого ясна крайне важная вещь, которую декабристы на следствии старались скрыть, — согласованность агитации. Кожевников и Искрицкий не только не были знакомы, но и принадлежали к совершенно разным группам вокруг и внутри тайного общества.

Главным координатором действий среди офицерства был князь Оболенский. Очень часто лидеры общества на вопросы следствия, касающиеся связей с офицерами гвардейских полков, отсылали следователей к Оболенскому, говоря, что связи эти были в руках у него.

С расстояния в полтора с лишним столетия фигура князя Евгения Оболенского не столь заметна в бешеном круговороте кануна восстания, как, скажем, фигура Рылеева, но именно Оболенский упорно и неутомимо делал главное в тот момент практическое дело, без которого тайное общество могло бы только строить планы, — он создавал боевой механизм.

Боровков очень точно сказал о нем: «Деловитый, основательный ум, твердый, решительный характер, неутомимая деятельность в достижении предположенной цели... Оболенский был самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рылеева, виновником мятежа в Петербурге».

Но Боровков оценивал князя Евгения Петровича как заговорщика. А он, кроме того, был еще и образованный, мягкий, благородный человек. Недаром боевой генерал Бистром плакал, глядя, как с Оболенского срывают мундир и ломают над головой шпагу. Бистром оплакивал не только дельного, исполнительного адъютанта. Он оплакивал близкого человека, которого любил...

Князь Оболенский, один из ветеранов движения, восемь лет неустанно и последовательно работавший для целей тайного общества, принявший за последние годы больше новых людей, чем кто бы то ни было, остался и в критические дни кануна верен себе.

9 декабря Нил Кожевников пришел к Ростовцеву. И Ростовцев, и Оболенский, адъютанты Бистрома, жили, как тогда принято было, на квартире своего генерала, чтоб всегда быть у него под рукой. Кожевников на следствии не объяснил

причину своего визита, но, разумеется, пришел он не случайно. У Ростовцева он встретился с Оболенским, который увел его в свою комнату и сообщил ему определенно о плане общества не допустить новой присяги и вывести полки к Сенату.

Измайловский офицер Андреев показал: «За несколько дней до 14 декабря сообщил мне товарищ мой Кожевников о тайном обществе, которого цель, говорил он, стремиться к пользе отечества. Но так как в таком предприятии главнейшая сила есть войско, то мы — части оно и как верные сыны отечества должны помогать сему обществу, тем более что оно подкрепляется членами Государственного совета, Сената и многими военными генералами».

Оболенский 9 декабря назвал Кожевникову имена членов тайного общества в Измайловском полку, а Кожевников своей деятельностью еще расширил этот круг. К 14 декабря среди измайловцев было четыре члена общества и несколько сочувствующих офицеров, обещавших содействие.

Из показаний Рылеева следователи сделали ясный вывод: «В последние дни Оболенский соединял у себя на квартире всех военных людей».

Оболенский поддерживал связь с артиллеристами, с финляндцами, с кавалергардами. С 6 по 10 декабря ему удалось создать подобие боевой организации в нескольких полках и наладить четкую связь с этими ячейками.

О том, что Оболенский стоит в центре механизма, знали во всех полках, где были ячейки общества. 12 декабря офицеры Кавалергардского полка Горожанский, Александр Муравьев, Арцыбашев и Анненков ездили к нему и получили инструкции. Это было сразу после того, как у Оболенского закончилось собрание представителей полков.

На квартире Рылеева Оболенский встречался с теми членами общества, которые держали в руках другие важные нити. На первом месте здесь стоит, бесспорно, Каховский. Несмотря на те особенности натуры, о которых я уже говорил, Каховский, быть может благодаря своему страстному ощущению избранности, — ибо та лавина неудач, которая обрушилась на Каховского, могла либо сломать человека, либо породить богоборческий «комплекс Иова» — оказался незаурядным агитатором.

Поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Александр Сутгоф показал: «В 1825 году, с февраля месяца, г. Каховский ежедневно посещал меня во время моей болезни, стараясь передавать мне свои мысли и приглашая вступить в тайное общество, о существовании коего он объявил мне в марте месяце».

Сам Каховский познакомился с Рылеевым не ранее декабря 1824 года, в тайное общество был принят не ранее января

1825 года. А в феврале он уже занимался политическим воспитанием Сутгофа, который, судя по всему, ранее не имел прикосновения к подобным предметам и идеям. Любопытно, что при этом он буквально повторял пропагандистские приемы Рылеева. Рылеев начал с того, что давал Каховскому читать «мнения Мордвинова» — то есть предложения адмирала в Государственном совете и проекты преобразований. Таким же образом воздействует Каховский на Сутгофа: «Каховский мне давал читать некоторые из мнений г. Мордвинова».

Каховский предложил Сутгофу вступить в общество в марте, а согласие получил только в сентябре. Работа, таким образом, была долгая и упорная.

В начале ноября Каховский и Сутгоф приняли в общество подпоручика лейб-гвардии Гренадерского полка Андрея Кожевникова. Ситуация приема Кожевникова очень характерна для этих последних недель перед 14 декабря, когда никто еще не подозревал, сколь близок рубеж. «...Был однажды вместе с поручиком Сутговым и отставным поручиком Каховским, долго рассуждали о нашем правительстве; и сей последний, исполненный красноречия, убедительно доказывал, сколь велико благо народа вольного; сколь приятно быть виновником общего счастья и сколь унижительно не стремиться к пользе Отечества». Через несколько дней Кожевников стал членом тайного общества.

А в середине ноября — за месяц до восстания и еще до начала междоусарствия — Каховский принял в члены общества сослуживца Сутгофа, поручика лейб-гренадерского полка Николая Панова.

Когда Сутгофа на следствии спросили, какие причины побудили его вступить в общество, он ответил: «Цель общества есть благо общее. Веря словам г. Каховского, я тоже желал содействовать к благу общему».

Панов на такой же вопрос о причинах вступления в общество отвечал: «Не что иное, как желание принадлежать к оному». И далее следует та же формулировка «блага общего».

Оба поручика были людьми идеально порядочными, спокойными и последовательными. Но ни Каховский, ни Рылеев не предполагали до времени, каким ценнейшим приобретением для общества были эти молодые офицеры, которые, решив вступить в общество, удовлетволялись тезисом о «благе общем» и не требовали до самого конца, до картечи, никаких иных гарантий и объяснений...

Все, что он делал для тайного общества, Каховский переживал с необычайной интенсивностью. К людям, которых он принимал, относился с чувством отцовской ответственности. После разгрома и арестов он писал из крепости генералу Левашову, члену Следственной комиссии: «Ваше превосходительство! я прибегаю к вам с моей просьбою, сделайте ми-

лость, доложите его величеству: я с радостью отказываюсь от всех льгот, отказываюсь писать к родным моим и прошу одной милости, чтоб облегчили судьбу Сутгофа, Панова, Кожевникова и Глебова. У них у всех многочисленные семейства, которых я убийца. Панов имеет невесту, он помолвлен, посудите о его положении!» Это написано было 21 декабря, в самом начале следствия. А 11 мая 1826 года, когда следствие заканчивалось, он снова умолял Левашова: «Истинно говорю, я причина восстания лейб-гвардейского полка... Все они имеют семейства, и я их убийца! И все они таких чистых правил, как нельзя более. Возьмите поступок Панова, чем он не пожертвовал! Ваше превосходительство, с детства твердят нам историю греков и римлян, возбуждают героями древности, но, конечно, друзья мои по заблуждению виновны; причину я всему. Сделайте милость, ваше превосходительство, сколько можете облегчите судьбу их».

28 ноября в лейб-гренадерских казармах, на квартире поручика Сутгофа, Рылеев встретился с подпоручиком Андреем Кожевниковым, поручиком Пановым и прапорщиком Жеребцовым. Как показывал Кожевников, «он убеждал нас на ревностное содействие столь благого предприятия и объявил, что обстоятельства совсем переменились и все отложено на 5 лет, если, впрочем, не откроется новый благоприятный случай».

В начале декабря Каховский привел Сутгофа к Рылееву. С этого времени Сутгоф был представителем лейб-гренадер на совещаниях общества.

В это же время Николай Бестужев привел к Рылееву лейтенанта Гвардейского экипажа Антона Арбузова, которого он принял в тайное общество.

Гвардейский морской экипаж занимал издавна в планах вождей тайного общества одно из ключевых мест. Рылеев знал, что среди офицеров-моряков многие восприимчивы к самым радикальным идеям. Знал он это от лейтенанта Дмитрия Завалишина, с которым познакомился у адмирала Мордвинова в январе 1825 года. Завалишин, человек умный, очень образованный, необычайно честолюбивый и самоуверенный, представлял собою странную смесь мистификатора-авантюриста с искренним деятелем-радикалом. Он, бесспорно, хотел реформ, а в случае сопротивления правительства — и переворота, но средства готов был использовать любые. Он придумал всемирное тайное общество, в реальности которого сумел убедить молодых моряков, ибо отличался уверенным красноречием.

Мичман Александр Беляев показал на следствии: «Общество, о котором говорил мне Завалишин, кажется, имело начало не здесь, а за границей, сколько мог догадываться из его слов... Носило оно название «Орден восстановления».

Блестящий, загадочный Завалишин сильно действовал на воображение мичманов Гвардейского экипажа — братьев Беляевых, Дивова. Они и Арбузов были в течение 1825 года постоянными собеседниками Завалишина. Причем политическая температура этих бесед все повышалась. «Первоначально наши разговоры с Арбузовым и Завалишиным никакой цели не имели,— показывал Александр Беляев,— в которых просто рассуждали о правительствах и о возможности сделать переворот в России, считая в своем заблуждении сие благом для целого света».

Младший брат Александра Беляева Петр, тоже мичман Гвардейского экипажа, отвечавший на вопросы следователей с полной откровенностью, рассказывал об этих «просто либеральных» беседах в течение 1825 года: «Правда, что я имел свободный образ мыслей, но ни с кем, однако, не разделял, кроме как из коротко знакомых своих офицеров, а именно: Арбузова, Дивова, моего брата и Бодиско 2-го... в рассуждении же тайного общества я повторяю то же, что ни я, ни брат мой к оному не принадлежали; но когда же мы познакомились с Завалишиным, то из его слов могли догадываться об оном... когда случалось с ним видеться, то он всегда старался говорить о выгодах конституционного представительного правления, приводя в пример Англию и Северные Американские Штаты, всем, и признаюсь, что я был согласен, находя оное по своему образу мыслей правлением, в коем менее может быть злоупотреблений, но когда же он говорил: «Что, если бы в России такое же было»,— то я всегда против этого говорил; что это было бы хорошо, но что Россия еще мало образованна, но он возражал: «Поверьте, что образование тут не нужно, но нужны лишь люди, которые бы решились пожертвовать собою для блага отечества! И они есть»,— вот слова, которыми у нас всегда заканчивался разговор, и я должен сказать, что, любя мое отечество, я желал этого».

Беляевы и Дивов познакомились с Завалишиным в марте 1825 года и познакомили с ним Арбузова. Однако они оказались только ядром, вокруг которого образовался офицерский кружок радикалов. Атмосфера в Гвардейском экипаже к осени 1825 года была раскаленная. Разговоры становились все конкретнее и резче.

Мичман Дивов рассказывал: «Когда лейтенант Завалишин говорил нам, что если будет переворот, то начинать с головы, то один раз прибавил к сему: «Прекрасно выдумал мой знакомый г. Оржинский: сделать виселицу, первым повесить государя, а там к ногам его и братьев».

Александр Беляев рассказывал своим товарищам «об умершем молодом человеке Пальмане, имевшем свободный образ мыслей... Пальман говаривал, что стоит только подвести к

дворцу несколько пушек и сделать залп ядрами, то вот и конец всем несчастьям».

Когда Дивов сидел на дворцовой гауптвахте, то навестивший его Беляев сказал: «Завалишина мнение на опыте оказалось справедливым, что для успеха в перевороте должно начинать отсюда».

Завалишин сыграл большую роль в революционном сознании офицеров Гвардейского экипажа. Но — в значительной степени — его речи были отражением того, что слышал он у Рылеева. И когда они «в мечтаниях... о перевороте считали поселенные войска лучшею народною гвардиею и удобным там учредить временное правление, ибо думали, что те войска должны быть недовольны», то это было прямым следствием тактических идей, обсуждавшихся у Рылеева. И когда Завалишин сообщил им, что есть предположение «сделать переворот в Петергофский праздник», то это было отзвуком заявлений Якубовича о его намерении убить царя на Петергофском празднике.

Офицеры Гвардейского экипажа прекрасно знали рылеевские стихи — Петр Бестужев приносил их в экипаж. Они воспринимали эти стихи как политическую программу.

Мичман Дивов рассказывал: «Вскоре после смерти государя приходит ко мне лейтенант Акулов и между разговорами сказал мне: «Вот наши сочинители свободных стихов твердят: «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан», — а как пришло роковое время, то они и замолкли...» После ухода Акулова я сделал подобный же вопрос и мичману Беляеву 1-му, и он мне отвечал: «Подождите, еще, может быть, и не ушло время».

Они были готовы к действию и ждали его. Они жили в этой наэлектризованной атмосфере постоянного ожидания событий. Они были окружены менее активными, но сочувствующими товарищами. Тот же Дивов называет много имен молодых офицеров, которые охотно поддерживали «свободные разговоры» и сами их вели.

Они чувствовали наступление «рокового времени».

После отъезда Завалишина в отпуск — незадолго до смерти Александра — лидером в Гвардейском экипаже стал Арбузов, восхищавшийся Рылеевым и Якубовичем и близкий с Николаем Бестужевым.

(К своим младшим товарищам Арбузов испытывал те же чувства, что и Каховский — к лейб-гренадерской молодежи. «Лейтенант Арбузов, заключая показание свое раскаянием и просьбою расстрелять его, убеждает о единой милости в уважение десятилетней верной службы его помиловать двух Беляевых и Дивова». Так сказано в материалах следствия.)

Гвардейский морской экипаж — 1100 штыков при четырех орудиях — был, несомненно, ударной силой будущего восстания.

С Московским полком дело обстояло туманнее — Михаил Бестужев недавно пришел в полк и принял роту, а кроме себя рассчитывать он мог еще только на одного ротного командира — князя Щепина-Ростовского.

О лейб-егерях поговорим позднее.

Из всего этого ясно: люди с таким пониманием несправедливости и неблагополучия, люди с таким напряженным сознанием своей ответственности не могли адаптироваться к состоянию ложной стабильности. Они обречены были на действие. Ибо они аккумулировали в себе политическую энергию сочувствующей периферии. «Треть дворянства думала так же, как мы...»

Штейнгель писал после ареста Николаю из крепости: «Сколько бы ни оказалось членов тайного общества или ведавших про оное, сколько бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей, разделявших те же идеи и чувствования... чтобы истребить корень свободомыслия нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование».

Дворянский авангард, четко определивший свою позицию, сузивший свой состав, превратившийся в боевую организацию, шел к роковому моменту.

СТРАТЕГИ

Оболенский, Каховский, Сутгоф, Арбузов, братья Бестужевы начиная с 6 декабря неустанно работали, собирая силы, привлекая офицеров, известных порядочностью и свободными взглядами, — выполняли задачу тактическую. Они готовили средства. Но ведь надо было еще и определить цель. Не ту, далекую и общую — введение конституции, отмену рабства. А более конкретную — ту, что лежала непосредственно за чертой военной победы в столице.

Первой мыслью членов тайного общества была мысль, традиционная для прошедшего века, — возвести на престол кого-либо из августейшего семейства. Лучше — слабую женщину. Батенков, приехав к вечеру 27 ноября к Рылееву, услышал разговоры о кандидатурах Елизаветы Алексеевны, вдовы Александра, и малолетнего Александра Николаевича.

Одним из первых и самых упорных защитников этой идеи был Штейнгель: «Убеждая Рылеева и доказывая ему... что Россия к быстрому перевороту не готова, что у нас и в самых городах нет настоящего гражданства, что внезапная свобода даст повод к безначалию, беспорядкам и неотвратимым бедствиям и для предупреждения всего того необходимо, чтобы конституция введена была законною властью, я просил его

согласить общество возвести на престол императрицу Елизавету Алексеевну. Доводы мои при сем случае были следующие: 1-е) что в публике и в народе на государыню смотрели как на страдательное лицо из всей царской фамилии, всегда брали за ней особенное участие, и потому смело можно сказать, все сердца на ее стороне; 2-е) что простой народ о праве наследия судит часто по ектениям, а в тех она второе лицо по государю; 3-е) что пример Екатерины Великой, которая взшла на престол по супруге, при живом наследнике, тому благоприятствует; 4-е) что о царствовании Елизаветы I по преданию известно как о златом веке России, а о царствовании Екатерины Великой многие и теперь, со слезами вспоминая, детям и внукам повествуют, а потому не простыло еще доверие к женскому правлению».

Это безусловно правдивое свидетельство, помимо всего прочего, свидетельствует о краткости исторической памяти. И в самом деле — о царствовании Екатерины, которая спровоцировала гражданскую войну — пугачевщину, вспоминали через полстолетия после кровавой междоусобицы со слезами умиления. Но говорит это и о все ухудшающихся условиях жизни в стране и о возрастающем чувстве неуверенности у дворянства и мещанства.

Штейнгель, однако, был убежденный конституционалист и с этой точки зрения рассматривал вариант Елизаветы. «Наконец, 5-е) что у государыни нет никого ближайших родных, для кого бы ей дорожить неограниченным самодержавием, а потому она склоннее может быть всех к тому, чтобы даровать России конституцию, можно даже надеяться, что впоследствии, если бы то уже необходимо было нужно, она совсем откажется от правления и введет республиканское, особливо, если б ей представлено было приличное содержание, воздвигнут монумент и поднесен титул Матери свободного отечества...»

Штейнгель, самый старший по возрасту из деятелей 14 декабря — ему было сорок три года,— сформировался в 90-е годы XVIII века. И таково было обаяние простых и ясных идей того века, что он, как это ни странно, остался верен этим идеям и в 1825 году. То, что он предлагал, было несколько модернизированным вариантом идеи верховников в 1730 году — приглашение государя на определенных условиях, не подкрепленных, однако, ничем, кроме бумажного договора.

Известно, чем кончилась попытка верховников довериться Анне Иоанновне. И Рылеев сразу понял эту опасность. «Рылеев, не опровергая доводов, говорил только, что, может быть, возникнет партия совсем с другими побуждениями и тогда еще хуже нельзя будет успеть ни в чем». Не исключено, что Рылеев вспомнил партию сторонников самодержавия,

которая возникла сразу же по приезде Анны Иоанновны и пресекла возможности реформ.

Штейнгель упорно пытался убедить Рылеева принять его идею — до 11 декабря, когда понял, что кандидатура Елизаветы в данный момент не решает проблем захвата власти или сильного давления на Николая и его приближенных. Но Штейнгель, страшно опасавшийся безначалия и кровопролития, обдумывал и другие варианты «безмятежного» переворота.

Подполковник Батенков был не только приятелем Штейнгеля, но и его единомышленником. Хотя идеи свои разрабатывал он более подробно и с большей политической основательностью. Как и Штейнгель, он был сторонником бескровного переворота. Не столько революции, сколько «силовой реформы», перемен, достигнутых давлением, но не уличными боями. 27 ноября он высказывался прежде всего в поддержку кандидатуры Елизаветы.

В Батенкове, как я уже говорил, уживались трезвый, целеустремленный политик и честолюбивый мечтатель. К тому же он был крайне честолюбив.

Его тянуло к рылеевскому кругу, к людям, которые готовились к действию, к мятежу, к перевороту. Но, с другой стороны, его трезвый ум не допускал, что нечиновный литератор Рылеев и штабс-капитан Александр Бестужев могут представлять реальную опасность для самодержавия. Однако держались они очень уверенно. Присматриваясь к этим людям, Батенков пришел к мысли, что за ними должен стоять кто-то, более влиятельный.

Когда в октябре приехал Трубецкой и Рылеев их с Батенковым познакомил, то подозрение Батенкова еще более укрепилось: «В разговорах Трубецкого, кои во второе свидание были уже свободны, заметил я самонадеянность и как бы человека с способами что-нибудь сделать. Сообразив слухи, кои носились о неудовольствиях, я стал подозревать, что Трубецкой должен принадлежать к сильной партии недовольных в армии. При сей мысли о нем вовсе уже не думал о прочих, считая их вне самого дела». Любопытно, что у Рылеева и Александра Бестужева такого же рода предположения были относительно самого Батенкова. «...Рылеев подозревал,— говорил Бестужев,— не принадлежал ли он к какому высшему обществу; мы его на этот счет часто пробовали...» Все они понимали организационную ограниченность своих сил, и им хотелось иметь союзников среди либеральных саванников и генералов.

Простой логический расчет приводил математика Батенкова к мысли, что офицерство, в том числе и высшее, не может мириться с тупым движением к пропасти. Впрочем, в чем-то подобном уверен был и Александр I, написавший в

1824 году памятную записку о заговоре, охватившем армию, и перечисливший в ней популярных генералов — Раевского, Михаила Орлова, Ермолова, Киселева — как лидеров оппозиции...

После своего знакомства Трубецкой и Батенков встречались регулярно и обсуждали проблемы острые, но общие. И Батенков пытался выведать у князя Сергея Петровича, кого же он представляет в действительности, ибо Рылеев и Бестужев не казались ему фигурами политически крупными. «...Мне казалось совершенно невероятным, чтоб в Петербурге могло скрываться центральное место какого-либо важного союза с политической целью, и вовсе уж невозможным, чтоб сии люди могли быть из числа первых. Я все относил к армии и, чтоб удостовериться в том, старался показать в себе Трубецкому человека, исполненного желаний другого порядка; но сие ни к чему не служило. Он не объяснил мне ничего, кроме того, что на юге, особенно в Киеве и Бобруйске, много людей, желающих перемены. Мне казалось, что он от меня тщательно скрывает настоящее дело и желает только ложною откровенностью собрать разные сведения и мнения. Посему я, с своей стороны, ограничился только разговорами без связи и совершенно необдуманно, соображаясь только с его словами... Трубецкой также говорил, что должно желать республику, но я не верил сему, ибо он легко уступал всякому возражению».

Короче говоря, они играли в поддавки. Хотя и не совсем. Если Батенков все же высказал много своих сокровенных идей, то Трубецкой, конспиратор с девятилетним стажем, старался понять, что за человек перед ним, и внешне соглашался с вещами, с которыми внутренне был вовсе не согласен. Так он вел себя перед междуцарствием, так он вел себя и в первые дни междуцарствия. Он соглашался с кандидатурой Елизаветы и с кандидатурой Александра Николаевича. Он соглашался и с другим проектом Батенкова: если гвардия откажется присягнуть Николаю в случае отказа Константина, то можно будет договориться с ним, Николаем, и предложить ему купить трон, заплатив конституцией. А там убедить полки присягнуть ему как конституционному монарху. Трубецкой не возражал, хотя прекрасно понимал, что это невозможно тактически и пагубно стратегически.

Батенков же, который столь недавно с восторгом слушал слова Александра Бестужева о двадцати отчаянных головах, которые увлекут солдат, и поощрял кровавые декламации Якубовича, теперь, когда надо было выбирать способ действий, настойчиво очерчивал «безмятежную» позицию.

Уже во время междуцарствования он говорил Штейнгию: «Молодежь наша горячится, так ли они сильны, чтоб могли что-нибудь предпринять?» Его позиция складывалась

из соображений принципиальных и неверия в силу «молодежи».

Они с Трубецким продолжали встречаться с глазу на глаз и во время междоусобия. Их тянуло друг к другу — они понимали значительность друг друга. Трубецкой отнюдь не забывал, что Батенков очень близок к Сперанскому. Теперь это приобретало особое значение.

В смутный период между 27 ноября и 6 декабря Батенков сказал Трубецкому, что надо «остановить все замыслы, по крайней мере, на 10 лет и обратить все внимание на то, чтобы составить собою аристократию и произвести перемену простым требованием, а не мятежом». Во-первых, в этом предложении так много от XVIII века, а далее — от идей Мордвинова и «Ордена русских рыцарей», вышедших из этого века. Во-вторых, отсюда идет линия к идеям Пушкина 30-х годов. Но мысль эта была мгновенна. Обстоятельства требовали новых идей. Они стремительно менялись, отречение Константина становилось реальностью, и нужно было к этим обстоятельствам применяться.

«Около 8 декабря», то есть 6-го или 7-го числа, Батенков имел с Трубецким очень важную беседу. Он уже знал, что младшие соратники князя Сергея Петровича готовят войска для выступления, и думал сообразно с этим. Выпасть из действия он не хотел.

Батенков уже обсуждал эти материи с Рылеевым, но он почитал Трубецкого, как мы знаем, не только главным, но и единственным политически значимым в группировке Рылеева, а потому хотел найти общую с ним позицию.

В эту встречу они договорились: в случае победы тайного общества — любым способом, мирным или немирным, принудить Сенат создать временное правительство, «которое бы распорядило в губерниях избирательные камеры и собрало депутатов... от дворянства, купечества, духовенства и поселян». Речь шла, таким образом, о созыве подобия Земского собора. Собор этот, в свою очередь, должен был решить вопрос о будущем правлении. Батенков предлагал создать двухпалатный парламент с наследственной верхней палатой, но при этом сохранить в случае отказа Константина императором Николая Павловича.

Трубецкой против наследственного принципа верхней палаты возражал, и Батенков согласился на принцип пожизненного места. «Я уступил на время». И вообще союз их носил временный и вынужденный с обеих сторон характер. И если заинтересованность Батенкова в Трубецком понятна — он видел в гвардейском полковнике силу, то о стремлении Трубецкого во что бы то ни стало иметь Батенкова хотя бы временным союзником мы еще будем говорить.

6—7 декабря, в момент, когда начались активные приго-

товления к восстанию, они приблизительно выработали общую стратегическую позицию.

Из проблем тактических обсуждались только две — Батенков настаивал на том, чтобы части, отказавшиеся от присяги, выведены были за город, на Пулковскую гору, и оттуда вели переговоры с Николаем. А кроме того, Батенков предложил свою кандидатуру для переговоров с Сенатом в решающий момент. Трубецкой не возражал.

(Позднее, на следствии, Трубецкой и Рылеев излагали умеренный план Батенкова как свой, хотя их план был иной.)

Параллельно оба стратега вели беседы с Рылеевым — каждый в отдельности. Батенков обсуждал с Рылеевым вопрос о военных поселениях как о возможной базе революции в случае поражения в столице. Его идея отступления к Новгородским поселениям была принята обществом.

ДИКТАТОР

Трубецкой был избран диктатором 8—9 декабря. Понадобилось время, чтобы собрать голоса членов тайного общества. Сама мысль принадлежала, как мы помним, Рылееву и возникла еще 27 ноября. Но реализовалась она в тот момент, когда общество приступило к решительным и однонаправленным действиям и появилась насущная потребность в единой организующей воле.

Для Рылеева и Оболенского кандидатура Трубецкого была естественна — князь Сергей Петрович был не просто ветераном движения, но одним из его основателей и идеологов. Он не отходил от тайных обществ все девять лет их существования. В канун восстания немалую роль сыграло и то, что Трубецкой был боевым офицером, участником многих сражений, кавалером русских и иностранных орденов. Со времен Бородина и заграничных походов он пользовался репутацией человека хладнокровной и осмотрительной храбрости.

Этот полковник, очень высокий (около двух метров роста), горбоносый (мать — урожденная княжна Грузинская), на всех, кто близко его знал, производил впечатление спокойной надежности.

Розен впоследствии писал о нем: «Я жил с ним вместе под одною крышею шесть лет в Читинском остроге и в Петровской тюрьме за Байкалом. Товарищи знали его давно и много лет до рокового дня; все согласятся, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться».

Товарищ Трубецкого по Семеновскому полку декабрист Якушкин вспоминал: «Трубецкой отлично добрый, весьма

кроткий и неглупый человек, не лишен также и личной храбрости, что он имел не раз случай доказать своим сослуживцам. Под Бородином он простоял 14 часов под ядрами и картечью с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Под Люценом, когда принц Евгений (Евгений Богарне, пасынок Наполеона.— Я. Г.), пришедший от Лейпцига, из 40 орудий громил гвардейские полки, Трубецкому пришла мысль подшутить над Бокком, известным трусом в Семеновском полку: он подошел к нему сзади и бросил в него ком земли; Бок с испугу упал. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имевшие в сумках ни одного патрона, были посланы под начальством капитана Пущина (Павел Сергеевич, будущий член «Союза благоденствия».— Я. Г.), но с одним холодным оружием и громким русским «ура» прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря на свистящие неприятельские пули, шел спокойно впереди солдат, размахивая шпагой над своей головой.

Естественно, что когда понадобилось выбрать общего руководителя действий, то из всех присутствовавших в Петербурге членов общества Рылеев назвал Трубецкого.

Как мы помним, с самого начала междуцарствия князь Сергей Петрович был настроен решительно, но разумно. В случае воцарения Константина он считал немедленные действия бессмысленными и предлагал глубоко законспирировать деятельность общества. Однако, когда Александр Бестужев спросил его, как быть, ежели Константин отречется, Трубецкой твердо ему ответил, что «в таком случае мы не можем никакой отговорки принести обществу, избравшему нас, и что мы должны все способы употребить для достижения цели общества».

Эти слова — более мягкий вариант формулировки Пущина: «Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Еще до формального избрания диктатором Трубецкой играл главную роль в подготовке возможного восстания. Оболенский говорил: «С самого начала избрали мы Трубецкого начальником и сами подчинились ему во всем». Он же свидетельствовал: «Со времени назначения князя Трубецкого начальником общества у нас совещания о делах общества прекращены были; и потому вообще во всех разговорах всегда останавливали даже мнения частные, излагаемые членами о плане и действиях общества, напоминая, что у нас есть начальник, нами избранный, который назначит всякому свое дело и которому, дабы не рождал споры и более приучить к подчинению избранному нами начальнику, старались сколько можно более сие соблюсти».

Рылеев, который отнюдь не преуменьшал на следствии

свою собственную роль, тем не менее вполне подтверждает свидетельство Оболенского. «Видя, как обыкновенно бывает несогласие в мнениях, я предложил Оболенскому избрать начальника и, отобрав от Бестужевых и Каховского голоса в пользу Трубецкого, на другой день сказал о том Оболенскому, прибавив к тому и свой голос. Оболенский объявил, что и он со всею своей отрослью на выбор Трубецкого согласен, потом он же сказал про то Трубецкому. С того дня Трубецкой был уже полновластный начальник наш, он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения».

Штаб-квартира общества по-прежнему была у Рылеева, который после 10 декабря начал уже выходить из дому. Но назначались совещания — «настоящие совещания», по выражению Рылеева, — только Трубецким. «...Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о каком-нибудь успехе по делам общества, он жал мне руку, хвалил ревность мою и говорил, что он только и надеется на мою отросль. Словом, он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью, не во всем себя открывая».

Трубецкой это подтвердил.

В свидетельствах Оболенского и Рылеева есть некое противоречие с показаниями многих других членов общества о бурных спорах и обсуждении вариантов плана восстания на рылеевской квартире. Но это — кажущееся противоречие. Было два типа совещаний. Первый — те самые пламенные и хаотичные разговоры, в которых принимали участие все, кто приезжал к Рылееву в эти дни, — тут выдвигались разнообразные предложения, сообщались последние новости и слухи, высказывались сомнения. Все это и было подробно зафиксировано в протоколах следствия. Но был второй, решающий, тип совещаний — «настоящие совещания», назначавшиеся Трубецким и проходившие в совершенно иной обстановке, в обстановке профессиональной штабной работы. В этих совещаниях участвовали, как правило, Трубецкой, Оболенский, Рылеев. Трубецкой несколько раз подчеркивал это на следствии.

Трубецкой не имел до самых последних дней никаких контактов даже с такими активными, но не входящими в круг профессиональных конспираторов фигурами, как Якубович и Каховский. С первым из них он познакомился только 12 декабря. «Я его тут видел в первый и, надеюсь, в последний раз в моей жизни», — раздраженно сказал он на следствии. Как мы увидим, ему было от чего прийти в раздражение. (Но князь Сергей Петрович ошибался — вскоре ему придется провести вместе с Якубовичем много месяцев в Благодатском руднике, жить «в душной клетке, где едва мож-

но было повернуться, миллион клопов и разной гадины осыпали тебя с головы до ног», а затем — много лет в Читинском и Петровском острогах.) Иногда только состав участников несколько расширялся — но в строгих границах. Каховский рассказывал с обидой. «Я его (Трубецкого.— Я. Г.) даже никогда не слышал говорящим. Он, князь Оболенский, князь Одоевский, Николай Бестужев, Пущин всегда запирались с Рылеевым».

Оболенский точно рисует организацию этих совещаний. «На совещаниях находились обыкновенно Трубецкой, Рылеев, я, Бестужевых три брата, Одоевский, Каховский, Арбузов и Сутгоф. Но никогда не находились мы все в одной комнате или в одно время и никогда не было совещания общего, но большею частью, когда Трубецкой приезжал, то мы разговаривали втроем — он, Рылеев и я, прочие же члены находились в другой комнате и входили к нам по одному, по два».

Высказывать свои мнения могли все. Решения принимала узкая группа лидеров. И слова Оболенского о том, что были прекращены совещания о делах общества, относятся к последним трем-четырем дням, когда принимались решения.

О чем же говорили Рылеев и Трубецкой во время частых визитов князя Сергея Петровича в дом Российско-Американской компании? Каковы были конкретные планы задуманного восстания?

Вопрос о плане восстания — вопрос трудный.

Был целый ряд сюжетов, о которых декабристы на следствии, при всем многословии и откровенности их показаний, старались молчать или говорить по возможности неточно. Одним из таких сюжетов был военный план восстания. Когда Пущину был задан прямой вопрос о военном плане на 14 декабря, он на него попросту не ответил — пропустил этот пункт.

Мотивы тут понятны. основным элементом защиты многих северян было утверждение, что побудительной причиной их выступления явилась вторая присяга, казавшаяся им незаконной, и, стало быть, в основе их поступков лежало желание остаться верными императору Константину. Даже заведомо осведомленные об истинных целях восстания люди, как, например, Александр Бестужев, старались убедить следствие в своей симпатии к Константину. В этом случае признание продуманного и четкого плана военных действий против власти разрушало достоверность проконстантиновской позиции. Становилось ясно, что готовилась не защита воинской присяги, а политический переворот.

Кроме того, рядовые члены тайного общества и прикнувшие к ним в последние дни офицеры знали только отдельные элементы плана, связанные с их собственной ролью в восстании, и не больше.

А Трубецкой до последних недель следствия отрицал наличие радикального, четкого плана, понимая, как усугубит это его вину. Он признал наличие такого плана только в самом конце следствия — 6 мая 1826 года — на очной ставке с Рылеевым. Оба они были изнурены пятью месяцами постоянных допросов...

Решение стратегических проблем ясно было и Рылееву, и Трубецкому с самого начала, ибо проблемы эти были неоднократно обсуждены членами тайного общества в предшествующие годы. Тайное общество не собиралось навязывать стране свою власть. Главной целью переворота и было дать стране возможность выбирать свободно свой путь, свое государственное устройство. Северяне не сомневались, что страна выберет конституционную монархию, которая, по их мнению, была на первый период целесообразна, после чего должна была последовать отмена крепостного права.

Надо было решить, какими конкретными способами добиваться этой цели в ситуации декабря 1825 года. Этому были посвящены сепаратные беседы Трубецкого и Батенкова, Батенкова и Рылеева и — главное — Рылеева и Трубецкого. Оболенский в эти дни слишком занят был практической деятельностью по собиранию сил. Остальные члены общества, разумеется, тоже принимали участие в обсуждении этих проблем, но, скорее, на правах совещательных.

Рылеев писал 16 декабря 1825 года: «Когда достоверно узнали, что государь цесаревич отказался от престола, положено было не присягать вашему императорскому величеству, офицерам подать пример солдатам и, если они увлекутся, то каждому, кто сколько может, привести их на Сенатскую площадь, где князь Трубецкой должен был принять начальство и действовать смотря по обстоятельствам. Причем, однако ж, решено было стрельбы не начинать, а выждать выстрелов с противной стороны. Во всяком случае не предполагали, чтобы солдаты стали стрелять против солдат, и потому надеялись более, что дело кончится без кровопролития, что другие полки пристанут к нам и что мы в состоянии будем посредством Сената предложить вашему величеству или государю цесаревичу о собрании Великого Собора, на который должны были съехаться выборные из каждой губернии, с каждого сословия по два. Они должны были решить, кому царствовать и на каких условиях. Приговору Великого Собора положено было беспрекословно повиноваться, стараясь только, чтобы народным Уставом был введен представительный образ правления, свобода книгопечатания, открытое судопроизводство и личная безопасность. Проект конституции, составленный Муравьевым, должно было представить Народному Собору как проект».

Сенат и созванный им Великий Собор выступают вперед

в эти дни. И сколько здесь знакомых по прошлым векам и началу века девятнадцатого идей и понятий — депутаты сословий, представительное правление, свобода книгопечатания и безопасность личности, конституционные ограничения самодержавия. Здесь в некотором роде — с существенными оговорками и коррективами — суммированы мечтания многих поколений русских конституционалистов.

Но в этом письме Николаю Рылеев писал отнюдь не всю правду.

Группа Рылеева—Трубецкого вовсе не собиралась оставлять у власти — на любых условиях — Николая или Константина. Николая-то уж во всяком случае. Недаром негласным элементом тактического плана, как мы увидим, было царевийство, физическое устранение Николая.

Ближайший к Трубецкому в последние перед восстанием дни человек — Пущин — говорил: «Возможность сего предприятия основывал я на военной силе, которая в состоянии будет отстранить царствующий дом от престола...» Нет сомнения, что он излагает их общий с Трубецким взгляд.

А Рылеев в этот начальный период следствия старался заклонить радикальные намерения своей группировки умеренной программой Батенкова.

(В один из моментов следствия, находясь в состоянии сильного возбуждения и не желая ничего скрывать, а иногда и преувеличивая свою роль, Батенков между прочим показал: «Относительно средств предприятие основано было тоже на моей мысли, а именно, чтоб, подняв войска именем государя цесаревича, идти от полка к полку, собрать более народа, не делать ни малейших беспорядков,— сие я считал тем более возможным, что солдаты должны надеяться в случае неуспеха — амнистии, а в случае превозможения с их стороны — награды от его высочества...»

Именно это заявление Батенкова показаниями Трубецкого вполне подтверждается.)

Следствие, располагавшее мозаикой многих показаний, наступало, и Рылеев, как и Трубецкой, вынуждены были говорить все определеннее.

24 апреля 1826 года Рылеев показал: «При совещании о средствах к возмущению солдат я полагал полезным распусть слух, будто бы в Сенате хранится духовное завещание покойного государя, в коем срок службы нижним чинам уменьшен десятью годами. Мнение сие как Трубецким, так и всеми другими членами, единогласно принято было, и положено было поручить офицерам разных полков, принадлежащих к обществу, привести оное в исполнение».

Естественно, вставал вопрос о практических средствах для переворота. И Рылеев вынужден был показать: «Когда еще надеялись только на полки Гренадерский, Московский и

Гвардейский экипаж, Трубецкой действительно однажды в разговоре со мною усумнился в успехе, ибо, говорил он, вероятно, чтобы все роты увлеклись примером нескольких. Я, напротив, думал, что в каждом полку достаточно одного решительного капитана для возмущения всех нижних чинов, по причине их негодования противу взыскательности начальства; и когда я спросил Трубецкого, какую силу полагает он достаточною для совершения наших намерений, он отвечал: «Довольно одного полка». На это я сказал ему: «Так нечего и хлопотать; можно ручаться за три, а за два — наверное». Впоследствии же... сверх означенных, стали надеяться и на полки Измайловский, Финляндский и Егерский...»

Это показание необычайно насыщено смыслом. За этими немногими фразами прочитывается очень многое. Здесь можно понять периодизацию составления плана восстания — на Измайловский и Финляндский полки появилась надежда не ранее 9 декабря. Стало быть, разговор вождей общества происходил между 6 и 9 декабря. И в этот период, если буквально понимать Рылеева, Трубецкой делает взаимоисключающие друг друга заявления: с одной стороны, ему мало трех полков, а с другой — достаточно одного. В чем же дело? А дело в том, что они с Рылеевым говорили о разных вариантах плана. Трубецкой считал, что если пытаться реализовать батенковский вариант — переговоры с Николаем, подкрепленные мирной военной демонстрацией, спокойный отказ от присяги, вывод войск за город и «обмен» присяги на конституцию, — то нескольких рот Московского и Гренадерского полков вместе с батальоном экипажа мало. Они не смогут увлечь остальную гвардию. Но если реализовать боевой вариант — захват власти и реализацию программы в условиях победившего восстания, — то одного полка достаточно. Достаточно для быстрого и решительного удара. За спиной полковника Трубецкого стоял столетний опыт гвардии. Да, для того чтобы захватить дворец, арестовать императорскую фамилию и тем самым, поставив остальные полки перед свершившимся фактом, привлечь их на свою сторону немедленными реформами — одного полка было достаточно.

Этим ответом Трубецкой выдал свои подлинные намерения. Не забудем, что, если верить Рылееву, это было еще до избрания Трубецкого диктатором и он должен был учитывать мнение других группировок.

(Правда, спрошенный на этот счет следователями Трубецкой объяснил, что имел в виду одним полком увлечь все остальные. Но тогда не снимается противоречие и есть основания предположить, что это была попытка увести следствие с опасного для него, Трубецкого, пути.)

Кроме того, важно запомнить ясно намеченную здесь разницу в тактических взглядах Рылеева и Трубецкого, разницу,

которая усугубится за три последних дня. Рылеев считает, что достаточно одного решительного капитана на полк, ибо солдаты, возмущенные притеснениями, готовы к бунту. Он верит в возможность революционной импровизации. Трубецкой же хочет действовать наверняка.

Однако к 12 декабря, когда силы общества были еще неясны, в основу предварительного плана положена была следующая система действий: первые отказавшиеся присягать подразделения или части идут определенным маршрутом от казармы к казарме и увлекают своим примером других. А затем следуют на Сенатскую площадь. Но план этот своей громоздкостью, медленностью и неопределенностью совершенно не устраивал Рылеева. Трубецкой же принял его за неимением лучшего, ибо пока непонятно было, сколько полков следует за обществом, невозможно было и составить реальный план. В письме Бенкендорфу от 5 мая 1826 года Трубецкой существенно проговаривается: «...не хотел я, чтоб члены заранее знали о моих предположениях... чтоб после не было прекословия или ослушания, если я переменю мысли согласно с обстоятельствами...» Он не хотел связывать себе руки и потому мирился с этим неопределенным вариантом. В этом же письме он категорически отрицает свой подлинный план, который ему пришлось признать на следующий день.

Вопреки существующему мнению, Трубецкой вовсе не был категорическим сторонником бескровного переворота. Он понимал, что ход событий может вынудить восставших к жестким действиям. Корнет Кавалергардского полка Свистунов, член петербургской ячейки Южного общества, показал: «Бывши у Трубецкого, который изъяснял мне свое намерение возмутить солдат, я ему отвечал, что пролитие крови неизбежно, на что он мне сказал: «Что ж делать!» Тогда я его оставил и решил ехать из С.-Петербурга...»

Это было еще до 12 декабря.

А 12 декабря произошло нечто вроде смотра сил тайного общества.

К вечеру этого дня Трубецкой понял, что остается только одна возможность, и на совещании у Рылеева, совещании решающем во многих отношениях, отдал точные распоряжения.

ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК. 9—12 ДЕКАБРЯ

За шесть дней до восстания — 8 декабря — из Москвы приехал Пущин, 9-го числа, придя к Рылееву, он застал у него Оболенского, Сутгофа, Каховского, Арбузова и Александра Бестужева. Слухи о переприсяге подтверждались, и решено было расширить деятельность в полках.

На следующий день Пущин отправился к своему старому знакомому, сослуживцу по гвардейской артиллерии, штабс-капитану Финляндского полка Репину.

С приездом Пущина в сферу внимания тайного общества сразу же попал еще один полк.

9 и 10 декабря были переломными днями — интенсивность подготовки к восстанию стремительно возрастала.

10-го числа Трубецкой привез к Рылееву точные сведения об отречении Константина и скорой переприсяге. Немедленно решено было оповестить всех. Оболенский поехал к Каховскому, где застал и Сутгофа, затем был у Якубовича, а потом поехал в Финляндский полк, чтобы увидеть двух батальонных командиров — полковников Моллера и Тулубьева. Оба были членами тайного общества. Моллера не было дома, а у Тулубьева были гости, и поговорить с ним Оболенский не смог. Но само намерение это открывает новый сюжет.

10 декабря началась борьба за Финляндский полк, от исхода которой в высокой степени зависел исход восстания.

1-й и 2-й батальоны Финляндского полка — две тысячи штыков — стояли вместе на 19-й линии Васильевского острова, в десяти минутах беглого шага от Сената через наплавной Исаакиевский мост.

Штабс-капитан Николай Репин, боевой офицер, успевший принять участие в заграничном походе, узнал о существовании тайного общества в начале 1825 года от корнета Свистунова, члена ячейки Южного общества в Петербурге. Обстоятельства, при которых Свистунов сообщил ему эту тайну, заслуживают внимания. «Все мои отношения с корнетом Свистуновым заключаются в следующем, — показал Репин на следствии, — видевшись с ним однажды, по поводу бывшего между нами разговора о форме правления вообще, корнет Свистунов сказал мне, что в России существует общество, имеющее целью сделать перемену в правлении». Эти разговоры о перемене правления и тайном обществе — при первой встрече! — характеризуют не столько молодого и малоопытного Свистунова, сколько атмосферу в Петербурге 1825 года.

Дальнейшего развития знакомство Репина со Свистуновым не получило. Но, очевидно, репутация у Репина была вполне определенная, если Пущин в этот критический момент решил обратиться именно к нему — старому сослуживцу, которого давно не видел.

Репин уже подал прошение об отставке, а рота его стояла за городом. Но в содействии он не отказал. Пущин привез его к Рылееву в середине дня 10 декабря. Там были Трубецкой и вернувшийся Оболенский. Репин договорился с Оболенским, что тот на следующий день придет к нему, Репину,

на квартиру, где встретится с офицерами, на которых можно рассчитывать.

Репину, который еще несколько часов назад и не подозревал о существовании заговора и готовился к спокойной жизни в отставке, сообщено было немного: «Цель общества, сколько мне известно, состояла в том, чтобы ввести в России правление ограниченное, по примеру Англии или Франции, и средством достигнуть оной было то, что ежели весь Гвардейский корпус или большая половина оного не согласится присягать, то, по словам Рылеева, нашлись бы значительные люди (которых имена, однако, он мне не сказывал), которые предложили бы правительству желаемые перемены как средство к примирению. Частных распоряжений он мне не сообщал, говоря, что они будут зависеть от обстоятельств».

И, несмотря на эти весьма ограниченные сведения и отсутствие гарантий, Репин согласился содействовать тайному обществу. Конечно, большую роль здесь играла личность Пушкина. Но ведь для того, чтобы довериться даже самому верному человеку в деле политического заговора, надо психологически быть к этому готовым. Штабс-капитан Репин, русский интеллигент александровской эпохи, получивший «свободный образ мыслей» единственно из чтения политической и политэкономической литературы в сочетании с трезвыми наблюдениями над окружающей жизнью, оказался готов рискнуть очень многим ради введения конституционного правления в России.

Вернувшись от Рылеева, Репин послал записку своему товарищу по полку, поручику Андрею Розену.

Розен, мемуарист правдивый и с удивительной памятью на детали, вспоминал: «10-го декабря, вечером, получил я записку от товарища, капитана Н. П. Репина, в которой он просил меня немедленно приехать к нему; это было в 8 часов. Я тотчас поехал, полагая, что он имел какую-нибудь неприятность или беду; я застал его одного в трезвом состоянии. В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных междуусобий». Ситуация Розена еще поразительнее репинской. Он недавно счастливо женился. Он был прекрасным строевиком, за что к нему благоволил великий князь Николай. При императоре Николае Розен мог сделать быструю карьеру.

Он пожертвовал всем «для отвращения гибельных междуусобий». Речь тут, бесспорно, идет не о возможном вооруженном конфликте между претендентами на престол — это было нереально, а о тех «гибельных междуусобиях», о которых столь часто говорили и писали декабристы, — речь идет о взрыве, который можно было предотвратить, только реформировав государство.

Розен, профессионально мыслящий офицер, подошел к проблеме просто. Необходимость действия, очевидно, не вызвала у него сомнений. Он думал о средствах. «Тут речи были бесполезны. надлежало иметь материальную силу, по крайней мере, несколько батальонов с орудиями». Розен изложил Репину все препятствия к выводу 1-го батальона финляндцев, в котором он командовал всего-навсего карабинерным взводом, но не усомнился в готовности к действию молодых офицеров полка. Хотя офицеры эти еще и предположить не могли, что их пригласят в заговор. И эта уверенность Розена тоже чрезвычайно симптоматична.

Процесс, начатый Пушиным 10 декабря, развивался. На другой день, 11 декабря, Репин собрал у себя одиннадцать офицеров-финляндцев. Оболенский изложил программу действий. Он сообщил им о близкой переприсяге и о средствах, которыми решено было воздействовать на солдат. «Определено было при новой присяге солдатам объявить, что их обманывают, и что бывший император Константин Павлович не отказывался от престола, и для сохранения верности в данной ему присяге собираются на Сенатскую площадь, дабы истребовать от Сената отзыва. почему от прежней присяги отказываются».

Но Оболенский решил открыть финляндцам и подлинные причины выступления тайного общества. «Наша цель была единственно от Сената, собранного в общем собрании, истребовать сведение о причине новой присяги и объявить (в случае, если б большая часть гвардии к нам пристала), что так как по документам, которые Сенат в виду имеет, действительно видно, что император Константин Павлович отказывается от престола, то мы полагаем себя не вправе присягать другому, доколе он жив, и посему требуем, дабы Сенат собрал представителей со всех губерний по примеру прежних всеобщих Соборов и представил оному назначение императора и формы правления. До Собора же представителей предлагаем Сенату назначить временное правление из двух или трех членов Совета, к коим присоединить одного из членов нашего общества, единственно для обеспечения нашего, соглашаясь назначить его единственно правителем дел временного правления». На следствии Оболенский показал, что объявил все это «в Финляндском полку офицерам, бывшим собранным у Репина».

Но при всем энтузиазме офицерской молодежи услышанное было слишком ошеломительно и неожиданно. Розен, из них наиболее зрело и четко мыслящий, сказал Оболенскому, что, «жертвуя всем для пользы отечества в столь важном случае, каков ныне предстоит, желают быть сколь возможно более уверенными в содействии» офицеров других полков. Это было совершенно резонно. И столь важен был для планов

общества Финляндский полк, что Оболенский решился на весьма опасный шаг. «Что мы не одни в сем согласны, могу вам доказать завтра,— сказал он Розену,— приезжайте ко мне один или двое и убедитесь, увидя офицеров других полков».

На другой день Розен и прапорщик Богданов приехали к Оболенскому, где собирались уже Рылеев и по одному представителю от разных полков. от измайловцев — подпоручик Нил Кожевников (иногда исследователи считают, что на этом совещании был лейб-гренадер А. Кожевников. Это неверно. Сам Оболенский показал на следствии, что у него был именно измайловец Кожевников), от лейб-гренадер — Сутгоф, от московцев — князь Щепин-Ростовский, от гвардейских моряков — Арбузов, от конногвардейцев — князь Одоевский.

Совещание 12 декабря было не из самых бодрых. Кожевников не мог с уверенностью ручаться за свой полк, а финляндские офицеры — за свой. Но Рылеев, оратор дельный и убедительный, сказал несколько энергичных слов, сводившихся к тому, что присутствующие должны поклясться друг другу привести на площадь столько солдат, сколько смогут. И в любом случае явиться самим. На том и порешили.

Финляндцы убедились, что движение захватило, по крайней мере, еще пять полков. Но твердой надежды на Финляндский полк все же не было.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 12 ДЕКАБРЯ

Между Петербургом и Варшавой скакали курьеры. Великий князь Михаил изнывал от скуки и неопределенности на маленькой станции в трехстах верстах от столицы.

Константин не соглашался приехать и лично подтвердить отречение и вместе с тем не желал прислать официальный манифест. Он искренне не хотел царствовать, и его странное и весьма неблагородное по отношению к младшему брату поведение объяснялось, очевидно, крайним раздражением за то глупое положение, в которое поставил его Николай своей поспешной присягой. Обстоятельств петербургских и роли Милорадовича он тогда не знал.

К 12 декабря Николай и Мария Федоровна располагали только письмами Константина, подтверждающими его прежнее отречение, но непригодными в новой ситуации, когда вся страна признала его императором. Николай и старшая императрица не считали возможным эти письма обнародовать как официальные документы,— слишком странная история «семейной сделки» по поводу престола вырисовывалась в них.

Принц Евгений Вюртембергский, совершенно ошеломленный всеми дворцовыми хитросплетениями, оставил замечательное свидетельство:

«Немногие говорили со мною доверчиво, но под строгую тайной; им казалось, что они угадывают план императрицы-матери захватить управление государством. При одной этой мысли меня охватил сильнейший ужас, и я воскликнул:

— Это — невозможно!

— А если бы это случилось,— ответил на мои слова один из собеседников,— что бы вы стали делать?

— Идти против своей собственной благодетельницы, как этого требует долг! — был мой немедленный ответ.— По моему убеждению, было бы несчастьем, если бы теперь Константин стал у власти, но всякая интрига против того, кто имеет на то неоспоримое право, есть и остается преступлением и никогда и ни в коем случае не может быть одобрена мною.

— Однако бывают обстоятельства,— продолжал он,— которые то, что кажется неправым, могут сделать правым и справедливым. Если бы великий князь Константин продолжал настаивать на своем отречении, а оба молодых князя отреклись бы временно в пользу матери, разве не было бы в порядке вещей ее вступление на престол? Русские любят правление женщин.

То, что мне сообщили как предположение и в порядке строгой тайны, при той настороженности, которую императрица проявляла в отношениях со мною, показалось мне правдоподобным. Вскоре мой дядя, герцог Александр Вюртембергский, передал мне это как вполне достоверную, по его мнению, вещь».

Впоследствии, незадолго до смерти, принц Евгений расшифровал имя своего первого собеседника. Это был влиятельный министр финансов Канкрин. Главноуправляющий путей сообщения герцог Александр и министр финансов, «деловые люди», образовали группировку,— они наверняка не были одиноки,— интриговавшую в пользу императрицы-матери. Они не без оснований предполагали, что в случае ее вхождения на престол реальная власть окажется в их руках.

Содействие знаменитого боевого генерала — принца Евгения — было для них весьма желательно. Можно с уверенностью предположить, что они обращались с подобными разговорами не только к нему, а равно предположить можно, что не все отнеслись к этой идее столь отрицательно. Воцарение пожилой, недалекой Марии Федоровны давало простор для замыслов и честолюбий...

В замечаниях на книгу Корфа Николай раздраженно написал о поведении герцога 14 декабря: «Дядя, герцог Александр Вюртембергский, все время просидел в бывшей голу-

бой гостиной матушки и не позволял сыновьям явиться, куда долг их требовал. Зачем — не догадываюсь».

Тут и гадать особенно нечего. Герцог Александр выжидал исхода событий. Он хотел быть возле своего кандидата на престол и иметь под рукой сыновей-офицеров. Ведь Николая и убить могли...

Интересно, как следы этой особой позиции Марии Федоровны, ставшие известными гвардейским солдатам, трансформировались в их сознании.

13 мая 1826 года, когда шло еще следствие, агент полиции мещанка Екатерина Цызырева, раздававшая гвардейским солдатам мелкие ручные работы для заработка, доносила в Главный штаб о настроениях в Преображенском полку:

«Вообще о сем полку могу сказать, что они любят и преданы государю императору, но из их слов видно, что в них стараются поселить любовь к цесаревичу, великому князю Константину Павловичу и ненависть к государыне императрице Марии Федоровне, мне рассказывали они, что говорили им, будто великий князь Константин Павлович просил государя императора недавно, дабы гвардейским солдатам уменьшить службу до 15-ти лет, что монарх на это был согласен, но будто бы государыня императрица Мария Федоровна на это не согласилась и настояла, чтоб в просьбе сей отказать цесаревичу великому князю, на что его высочество остался столь недоволен, что не пишет более к государю императору.

Все сии рассказы, сколь они ни пусты, но заставили обратить на них особое внимание, я сама буду каждую неделю у них два раза, а сверх сего я раздала там работы и наняла женщину Саперного батальона, которые будут доставлять мне сведения о слухах и разговорах в том полку»*.

Этот вариант «константиновской легенды» говорит о том, что полки, поддержавшие Николая, ждали после 14 декабря немедленных перемен к лучшему и, не видя их, искали виновников. Ясно, что и до восстания в сознании гвардейцев с возможностью перемен связано было имя Константина.

В атмосфере напряженного ожидания, мучительной неловкости своего положения, подспудных интриг и страха встретил великий князь Николай утро 12 декабря.

Николай в записках рассказал об этом роковом утре с большой психологической достоверностью:

«...Часов в 6 я был разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом «о самонужнейшем» от генерала Дибича, начальника Главного Штаба, и адресованным в собственные руки императору!

* ОР ГПБ, ф. 859, к. 18, № 12, л. 106—106 об.

Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получив в ответ, что ничего ему не известно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находится государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться. Вскрывать пакет на имя императора — был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последней крайностью, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и — пакет вскрыт!

Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространились через всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии.

Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью — я не имел ни власти, ни права на оную; мог действовать только через других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют...»

При достоверности изображения чувств, которые испытал Николай при чтении Дибичевой депеши, здесь конечно же немало риторики, призванной оправдать и объяснить (вернее, скрыть!) причины тех странностей, которые произошли далее.

Николай Павлович, даже если забыть, что он был кандидатом на престол, в любом случае оставался великим князем — и в этом качестве обладал в отсутствие императора немалым влиянием. Сам он, разумеется, не должен был производить аресты — для этого были соответствующие лица. Первым делом Николай призвал генерал-губернатора Милорадовича, в руках которого была полиция, и начальника почтовой части князя Голицына, который контролировал связь столицы с империей. Оба они прочитали бумаги Дибича. Это был подробный свод тех сведений о тайных обществах, которые доставлены были Шервудом, Виттом и — уже после смерти Александра — капитаном Вятского полка, доверенным человеком Пестеля — Майбородой.

«Подобное извещение, в столь затруднительное и важное время, требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать... Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо: все были в отпуску...»

Тут Николай сознательно обманывал будущих читателей, и в том числе историков. Ибо в письме Дибича названы бы-

ли «из числа деятельнейших членов» тайного общества «гвардейского генерального штаба капитан Муравьев, гвардейский офицер Бестужев, служивший прежде во флоте, некто Рылеев (вероятно, секунданта покойного поручика Чернова на дуэли с флигель-адъютантом Новосильцевым)...». Отыскать в Петербурге Рылеева было крайне просто — издатель «Полярной звезды» и знаменитый поэт был прекрасно известен графу Милорадовичу. Установить, какой Бестужев перешел из флота в гвардию, тоже можно было в весьма короткий срок, — это был Михаил Бестужев. Хотя, скорее всего, доносчики, получившие сведения о Северном обществе из вторых рук, имели в виду лейб-драгуна Александра Бестужева вместе с его братом, моряком Николаем Бестужевым.

Этот кусок воспоминаний есть прекрасный образец волевого моделирования события задним числом. Николай сознательно упрощает происходившее, чтобы — опять-таки в целях самооправдания — представить его неожиданным, мгновенным, как с неба свалившимся.

На самом деле было по-другому.

Николай узнал о существовании заговора не утром 12-го, а после обеда 10 декабря.

12 декабря в письме Дибичу, в ответ на его депешу, Николай писал: «Третьего дня видел в первый раз (в первый раз во время междоусобия, разумеется.— Я. Г.) графа Аракчеева. Он мне в разговоре упомянул об этом деле, не зная, на чем оно остановилось, и говоря мне про оное, потому что полагает его весьма важным». (Встреча с Аракчеевым зафиксирована в дневнике.) Таким образом, Аракчеев, который был давно уже осведомлен о содержании доносов, полученных Александром, сообщил Николаю о заговоре.

Стало быть, во-первых, Николай уже 10-го числа узнал, какую пороховую бочку ему оставил один брат и усиленно уступает другой. Во-вторых, известия Дибича не были для него неожиданностью. Они только конкретизировали рассказ Аракчеева.

Более того, Николай немедленно, 10 декабря, сообщил новость Милорадовичу, который на следующий день, 11 декабря, попытался увидеть Аракчеева. Тот его не принял (!). Но у генерал-губернатора было время обдумать происходящее и соответствующим образом ориентировать тайную полицию.

Вообще письмо Николая к Дибичу, написанное немедленно после беседы с Милорадовичем и Голицыным, существенно корректирует воспоминания и по деталям. Выясняется, что кроме двух этих лиц великий князь известил и Бенкендорфа. Но из письма этого ясно еще, что Николай вовсе не был столь беспомощен, как он хочет это в воспоминаниях представить: «Я еще не государь ваш, но должен поступать уже как государь...» Ясна из письма и его несомненная реши-

мость ликвидировать опасность в Петербурге, не дав ей реализоваться. «Обязанность моя — не теряя ни минуты, приступить к делу, до общего блага касающемуся, а потому и приступлю к назначению мер, мною принятых». И далее: «Получив ваши бумаги, я тотчас уведомил графа Милорадовича и условился с ним и Голицыным обратить *непрерывно* бдительное внимание на некоторых лиц, здесь находящихся». Таким образом, не все заговорщики отсутствовали.

Совершенно ясно, что, уже ощущая себя главой государства, Николай полон был решимости действовать. Но решимость эта была нейтрализована тем, кому отданы были недвусмысленные приказания, — Милорадовичем.

«Но «на Бога надейся и сам не плошай» было и будет нашим правилом до конца, и мы не зеваем», — заверяет великий князь начальника Главного штаба.

Они и в самом деле не зевали, но — каждый по-своему...

Сам Николай, несмотря на сетования по поводу отсутствия у него власти, был настроен решительно, да и Милорадович тоже, судя по сообщению Николая. «Решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать...» Так было решено на совещании рано утром 12 декабря. Простое выполнение Милорадовичем своих обязанностей исключало возможность будущего восстания.

В нормальном, подлинно стабильном государстве замыслы заговорщиков были бы пресечены в тот же день, в крайнем случае — на следующий. В нормальном и стабильном, но не в государстве, охваченном кризисом, не в ситуации бешеной групповой борьбы в верхах...

Милорадович ушел, а великий князь остался обдумывать создавшееся положение. Хотя на спокойные раздумья времени не было. После целого ряда деловых встреч и разговоров, как видно из дневника, сразу после обеда прибыл курьер от Константина с подтверждением прежней позиции. Это не был желаемый манифест об отречении. Это было очередное письмо. Но далее откладывать решение было нельзя. Сведения о грандиозном заговоре делали и без того взрывоопасное положение катастрофическим. Николай и Мария Федоровна решили ограничиться этим письмом и, на него опираясь, объявить о переприсяге. У них просто не было другого выхода. Надо было заканчивать манифест о вступлении на престол. Над манифестом Николай трудился уже несколько дней, что говорит об его уверенности в определенном исходе «тяжбы о короне». Еще 9 декабря он записал в дневник: «Карамзин, читал ему свой проект манифеста...» Они теперь встречались ежедневно, обсуждая текст. Но то, что предлагал Карамзин, Николая не очень устраивало. Он поручил 10 декабря еще и Сперанскому написать свой вариант. 11-го числа Сперанский представил проект, понравившийся великому

князю. Но днем 12 декабря Николай соединил в этой работе и Карамзина, и Сперанского.

Два политических мыслителя, непримиримые противники по истинным своим позициям, стали авторами совместного документа, объявлявшего начало новой эпохи.

Дневник Николая дает точную картину этого бурного и насыщенного делами и встречами дня: Фредерикс, Перовский, Голицын, Милорадович, герцоги Вюртембергские, Воинов, Бистром, Потапов, полковник Геруа, командир гвардейских саперов — причем некоторые из названных лиц приходили не один раз, — разговоры с императрицей Марией Федоровной и женой, работа над манифестом — вот день Николая, свидетельствующий еще раз о том, что он вовсе не был изолирован в это время. Все сходило к нему. Он обладал достаточной властью для пресечения заговора.

Около девяти часов вечера Николаю доложили, что адъютант генерала Бистрома принес какой-то пакет от командующего гвардейской пехотой. Николай вскрыл пакет. В нем оказалось личное письмо к великому князю подпоручика Якова Ростовцева.

В письме этом Ростовцев давал понять великому князю, что против него существует заговор и что принимать престол в сложившейся ситуации смертельно опасно и для него, Николая, и для всего государства.

Николай пригласил Ростовцева к себе в кабинет. Они долго разговаривали наедине. Содержание разговора мы знаем только в версии самого Ростовцева, одобренной Николаем. Но ясно, что подпоручик повторял то же самое, что сказал в письме, и не называл имен.

Великий князь попросил его ничего не говорить Бистрому и отпустил.

Николай теперь мог сопоставить конкретные данные из Таганрога и туманные предостережения и намеки подпоручика. При сопоставлении же этих сообщений вероятность мятежа в результате новой присяги становилась почти несомненной.

Николай это прекрасно понял.

После ухода Ростовцева он написал короткое письмо находившемуся в Таганроге генерал-адъютанту Петру Михайловичу Волконскому: «Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! 14-го числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь — да, мы все несчастные — но нет несчастливее меня! Да будет воля Божия!..»

После чего он отправил полковника Фредерикса в обратный путь.

ПОЛКОВНИКИ

Необходимы были «густые эполеты». Необходимы были старшие офицеры, способные вести за собой полки. И лидеры общества искали этих людей на разных уровнях. На самом верхнем действовал князь Трубецкой. Есть глухие и не слишком определенные данные об этой его деятельности. Но один эпизод ясен. Трубецкой сделал попытку привлечь к заговору своего старого друга и соратника генерала Сергея Шипова.

В обширном следственном деле Трубецкого имя Шипова упомянуто лишь дважды — оба раза в связи с ранними декабристскими организациями. А между тем переговоры с командиром Семеновского полка и гвардейской бригады, куда кроме семеновцев входили лейб-гренадеры и Гвардейский экипаж, были одной из главных забот князя Сергея Петровича в конце ноября — начале декабря. Шипов не только носил генеральские эполеты и уже потому был для гвардейского солдата лицом авторитетным, но и обладал большим влиянием на свой полк. А участие в выступлении «коренного» Семеновского полка могло стать решающим фактором. Сергей Шипов, один из основателей тайных обществ, друг Пестеля, казался подходящей кандидатурой на первую роль в возможном выступлении. Его участие было тем более желательно, что полковником другого «коренного» полка был его брат Иван Шипов, можно сказать, воспитанник Пестеля, Трубецкого и Никиты Муравьева. (Он сам говорил об этом после 14 декабря в объяснительной записке по поводу принадлежности к «Союзу благоденствия».)

Естественно, встреча с генералом Шиповым оказалась одним из первых действий Трубецкого по подготовке восстания. Через двадцать лет после событий Трубецкой писал: «По смерти имп. Александра поехал я к Шипову, и мы вдвоем разговаривали о тогдашних обстоятельствах. Он сожалел, что брата его не было в городе, который со 2-м Преображенским батальоном стоял вне города, как и все 2-е батальоны гвардейских полков. С. Шипов говорил, что желает устроить так, чтобы можно было нам втроем поговорить».

После ликвидации «Союза благоденствия» Сергей Шипов не вступил в Северное общество. Но дело было не в том, являлся он формально членом общества или нет. Важно было принципиальное единомыслие. А в этом Трубецкой не сомневался. После первого обнадеживающего разговора он приехал к Шипову через несколько дней. Был уже декабрь. Трубецкой не называет даты, да скорее всего он и не помнил ее, но по логике событий это должно было произойти после 6 декабря, когда появилась реальная потребность в мобилизации сил.

Но на второй — решающей — встрече Шипов неожиданно заявил, что Константин «злой варвар», а Николай «человек просвещенный» и он будет поддерживать Николая.

Позиция Шипова поражает своей неестественностью. Умный, либерально настроенный человек, он не мог не знать истинной цены Николаю. Но и маловероятно, чтобы он притворялся, не доверяя Трубецкому, старому боевому товарищу, другу молодости, соратнику по тайным обществам. Скорее всего, он просто не знал, чью сторону принять. Инстинкт самосохранения перевешивал идеологические симпатии. Он не мог решиться... Недаром он во время беседы настойчиво просил Трубецкого извещать его о конъюнктуре, о расстановке сил.

Позиция генерала Шипова чрезвычайно характерна для момента — он выжидал. Судя по его недавнему прошлому, он совсем не прочь был увидеть Россию конституционной страной. Но рисковать ради этого головой... Как мы увидим, его поведение 14 декабря свидетельствовало об этой неопределенности выбора.

Параллельно велись и другие весьма важные переговоры.

После совещания у Оболенского 12-го числа Розен «поехал к Репину, пересказал ему слышанное и виденное, а на другой день сообщил то же полковнику Тулубьеву...».

10 декабря, как мы помним, Оболенский сам ездил к Тулубьеву и полковнику Моллеру, но не смог поговорить с ними.

Полковники Тулубьев и Моллер, командовавшие 1-м и 2-м батальонами финляндцев, были членами тайного общества. Моллера принял декабрист Нарышкин. Кто принял Тулубьева, следствие выяснить не стало по причинам, о которых речь впереди. Но Трубецкой уверенно назвал членами общества и того, и другого.

Участие в восстании Тулубьева и Моллера давало не только гарантию выступления двух батальонов, но и бросало на весы авторитет еще двух гвардейских полковников.

Тайному обществу катастрофически не хватало «густых эплетов» — от полковников и выше. Дело было не только в солдатах, стоявших непосредственно за таким-то полковником, хотя и это было чрезвычайно важно, но и в том впечатлении, которое должно было произвести на солдат нейтральных или колеблющихся частей их присутствие в рядах инсургентов. Когда за права цесаревича вступаются поручики и штабс-капитаны — это одно. Когда полковники и генералы — другое.

Оболенскому, очевидно, не удалось поговорить с Моллером и в последующие дни. На нем лежала бездна обязанностей. Ведь кроме подготовки вооруженного восстания ему приходилось заниматься своим официальным делом, а у

старшего адъютанта командующего гвардейской пехотой забот хватало. Поэтому переговоры с Моллером взял на себя Николай Бестужев. Первый раз он видел полковника вечером 12 декабря. Моллер был «в наилучшем расположении».

С Тулубьевым вели переговоры Репин и Розен.

Мы мало знаем о полковнике Александре Никитиче Тулубьеве, чья судьба сломалась 14 декабря. Знаем, что он, по сведениям следственной комиссии, был хорошо знаком с Оболенским и посылал ему книги неблагонадежного содержания. 12 декабря Тулубьев поддерживал связь с тайным обществом и, очевидно, ждал решения Моллера.

12-го числа Рылеев, который уже начал выходить на улицу, сам пытался несколько раз поговорить с Моллером, но не мог его застать.

Но в то время, когда члены тайного общества тщетно пытались привлечь к действию двух полковников, Рылеев куда больше преуспел с третьим.

Полковник Булатов приехал в Петербург 11 сентября. Умер генерал Булатов, и надобно было делить с братьями наследство. Вскоре полковник встретил в театре своего однокашника по кадетскому корпусу Рылеева. Они условились о встрече, но встречи не получилось. Затем они снова столкнулись в театре, и Рылеев сообщил своему старому товарищу о существовании тайного общества. Булатов не принял этого всерьез. Он был далек от политики, совсем недавно перенес тяжкое горе — смерть любимой жены — и находился в состоянии нервном и неуравновешенном.

Началось междуцарствие. Настроения Булатова в этот период уже известны нам — как многие офицеры, он хотел в императоры Константина. Но ни о каком вмешательстве в государственные дела и не думал. Рылеев, однако, о нем не забыл. И когда началась активная мобилизация сил, Рылеев сделал очень точный ход.

6 декабря к Булатову приехал поручик Панов и пригласил его на обед. Квартира Панова помещалась в лейб-гренадерских казармах...

Вся боевая служба Булатова связана была с этим полком. С лейб-гренадерами он прошел кампанию 1812 года, а затем и заграничные походы. В 1825 году он командовал егерским полком в провинции, но лейб-гренадеры помнили и любили его. На это и рассчитывали Рылеев, Сутгоф и Панов.

За столом начались вольные политические разговоры о необходимости перемен, на что Булатов сказал, что «было время для исполнения их предприятий, но оно упущено — время семеновской истории».

Между тем Панов предупредил ветеранов полка о том, кто будет у него в гостях. И то, что произошло далее, было проверкой отношения солдат к Булатову. «...Пусть каждый по-

ставит себя на мое место,— писал он из крепости великому князю Михаилу Павловичу,— и вообразит свидание с тем солдатом, который 13 лет тому назад после жаркого сражения, видя своего офицера в изнурении и немогшего идти, нес на своем плаще и плечах своих. Я увидел Герасимова, и биение сердца изъявило ему мою благодарность, я встал, взял его за руку и поцеловал его, потом велел подать рюмку вина и выпил с большим удовольствием за его здоровье; поговоря несколько с ним, спросил о прежних сослуживцах моих — его товарищах, дал ему на водку 20 или сколько рублей и отпустил его... Не прошло получаса, как вошел в комнату унтер-офицер Иевлев, рядовые Миклейн и два Герасимова. Я поздоровался с ними. Просил Панова, чтоб дали им водки, они выпили за мое здоровье. Я поблагодарил их небольшою рюмкою вина и, поговоря немного, взял каждого за руку, жал; они целовали мою руку...»

Все эти солдаты по очереди несли раненого Булатова при отступлении от Смоленска, где он прикрывал отход армии, командуя отрядом добровольцев.

В коридоре Панов спросил солдат: «Что, ребята, если бы полковника хотел кто-нибудь убить, допустили ли бы вы до этого?» Гренадеры божились, что защитят Булатова.

Ясно было, что полковник по-прежнему любим в полку.

После этого молодые офицеры втянули Булатова в спор об Аракчееве, чтобы выяснить его настроения. Аракчеева Булатов терпеть не мог и сообщил об этом в выражениях весьма резких.

На следующий день Сутгоф передал Булатову приглашение Рылеева.

8 декабря полковник приехал к больному Рылееву и застал там Трубецкого. Но князь вскоре уехал. Они остались одни. И тут произошел решительный разговор. «Рылеев открывает мне о заговоре, слышанном мною в театре. Зная, что он женат и имеет дочь, я думаю, что он шутит, но он говорит серьезно, описывает состав оного, который, как кажется, открыть довольно трудно. Меня поразило это так, что я ничего ему не ответил; не знаю, заметил ли он это или нет, но кажется, понял так, как должно: он знал, что я ни к каким подобным поступкам и в молодости лет не был сроден. Но он продолжал следующим образом: «Я по старой нашей дружбе никак от тебя не мог этого скрыть, тебя знают здесь за благороднейшего человека... Комплот наш,— продолжал он,— составлен из благородных и решительных людей». Я отвечал ему, что так и должно быть, ибо на такие решительные дела малодушным решаться не должно. Ему это понравилось. «Тебя давно сюда дожидали, и первое твое появление обратило на тебя внимание». Он тронул мое самолюбие, и я был доволен, что отважные и не известные мне люди отдадут мне

справедливость. Тут кто-то вошел, и разговор наш кончился».

Но на следующий день — 9 декабря — полковник Булатов снова приехал к Рылееву. У него была полная возможность отказаться, прервать смертельно опасные переговоры. С чего бы ему вдруг — после получения полка, наследства, после похвал императора Александра на последнем смотре, — с чего бы ему входить в заговор, рисковать всем? Но он едет к Рылееву.

«Садимся, и он открывает, в чем состоит заговор, основанный на пользе отечества. Из открытия его узнал я следующее и главное — то, чтобы уничтожить монархическое правление и власть тиранскую, как говорит Рылеев, которую присвоили себе цари над равными себе народами. Я спросил у него: «Какая же в этом польза отечеству?» Он продолжает: когда мы успеем в своем предприятии, на которое они полагают твердую надежду в то время, на время избран диктатором князь Трубецкой, устроим Временное правление, потом вызовем из каждой губернии, каждого уезда депутатов... — состав Народного правления. Я ему сказал на это, что вижу из этого только другое правление, но так как теперь новый император (в то время царствовал цесаревич Константин), гвардия вся его любит... добавя к тому, что партия их упустила в 821 году самый удобный случай во время возмущения Семеновского полка. Он отвечал мне на это, что они тогда не были так сильны, но теперь совсем готовы. Я опять напомнил ему, что новый государь любим народом и войсками».

Но Рылеев видел, что собеседник его колеблется, и не прерывал разговора. Он последовательно изложил Булатову три варианта плана — в зависимости от обстоятельств. Первый — в случае принятия Константином престола законсервировать общество, делать карьеры и окружить императора своими людьми, а затем вынудить к проведению реформ. Это был уже устаревший вариант, но Рылеев, надо полагать, специально начал с него, чтобы показать Булатову гибкость и предусмотрительность общества. Второй — воспользоваться для переворота переприсягой. Третий — ежели не получится во время новой присяги, отложить действие до коронации.

На этом они расстались. И Булатов решил 15-го числа уехать из Петербурга, закончив свои дела по наследству.

11-го числа к нему пришел Сутгоф и от имени Рылеева прямо предложил возглавить лейб-гренадерских офицеров. Оба они — Булатов и Сутгоф — понимали, что в случае согласия полковника к ним примкнут новые люди в полку. 11 декабря, как мы помним, было пиком организационной деятельности вождей общества.

Но 10 декабря прошло у Булатова в тяжелых раздумьях. Одна мысль не давала ему покоя. Мысль, определившая в

конце концов гибельное решение, которое он принял накануне восстания.

Вечером 11 декабря он прямо сказал Сутгофу: «Я не вижу никакой пользы отечественной, кроме того чтобы вместо законного государя был какой-нибудь другой властелин». Но он твердо обещал быть завтра у Рылеева и ответить ему.

Булатов метался. Ему вняты были рассуждения Рылеева о необходимости перемен. Его честолюбие и самолюбие высокого профессионала, заслуженного офицера, претерпевшего еще недавно немало несправедливостей, требовали компенсации более значительной, чем командование егерским полком. Его взвинченные смертью любимой жены нервы не давали ему хладнокровно обдумать происходящее. Младший брат Булатова вспоминал о том, как выглядел полковник осенью 1825 года: «Я его почти не узнал; он как-то опустился, осунулся и очень похудел; румянца на щеках не было более, и только впавшие в орбиты глаза горели лихорадочным огнем; несмотря на 32 года, на висках были седые волосы».

С другой стороны, ему страшно было за двух маленьких дочерей, осиротевших со смертью матери и живших на попечении прабабки.

А главное — не обладая такой идеологической подготовкой, как лидеры тайного общества и даже такие его члены, как Репин, Сутгоф, Панов, офицеры-моряки, не будучи человеком такой достойной и чистой доверчивости, как Андрей Розен, Булатов примерял на развернувшуюся перед ним ситуацию «переворотную» традицию XVIII века — когда в результате выступления гвардии одна персона на престоле сменялась другой. Подлинный смысл и политическая потенция гвардейских мятежей были ему неясны. Он боялся оказаться орудием в руках новоявленных Орловых.

Но та же гвардейская традиция требовала от него действия. Перед ним внезапно возникла возможность принести «пользу отечеству», и ему тяжело было ею пренебречь.

Он знал, что лейб-гренадеры поверят ему и пойдут за ним. Он понимал, что в смутный момент переприсяги он может со своими солдатами переломить ход событий — как сочтет нужным. Он помнил 6 декабря, молодых возбужденных офицеров, старых гренадеров, целовавших ему руки...

Он колебался. И никому из «действителей» 14 декабря окончательное решение не далось с такой мукой, как полковнику Булатову.

Утром 12 декабря он был у Рылеева и дал положительный ответ, иначе Рылеев не пригласил бы его на вечернее совещание, на котором должны были быть распределены роли в случае восстания.

А Рылеев его пригласил. И Булатов на это решающее совещание явился.

ФЕНОМЕН РОСТОВЦЕВА

12 декабря было переломным днем междоусобицы. В этот день Николай, получив очередное полуофициальное письмо цесаревича, решил назначить переписку. В этот день он получил письмо Дибича, показавшее ему всю опасность его положения. В этот день собравшиеся у Оболенского представители полков дали слово действовать, а полковник Булатов связал себя с судьбой тайного общества. В этот день появилась надежда на полковников Тулубьева и Моллера.

В этот же день произошло событие настолько странное, что по сию пору трудно исчерпывающе объяснить подоплеку и последствия его. В девять часов вечера во дворец явился адъютант генерала Бистрома, подпоручик лейб-гвардии егерского полка Яков Ростовцев и в туманных выражениях сообщил о грядущих мятежах.

Официальная версия, впервые оформленная Корфом, рисует Ростовцева благородным, прекраснородным юношей, который, живя на одной квартире с Оболенским, случайно узнал о замыслах мятежников, пытался образумить своего друга, но, потеряв надежду на это, рискуя жизнью, предостерег великого князя Николая Павловича о грозящей ему опасности, не назвав при этом никаких имен.

И Корф, и другие историки пользовались в качестве источника рассказами самого Ростовцева, впоследствии им записанными и после его смерти опубликованными. Можно с полной уверенностью сказать, что источник этот абсолютно лжив.

Между тем неофициально поступок Ростовцева толковался многими поколениями как заурядное предательство. Обвинители исходили из простейшей схемы — человек, близкий к заговорщикам, сообщает о них правительству. Характер самого сообщения во внимание не принимался. И это было принципиальной ошибкой.

Парадоксальность положения заключалась в том, что оправдаться — хотя бы частично — перед историей и собственными сыновьями, хотя бы несколько притушить горящую на нем печать доносчика Ростовцев мог, только написав правду. А правду написать он не смел, ибо вся его незаурядная карьера после 14 декабря построена была на утаении этой правды — и не только им самим, но и Следственной комиссией, и Николаем. Написать через много лет правду — значило дезавуировать сложившуюся легенду о благородном восторженном юноше, готовом погибнуть, но не допустить мятежа. Это значило — признать, что шефом военно-учебных заведений империи стал активный член тайного общества, товарищи которого, куда менее замешанные в событиях 14 декабря, пошли в солдаты, в дальние гарнизоны, на Кавказ...

Поступок Ростовцева объяснялся и квалифицировался очень по-разному. Штейнгель писал в воспоминаниях: «Ростовцев, младший брат из трех, служивших в л.-гв. Егерском полку, адъютант генерала Бистрома... благодетельствованный великим князем, в порыве благородного сердца решился предупредить его высочество».

Розен писал потом о Ростовцеве: «Нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12-го декабря предупредил членов общества Рылеева и Оболенского, дав им прочесть письмо, написанное великому князю Николаю Павловичу, благодетелю его семейства».

Через много лет племянник Лунина С. Уваров записал мнение о Ростовцеве декабриста Нарышкина: «Он не питает никакого отвращения... к знаменитому Якову Ростовцеву. Он говорит даже, что Ростовцев предупредил будто бы этих господ, что он их выдаст, и что они — таков был энтузиазм — нашли его поведение благородным, и что его приветствовали». Это, конечно, отзвуки сибирских разговоров, ибо Нарышкина не было в столице 14 декабря.

Наиболее жестко вспоминал о странном доносителе Николай Бестужев. Он так реконструировал в воспоминаниях свое мнение в разговоре с Рылеевым: «...Ростовцев хочет ставить свечку Богу и сатане. Николаю он открывает заговор, перед нами умывает руки признанием...»

Но кем же был в действительности этот «благородный молодой энтузиаст» и какие мотивы двигали им?

В своих записках Ростовцев настаивает на том, что он совершенно случайно, именно по причине своего соседства с Оболенским, узнал тайну заговора. Это первая и главная ложь.

Ростовцев был членом Северного общества. Оболенский показал на следствии: «Принят был мною за несколько недель до 27-го ноября товарищ мой, старший же адъютант Ростовцев». Незадолго до восстания Оболенский поручил Ростовцеву принять в тайное общество измайловца Кожевникова, очевидно не зная, что тот уже принят Назимовым.

Александр Бестужев утверждал: «Я. Ростовцев был членом общества и приятель Оболенского. Был раза два у Рылеева, когда многие из наших приезжали. За три дня я видел его во дворце и сказал ему, что дело доходит до палашей, и он промолвил, чтоб часовые слышали: «Да, палаши — хороши».

Даже малоосведомленный подручник Коновницын знает, что Ростовцев — член тайного общества, и называет его на следствии рядом с Трубецким, Оболенским и Рылеевым.

Оболенский сообщил Ростовцеву о плане восстания (очевидно, в несколько неопределенном варианте). Ростовцев знал о собраниях офицеров у Оболенского. Короче говоря, он был полноправным и доверенным членом тайного обще-

ства. В этом качестве он и фигурирует в показаниях декабристов.

Причем был членом общества достаточно активным. Так, незадолго до восстания он запиской приглашал к себе и Оболенскому полковника Федора Глинку для разговора. (Глинка, рассказав об этом на следствии, добавил, что Ростовцева он «любил с его детства».)

На несообразность отношения следователей к показаниям на Ростовцева обратил внимание проницательный историк Шильдер, сделав для себя выписки из следственных дел, где указано было, что Ростовцев — член тайного общества, пользовавшийся доверием своих товарищей. К одним показаниям, уличавшим Ростовцева в том, что он старался привлекать в общество новых людей, Шильдер сделал саркастическое примечание: «Сие осталось без дальнейшего действия».

Когда на одном из первых допросов Штейнгель стал рассказывать о действиях Ростовцева, генерал Левашов раздраженно его прервал...

Почему был принят в тайное общество Яков Ростовцев?

Оболенский объяснил это тем, что Ростовцев, «будучи поэт, был принят мною единственно как человек, коего талант мог быть полезен распространению просвещения, тем более что талант сей соединен был с истинною любовию к Отечеству и с пылким воображением».

Ростовцев был близок не только с Оболенским. Тот же Штейнгель показал. «Около половины уже ноября, не прежде, будучи приглашен Рылевым к меньшому Ростовцеву на чтение отрывка из сочиняемой им трагедии «Пожарский», изготовленного для помещения в «Полярную Звезду», я увидел тут в первый раз князя Оболенского...» Ростовцев, стало быть, способствовал декабристской пропаганде и как литератор, сотрудник «Полярной звезды».

Штейнгель вспоминал потом о Ростовцеве: «Он был тогда одним из восторженных обожателей свободы. Написал трагедию «Пожарский», исполненную смелыми выражениями пламенной любви к отечеству, и не скрывал если не ненависти, то презрения к тогдашнему порядку вещей в России». Как видим, Ростовцеву самое место было в тайном обществе. Он не был там случайным человеком.

Ростовцев и вне общества находился в либеральной среде. Судя по всему, большое влияние на молодого офицера имел его зять, богатый купец Сапожников. Штейнгель рассказывал: «Помнится, уже в декабре месяце он (Рылеев.— Я. Г.) мне рассказывал, что Ростовцев поручил ему сказать мне, чтобы я принял купца Сапожникова. Дня через два или три Ростовцев и сам мне то же подтвердил, промолвя. «Я бы и сам принял, но мне неловко, пожалуйста, примите...» Поводом к тому, что они ко мне в сем случае адресовались, было

то, что им известна была дружеская связь моя с Сапожниковым, а Ростовцев притом знал, что он, по делам своим терпя многие притеснения и потери от покойного министра финансов, часто в семейном кругу, не обинуясь, жаловался на порядок вещей; да и вообще человек с очищенными понятиями... После 14 декабря, при первом посещении Ростовцева, он мне рассказал, что написал к государю письмо по совету своего зятя, которому тогда только открыл об обществе и его намерениях».

Кроме Штейнгеля с Сапожниковым был дружен Батенков.

Но маловероятно, чтобы совет зятя стал решающим мотивом поступка Ростовцева. Он, скорее всего, стал советоваться с Сапожниковым в последние дни перед восстанием, потому что обдумывал свою акцию — в том или ином варианте.

Каковы же могли быть собственные мотивы Ростовцева? Почему он, как мы видели, убежденный сторонник перемен, поэт-свободолюбец, активный член тайного общества, вдруг решил отправиться к великому князю с тем, чтобы не допустить восстания? Фонвизин, наверняка обсуждавший в Сибири эту проблему с теми, кто был в декабре в Петербурге, писал: «Один член Союза, адъютант начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома, поручик Ростовцев, не из корыстных видов, а испуганный мыслию о междоусобном кровопролитии, идет во дворец и открывает великому князю Николаю намерения и надежды общества воспрепятствовать его восшествию на трон». Это крайне важное соображение, если помнить, с кем особенно близок был Ростовцев в последние дни перед 14 декабря.

Ни в одном следственном деле, даже деле Оболенского, так часто не упоминается имя Ростовцева, как в деле подполковника Штейнгеля. Когда была возможность, декабристы старались скрыть от следствия свои сепаратные связи внутри общества, и Штейнгель наверняка говорит о своих отношениях с Ростовцевым меньше, чем мог бы сказать. Не случайно же, когда после восстания Ростовцев, избитый на площади прикладами, лежал в родительском доме больной, то Штейнгель, по собственному признанию, «ежедневно посещал в болезни его» — пять дней подряд. Не случайно же, когда сидящему в крепости Штейнгелю удалось передать на волю записку, он адресовал ее в дом Ростовцевых.

Относительно грядущего восстания у Штейнгеля были очень определенные соображения: «Я утверждал и доказывал, что Россия не готова еще к чрезвычайным переменам правительства (то есть к насильственным.— Я. Г.), что конституция дана быть может только высочайшею властью (хотя бы и под давлением гвардии.— Я. Г.), что всякое насильственное предприятие произведет всеобщее возмущение и все ужасы значалия...» Штейнгель говорил это еще до междуцарствия, но и

в декабре 1825 года его позиция по сути своей осталась столь же умеренной.

Штейнгель был не одинок. Позиция Батенкова относительно средств давления на власть была принципиально схожей. И тот и другой прежде всего опасались кровопролития, неуправляемого развития событий.

Именно этой боязнью объясняет Фонвизин поступок Ростовцева.

Но тогда почему же Ростовцев не «взбунтовался» раньше? Ведь еще 9 декабря он исправно выполнял поручения Оболенского и заботился о расширении общества. Очевидно, и в его позиции решающую роль сыграло 11 декабря, когда ясна стала недостаточность сил для бескровного давления на власть и выяснилась необходимость решительных действий — не демонстрации, а восстания в полном смысле слова. А совещание 12 декабря у Оболенского, где ситуация проявилась во всей своей рискованной неопределенности, довершило дело. Именно 11—12 декабря Оболенский объявил связанным с ним офицерам, и в том числе Ростовцеву, достаточно уже радикальный план. И ясно было, что план этот может стать еще радикальнее.

11—12 декабря, как мы увидим, вообще были днями начала борьбы внутри тайного общества, резкого размежевания позиций. И есть основания утверждать, что поступок Ростовцева был именно эпизодом этой внутренней борьбы.

Что, собственно, сделал Ростовцев?

В первой половине 12 декабря было собрание офицеров на общей квартире Оболенского и Ростовцева (которая, в свою очередь, была частью квартиры Бистрома), собрались представители полков. А вечером того же дня Ростовцев явился во дворец и передал, как мы помним, Николаю письмо. Письмо это в опубликованном самим Ростовцевым варианте выглядело так:

«В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко влечению вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам, вы весьма многих против себя раздражили.

Для вашей собственной славы погодите царствовать.

Против вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, быть может, это зарево осветит конечную гибель России.

Пользуясь междуусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздраемую Россию из списка держав своих и соделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия вместо должных благословений будут вашим уделом.

Ваше высочество! Может быть, предположения мои ошибочны, может быть, я увлекся и личною привязанностью к

вам и любовь к спокойствию России, но дерзая умолять вас именем славы отечества, именем вашей собственной славы преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это длит пагубное для вас междуцарствие, и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он придет в Петербург, излейте ему как брату мысли и чувства свои, ежели он согласится быть императором — слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас своим государем».

В этом суть письма. Далее следовали уверения в бескорыстии и преданности: «Ежели ваше воцарение, что даст всемогущий, — будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие, ежели же, к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня своею доверенностью, позволив мне умереть, защищая вас».

Письмо это — удивительная смесь романтического вдохновения и тонкого расчета. Точно зная, что переписывая будет сигналом к мятежу, Ростовцев мог, ничем не рискуя, предлагать казнить себя в случае мирного исхода.

Но дело не только в этих мелких хитростях. Дело в том, что письмо это печаталось и Корфом в его книге о 14 декабря, и Шильдером, взявшим текст у Корфа, и, главное, самим Ростовцевым в воспоминаниях, с пропуском интереснейшего абзаца. Умный Корф и его редактор, император Николай, не случайно вычеркнули этот абзац. В свете последовавших событий он представлялся весьма странным. Стоял он после слов о гибели России в междоусобиях и звучал так: «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас, военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против. (Об двух армиях ничего не умею сказать.)»*

Этот абзац имеет принципиальное значение для понимания смысла письма. Суть его в том, что мятеж против Николая должен вспыхнуть *не в Петербурге!* То есть идет явная дезинформация.

Если бы Ростовцев был заурядным доносчиком, он написал бы пусть в общей форме, но правду. А он сознательно обманывает Николая. Прекрасно зная, что тайное общество

* Полный текст письма хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР), ф 48, д 3, л 1—1 об Текст этот был включен правителем дел Следственной комиссии в справку о Ростовцеве в «Алфавите декабристов» и, соответственно, опубликован в 8-м томе «Восстания декабристов» (Л, 1925) Поскольку «Алфавит» мыслился тогда материалом «закрытым», секретным, текст письма редакции не подвергся

рассчитывает на несколько гвардейских полков, Ростовцев успокаивает великого князя относительно гвардии. Зато с уверенностью указывает как на очаги мятежа на те воинские контингенты, проверить лояльность которых в короткий срок просто невозможно, — на поселенные войска и на Кавказский корпус. Если учесть, что о напряженности в военных поселениях Николай знал, а Ермолов давно был подозрителен, то предостережение подпоручика должно было звучать вполне убедительно. Не мог Ростовцев, друг и доверенное лицо Оболенского, не знать и о существовании Южного общества, о котором — в общем виде — сообщали всем неофи-там. Он, однако, специально говорит, что ничего не знает о двух армиях, стоявших на Юге. Он скрывает все свое конкретное знание и сообщает сведения туманные и недостоверные.

Несомненным свидетельством того, что Николай поверил Ростовцеву, является приписка к готовому уже письму великого князя Дибичу. Приписку эту Николай сделал сразу же, как только закрылась за Ростовцевым дверь (он зафиксировал это в дневнике): «Послезавтра поутру я — или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата, счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет в России? Что будет в армии?.. Я вам послезавтра, если жив буду, при-шлю — сам еще не знаю, кого, — с уведомлением, как все со-шло; вы также не оставите меня уведомить о всем, что у вас вокруг вас происходит будет, особливо у Ермолова. К нему надо будет под каким-нибудь предлогом и от вас кого вы-слать, например, Германа или такого разбора; я, виноват, ему менее всего верю».

Как видим, о гвардии здесь нет ни слова, зато — «что будет в армии?». И откровенное теперь уже недоверие к Ермолову — прямой результат ростовцевского предупреждения. Вся эта приписка — реакция на сведения Ростовцева.

Смысл ростовцевского письма в полном его виде — запугать великого князя, заставить его сделать еще одну попытку навязать престол Константину (который его ни за что не принял бы) и тем самым завести ситуацию в тупик либо продолжать попытки вызвать цесаревича в столицу (куда бы он ни за что не поехал) и таким образом до бесконечности затянуть междоусобие. Тогда становились реальными кандидатуры Елизаветы или Михаила Павловича, любезные Штейн-гелю и Батенкову, либо решение вопроса о малолетнем Александре Николаевиче и регентстве переходило в руки Государственного совета и Сената, что открывало перед умеренным крылом общества серьезные перспективы.

Во всяком случае, если бы Николай внял истерическим заклинаниям Ростовцева, то оба старших великих князя бы-ли бы «безмятежным» способом устранены.

Милорадович запугивал Николая бунтом гвардии в столице. Ростовцев пугает его гражданской войной на пространствах страны. «Но что будет в России? Что будет в армии?» — вопрошает Николай, отпустив подпоручика.

Не будь депеши Дибича, ясно сообщающей о наличии заговорщиков в Петербурге, Николай мог быть совершенно дезориентирован. Но Ростовцев и те, кто, возможно, стоял за ним, о послании Дибича не знали.

Все это можно было бы считать более или менее аргументированной гипотезой, хотя полный текст письма достаточно красноречив, если бы не удивительное свидетельство Завалишина, мимо которого равнодушно проходят исследователи.

Свидетельство это вообще важно, но особенно для ростовцевского сюжета. Завалишин, при непомерном самомнении и дурном характере, был человеком необычайно цепкого и интенсивного ума — он часто схватывал такие аспекты событий, на которые другие не обращали внимания. Так и в данном случае. Он говорил в записках об атмосфере среди его окружения в 1825 году: «Чем больше толковали о формах и о средствах к перевороту, тем сильнее становилось разногласие и тем очевиднее было колебание. В таком положении многие начали подумывать, не лучше ли опять возвратиться к действию через само правительство, возбуждая в государе или прежние либеральные чувства, или опасения. Для последнего был даже составлен такой план: открыть ему существование тайных обществ и неминуемость переворота и доказать, что единственное средство предупредить это состоит в добровольном даровании конституции или, по крайней мере, в немедленном приступлении к реформам в самом обширном размахе, обещая ему в таком случае полную преданность и ревностнейшее содействие членов общества. Для исполнения этого плана дело состояло единственно в том, чтобы найти человека, способного на хладнокровное пожертвование собой и настолько твердого, чтобы, открыв существование заговора, не выдать, однако, его соучастников... Так объясняли некоторые действия Оболенского относительно Ростовцева. Сообщая последнему все дело от себя, Оболенский, говорят, знал, что Ростовцев способен составить себе выслугу из доноса, но что его, Оболенского, он не решится выдать, а объяснит, что узнал все как-нибудь стороною, а между тем влияние на государя может быть произведено».

Разумеется, акция Ростовцева подробно обсуждалась в Чите и Петровском заводе, и сообщения Завалишина опираются на эти обсуждения.

Опять-таки можно было счесть свидетельство Завалишина экстравагантной выдумкой. Но мы располагаем неопровержимым свидетельством такого надежного мемуариста, как соратник и друг Пестеля майор Лорер.

Лорер свидетельствует, что в ноябре 1825 года у Пестеля был план «отправиться в Таганрог и принести государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений прав, которых мы добиваемся».

Но, пожалуй, самое существенное и убедительное известие на эту тему принадлежит Батенкову, человеку, через Штейнгеля к Ростовцеву близкому: «Мне приходило на мысль составить записку о настоящем состоянии России и в конце ее обратить внимание на то, что в ней являются уже политические тайные общества, указав именно на Трубецкого...» Записка предназначалась царю. И мысль эта явилась Батенкову за неделю до 14 декабря.

Как видим, мысль воздействовать на царя сообщением о существовании сильного тайного общества и угрозой его выступления, а равно и возможностью его самоликвидации в случае реформ сверху обсуждалась и обдумывалась в декабристской среде в последние недели перед восстанием.

И Ростовцев реализовал ее на свой манер.

Несколько позже он сказал Штейнгелю, что мысль пойти для разговора к Николаю подал ему зять — купец Сапожников. Тот самый, которого Ростовцев хотел принять в тайное общество. У Сапожникова Батенков провел вечер 13 декабря, а Штейнгель пошел к Сапожникову, побывав возле Сенатской площади уже во время восстания.

Скорее всего, Штейнгель, несмотря на свою близость в эти дни с Ростовцевым, не принимал участия в обсуждении акции подпоручика. Но несомненно, что они обсуждали сложившуюся ситуацию и что Ростовцев прекрасно знал позицию Штейнгеля и Батенкова, существенно отличавшуюся от позиции Оболенского. (Если в следственных материалах и появились в какой-то момент следы сепаратных совещаний Ростовцева и Штейнгеля, то они вполне могли быть изъяты, как отсекалось все, компрометирующее Ростовцева.)

Для того чтобы яснее понять происходящее, надо ввести понятие декабристской периферии. Был центр, ядро движения в Петербурге: Рылеев, Трубецкой, Бестужевы, Пущин, Каховский, Оболенский, Арбузов — люди прочной революционной идеологии, продуманной и внутренне обоснованной. Они были революционерами по убеждению, а не по ситуации.

И была периферия, в которую входили именно те, кто, будучи готов к действию — разной степени радикальности, — оказался вовлечен в события стечением обстоятельств. Панов и Сутгоф смогли органично примкнуть к декабристскому центру. Но были десятки людей, вовлеченных в водоворот мятежа, которые, будучи сторонниками перемен, не могли

вместить в сознание идею радикального переворота — революции. Вождями, идеологами периферии, которая включала в себя широчайший спектр позиций и характеров — от неистового Якубовича до сдержанного, правдивого, идеально порядочного Розена, — фактическими идеологами ее были Батенков и Штейнгель. И тут неважно, что многие из людей декабристской периферии не знали или почти не знали этих двух подполковников. Они готовы были к восприятию идей именно Батенкова и Штейнгеля.

Один из характерных людей периферии, прапорщик Гвардейского генерального штаба Палицын, так сформулировал на следствии свое представление о цели тайного общества. «При вступлении на престол его императорского высочества Константина Павловича или нынешнего государя-императора должны поднести проект другого порядка вещей, как то было сделано при императрице Анне Иоанновне».

Но это идея Батенкова—Штейнгеля — приглашение государя на определенных условиях. Неважно — Елизавета, Константин, малолетний Александр Николаевич или сам Николай. Важно — без восстания, без захвата власти, без риска уличных боев с вытекающим отсюда волнением городских низов. Спокойные переговоры с претендентом группы лиц, за которыми стоит некая сила. Изменение структуры без ее ломки.

Палицын был лично знаком только с Рылеевым и Каховским, который его принял в общество. Ни тот ни другой не могли внушить ему этот аналог идеи верховников, ибо они эту идею не исповедовали. (От Каховского Палицын слышал о «восстании народа» как средстве достигнуть цели общества.) Но это была та идея, к которой Палицын был подготовлен, потому он так и интерпретировал происходящее.

Ростовцев, такой же, как Палицын, — не организационно, но идеологически — человек периферии, пытался подготовить почву для реализации этой идеи, объективно пытался осуществить план Батенкова—Штейнгеля. Ведь сбор войск на Пулковой горе и требования от их имени отнюдь не равнозначны были тому, что задумали Трубецкой и Рылеев...

Александр Бестужев показал на следствии, что о беседе Ростовцева с Николаем он узнал в тот же день. (На следствии ростовцевский сюжет был запретным для следователей и подследственных. Первые не хотели компрометировать императорского подопечного, а декабристы считали эту тему постыдной для общества. Потому мы располагаем, увы, крайне скудными данными.) Очевидно, Ростовцев, вернувшись на их общую квартиру, признался Оболенскому в том, что сделал. А Оболенский тут же поехал к Рылееву и Бестужеву. Это было поздно вечером 12 декабря.

ЧТО ЗАДУМАЛИ ТРУБЕЦКОЙ И РЫЛЕЕВ

В ночь с 14 на 15 декабря во время обыска в кабинете Трубецкого был найден написанный его рукой документ следующего содержания:

«В манифесте Сената объявляется:

1. Уничтожение бывшего правления.
 2. Учреждение временного, до установления постоянного выборными.
 3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.
 4. Свободное отправление богослужения всем верам.
 5. Уничтожение права собственности, распространяющееся на людей.
 6. Равенство всех сословий перед законом, и потому уничтожение военных судов и всякого рода судебных комиссий, из коих все дела поступают в ведомство ближайших судов гражданских.
 7. Объявление права всякому гражданину заниматься чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как то: земли, дома в деревнях и в городах. Заключать всякого рода условия между собой, тягаться друг с другом перед судом.
 8. Сложение подушных податей и недоимок по оным.
 9. Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина и проч. и потому учреждение свободного винокурения и добывания соли, с уплатою за промышленность с количества добывания соли и водки.
 10. Уничтожение рекрутских наборов и военных поселений.
 11. Убавление срока службы военной для нижних чинов, и определение оного последует по уравниванию воинской повинности между всеми сословиями.
 12. Отставка без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.
 13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначаемых.
 14. Гласность судов.
 15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские.
- Учреждает правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет министров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законода-

тельную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних инстанциях, остается департамент Сената уголовный и учреждается департамент гражданский, кои решают окончательно, и члены коих останутся до учреждения постоянного правления.

Временному правлению поручается приведение в исполнение:

1-е. Уравнение всех прав сословий.

2-е. Образование местных волостных, уездных, губернских и областных правлений.

3-е. Образование внутренней народной стражи.

4-е. Образование судной части с присяжными.

5-е. Уравнение рекрутской повинности между сословиями.

6-е. Уничтожение постоянной армии.

7-е. Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои должны утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение».

Этот манифест составлен был князем Трубецким накануне восстания. По своей радикальности он превосходит все проекты, которые появлялись в тайном обществе в период междоусобия. Манифест этот вообрал в себя лучшее из того, что обсуждалось на заседаниях общества с момента его возникновения. И в этом смысле документ этот был программой ветеранов движения — Трубецкого, Оболенского, Пущина. И разумеется, Рылеева. Нужна была длительная психологическая самоподготовка, в сомнениях и спорах рожденная политическая традиция, чтобы решиться обнародовать документ, сокрушающий основы системы, а не просто улучшающий, корректирующий ее.

И когда читаешь манифест Трубецкого, то становится ясно, что все компромиссные варианты, обсуждавшиеся Трубецким и Рылевым до 11—12 декабря с Батенковым и Штейнгелем, были тактическим лавированием, разведкой, выяснением возможности объединения сил. А истинная позиция ядра тайного общества открылась именно в канун восстания — в манифесте Трубецкого, который, естественно, согласовал его с Рылевым.

И становится ясно, что на такой основе любые переговоры с членами императорской фамилии были абсолютно невозможны.

Возможность таких переговоров и в компромиссной форме весьма сомнительна. Когда Трубецкой на допросе упомянул об этой идее, то великий князь Михаил Павлович спросил: «Кто бы вступил с вами в переговоры?» И на ответ: «Го-

сударь» — закричал с гневом: «С вами? с бунтовщиками?!» Для самодержавного сознания сама идея равных переговоров с подданными, компромиссов, договора с ними была невыносима и непредставима.

Ни Трубецкой, ни Рылеев не были столь наивны, чтобы предполагать возможность добровольной самоликвидации самодержавия. А манифест предусматривал еще до определения Собором формы правления такие изменения в политической и экономической системе государства, что ни о каком самодержавии уже и речи быть не могло.

А отсюда неизбежно следовал вывод: сделать подобную программу политической реальностью можно было только путем вооруженного переворота. Речь могла идти о захвате власти, а не о переговорах с компромиссным решением.

Это, в свою очередь, опять-таки означает, что ядро общества, будучи в явном меньшинстве, до последних дней вынуждено было считаться с мнением умеренной периферии. (Не надо забывать, что, скажем, Щепин-Ростовский, без которого было не поднять Московский полк, вообще не думал ни о какой конституции, даже в самом умеренном варианте, а стоял за возведение Константина, то есть псевдолозунг принимал за истинный, и знакомить его с радикальной программой было просто невозможно — она оттолкнула бы его.) И общий план действий, разработанный Трубецким и Батенковым около 8 декабря, был для группы Трубецкого — Рылеева временным, вынужденным. Ибо трудно предположить, что положения манифеста родились в их головах за два дня до восстания. Нет, это была давно продуманная программа-максимум.

Теперь пора выяснить, каков же был истинный план действий, при посредстве которого Трубецкой и Рылеев надеялись захватить власть в Петербурге.

Как говорилось уже, на следствии вожди общества старались скрыть окончательный радикальный вариант плана, настойчиво предлагая следователям вариант мягкий — сбор полков и переговоры.

Александр Бестужев, человек, безусловно, осведомленный, так представил план действий: «Якубовичу с Арбузовым, выведя экипаж, идти поднимать Измайловский полк, а потом спуститься по Вознесенской на площадь. Пущину (имеется в виду Михаил Пушин.— *Я. Г.*) вести с ними эскадрон. Брату Николаю и Рылееву находиться при экипаже. Мне поднять Московский полк и идти по Гороховой. Сутгофу вывести свою роту, а если можно и другие, по льду на мост и на площадь (Панов повел ошибкою по набережной). Финляндскому полку — через Неву. Полковник Булатов должен был ждать лейб-гренадер, а кн. Трубецкой все войска, чтобы ими командовать и там сделать дальнейшие распоряжения». Здесь

сказано многое. Но нет главного — захвата дворца. От этого Бестужев всячески уклонялся, ссылаясь на свою неосведомленность и на то, что окончательные решения должен был принять Трубецкой по ходу дела.

На следствии Трубецкой держался подобной тактики до 6 мая. Основные сведения о плане содержатся в показаниях Рылеева. Но в делах других декабристов имеются ясные подтверждения его показаний.

Однако и показания Рылеева, и показания рядовых членов общества разрознены и фрагментарны, и общая картина вырисовывается только при их сопоставлении.

В ночь на 15 декабря на первом допросе во дворце Рылеев показал: «Положено было выйти на площадь и требовать Константина Павловича как императора, которому уже присягали, или, по крайней мере, его приезда в Петербург... Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади».

Но уже 24 декабря на допросе он сказал, отвечая на конкретный вопрос о роли Якубовича: «Капитану Якубовичу назначено было находиться под командою Трубецкого с экипажем Гвардейским и в случае надобности идти ко дворцу, дабы захватить императорскую фамилию...»

Это показание было чрезвычайно важно, и следователи, ухватившись за него, стали с бульдожьим упорством добиваться всей правды.

После этого Якубовичу задан был вопрос: «Вам поручено было от сообщников взять дворец, для какой цели? и что должны были вы предпринять, если бы вам удалось успеть в том?»

Якубович ответил: «Не взять дворец, а идти с войсками на Дворцовую или Петровскую площадь мне поручило общество и кричать «Ура, Константин!», пока не соберется Совет и Сенат». Это была полуправда. Якубовичу вовсе не хотелось признаваться, что он должен был брать штурмом Зимний дворец. А кроме того, он, как мы увидим, сознательно смешал две тактические идеи, два плана. Но характерно здесь упоминание о Дворцовой площади как конечной цели.

Но 24 апреля на допросе Рылеев сказал определеннее и подробнее: «Дворец занять брался Якубович с Арбузовым, на что изъявил свое согласие Трубецкой. Занятие ж крепости и других мест должно было последовать по плану Трубецкого после задержания императорской фамилии».

Трубецкой упорно отрицал составление им радикального плана военного переворота. В том числе и планирование захвата дворца, крепости и других правительственных мест. Но 6 мая, измученный почти пятимесячными допросами, на очной ставке с Рылеевым он подтвердил его показания. «Занятие дворца было положено в плане действий самим кн. Тру-

бецким», — показал Рылеев. Трубецкой «согласился на показание подпоручика Рылеева».

Несомненность этой центральной тактической задачи восстания подтвердили и другие осведомленные члены общества. «В день происшествия было препоручено дворец взять Якубовичу, в коем должен был он арестовать всю царскую фамилию, но в обществе говорили, что буйное свойство Якубовича, конечно, подвергает жизнь оных опасности», — утверждал Каховский.

(С Каховским связан важный для понимания плана эпизод: когда во время одного из общих совещаний Рылеев сказал, что в Петербурге «все перевороты происходили тайно, ночью», — память о прошлом веке и 1801 году! — то Каховский на это ответил: «Я думаю, что и теперь, если начинать здесь, то лучше ночью; всеми силами идти ко дворцу, а то смотрите, господа, пока мы соберемся на площадь... да вы знаете, что и присяга не во всех полках в одно время бывает, а около дворца полк Павловский, батальон Преображенский, да и за конную гвардию не отвечаю. Я не знаю, что там успел Одоевский, так, чтобы нас всех не перехватили, прежде чем мы соединимся». На что Рылеев отвечал: «Ты думаешь, солдаты выйдут прежде объявления присяги? Надо ждать, пока им ее объявят». Лидеры общества, разумеется, понимали, что было бы эффективнее ударить внезапно, ночью. Но они трезво сознавали и другое — без официального объявления переприсяги, которая неизбежно потрясет и возбудит солдат, им не поднять полки. Они вынуждены были оставить первый шаг правительству.)

Поручик Сутгоф, хотя и был весьма деятельным и твердым заговорщиком, не имел подробного представления о плане действий, что соответствовало конспиративным принципам, которых лидеры общества придерживались довольно последовательно. Но 13 декабря Рылеев счел своевременным дать Сутгофу ясные указания: «Рылеев говорил мне, чтобы стараться не допускать к присяге солдат и, ежели удастся, то привести их на Петровскую площадь; на вопрос же мой: «Что мы будем там делать?» — он отвечал: «Вы соединитесь там с Московским и Финляндским полками и получите приказание от кн. Трубецкого, который будет и командиром вашим, я же и Якубович, — говорил он, — возьмем Гвардейский экипаж, с которым зайдем за Измайловским полком и отправимся к Зимнему дворцу».

Николай Бестужев в воспоминаниях воспроизводит один из эпизодов 13 декабря на квартире у Репина:

«В 10 часов приехал Рылеев с Пуциным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни малы были силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец».

— Надобно нанести первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию; итак, брат твой ли Михаил с ротою, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, тотчас отправится ко дворцу».

Здесь есть некоторые неточности, но нам важно центральное утверждение Бестужева, наверняка справедливое, — для Рыльева первой целью удара был Зимний дворец.

В периферийных следственных делах есть элементы плана, который явно шел от Рыльева и обдумывался еще до междоусобицы или в самом его начале. Подпоручик лейб-гренадерского полка Андрей Кожевников, вспоминая то, что говорил ему в первой половине ноября Каховский о будущем действии общества, показал: «Общество сие должноствовало окончиться в сем, 1826 году. В назначенный день мгновенно собраться войску на Дворцовой площади, где уже будут ожидать его люди, назначенные для принятия над ними временного начальства, и там, возвестив вольность народу, предложатся новые законы».

Подпоручик Гвардейского генерального штаба Искрицкий показал, что около 6 декабря Оболенский уговаривал его «в случае перемены присяги не присягать и явиться на Дворцовую площадь, где нам будет сказано, что нужно делать».

Ясно, что эти первоначальные наброски радикального плана связаны с Зимним дворцом.

Прямые и косвенные свидетельства можно было бы множить. Но нет в этом смысла. Из тех главных свидетельств, которые здесь приведены, можно выстроить достаточно стройную схему боевого замысла Трубецкого. (Сам Рылеев сказал на одном из допросов: «В совещаниях участвовали все; план же предложен был Трубецким».)

План был прост и надежен. Гвардейский морской экипаж вместе с Измайловским полком — а если измайловцы не подымутся, то без них — должен был идти к Зимнему дворцу, взять его штурмом и арестовать императорскую фамилию. Таким образом, правительственная партия была бы обезглавлена и некому было бы координировать сопротивление перевороту.

Это и имел в виду Трубецкой, когда говорил Рылееву, что для переворота хватит одного надежного полка.

Остальным восставшим полкам — сколько бы их ни было — предписывалось спешить к Сенату, на сборное место.

Для успеха переворота восставшим необходимо было захватить две позиции — Зимний дворец и Сенат. Захватом дворца и арестом императорской фамилии ликвидировалось старое правление, Сенат нужен был, чтобы провозгласить новое.

Без захвата дворца, по замыслу Трубецкого, овладение Сенатом теряло смысл, ибо в случае сохранения Николаем сво-

боды и какой-то власти вступал в действие батенковский вариант — переговоры с претендентом.

Именно поэтому главная и самая надежная сила тайного общества — Гвардейский морской экипаж — направлена была на дворец. Караул дворца насчитывал не более трехсот человек, из которых половина отдыхала, а половина была распродолжена по внешним и внутренним постам.

Для того чтобы овладеть Сенатом и удержать его, достаточно было одной роты. Для штурма дворца этого было мало. По свидетельству Николая Бестужева, штабс-капитан Репин предостерегал Рылеева против попытки овладеть дворцом малыми силами: «...Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский батальон, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении...» Это был один из моментов подспудного конфликта внутри тайного общества между теми, кто мыслил категориями хорошо обеспеченной боевой операции, и теми, кто оперировал категориями революционной импровизации.

Поскольку захват Сената (его караул составлял тридцать пять штыков) требовал малых сил, на него в первую очередь ориентирован был ненадежный Московский полк, в котором рассчитывали на одну-две роты.

Те части, которые оказались бы перед Сенатом, во-первых, гарантировали бы контроль над ним тайного общества, а кроме того, составили бы резерв, который после захвата дворца мог быть брошен на выполнение любой второстепенной задачи.

Маршрут лейб-гренадер из казарм к площади мог пройти (для роты Сутгофа прошел) через Петропавловскую крепость с попутным овладением ею. Трубецкой показал, что такой вариант возникал, но он отверг его. Трубецкой хотел все наличные силы — кроме тех, кто пойдет на дворец, — прежде всего сосредоточить на Сенатской площади, чтобы в случае контрмер правительства иметь возможность подкрепить ту часть, которая будет удерживать дворец, и вообще — действовать по обстоятельствам, как сам он говорил.

Разумеется, Петропавловская крепость — если бы удалась основная операция — была бы занята лейб-гренадерами, поскольку охранял ее караул этого полка. Крепость, с ее артиллерией, могла стать базой восставших войск при попытке контрпереворота. Недаром Батенков, опытный боевой офицер, считал нужным, ведя переговоры с Николаем, потребовать в качестве гарантии соблюдения императором своих обещаний контроля Временного правления над крепостью. Об этом же говорил и Оболенский.

(Оболенский сообщил на следствии и еще об одном элементе общего замысла. после победы восстания потребовать от Сената назначения на командные должности в гвардии людей, близких тайному обществу,— стало быть, среди генералов такие были.)

Таким образом, боевой план Трубецкого состоял из двух основных компонентов: первый — захват дворца ударной группировкой и арест Николая с семьей, второй — сосредоточение всех остальных сил у Сената, установление контроля над зданием Сената, последующие удары в нужных направлениях — овладение крепостью, арсеналом.

План Трубецкого был именно боевой план. Осуществление общего политического плана началось бы после того, как Рылеев и Пущин вручили бы Сенату манифест для обнародования.

Главная роль в реализации боевого плана предназначалась Якубовичу.

Начальником штаба восстания Трубецкой назначил Оболенского, что было естественным как по его месту в тайном обществе, так и по его опыту старшего адъютанта гвардейской пехоты.

Остальные назначения и, главное, хронология действий должны были определиться позже — в канун присяги.

При отсутствии непредвиденных обстоятельств план был вполне надежен. Трех полков, на которые с разной степенью уверенности рассчитывали вожди общества, было достаточно для его успеха.

Полковник Г. С. Габаев, опытный офицер и крупный военный историк, писал в неопубликованной работе «14 декабря 1825 года с военной точки зрения»: «Трубецким был составлен недурной план действий. Им был разработан план овладения Сенатом, принуждения сенаторов к составлению акта в духе конституционной идеологии восставших, овладения крепостью и дворцом»*.

Имея в голове этот план, Трубецкой поехал вечером 12 декабря к Рылееву.

БАТЕНКОВ И ЯКУБОВИЧ

Постоянный и настойчивый интерес, который лидеры общества проявляли к подполковнику Батенкову, вызван был не только незаурядностью его личности. Интерес этот имел и чисто практическую подоплеку. Кроме тех связей с оппозиционными верхами, которые Рылеев и Александр Бестужев

* ОР ГИБ, ф 1001, № 296, с 13 (Была прочитана как доклад в 1925 году.)

подозревали у Батенкова, у Рылеева и Трубецкого в последние дни перед восстанием появился очень определенный и важный расчет на опытного в административной деятельности подполковника.

В случае образования Временного правления Трубецкой и Рылеев прочили Батенкова на пост правителя дел при членах правления — Сперанском и Мордвинове. Он не только связывал бы их с тайным обществом, но и осуществлял контроль над ними.

Намерение это сообщено было Батенкову, очевидно, не ранее 9 декабря. Во всяком случае, в плане, который он обсуждал с Трубецким около 8-го числа, нет никаких указаний на его будущую роль.

Сам Батенков несколько раз возвращался на следствии к этой теме, будучи в разных душевных состояниях, что говорит о достоверности его сообщения.

«...Узнав по намекам, что я могу быть назначен в число членов Временного правления, предался разным честолюбивым мечтаниям. Мне представилась надежда играть первую роль, почему я и говорил Рылееву, чтоб не избирать Сперанского, а лучше одну духовную особу, а именно архиепископа Филарета, яко лицо почтенное и уваженное».

Батенков был, как уже говорилось, человеком двуединой природы — со строгой математичностью ума он сочетал страсть к мечтаниям и проектам. Причем мечтаниями и проектами своими он стремительно увлекался. В свое время он легко вошел в союз с деятелями тайного общества и потому также, что перед этим построил в уме грандиозный чертеж собственного тайного общества. Батенков был куда большим мечтатель, чем Рылеев, и эта склонность к проектам и умение убедить себя в их осуществимости унаследована им от петровского века.

Если Трубецкой и Рылеев думали о конкретных политических мерах на 14—15 декабря, а дальнейшее предоставляли Временному правлению, то Батенков уносился мыслью далее:

«Когда узнал я через Рылеева, что общество имеет достаточно силы, чтобы решиться на покушение 14 декабря... и что он избирает меня в число членов Временного правительства, я, сколько по уверенности в том, что сия перемена полезна государству, столько и для предстоящей мне лично славы, принял участие в сем покушении, тем более что оно представляло вид законности.

Кроме меня назначались членами Временного правительства господа Мордвинов и Сперанский; но я не желал, дабы последний из них действительно вступил в оное, зная, что при нем не мог бы уже я играть главной роли... Вместо Сперанского желал назначить одну духовную особу и, наконец, полагал, что Трубецкой скоро может заменить Мордвинова,

которого считали нужным на первый раз, единственно для имени.

Таким образом, я имел надежду воспользоваться предприятием тайного общества, утвердить связи с первыми людьми учреждением родовой аристократии и, продолжив существование Временного правительства в виде регентства, управлять государством именем его высочества Александра Николаевича, занять в истории место истинного утвердителя в России представительного правления и прославиться введением в действие многих полезных предположений».

Этот текст требует некоторого анализа.

Во-первых, достойно замечания то обстоятельство, что Батенков категорически называет себя будущим членом Временного правления, тогда как лидеры общества хотели видеть его только правителем дел правления.

Во-вторых, до самого конца Батенков остался на позициях, принципиально отличных от позиции Рылеева и Трубецкого. Он остался сторонником переговоров и — в любом случае — сохранения на троне династии Романовых: «В случае принятия государем Николаем Павловичем условий не принимать места во Временном правлении и перейти к нему». То есть ограничиться сотрудничеством с конституционным монархом, не стараясь о созыве Собора и радикальном изменении государственной системы. Далее: «В случае отречения государя и объявления наследника принять место во Временном правлении, дабы обратить оное в регентство...»

Все варианты, которые до последней минуты продумывал Батенков, исключали такие чисто революционные моменты, как захват дворца, арест императорской фамилии, отстранение династии от трона.

Более того, во время общих совещаний у Рылеева Батенков был единственным, кто убежденно возражал против захвата дворца. «Кто-то действительно говорил, что необходимо овладеть дворцом, но я сказал против сего целую речь». Этот эпизод подтвердили и другие декабристы.

Отсутствие в плане захвата дворца и ареста Николая неизбежно сводило действие к демонстрации и переговорам.

В-третьих, у Батенкова очевидны «бонапартистские» тенденции, которых и следа нет у Трубецкого и Рылеева. Трубецкой исключает свое участие во Временном правлении. Батенков считает это вполне возможным. Рылеев, Трубецкой и вся их группировка с полной искренностью готовы были вручить власть Сперанскому и Мордвинову. Для Батенкова это — политический маневр, направленный на конечное овладение этой властью.

Батенков метался между пониманием необходимости перемен и нежеланием производить эти перемены огнем и штыками. Арбузов свидетельствует, что, попав 1 декабря к

Рылееву, он поразился отчаянию Батенкова, сокрушенного тем, что упущена была 27 ноября мирная возможность перемен.

Драма Батенкова в декабрьские дни 1825 года была драмой убежденного реформиста, оказавшегося перед возможностью революционного действия и пытавшегося найти приемлемый путь — вплоть до узурпации власти в благородных целях реформ.

Накануне восстания Трубецкой и Батенков принципиально разошлись.

Наконец, в-четвертых, Батенков говорит, что Мордвинова «считали нужным на первый раз». Это многозначительная оговорка. Ни Рылеев, ни Трубецкой, исполненные уважения к адмиралу, так не считали.

Речь идет о каких-то единомышленниках Батенкова.

В канун восстания — в последние два-три дня — Батенков прекрасно видел стремительную радикализацию планов общества. Для того чтобы отстоять собственную позицию, ему нужна была опора.

В последние дни перед восстанием лидеры общества уже знали, что Батенков вступил в альянс с Якубовичем.

На Якубовича возлагалось много надежд. С его внешнею, красноречием — специфическим армейским красноречием, действующим на солдат, — с его боевым опытом и боевой славой, он должен был сыграть ведущую роль в процессе захвата власти. (Хотя потом, после победы, Трубецкой и Рылеев планировали принять меры против возможного бонапартизма Якубовича.) Якубович предназначался «для увлечения солдат» еще до междуцарствия и в этом качестве был представлен Батенкову в конце октября. «...Мы познакомили Батенкова с Якубовичем, и они друг друга полюбили», — рассказывал Александр Бестужев.

Они тщательно старались на следствии скрыть свой альянс. Якубович на допросах ни одного раза не упомянул имени Батенкова. Батенков пытался представить их с Якубовичем знакомство дальним и случайным. («Якубовича видал один только раз у Рылеева на именинах за обедом».) Но потом несколько раз проговорился, будучи в состоянии возбужденном.

После 6 декабря, когда пошли настойчивые слухи об отречении или отстранении от трона Константина, Батенков, по его словам, встретившись с Якубовичем, «говорил ему, что молодежь наша горячиться умеет, но смешно на них в чем-нибудь надеяться, что вернее будет, оставив их в мечтах о конституции, закричать перед толпой в пользу удаляемого государя».

Такого рода беседы были у них не раз. «Я решился зайти к Якубовичу и застал у него какого-то адъютанта, вероятно,

члена общества, который, однако, скоро уехал. Мы разговаривали долго, я убеждал Якубовича, чтоб он отстал от молодежи, которая на словах только храбрится, а лучше бы сам собрал толпу и заставил бы, по крайней мере, кого-нибудь из членов императорской фамилии вести с собою переговоры».

На одном из устных допросов Батенков показал, что говорил Якубовичу. «Чего думать о планах всего общества! Вам, молодцам, стоило бы только разгорячить солдат именем цесаревича и походить из полка в полк с барабанным боем, так можно наделать много великих дел». Помимо прочего, любопытно, что он имеет в виду не одного Якубовича — «вам, молодцам...».

Батенков последовательно старался отколоть Якубовича от группы Рылеева и обратить в собственную, хотя бы тактическую, веру. И ему это удалось.

Излагая на следствии свое представление о плане действий, Якубович сформулировал его так. «Я был уверен, что войска соберутся пред Сенат, восклицаниями созовут Совет и Сенат, и царствующий государь, раз уж добровольно присягая на подданство, увидя любовь и войск к цесаревичу, не усомнится новою жертвою своего честолюбия заслужить бессмертную славу от благодарного потомства и любовь современников».

Эти войска, которые, собравшись, криками созывают Совет и Сенат,— плоть от плоти батенковской идеи «собрать толпу и заставить» вести с собой переговоры, от его предложения «в барабан приударить», чтоб собрать петербургских жителей и вести мирные переговоры у всех на глазах или же на глазах собранной толпы народа вывести полки из города для переговоров.

В деле Батенкова есть решающее показание Александра Бестужева на этот счет. «Еще когда Рылеев был болен, я застал его (Батенкова.— Я. Г.) там, но как там были посторонние, то он уехал к Якубовичу. На другой день, быв у Якубовича, я заметил, что он толкует об начальстве над войсками и как бы он сдал их Константину Павловичу. Это меня удивило, Рылеева тоже, ибо Трубецкой был уже выбран, и мы согласились с Рылеевым, что эту мысль, верно, подал ему Батенков».

Происходило это после 9 декабря — «Трубецкой был уже выбран».

Увлеченные Якубовичем по его приезде в Петербург, Рылеев и Александр Бестужев приучили его к мысли, что он будет военным вождем грядущего восстания. «Якубович обещал увлечь Измайловский полк, а мы, признаемся, полагали на его красноречие и фигуру большую надежду». Позже, на следствии, тот же Александр Бестужев скажет. «Начальником войск избран был Трубецкой, хотя и думал быть им несколь-

ко времени Якубович». В этой фразе спрессована драма Якубовича. И не только Якубовича.

Приезд Трубецкого и выборы его диктатором отодвинули «храброго кавказца» на второй план. Если бы ситуация была сомнительной, Якубович без особых терзаний отошел бы от общества. Но после 9 декабря победа заговорщиков представлялась весьма реальной. И Якубович видел, что он упускает возможность войти в историю как вождь победоносного восстания и освободитель России. Лавры Риго — ни больше ни меньше...

Альянс с Батенковым открывал перед ним новые возможности.

Никто из декабристов, составлявших ядро организации, равно как и никто из молодых офицеров, органично примкнувших к этому ядру (Сутгоф, Панов, Арбузов), не дал бы увлечь себя игре самолюбия и честолюбия. Якубович был героем. Но он был героем периферии — с ее размытостью политических представлений и неустойчивостью.

Призыв Батенкова порвать с «молодежью» — группировкой Рылеева — и действовать самостоятельно был соблазнительен для уязвленного и оказавшегося в подчиненном положении Якубовича.

По свидетельству Александра Бестужева, за два-три дня до восстания он примерял на себя роль командующего мятежными частями, и цель его вполне соответствовала позиции Батенкова—Штейнгеля — вручить власть Константину на соответствующих условиях. Накануне этого дня у него был Батенков.

Но до 12 декабря ему еще неясна была его будущая роль в мятеже.

До 12 декабря ни в ком из строевых офицеров, членов общества, он не нашел бы сочувствия своим настроениям. (Батенков был идеологом.)

Вечером 12 декабря Якубович вместе с точным боевым назначением приобрел и сильного союзника. И тогда сепаратизм Батенкова получил реальную опору.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 12 ДЕКАБРЯ, ВЕЧЕР

В то время, когда Николай и Ростовцев беседовали в Зимнем дворце, на квартире Рылеева происходило решающее собрание членов общества. Это уже не было совещание руководителей. Это было именно собрание, на котором диктатор должен был объяснить каждому его задачу.

Собрание не было единовременным — люди приходили и уходили. По следственным делам картина вечера 12 декабря

выглядела пестро и противоречиво. Но ясно, что был главный момент, когда в узком кругу (пять человек, по свидетельству Трубецкого) были условлены основные положения плана действий.

Как и в других случаях, декабристы всячески отрицали последовательность и определенность организационных решений, принятых в тот вечер. Но они восстанавливаются по деталям, а главное — сосредоточены в показаниях Рыльева. Подводя итоги последних перед восстанием дней, Рылеев показал: «...Трубецкой был уже полномостный начальник наш; он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович. Последний — по собственному желанию Трубецкого, который был наслышан о храбрости его еще прежде и потому за несколько дней до 14-го числа просил меня познакомиться с ним Якубовича лично, что и было исполнено». Полковник Булатов, по утверждению Рыльева, тоже хотел прежде принятия окончательных решений познакомиться с диктатором, «с которым, — говорит Рылеев, — я и свел его». Это было вечером 12 декабря. «В это время был и Якубович. Тут рассуждали о плане действия, и положено было: князю Трубецкому быть главным начальником, а под ним — Булатову и Якубовичу; план привести в исполнение решили в тот день, когда назначатся переприсяга или когда станут выводить какие-либо полки из города, об чем носились слухи». (Любопытно, что опасность вывода гвардии из столицы в решающий момент — идея Бирона, Петра III не умирала в коллективной гвардейской памяти и возникла в междуцарствие как угрожающий слух.)

Из показаний Рыльева ясно, что вечером 12 декабря лица, наделенные военной исполнительной властью, — Трубецкой, Булатов, Якубович — «рассуждали о плане действия». Это надо запомнить.

Именно встреча трех военных руководителей и была главным событием вечера. Собственно, они встретились впервые. Булатова Трубецкой видел только мельком 8 декабря. А с Якубовичем диктатор прежде не встречался. «Я его тут видел в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни моей».

Осталось немного данных о собрании 12 декабря. Развернутые свидетельства оставили Розен в воспоминаниях и Булатов — в письме к великому князю Михаилу Павловичу. Два этих основных источника дополняются и проверяются показаниями Рыльева и Трубецкого.

Вот что вспоминал через много лет Розен: «12 декабря, вечером, был я приглашен на совещание к Рылеву... там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенат-

ской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому... Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести Временное правление... Наверно никто не знал, сколькими батальонами или ротами, из каких полков можно будет располагать. В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям... Все из присутствующих были готовы действовать, все были восторжены, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка (тогда еще не было известно об отказе Моллера и Тулубьева.— Я. Г.); и когда я представил ему все препятствия, все затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал мне: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды». Еще теперь слышу звуки, интонацию — «все-таки надо», — то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев».

Стало быть, в этот вечер план действий был объявлен и непосредственным исполнителям — младшим офицерам. Это и понятно. 12 декабря Трубецкой узнал, что отречение Константина — дело решенное и переприсяга будет вот-вот.

Второй источник — письмо Булатова — крайне важен: более подробен, написан через десять дней после восстания, но не лишен существенных неточностей, которые, как мы увидим, выявляются при сопоставлении с другими источниками.

Булатов приехал к Рылееву к семи часам, но участники совещания начали собираться около восьми.

На следствии, имея в виду именно эту встречу, Рылеев сказал: «На совещания приглашались, по приказанию Трубецкого, только главнейшие члены и ротные командиры или те, коим делались особые назначения, как, например, Булатов и Якубович».

Булатов вспоминал: «Начали собираться и не более как ротные командиры; во фраке был Пущин и адъютант Бестужев в военном сюртуке. Я дождал еще кого-нибудь посерьезнее, полчаса назад, не знаю, мелькнул какой-то полковник, который после не являлся и которого я почти не заметил. Приходит Трубецкой, Рылеев меня знакомит с ним; входит Якубович; не знаю, отчего, только я душевно порадовался. Я знал его прежде по одним слухам и потом по приобретенной им славе в Грузии, а здесь познакомились с ним. По числу начальников нельзя было думать, чтобы войск было более

шести рот. Я не вытерпел и спросил Рылеева: «Как велика наша сила?» Он отвечал мне, что многие начальники уже разъехались и что мы довольно сильны: пехота, кавалерия, артиллерия — все есть; дав им волю, дожидал распоряжения. Ротные начальники начали между собою рассуждать, и мне казалось, что они не весьма охотно вошли в этот заговор. Не знаю, кто из нашей компании, и кажется, Якубович, сказал, что для пользы нашего успеха надобно убить ныне царствующего государя, тут он продолжал: «Я, потеряв всю мою службу, жертвовал собою против горских народов для того единственно, дабы иметь случай отмстить государю, которого я ненавидел, ждал его прибытия и сумел бы отмстить за себя. Но, господа, должен вам сказать, что я, к несчастью, имею доброе сердце и на себя не надеюсь; нынешний государь мне не сделал никакого зла, и я не могу его ненавидеть, а отважиться на жизнь человека и государя — надобно иметь злобную душу».

Этот эпизод полностью подтверждается показаниями Трубецкого: «В тот день, когда был Якубович, рассуждаемо было о том, сколько можно было надеяться на полки, и оказывалось, что надежды гораздо менее, чем полагали (интересно, что Розен запомнил настроение этого вечера совсем по-иному: «Все из присутствующих были готовы действовать, все были восторженны». — Я. Г.); и Якубович, услыша, что находили затруднение в исполнении предприятия, вдруг начал говорить, рассказывать очень горячо о себе и о известном его намерении против особы покойного государя и заключил свою речь сими словами: «Ну, вот, если нет других средств, нас здесь пять человек, метнемте жребий, кому достанется, тот должен убить его (Николая. — Я. Г.)».

И далее почти дословно тот же текст, что и у Булатова.

Таким образом, во-первых, проверяется достоверность сообщения Булатова, а во-вторых, обнаруживается узость круга совещающихся в этот момент — пять человек. Вряд ли Трубецкой назвал бы точную цифру, если бы не был уверен. Трубецкой точно назвал и время действия — с восьми часов тридцати минут до девяти часов тридцати минут.

Булатов же, говоря о ротных командирах, явно объединил в сознании большой отрезок времени, в течение которого люди приходили и уходили. Тем более что дальше он пишет: «В это время вошел, кажется, Щепин-Ростовский». Щепин и был одним из ротных командиров.

Якубович понравился Булатову с первой минуты. «Мы мыслями были сходны; я, не зная, давно любил его, сам не зная за что, может быть, за оказанную им храбрость в Грузии. С сей минуты я полубил его душою».

Как человек опытный, Булатов сразу увидел слабую сторону замысла — отсутствие твердых гарантий, что определен-

ные части пойдут за членами тайного общества. «Из разговоров ротных командиров видел их нерешительность, и особенно в Щепине-Ростовском, который менее всех надеялся на солдат своих. Продолжал, обратясь опять к ним: «Нам остается мало времени рассуждать; если на себя и на солдат своих не надеетесь, то лучше оставьте до другого случая. Не забудьте еще и то, что если кто решится на наш поступок, то должен решиться так, чтобы не возвращаться назад. Я здесь не имею никакой команды, хотя знаю совершенную привязанность ко мне солдат старого полка, но на лейб-гренадер я не надеюсь, и потому я могу рисковать одним собою». Якубович сказал, что он тоже при себе никого не имеет и наше дело было явиться на площадь, когда соберутся их войска на Петровскую площадь... впредь зная, что надежды их основаны на болтанье молодых людей, ибо они полагали, что надобно только начать, а там все будут на их стороне. Я предвидел по числу начальников, что затеи их пустые, то предложил им первый мой совет, состоящий в том: по собрании наших войск на площади, если увидим такое число, что можно сопротивляться, то действовать, а если нет, то по первому увещанию присягнуть без всякого действия. С князем Трубецким я не говорил ни слова, но он так уверен был в успехе предприятия, что, говоря со своими военачальниками, полагал, что, может быть, обойдется без огня; я слышал последние слова сии».

Здесь почти все верно. Но кое-что бессознательно сдвинуто — и картина оказывается такой, какой представлялась она Булатову уже после 14 декабря.

Ни он, ни Якубович не могли в тот вечер жаловаться на отсутствие при них команды. Относительно Булатова Трубецкой помнил, что, знакомя их, Рылеев сказал: «Вот полковник Булатов, который служил в лейб-гренадерском полку и за которым весь полк пойдет, если он прикажет: так его в оном полку любят». И, обращаясь к Булатову, сказал: «Так вы примете команду полка и поведете его?» Булатов отвечал, что он согласен, если полк выйдет.

Оболенский, который, по собственному утверждению, не был у Рылеева вечером 12-го числа, тем не менее знал, что «полковник Булатов... должен был находиться на площади и командовать той частию, которая будет ему поручена».

Александр Бестужев, показывая на первом допросе о маршруте, намеченном для восставших полков, говорит: «Лейб-гренадерам по льду и на мост, где должен был быть полковник Булатов для принятия команды оным». Булатов, стало быть, должен был ждать grenадер на каком-то мосту и возглавить их. Как мы увидим, Бестужев говорил правду.

Всем осведомленным членам общества известно было, что Булатов принял поручение и обещал вести лейб-гренадер.

И толковать об отсутствии команды у него оснований не было.

О том, что Якубович обещал возглавить Гвардейский экипаж, мы тоже прекрасно знаем.

Но далее в письме Булатова идет текст, касающийся только его и Якубовича, и тут полковник совершенно точен. То, что он рассказал, подтверждено было его и Якубовича действиями.

Трубецкой ушел, договорившись с Булатовым и Якубовичем о характере их обязанностей во время будущего восстания. Твердый и внушительный тон, которым Трубецкой — диктатор! — отдавал приказания, показался Булатову обидным. «Возвращается Рылеев и, обратясь к ним, говорит: «Не правда ли, господа, что мы избираем достойного начальника?» Я еще не видел никаких достоинств; предполагаемое ими благо до сего времени мне не открыто; заметил только, что он принял важность настоящего монарха, усмехнулся и молчал. Якубович с усмешкою отвечал: «Да, он довольно велик». Рылееву показалось немного обидно, он спрашивает Якубовича: «Что ты говоришь?» Но тот обратил разговор в шутку, и толкование об князе кончилось. Странно для меня было, что мысли мои были во всем сходны с Якубовичем, и я его начинал час от часу более и более любить».

Взвинченный, одинокий, несчастный Булатов уверовал в то, что он нашел друга и единомышленника. Это было не совсем так. Отнюдь не во всем сходны были его и Якубовича мысли. Якубович, давно связанный с тайным обществом, понимал ситуацию гораздо точнее и тоньше, чем Булатов. Но в чем они накрепко сошлись — это в неприязни к Трубецкому. Слова Булатова о «важности настоящего монарха» — смысловой узел того, что произошло между этими тремя людьми, каждый из которых был замечателен, но — в своем роде.

Когда много лет назад я впервые прочитал то, что следует дальше, — эти написанные дергающейся рукой Булатова строки, — я был ошеломлен их страшным смыслом. Когда сегодня я перечитываю их уже в печатном виде — в XVIII томе «Восстания декабристов», ощущение трагического недоразумения не оставляет меня, хотя на самом деле никакого недоразумения не было — просто бешеный исторический поток безжалостно столкнул между собой людей с принципиально разными уровнями политического сознания...

Булатов, исповедовавшийся из крепости великому князю, уже решивший покончить с собой и потому старающийся высказать все, что было у него на душе, пишет: «Я вижу, что здесь нечего более делать, и хочу поговорить с Якубовичем, беру шляпу, он тоже, и хотим вместе ехать; я попрощался со всеми, дав им руку, и они ценили меня, и, по моему мнению, здесь было более хороших, нежели дурных людей. Вый-

дя с Якубовичем, мы за воротами встретили полковника Глинку, который прежде служил у графа Михаила Андреевича Милорадовича; сели с Якубовичем в карету и поехали ко мне. В карете я спрашиваю его, давно ли он в этой партии. «Нет, недавно!» — «Знаете ли вы по крайней мере отечественную пользу сего заговора?» — «Нет!» — «Как велико число наших солдат?» — «И того нет!» — «Давно ли вы знакомы с этими людьми?» — «Князя вижу в первый раз! Рылеева тоже хорошо не знаю».

Якубович, как видим, откровенно мистифицировал Булатова. С тайным обществом он был связан — и тесно связан! — уже несколько месяцев. Замыслы общества и смысл его деятельности были ему прекрасно известны — он многократно обсуждал эти материи с Рылеевым, Александром Бестужевым, Батенковым и другими весьма сведущими людьми. Он скрыл от полковника, что с Александром Бестужевым он давно дружен, что с Рылеевым близок не один месяц, что ему отлично известны биография Трубецкого и его высокая репутация.

Сообразительный Якубович понял, что ему выгоднее разыграть перед Булатовым роль случайно вовлеченного в заговор простодушного храбреца. И доверчивый Булатов, огуленный ситуацией, в которой он оказался, охотно поверил своему новому другу. И решил взять его под опеку и спасти. «Я ему открыл, что нас обманывают. Тут я ему рассказал следующее. Рылеева я знаю давно, и, быв детьми, вместе в 1-м кадетском корпусе воспитывались; мы были в одной роте; и, мне кажется, он рожден для заварки каш, но сам всегда оставался в стороне. Не один раз расстраивал дружбы кадет и заводил между ними войну и даже несколько раз против меня самого восстанавливал партии, но я, бывши кадетом, умел останавливать или удаляться и за это не любил его, но теперь он, кажется, человек порядочный, и вышло так, чего я ожидать не мог, довольно хорошо пишет; но, между прочим, думы, и все возмутительные, и я слышал об его дуэлях, и, следовательно, имеет дух. «Но я его подозреваю, и мне кажется, что они подозрительны почти все», — отвечал Якубович. Я рад, что мы с ним одних мыслей, и я предложил ему следующее. Так как ни я, ни он не знаем предполагаемой ими отечественной пользы, ни лиц, которые с ними участвуют, кроме молодежи, которых я видел во все недавнее мое время, попав в эту партию странным образом; не знаем ни числа войск, ни совершенно ничего, что дабы узнать все подробно и если предположения их точно полезны, то будем действовать; для узнания же плана не ехать к Рылееву, но вызвать князя Трубецкого и Рылеева к себе, и так как нас здесь двое армейских, один почти из Сибири, другой из Грузии, и приехавших по делам, дадим слово в случае выезда нашего и

опасности защищать друг друга. Здесь я дал слово Якубовичу и сдержал бы... Мы расстались, и я считал его истинным другом; не знаю, как полагал он меня, и если у нас чувства одинаковы, то, верно, он не считает меня обманщиком».

Булатов, как видим, предложил Якубовичу, чтобы они противопоставили себя Трубецкому и Рылееву и действовали, ориентируясь друг на друга. Он упорно говорит о том, что им был неизвестен план действий. Но у нас слишком много свидетельств обратного. Полковник Булатов, понимавший уже в то время, когда он писал письмо, что они с Якубовичем сделали, находящийся уже на грани безумия, убеждал себя в том, что их обманули, что им ничего не сообщили, не предложили. Он верно сообщает факты, но смотрит на них с определенной точки зрения. Он сообщает существеннейшие подробности, но умалчивает о главном. О том, что вечером 12 декабря они с Трубецким — у Рылеева — ясно распределили роли и что каждый из них знал, что он должен делать.

Почему за сутки до рокового дня завязался этот страшный узел?

Мотивации Якубовича понятны — обманутые ожидания несостоявшегося вождя и настойчивое давление Батенкова, предлагавшего ему первую роль при его, Батенкова, идеологическом руководстве.

А Булатов?

Чем дольше раздумывал он над происшедшим у Рылеева, тем более укреплялся в своих подозрениях. Каковы были эти подозрения и что имел в виду Якубович, говоря о Рылееве: «Но я его подозреваю, и мне кажется, что они подозрительны почти все»?

Идея бонапартизма, узурпации власти была естественна для русских офицеров первой четверти XIX века. Во-первых, всего пять лет назад умер Наполеон, во-вторых, к их услугам была российская история прошлого века. Известно, что многие декабристы подозревали в бонапартизме Пестеля. Рылеев при первом знакомстве заподозрил Трубецкого в «честолюбивых видах». Батенков примерял на себя роль, которую играл некогда Бирон при малолетнем Иоанне Антоновиче.

Но если в решающий момент ядро тайного общества сумело отказаться от взаимных подозрений и нравственно встать на уровень одушевляющей их бескорыстной идеи, то декабристская периферия и должна была до конца испытывать такого рода сомнения. Трудно сказать, действительно ли Якубович усомнился в чистоте намерений Трубецкого и Рылеева, но тактически в тот момент ему выгодно было укрепить подозрения Булатова. Что он и сделал.

Вернувшись домой, Булатов после разговора с Якубовичем уже не сомневался, а был убежден. «...Я думал 14-го числа узнать, и если найду настоящую пользу отечества в планах, и

как искуснее Трубецкого в военном ремесле, а духом тверже и того более, то и предлагал обещаемое войско свое разделить на два отряда, и, надеюсь, после моих распоряжений, сделанных в моей голове, товарищи мои препоручили бы мне начальство войск наших». Здесь от возбуждения и торопливости Булатов проговаривается: оказывается, он выдвигал свой собственный план действий — «предлагал обещаемое войско свое разделить на два отряда», — который считал более «искусным», чем план Трубецкого. И надеялся, что члены общества — «товарищи», — узнав этот план, когда дойдет до дела, вручат власть именно ему.

Но подоплека была, разумеется, не в изъянах плана Трубецкого.

«Товарищами я называю из нашей партии не всех, а тех только, которые так же обмануты, как и я, и которые стремились к пользе отечества. А те, которые хотели истребить законную власть и подлыми изобретениями взойти в правление государством, а может быть, и трон российский, принадлежащий законным государям царской крови Романовых, и те подлые, бесчестные люди, которым оставалась, может быть, одна тюрьма надеждою, могут ли они называться товарищами благородного заговорщика? Трубецкой напрасно имел надежду владеть народом — он имел во мне и Якубовиче врагов, и этого довольно».

Булатов был уверен, что Рылеев и его сподвижники стараются для того лишь, чтоб сменить на российском престоле династию Романовых династией Трубецких. И решил помешать этому, перехватив у Трубецкого руководство восстанием и тем облагодетельствовать Россию. Трубецкой был корыстным узурпатором, а они с Якубовичем — «благородными заговорщиками».

Так закончился вечер 12 декабря для Булатова и Якубовича.

Для Рылеева он закончился иначе. После того как все разошлись, в дом Российско-Американской компании приехал Оболенский и сообщил Рылееву и Александру Бестужеву о демарше Ростовцева.

А из Зимнего дворца отправлен был курьер на почтовую станцию за триста верст от Петербурга, чтобы вернуть в столицу великого князя Михаила Павловича.

ФЕНОМЕН МИЛОРАДОВИЧА

Диктатор отдал распоряжения. Ротные командиры готовы были действовать. Вернувшись поздно вечером 12 декабря от Рылеева, лейтенант Арбузов вызвал фельдфебеля своей роты Боброва и спросил, любит ли его рота и пойдет ли за ним,

куда он прикажет. После утвердительного ответа велел Боброву объявить надежным матросам: «Ужели, присягнув Константину Павловичу, будем еще присягать другому царю, Николаю Павловичу или Михаилу Павловичу?» И велел сказать, что ежели будут заставлять менять присягу, то он, Арбузов, поведет роту к измайловцам, а затем они вместе с москвичами пойдут к Сенату, где их будут ждать лейб-гренадеры и финляндцы, и что они возьмут в Сенате завещание покойного государя, по которому нижним чинам назначено 12 лет службы, и «предпишут свои законы». Это был очень решительный и рискованный шаг. Но Арбузов доверял своим матросам. И, как выяснилось, не зря.

При растерянности Николая, одновременно напуганного Дибичем и дезориентированного Ростовцевым, при общем настроении гвардии тайное общество могло с высокой степенью уверенности рассчитывать на успех...

Был, однако, в столице человек, который фактически держал в руках будущие события, поскольку у него имелась полная возможность не допустить даже попытки мятежа.

Это был военный генерал-губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович.

Утром 12 декабря Милорадович получил от Николая список заговорщиков, в котором из присутствующих в тот момент в Петербурге лиц значились Рылеев и Михаил Бестужев. Решено было «немедля их арестовать». Так Николай писал в записках. Но и в дневниковой записи 12-го числа после сообщения с Голицыным и Милорадовичем сказано, «какие принять меры». То есть решение было принято.

О сообщении Ростовцева Николай, скорее всего, известил генерал-губернатора на следующее утро. Но известил наверняка. Об этом сообщает в дневнике императрица Мария Федоровна.

Зная фамилию Рылеева и то обстоятельство, что присяга может стать поводом для выступления заговорщиков, Милорадович обязан был действовать.

Николай писал потом. «Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратиться все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности».

Полиция генерал-губернатора вовсе не была беспомощной. После волнений в Семеновском полку агенты Милорадовича собрали подробные данные о настроениях гвардии. Они умели делать свое дело, когда им приказывали.

В данном случае, чтобы предотвратить мятеж, нужно было всего-навсего установить наблюдение за известными заговорщиками. Два дня наблюдения — 12 и 13 декабря — за квартирой Рылеева дали бы исчерпывающее представление о со-

ставе заговора. Позднейшие разговоры о том, что Милорадович знал о собраниях у Рылеева, но считал их встречами литераторов, являются совершенным вздором. Во-первых, Рылеев был обозначен в депеше Дибича как один из активных заговорщиков, и, следовательно, подозрительны были все, кто его посещал. Во-вторых, ездили к нему в эти два дня никак не литераторы. За двое суток его квартиру, находящуюся не где-нибудь на окраине, а в парадном районе, на Мойке, посетили добрых два десятка гвардейских офицеров разных полков. Причем некоторые по нескольку раз. И в самое разное время — от раннего утра до поздней ночи. Десятка толковых соглядатаев хватило бы, чтоб установить места жительства и, соответственно, личности этих регулярных гостей заговорщика. Это было, как теперь говорится, исключительно дело техники.

Как возмущенно писал Николай, «бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел». И в самом деле — нужно было не хотеть этого видеть, чтобы не увидеть.

Правда, есть сведения, что, когда 13 декабря военный министр Татищев предложил Николаю произвести аресты, тот отказался, чтобы не подумали, что арестовывают честных сторонников Константина. Эпизод этот мог иметь место. Но мотивы Николая понять легко: производить аресты должен был не он и не военный министр, а тот, чьей законной обязанностью и правом это было, — генерал-губернатор. И Николай, как мы знаем, ждал от Милорадовича действий. Но приказывать ему в данной ситуации он еще не имел законного права.

Я абсолютно не верю в апокрифическое легкомыслие Милорадовича, которое якобы и было причиной его бездействия. Я не верю, что Александр, очень чувствительный к проблемам государственной безопасности и политического сыска, стал бы держать на ключевом посту пожилого мотылька, проводящего время в интрижках с актрисами.

Многочисленные агенты генерал-губернатора приносили ему подробные сведения о происходящем в городе. 5 декабря, например, великая княгиня Александра Федоровна записала в дневнике, что Милорадович «передал все ходящие по городу толки и разговоры солдат».

Адъютант Милорадовича Башуцкий вспоминал: «Военный генерал-губернатор непрерывно получал записки, донесения, известия, по управлению секретной части была заметна особая хлопотливость, все люди Фогеля (агент тайной полиции. — Я. Г.) были на ногах, карманная записная книжечка графа была исписана собственными именами, но он не говорил ничего, не действовал...» А в примечании к этой фразе Башуцкий пишет: «В книжке этой, найденной по смерти гра-

фа на его столе, были вписаны его рукою почти все имена находившихся здесь заговорщиков». Башуцкий, разделявший общее недоумение по поводу бездействия генерал-губернатора, пытался объяснить его «российской беззаботностью». Но это слабое объяснение.

Хуже ли, лучше ли, но Милорадович свое дело знал. И если он, будучи столь осведомленным, не предпринимал никаких шагов, чтобы предотвратить выступление гвардии против Николая, значит, он не хотел этого делать.

Милорадович, лидер генеральской группировки, желавшей Константина, совершил «тихий переворот» 27 ноября. Он не допустил Николая на престол, тем самым вызвав хорошо понятную ненависть великого князя. Он был виновником междоусобия и всех волнений и страхов, с ним связанных. Он не мог не понимать, что при Николае он долго на первых ролях не останется. Его ждала неминуемая отставка.

Отстраняя Николая и провозглашая императором своего друга Константина, он не мог поверить, что цесаревич откажется занять трон уже после того, как ему присягнет империя. Отказ Константина его потряс. «Я на него надеялся, а он губит Россию!» — сказал он. Но Константин своим отказом губил не столько Россию, сколько Милорадовича, которому уже не было пути назад. Генерал-губернатору сочувствовало достаточно высокопоставленных военных, которые тоже на многое были готовы, чтобы не допустить Николая на престол. Вспомним Потапова с его намеками.

Милорадович вовсе не был беспечен. Он знал, что во время присяги могут быть волнения. Но он знал и то, что отказ гвардии присягать Николаю — единственный способ заставить Константина принять корону, а ему, Милорадовичу, спасти карьеру. Это была чрезвычайно рискованная игра, но он уже слишком далеко зашел.

Конечно, это была авантюра. Но Милорадович по натуре и был азартным авантюристом.

И тут возникает вопрос: что знал Милорадович? Ограничивались ли его сведения тем, что сообщили Дибич и Ростовцев? Получил ли он дополнительные данные от своих агентов? Был ли он как-то связан с декабристским центром? Близкий к нему человек, полковник Глинка, на руках которого Милорадович умер 14 декабря, во время междоусобия не раз бывал у Рыльева и знал о замыслах тайного общества. (Якубович и Булатов, выходя вечером 12 декабря от Рыльева, встретили идущего в штаб восстания Глинку.) Был ли Глинка неким связующим звеном между декабристами и Милорадовичем? Был ли неким источником сведений для графа любившийся ему Якубович, которого он поощрял в нежелании присягать Николаю? (А значит, у них были разговоры на эту тему.)

Естественно, Милорадович не мог сочувствовать радикальному варианту переворота. Но если ему было дано понять, что есть люди, которые сорвут присягу Николаю и утвердят на троне Константина, то он вполне мог закрыть глаза на деятельность этих людей. До поры до времени их интересы совпадали. Он, разумеется, не хотел мятежа. Но батенковский вариант — отказ от присяги, выход полков за город, мирные переговоры с властью о кандидате на трон — его вполне устроил бы. В такой ситуации он мог рассчитывать снова стать арбитром и овладеть положением. И тут фигура Якубовича приобретает новое значение. Отсутствие же намеков на этот сюжет как в неопубликованном деле Глинки, так и в деле Якубовича удивления не вызывает — следствие вовсе не склонно было хоть как-то компрометировать покойного полководца. А Якубович не хотел афишировать свою «особую деятельность» внутри тайного общества — Булатова, например, он упоминает на следствии считанные разы и говорит о нем как о незнакомом человеке, а Батенкова, как известно, не упоминает вообще.

Доказать это предположение на сто процентов невозможно. Для этого не хватает данных. Но никакое иное объяснение того, что сделал (вернее — не сделал!) Милорадович 12—13 декабря, не выдерживает критики.

Милорадович сознательно предоставил заговорщикам свободу действий, с тем чтобы вмешаться, когда он сочтет нужным и как он сочтет нужным.

Милорадовича погубили его огромное самомнение и неверная оценка расстановки сил. Он явно считал, что у «генеральской оппозиции» и у «офицерского заговора» общие интересы.

«Русский Баярд» мыслил слишком узкими и устаревшими категориями. С Якубовичем и Булатовым он нашел бы общий язык. С Рылеевым и Трубецким — нет*.

ДЕНЬ 13 ДЕКАБРЯ

На рассвете этого дня за тысячи верст от столицы — в Тульчине, где располагался штаб 2-й армии, был арестован полковник Пестель. Дибич начал разгром Южного общества.

В Петербурге об этом знать, разумеется, не могли, но и там для вождей тайного общества день начался тревожно. Утром Рылеев оповестил своих соратников о встрече Ростовцева с Николаем и, стало быть, о том, что великий князь пре-

* Ситуацию «Милорадович — тайное общество» исследовал художественными средствами, хотя в несколько ином плане, чем здесь, Н. Эйдельман в повести «Большой Жанно» (М., 1982).

дупрежден о возможном мятеже. (Любопытно, что лица, которым Ростовцев непосредственно сообщил о своем поступке, на следствии о том молчали. Оболенский вспоминал Ростовцева исключительно как члена общества, которому он отдавал распоряжения, а в рылеевском деле имя Ростовцева вовсе не упоминается.) Как реагировали руководители заговора на акцию «благородного предателя», мы узнаём со слов Штейнгеля, Александра и Николая Бестужевых.

Штейнгель показывал: «...13 числа он (Рылеев.— Я. Г.) мне объявил, что Ростовцев предварил государя, и показал мне его черновое письмо и самый разговор его с государем, кои Ростовцев ему доставил, вероятно, для того, чтобы их остановить. Я спросил: «Что вы теперь думаете, неужели действовать?» — «Действовать непременно,— отвечал он,— Ростовцев всего, как видишь, не открыл, а мы сильны, и отлагать не должно».

Странное впечатление производит этот диалог. В вопросе Штейнгеля — осторожная надежда, что все кончится мирным образом, в ответе Рылеева — бодрость и решимость, как будто акция Ростовцева пошла на пользу обществу. Он уверен, что Ростовцев не выдал ничего существенного.

Александр Бестужев пишет несколько иначе: «В тот же день я узнал, что он писал письмо к ныне царствующему императору. Сначала он обманул Оболенского, сказав, что будто бы Николай Павлович журил его за какие-то стихи, а потом отдал и письмо, но настоящее ли, мы сомневались, и это еще более придало нам решимости».

Николай Бестужев: «...дошло до сведения нашего, что г. Ростовцев, имев прежде наше доверие, письменно отнесся к самому императору о существовании общества. Сие решило нас назначить во время присяги собрание на площади близ Сената». В другом месте: «...внезапное известие, что общество уже обнаружено письмом г. Ростовцева к его высочеству Николаю Павловичу... решило нас поступить так, как то показало несчастное 14 декабря».

Очень все же странно. Почему о таком экстраординарном событии, как предательство доверенного члена тайного общества, друга одного из лидеров, наглухо молчат самые осведомленные лица? Оболенский демонстративно называет Ростовцева в ряду тех, кто никого не предавал и старался выполнить ответственные поручения,— называет не через двадцать лет, а через несколько дней или недель после восстания. И неужели Оболенский в своем христианском всепрощении дошел потом до такой благостности, что не только не упрекнул своего друга и сподвижника, подло воспользовавшегося его доверием, но и вступил с ним в дружескую переписку?

Почему Николай Бестужев противоречит Рылееву (в передаче Штейнгеля), говоря, что Ростовцев сообщил импера-

тору о «существовании общества»? Из двукратного утверждения о том Николая Бестужева явствует, что он не знал содержания письма Ростовцева, которым располагал Рылеев. А в воспоминаниях, созданных уже на поселении, получив сведения, наверно, от Оболенского, он пишет, что в письме Ростовцева «ничего не было упомянуто о существовании общества», то есть пишет ту правду, о которой прежде не знал. Почему?

Объяснение здесь может быть одно — Рылеев и Оболенский превратили неопределенное и даже дезинформирующее письмо Ростовцева в средство агитации за немедленное выступление, не ознакомив членов общества с документом, но представив его более опасным, чем он был на самом деле. Тот же Николай Бестужев говорит: «...он (Рылеев.— Я. Г.) объявил мне, что Ростовцев писал письмо к императору Николаю Павловичу... и что общество наше и заговор известен». Отсюда ясно, что Рылеев не показал Бестужеву письма, а пересказал его в соответствующем духе. Николай Бестужев четырежды возвращается к этой теме,— по-видимому, Рылеев наиболее подробно обсуждал ее именно с ним.

Все утро у Рылеева ушло на «ростовцевский сюжет». Он был у Трубецкого. Потом поехал к Николаю Бестужеву. Из следственных дел явствует, что Рылеев оповестил очень ограниченный круг людей. Николай Бестужев в воспоминаниях утверждает, что он посоветовал Рылееву действовать. Очевидно, Трубецкой держался такого же взгляда. Во всяком случае, акция Ростовцева лишь укрепила заговорщиков в намерении выступить в момент присяги.

О присяге стало известно в тот же день.

Николай Бестужев показывал: «Поутру 13 числа Рылеев приезжал к матушке моей поздравить ее с приходом из деревни (когда он и сообщил Бестужеву о Ростовцеве.— Я. Г.) и, взяв меня с собою, отвез к Торсону, откуда я еду, встретился с Батенковым и братом моим, едущими в коляске. Тут Батенков объявил о известии, что цесаревич отказался и завтрашний день будет новая присяга, и мы все трое отправились к Рылееву». Однако в другом месте он сформулировал свое показание несколько по-иному: «Декабря 13, видевшись со Сперанским, Батенков сказал... что Сперанский, возвратясь из Совета, объявил ему, что завтрашний день назначена присяга его величеству Николаю Павловичу и что цесаревич отказался совершенно». Но Государственный совет, на котором был Сперанский, заседал вечером, а встретился Николай Бестужев с Батенковым и братом Александром в середине дня. Николай Бестужев явно перепутал две разные встречи с Батенковым.

Тот факт, что о присяге вожди общества узнали днем, как мы увидим, подтверждается.

И встреча, о которой пишет Бестужев, была, и была она нерадостной...

День 13 декабря, как и предыдущий, прошел в неистовой деятельности по собиранию сил. План был ясен, но неясны те штывки и сабли, которые сделали бы его реальным. И на Бестужева возложили обязанность добиться от полковников Финляндского полка четкого ответа.

Настойчивость эта получила еще один мощный импульс — стало известно, что 14 декабря 2-й батальон финляндцев, которым командовал Моллер, будет нести караул во дворце и в присутственных местах вокруг дворца, в том числе возле Сената. Таким образом, в случае согласия Моллера содействовать обществу резиденция Николая и всей августейшей фамилии и Сенат оказывались под контролем восставших без всякого штурма. Обладая в качестве начальника караулов большой властью, Моллер мог пропустить во дворец любую воинскую часть. И наоборот — воспрепятствовать проходу недружественных обществу войск.

Днем 13 декабря разыскивающий Моллера Николай Бестужев выяснил, что полковник находится у своего дяди — морского министра. Бестужев послал за ним, пригласив его к капитан-лейтенанту Торсону. «Он явился, — вспоминал Бестужев, — но уже не тот, с которым я говорил накануне. При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул, сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел».

Тулубьев, узнав о решении Моллера, тоже отказался.

Розен, явно со слов Бестужева, дополнил в своих записках этот важнейший эпизод живыми деталями: «...в этот самый день (14 декабря. — Я. Г.) занимал караулы во дворце, в Адмиралтействе, в Сенате, в присутственных местах 2-й батальон л.-гв. Финляндского полка под начальством полковника А. Ф. Моллера, старинного члена тайного общества; в его руках был дворец. Относительно Моллера я должен сказать, что накануне, 13 декабря, был у него Н. А. Бестужев, чтобы склонить его на содействие с батальоном; он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, ящик разбился. «Вот слово мое, — сказал он, — если дам его, то во что бы то ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным».

Поручик Розен, только что посвященный в тайну существования общества, имевший молодую жену на сносях, тоже не очень видел успех предприятия и вряд ли так уж мечтал быть четвертованным — но отказаться не счел возможным.

Позиции определялись не абсолютной уверенностью в успехе, а готовностью или неготовностью к действию. Моллер

своим согласием почти гарантировал бы успех переворота. Но он был не готов.

Едва ли полковник Моллер до конца понимал, что он делает. Объективно он совершил поступок исторический — зловещий исторический поступок.

Николай Бестужев повествует о своих переговорах с Моллером иронически. Розен говорит об этом совершенно бесстрастно. Но тогда, 13 декабря, они сознавали, что происходит нечто трагическое. Это и была одна из трагедий кануна восстания, которые, сложившись, образовали на следующий день огромную, страшную фреску гигантского перелома, рухнувшей великой надежды.

О завершении «моллеровского сюжета» рассказал на следствии Александр Бестужев: «Накануне (то есть 13 декабря.— Я. Г.) во 2-м часу я увидел во дворе Батенкова (он, вероятно, шел от Штейнгеля.— Я. Г.), собираясь сам ехать. Он спросил: «Куда?» Я сказал, что хочется матушку увидеть, которая за два дня только из деревни приехала, да спросить брата Николая о Моллере, с которым упросил его Рылеев накануне познакомиться. Он сказал: «И мне очень любопытно знать это — поедем вместе». Мы сели в его колясочку, и я ему по-французски рассказал, на какие полки надежда есть. Впрочем, как он плохо объясняется по-французски, а по-русски нельзя было по близости кучера, да и стук колес мешал, то разговор наш был недолог и прерывен. Я выходил на минуту, чтоб поздороваться с матушкою, и мы поехали назад. Я, между прочим, сказал, что всего можно ожидать от оборота дела. И он сказал. «Конечно, так. Только, по-моему, я бы желал Елисавету или Михаила Павловича, он имеет добрейшую душу и скорее всех примениться бы мог к конституционным формам». У конногвардейского манежа встретились мы с братом Николаем. Он слез с дрожек и на вопрос мой по-французски. «Что Моллер?» — так отвечал. «Моллер решительно отказался». Тут и Батенков сказал. «Это худо, он может донести». Довезши меня домой, он куда-то поехал, а я с братом Николаем, который воротился, вошел к Рылееву, где он подробно и рассказал ответ Моллера».

Во время этой встречи столкнулись два важнейших известия — о завтрашней присяге и об отказе Моллера.

Если вспомнить, что братья Бестужевы готовились на следующий день с оружием в руках выводить из казарм мятежные полки, то весь этот конспективный и спокойный рассказ наполняется нервной энергией ожидания: прощание с матерью, известие об отказе Моллера, члена тайного общества, становятся драматическими узлами последнего дня. И не нужно напрягать воображение, чтобы представить себе горькую и суровую сцену у Рылеева.

Моллер не донес. Он все же был человеком закваса почти

декабристского. Полковник, заступающий в дворцовый караул, знает о назначенном мятеже — и не доносит. Согласимся, что это не совсем тривиальная ситуация.

Разные показания разных людей, перекрещиваясь, воссоздают общую картину: утром Рылеев с Бестужевым обсуждают «ростовцевский сюжет», едут к Торсону, Рылеев уезжает отсюда по делам, а Николай Бестужев вызывает Моллера, затем, после разговора с Моллером, спешит к Рылееву, встречает по дороге Батенкова и брата Александра, сообщает им печальную новость, Бестужевы едут к Рылееву.

Показания Николая Бестужева позволяют проследить и дальнейшее. Рылеев и Николай Бестужев обедают у матери Бестужевых. «После обеда мы поехали с Рылеевым к штабс-капитану Репину, которого Рылеев хотел видеть и узнать об успехе сделанного ему поручения склонить офицеров своего полка не делать новой присяги». (Это было особенно важно теперь, ввиду отказа Моллера и Тулубьева.) «Но как Репин был у своей сестры, то мы, заехав туда, взяли его с собою и привезли ко мне. Рылеев, прося Репина подождать, отлучился куда-то часа на два, и в это время приехал ко мне Батенков, а вскоре и Торсон; сей последний, пробыв у меня несколько минут, ушел к матушке, а мы остались одни, а как Батенков был незнаком с Репиным, то разговор был о посторонних предметах и вскоре склонился на Карно и Лафаэта». Тут нам представляется редкая возможность узнать, о чем говорили три члена тайного общества накануне восстания, в минуты передышки. «Что говорили о Карно, я того не знаю, отлучаясь несколько раз по обязанности хозяина, но о Лафаэте говорили при мне, что случай доставил ему гораздо блистательнейшее поприще, нежели Карно, потом о приеме, который сделали ему американцы во время последнего его посещения Америки». Они толковали о Карно — «организаторе победы» революционной Франции над интервентами и о Лафаэте — герое американской революции и деятеле революции французской.

Торсон и Батенков ушли.

Рылеев между тем не случайно просил Репина ждать его. Он поехал к Оболенскому, куда вызваны были ротные командиры, сообщить о присяге и получить свежие сведения. Вернувшись, он хотел обсудить вместе с Бестужевым и Репиным, ставшим теперь главной надеждой в Финляндском полку, новую ситуацию.

Совещание у Оболенского началось в четыре часа дня. Извещенный запиской Арбузов застал там, кроме хозяина, Рылеева, Щепина-Ростовского и еще ряд офицеров. «Только что вхожу, Рылеев и Оболенский говорят мне, что завтра присяга...»

(Заслуживает внимания, что совещание происходило на

общей квартире Оболенского и Ростовцева и, значит, начальник штаба восстания 13 декабря не опасался Ростовцева и совсем от него не таился.)

Проинструктивовав офицеров и назначив Арбузову быть у него в восемь часов вечера, Рылеев направился обратно к Бестужевым. По дороге он заехал за Пушиным.

«...Приехал Рылеев с Ив. Пушиным,— свидетельствует Николай Бестужев,— которые начали убеждать Репина, чтобы он употребил все усилия к склонению офицеров своего полка не делать новой присяги. Репин, хотя представил несколько оговорок, что он сказывается больным и потому не может выйти к фрунту, сверх того, что рота его стоит в деревне, но со всем тем обещал действовать на офицеров, сколько будет в его возможности, сказывая, что есть несколько человек, на которых он надеется...»

Было уже не менее шести часов пополудни, и Рылеев заторопился к себе на квартиру, куда должны были явиться члены общества. Пушкин — с ним.

Около шести часов лейтенант Арбузов, вернувшись от Оболенского в экипаж, вызвал снова фельдфебеля своей роты Боброва и сказал ему: «Теперь ты мне верь, завтра поутру будет присяга Николаю Павловичу, и куда мы денем другого царя? А потому иди в роту и объяви там, чтобы держаться как возможно первой присяги, а завтрашняя будет обман!»

В это время группа офицеров собралась у Каховского, державшего связь с лейб-гренадерами и измайловцами. Он уже побывал в тот день и у Панова, и у Рылеева.

Подпоручик Измайловского полка Фок показал: «...накануне сего происшествия, 13 декабря, пришел я вечером к подпоручику Малютину (племянник Рылеева.— Я. Г.), и он мне сказал, что есть некто Каховский, который желает меня видеть, и что он живет у Вознесенского моста. Я было хотел к нему ехать вместе, но пришел к нему подпоручик Андреев 2-й, и они поехали... а я, оставшись один, поехал к подпоручику Кожевникову, объявил ему то, что мне подпоручик Малютин сказал, и мы поехали к Каховскому... У него застали мы подпоручика Андреева, Малютина и еще двух, мне знакомых,— один свитский офицер, а другой в черном фраке. О фамилии свитского офицера я спрашивал, и, сколько могу упомянуть, то, кажется, что Палицын, а другого как фамилия, не знаю. Кожевников спустя несколько минут куда-то уехал, кажется, что к Рылееву, а неверно утверждать не смею. Каховский говорил нам, что присягать не должно, чтобы люди имели при себе боевые патроны, что он знает, что весь Гвардейский экипаж присягать не хочет, что есть некто Якубович, которого я никогда не видел, который хочет принять на себя всем управление, и то, что нам должно будет делать во время присяги, чрез нарочно присланных для сего офицеров

даст знать. После сего я и Андреев 2-й поехали от него к Кожевникову и нашли уже его дома и остальную часть времени провели у него. Тут же поздно вечером приехал к нему опять Каховский и спрашивал, где ему сыскать подпоручика лейб-гвардии Гренадерского полка Кожевникова...»

Конспективные показания молодого измайловца Фока, несмотря на их нарочитую краткость и наивность, дают нам картину, достаточно выразительную: Каховский собирал в кулак нити, ведущие к измайловцам и гренадерам. Фок наверняка умалчивает о многом из того, что обсуждалось у Каховского. Но сведения о Якубовиче, который будет распоряжаться всем, что касается моряков и измайловцев, говорят сами за себя — предстоял захват Зимнего дворца. Молодых офицеров об этом заранее не уведомляли, но их готовили к совместной с экипажем акции. Лидеры общества не без основания считали, что, выйдя во главе солдат под командованием такого яркого начальника, как Якубович, они наэлектризуются атмосферой мятежа и выполнят все, что от них требуется.

Измайловец Кожевников после Каховского посетил Рылева, где застал Трубецкого, Пущина и Арбузова. Рылеев подтвердил слова Каховского. Вернувшись домой, Кожевников отправил в Петергоф, где стоял 3-й батальон Измайловского полка, «своего человека» — слугу — с запиской: он сообщил подпоручику Лаппе все слышанное им в продолжение последних трех дней. В следственном деле Лаппы сохранился текст записки. Это отнюдь не просто сообщение о слышанном: «Завтрашнего дня в 10 часов назначена присяга Николаю Павловичу. Нас несколько человек решились прежде умереть, нежели присягнуть ему».

Подпоручик Фок после встречи с Каховским написал письмо отцу. Он прощался с ним, предполагая, что они, быть может, больше не увидятся, но просил, чтобы отец не огорчался, ибо сын его «если падет, то за отечество».

Измайловские офицеры готовы были действовать. В двух стоявших в столице батальонах их было шестеро во главе с ротным командиром капитаном Богдановичем.

Интенсивная подготовка шла и в Московском полку. Штабс-капитан Щепин-Ростовский, недавно еще очень далекий от всяких политических мечтаний, распропагандирован был Михаилом Бестужевым. Но для него главным в надвигающихся событиях было сохранить верность Константину.

На первом допросе Щепина-Ростовского вечером 14 декабря генерал Левашов записал: «...13 числа уже на квартире Щепина-Ростовского собрались Волков, Бестужев, Брое, князь Кудашев (а капитан Корнилов за несколько дней, по имеющимся слухам, говорил, что он ни за что не присягнет при жизни императора Константина никому другому) и кля-

лись, что прольют последнюю каплю крови за императора Константина».

Волков и Кудашев 11 декабря были с Михаилом Бестужевым и Щепиным у Рылеева, где Александр Бестужев и Рылеев убеждали их, что, препятствуя вторичной присяге, они сделают святое дело. Это все, что сохранилось в следственных материалах. Настоящий же разговор, естественно, был более подробным и убедительным.

13 декабря у Щепина речь, судя по всему, тоже не выходила за пределы защиты прав Константина. Щепин показывал. «...я также и господина Бестужева (Михаила. — Я. Г.) перебил, когда он начал говорить о конституции, и доказал ему ясно, что она в теперешних наших обстоятельствах вредна для России, что подтвердят и господа Волков, Брокс и князь Кудашев, и Бестужев клялся идти вместе с нами за цесаревича!»

«Идти за цесаревича» согласны были еще штабс-капитан Лашкевич, поручик Цицианов, подпоручик Кушелев и прапорщик Багговут.

Лидеров тайного общества эта ограниченная позиция офицеров-москвитин вполне устраивала. Им важно было, чтобы полк вышел к Сенату и блокировал здание, а проблемами конституции все равно предстояло заниматься Собору.

Офицеры Кавалергардского полка Александр Муравьев, Анненков, Арцыбашев и Горожанский обсудили положение 12-го числа и теперь ждали событий.

Сутгоф поддерживал постоянную связь между гренадерами и тайным обществом, «13-го декабря дали знать Рылееву, что 14-го будут приведены к присяге полки, в это время я был у Каховского, куда приехал за мной Гвардейского штаба прапорщик Палицын и привез меня к Рылееву».

Упомянутый Сутгофом прапорщик Палицын, подпоручик Петр Коновницын, поручик Искрицкий — офицеры Гвардейского генерального штаба — выполняли функции офицеров связи.

Если бы мы могли с достаточной полнотой проследить маршруты членов тайного общества 13 декабря, то маршруты эти покрыли бы столицу густой сетью. Как видим, производилась огромная и кропотливая работа, чтобы наладить механизм восстания, связать между собой и с рылеевским центром офицеров-исполнителей.

Якубович был всю вторую половину дня с графом Милоладовичем в гостях у драматурга Шаховского и оттуда вечером отправился к Рылееву.

Булатов провел 13 декабря в напряженном беспокойстве. Рано утром он повидал Якубовича, и они подтвердили свою договоренность вызвать на следующий день к себе Трубецкого и Рылеева. О завтрашней присяге они еще не знали. Ближе к вечеру Булатова посетил Сутгоф, который перед этим

был у Каховского и Рылеева. «Я догадался, — рассказывал Булатов, что он имеет во мне надобность, вышел в другую комнату и получил от него письмо следующего содержания. «Любезный друг! Сейчас приехал его императорское высочество великий князь Михаил Павлович*, явись завтра, пожалуйста, в 7 часов в лейб-гвардии Гренадерский полк. Любезный, честь, польза, Россия». Подписано Кондратий Рылеев». Это было некоторое изменение прежнего плана, по которому Булатов должен был встретить лейб-гренадер по пути от казарм к площади. Булатов от этого изменения отказался. Сутгоф уехал обратно к Рылееву.

Еще до прихода Сутгофа Булатов узнал, что прибыло из Варшавы отречение цесаревича. Записка Рылеева означала, что утром будет присяга и связанный с ней мятеж.

Покая Булатов не находил. Он поехал к своим маленьким дочерям и, плача, простился с ними. «От сих невинных творений я поехал к товарищам преступного отца их. Прежде всего заезжаю к избранному мною Якубовичу, не застав его дома, оттуда — к Рылееву...»

В отличие от всех остальных активных членов общества, которые весь этот день были друг с другом связаны, неоднократно встречались, Булатов и Якубович провели его в стороне и приехали к Рылееву только вечером...

Батенков прожил 13 декабря в растерянности. Он видел Сперанского и обменялся с ним несколькими горько-ироническими фразами.

«Мне было очень грустно, — пишет Батенков, — и я вышел поспешно от Сперанского, сказал в другой уже зале его дочери, что всякий думает о себе, а об России никто не заботится; она указала на своего малютку, говоря, что это им представляется.

Пошел я домой и хотел тотчас ехать к Трубецкому, чтобы узнать у него, не будет ли чего в войсках, но остановился и, вспомнив, что дал слово обедать у градского главы или у купца Сапожникова, поехал к Прокофьеву, заезжал в другие места, но не помню куда. В рассеянности и досаде, увидев Рылеева, сказал ему, что все кончено и что мы опять присягнем по манифесту, он, казалось, оставил это без внимания. Я обратился к Бестужевым, толковал о том, что если бы взять и немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку, то можно бы множество произвести славных дел. Ехав в коляске с А. Бестужевым, изъявил желание видеть на престоле Елизавету Алексеевну или Михаила Павловича и, наконец, с спокойным духом пошел к купцу Сапожникову обедать, играл там на бильярде и в бостон с женщинами.

* Или ошибся Рылеев, или запамätовал Булатов — великий князь приехал только на следующее утро

Я не верил уже, чтобы могло что-нибудь случиться... но, зайдя к Прокофьеву и увидев Рылеева, услышал от него, что завтрашним днем можно воспользоваться и что я буду во Временном правлении с Мордвиновым и Сперанским. Я говорил ему, что Сперанский не примет в таких случаях никакого места, и не расспрашивал совершенно ни о чем, ибо он тотчас меня остановил; уехал домой и лег спать...»

Интересно, что в отличие от предшествующих дней, когда Батенков принимал активное участие в деятельности общества, в последние три дня его как-то отстраняют. Из его рассказа ясно, что с ним — человеком, которого выдвигают во Временное правление! — обсуждать конкретные шаги Рылеев воздерживался.

После того как Батенков «сказал целую речь» против идеи захвата дворца и ареста императорской фамилии, он уже не встречался с Трубецким. «Прошло опять около трех суток, кои провел днем в одном рассеянии, а по утрам и вечерам в занятии делами, в чтении и мечтаниях, каким образом присвоить власть во Временном правлении и утвердить в России родовое вельможество...» Поскольку Батенков говорит о трех сутках, его отстранение от активной деятельности произошло 11 декабря, то есть на следующий день после того, как он выступил против радикального плана, а Рылеев с Бестужевым обнаружили его сепаратные переговоры с Якубовичем. Эта дата подтверждается и другими расчетами.

Он по-прежнему был нужен — как правитель дел Временного правления, но подготовка к выступлению и само восстание совершаться должны были без него. Как мы помним, когда 12-го числа Батенков находился у Николая Бестужева, с ним велись разговоры о Лафайете и Карно, но никак не о деле.

Виделись ли Батенков и Якубович 13 декабря — неизвестно.

ВЕЧЕР 13 ДЕКАБРЯ

Государственный совет, на котором должны были быть оглашены документы, подтверждающие отречение Константина, и манифест о восшествии на престол Николая, по настоянию нового императора назначили на восемь часов вечера.

До этого Николай вызвал к себе командующего Гвардейским корпусом Воинова, уведомил его о предстоящей на завтра присяге, повелел собрать утром всех полковых командиров и генералов гвардии.

Воинов отдал соответствующее распоряжение начальнику штаба корпуса генералу Нейдгардту 2-му. Нейдгардт немедленно разослал следующую бумагу:

Начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор Нейдгардт 2-й имеет честь уведомить, что г. командующий Гвардейским корпусом приказать изволил завтрашнего дня, то есть 14 числа сего декабря, в 7 часов утра всем г. г. генералам, полковым командирам, равно командирам л.-гв. Саперного батальона, Гвардейского экипажа и Артиллерийских бригад, явиться в Зимний дворец к его императорскому высочеству государю великому князю Николаю Павловичу. Одетым быть в полной парадной форме, а г. г. генералам в лентах*.

Члены Государственного совета между тем ждали появления Николая, а Николай ждал приезда Михаила Павловича, чтобы представить его государственным мужам как непосредственного свидетеля позиции Константина. Михаил, поздно получивший вызов в столицу, опаздывал.

Наконец в половине одиннадцатого Николай решил действовать, не дожидаясь брата. Он отправился в залу, где заседал совет.

«Подойдя к столу, я сел на первое место, сказав:

— Я выполняю волю брата Константина Павловича.

И вслед за тем начал читать манифест о моем восшествии на престол».

В то время, когда члены Государственного совета ждали великого князя Николая, на квартиру Рылеева приехали из дома Сперанского члены общества капитан Корнилович и обер-прокурор Сената Краснокутский, побывавшие уже у Трубецкого, но не заставшие его. Они привезли точные сведения о завтрашней присяге.

Краснокутский сообщил, что Сенат собирается для присяги в семь часов утра.

В нашей исторической литературе существует мнение, что Николай, извещенный Ростовцевым о плане восстания, специально назначил присягу Сената на столь ранний час, чтобы лишить возможности мятежные полки захватить сенаторов на заседании.

Это неверно. Декабристы и не рассчитывали успеть с солдатами на площадь к сенатской присяге. Они знали, что полки присягают *после* правительственных учреждений. Им было известно, что присяга в полках начнется не ранее восьми утра, а до начала присяги они и не надеялись поднять солдат. Еще днем 13 декабря на встрече у Оболенского Рылеев говорил Арбузову, что войска будут присягать в семь или восемь утра. А Булатову, как мы знаем, предлагал быть в казармах гренадер в семь часов. Вечером же, увидевшись с Булатовым,

* ОР ГПБ, ф 380, № 58, л 9 об

назначил сбор на восемь утра 14 декабря, ибо очевидно было, что между началом присяги Сената и присягой войск должно пройти время.

(Кроме того, семь утра вовсе не было для Петербурга той поры ранним временем.)

Лидеры тайного общества не сомневались, что ежели им удастся совершить переворот, арестовать императорскую фамилию и взять под контроль здание Сената, то собрать сенаторов с помощью сенатских курьеров будет несложно. Застанут они сенаторов в Сенате или нет — их совершенно не волновало. Во всяком случае, нет ни одного указания, что они беспокоились по этому поводу. Зато есть прямые свидетельства, что они намеревались созвать сенаторов уже после выхода войск. Якубович утверждал, что восставшие хотели «восклицаниями собрать Сенат», «кричать «Ура, Константин!», пока не соберется Сенат». Якубович, разумеется, дал здесь весьма приблизительный вариант. Но нам важно его представление об очередности действий — сперва вывести войска, а потом созывать сенаторов.

13 декабря члены тайного общества начали сходитья у Рылеева между семью и восемью часами вечера. Приехали Арбузов, Михаил Бестужев, капитан Михаил Пущин, Репин, пришел Александр Бестужев. Приехали Краснокутский и Корнилович с сообщением о часе присяги. Затем приехал Трубецкой.

Все уже было решено. Но Трубецкой решил еще раз проверить готовность офицеров и реальность вывода войск. Его — едва ли не единственного — мучила мысль о солдатах, которых они могут зря погубить в случае заведомого поражения.

«13-го числа, когда я пришел к Рылееву, — показывал князь Сергей Петрович, — я нашел уже несколько человек. Репин оказывал неуверенность, чтоб можно было вывести Финляндский полк, если даже солдаты и откажутся от присяги (на последнее он надеялся); Бестужев (Московский) также говорил, что он не может вывести роту, когда другие роты не тронутся, и оба они спрашивали, что делать в таком случае? Я отвечал, чтоб стараться поддержать солдат в отказе от присяги до тех пор, как услышат, что какой другой полк вышел или что прочие присягнули; в последнем случае делать нечего, а в первом, услышавши, что другой полк вышел, то и их полк, верно, выйдет». Это утверждение вполне правдоподобно. Трубецкой, как мы знаем, считал главным и решающим моментом действия захват дворца. Ни москвичи, ни финляндцы не имели к этому отношения. Первыми должны были выйти Гвардейский экипаж и, возможно, измайловцы — ударная группа. После их выхода и успеха — а при своевременном выступлении успех был гарантирован — дру-

гие подготовленные части, безусловно, последовали бы их примеру. О чем и говорил диктатор. Если срывается первая акция восстания, считал Трубецкой, проблематично и все остальное.

Но Рылеева такая позиция не устраивала. Именно в этот вечер с абсолютной откровенностью выявилась разница в подходе Рылеева и Трубецкого к самой сути революционного действия. Трубецкой, и в этом он сходился с Николаем Бестужевым, полагал целесообразной только хорошо подготовленную в военном отношении операцию с высокими шансами на успех.

Для Рылеева драгоценен и безусловен был сам факт восстания, вне зависимости от непосредственного результата.

Далее Трубецкой рассказывает: «Рылеев на это вскричал: «Нет, уж теперь нам так оставить нельзя, мы слишком далеко зашли, может быть, нам уже и изменили». Я отвечал: «Так других, что ли, губить для спасения себя?» Бестужев (адъютант) возразил: «Да, для истории» (кажется, прибавил: «странницы напишут»). Я отвечал: «Так вы за этим-то гонитесь?!»

Столь резко они разговаривали между собой впервые.

Мы помним, что сказал Рылеев Розену накануне — 12-го числа: «Все-таки надо». Несмотря ни на что. Это была его главная идея. Николай Бестужев вспоминал потом слова, которые Рылеев повторял в те дни: «Тактика революций заключается в одном слове: дерзай!»

Но Трубецкому была чужда подобная тактика. Он продолжал беседовать с ротными командирами, призывая их мыслить и действовать реалистично. Почти все они на следствии это подтвердили.

Быть может, из-за происшедшего столкновения Рылеев поздно вечером 13 декабря просил Штейнгеля написать свой вариант манифеста для Сената: «Напиши, пожалуй, на всякий случай». Видимо, он не намеревался отступить и в том случае, если Трубецкой сочтет восстание бессмысленным.

Надо иметь, однако, в виду, что Трубецкой на следствии старался преувеличить свою осторожность и нерешительность, равно как и нерешительность многих других. Штейнгель, наблюдавший происходящее в тот вечер на квартире Рылеева, оставил несколько иную картину, сходящую по темам и направлению разговоров, но с иным градусом настроения: «Пушин ручался за своего брата и за некоторых офицеров конной артиллерии, что они дали слово не присягать... Репин заверил, что за часть Финляндского полка он отвечает. Бестужев Николай и лейтенант Арбузов отвечали за Гвардейский экипаж; Бестужев Московского полка — за свою роту. Корнилович, если это точно он, высокий, белокурый, торжественно уверял, что во второй армии сто тысяч готовы и что он ручается головою». С одной стороны, Штейнгель утверж-

дает, что вечером 13 декабря заговорщики «уверились в силе», но с другой — подтверждает, что Трубецкой, когда все разошлись, при нем, Штейнгеле, «говорил Рылееву тихо, что «если увидим, что на площадь выйдут мало, рота или две, то мы не пойдем и действовать не будем», с чем и Рылеев согласился».

Арбузов и Репин отправились в казармы своих частей. (Арбузов позже вернулся.) Их сменили другие. Приехал Сутгоф: «Когда я приехал с Палицыным к Рылееву, я там застал Гвардейского экипажа Кюхельбекера, князя Трубецкого, Бестужева (Александра.— Я. Г.), коннопионерского офицера (Михаила Пущина.— Я. Г.) и измайловского (Кожевникова.— Я. Г.), графа Коновницына 1-го и еще одного офицера Гвардейского генеральского штаба (Искрицкого.— Я. Г.)».

Палицын из этого посещения запомнил еще Корниловича.

Рылеев дал штабным офицерам Палицыну, Коновницыну и Искрицкому задание на утро 14 декабря — объезжать полки, следить за прохождением присяги и координировать действия членов общества в разных полках.

Затем, по свидетельству Сутгофа, Рылеев поехал в Финляндский полк. Однако он скоро возвратился. С кем он виделся у финляндцев — можно лишь гадать. У Розена он не был. Репин только что покинул его квартиру. Остается — Тубльев.

Приехали Щепин-Ростовский и Одоевский. Приехал, расставшись с Милорадовичем, Якубович. Милорадович отправился во дворец — на заседание Государственного совета, а Якубович — в штаб застрашного восстания.

В докладе Следственной комиссии, суммировавшем сведения, полученные в ходе допросов, сказано: «Собрание их в сей вечер (13 числа) было столь же многочисленно и беспорядочно, как прошедшее: все говорили, почти никто не слушал». Кроме желания представить тайное общество сборищем буйных и беспомощных на деле фантазеров и крикунов, следователи искренне не видели за внешними проявлениями возбуждения и энтузиазма последовательной, упорной и строгой организационной работы лидеров общества. Но мы знаем, что на «прошедшем» собрании — 12 декабря — были приняты важные решения, четко распределены роли; 13 декабря под слоем неизбежной суеты, смены лиц, нервозности, сомнений составители доклада тоже просмотрели последние приготовления к восстанию и резкие столкновения позиций. То, что они пытаются представить разнузданным фарсом, было прологом высокой трагедии.

Но это бурление поверхности и атмосфера взвинченного ожидания и на самом деле были. И не могли не быть. К восстанию готовились не холодные аскеты или твердолобые фанатики. К восстанию готовились молодые страстные люди,

любившие жизнь. Они готовы были умереть, но куда больше жаждали победить. За несколько часов до решительного момента общеполитические соображения, примеры древних героев и романтический патриотизм отступили — перед молодыми гвардейцами оказалась неумолимая реальность, требовавшая конкретных действий, хладнокровных, целеустремленных, а то и жестоких. И вели они себя в эти последние часы по-разному.

Очевидно, в тот вечер Якубович, верный своей любви к завышенным декларациям, которые он вовсе не склонен был реализовать, предложил разбить кабаки, вынести из церкви хоругви и идти ко дворцу — гипертрофированный вариант идеи Батенкова «приударить в барабан», «собрать толпу и заставить вести с собой переговоры».

Михаил Бестужев через тридцать с лишним лет в воспоминаниях воспроизвел именно атмосферу последних часов, сведя в рылеевской квартире всех, кто был в ней в разные промежутки времени: «Шумно и бурливо совещание накануне 14 в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобноисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел...»

Было и это. Но сам же Бестужев пишет, что там присутствовали люди, которые — как он и Сутгоф — оставались спокойны и деловиты. И в них была суть происходящего...

Щепин, Михаил Бестужев отправились в свой полк.

Между одиннадцатью и двенадцатью часами Александр Бестужев и Якубович, возможно вместе с Арбузовым, уехали в Гвардейский экипаж. Бестужев повез Якубовича посмотреть заранее, где расположены казармы гвардейских матросов, и познакомить его с офицерами, которых Якубовичу предстояло по плану возглавить на следующее утро.

Механизм был запущен сильно и умело. Все казалось выполнимым.

Отступление о царевидстве

В начале первого часа Николай вышел из зала, где заседал Государственный совет, и пошел в свои комнаты. Он шел мимо вытягивавшихся при его появлении конногвардейцев, стоявших во внутреннем карауле. Командовал внутренним караулом князь Александр Одоевский.

Перед тем как лечь спать, Николай сказал Александре Федоровне, своей супруге: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, — умереть с честью».

Его предчувствия были небезосновательны не только по-

тому, что династия могла быть отстранена от власти. В доме Российско-Американской компании на Мойке, совсем недалеко от Зимнего дворца, соратниками начальника внутренне-го караула в этот день многократно обсуждалась проблема цареубийства.

Вопрос — что делать с императорской фамилией после победы восстания, — естественно, обдумывался в Северном обществе и раньше. Мнения расходились: от уничтожения до вывоза морем за границу. Но тогда прения носили теоретический характер, теперь — через несколько часов — этот вопрос, быть может, пришлось бы решать практически и радикально.

Потенциальный цареубийца Якубович предназначался для другого дела. Главной фигурой в этом плане стал в канун восстания Каховский. Каховский, «ходячая оппозиция», как назвал его Рылеев, человек, раздираемый противоречивыми страстями и тенденциями, — герой-одиночка и целеустремленный организатор, убежденный сторонник народовластия, подозревающий даже Рылеева в излишнем властолюбии, и поклонник сильной личности в революции, человек с трезвым пониманием экономических и политических бед России и романтический тираноборец. Каховский, резко возражавший против мгновенной мысли Рылеева зажечь Петербург в случае отступления, «чтоб и праха немецкого не осталось», и «пламенный террорист», по выражению Штейнгеля, кричавший 12-го числа: «С этими филантропами ничего не сделашь; тут просто надобно резать, да и только».

Отношения Каховского и Рылеева в продолжение 1825 года — с тесной дружбой, расхождениями, новыми сближениями, принципиальными спорами, но с конечной неразрывностью уз, ибо они были необходимы друг другу, — являют собой многосложный сюжет для отдельной книги. Сейчас мы коснемся одного аспекта — цареубийства.

Рылеев, удержавший в свое время Якубовича — по видимости, неуправляемого, — исподволь готовил вместо него Каховского. Цареубийству и самопожертвованию посвящались их долгие беседы и споры. В дни междуцарствия Каховский был готов к своей роли, хотя его мучили сомнения, что его «полагают кинжалом», орудием чужих целей, «ступенькой для умников».

Цареубийство не входило как существенный компонент в план Трубецкого. Это была сфера Рылеева. Хотя и другие лидеры общества понимали, насколько устранение Николая облегчило бы захват власти.

Уже после полуночи — в ночь с 13 на 14 декабря — Оболенский приехал к Рылееву (можно с уверенностью сказать, что он не присутствовал на последнем собрании в штаб-квартире общества только потому, что завязывал последние

организационные узлы). Он хотел узнать об окончательных решениях. Застал у Рылеева Пущина и Каховского, а вскоре к ним присоединился Александр Бестужев.

Оболенский рассказывал следователям об этой встрече: «После нескольких минут разговора он (Каховский.— Я. Г.) и Пущин надели шинели, чтобы ехать, я сам уже прощался с ним, как Рылеев при самом расстании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал: «Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для общества — убей завтра императора». После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я. На сие Каховский спросил нас, каким образом сие сделать ему. Тогда я подал мысль надеть ему лейб-грендерский мундир и во дворце сие исполнить. Но он нашел сие невозможным, ибо его в то же мгновение узнают. После сего предложил не помню кто из предстоящих на крыльце дождаться прихода государя, но и сие было отвергнуто как невозможное».

Оболенский — по вполне понятной причине — последней фразой смягчил ситуацию. Александр Бестужев внес существенные коррективы: «Когда, воротясь из экипажа, вошел я в кабинет Рылеева, Оболенский и Пущин на выходе целовали Каховского; когда я сделал то же, прощаясь с ними, Рылеев сказал мне: «Он будет ждать царя на Дворцовой площади, чтоб нанести удар».

Для Рылеева цареубийство должно было предшествовать захвату дворца или совпасть с ним по времени.

Трубецкой об этом замысле узнал только на следствии.

НОЧЬ НА 14 ДЕКАБРЯ

Вернувшись от Рылеева в казармы Гвардейского экипажа, Арбузов сообщил сослуживцам о завтрашней присяге и постарался воодушевить и укрепить их. Было уже за полночь, но никто из офицеров-моряков не спал.

Мы не знаем, разумеется, всего, что происходило в экипаже, но главная ситуация ночных часов известна нам из показаний мичмана Дивова, подтвержденных другими показаниями.

Дивов поздно приехал в казармы, на квартиру, где он жил вместе с братьями Беляевыми. У них сидели лейтенант Бодиско, мичман Бодиско и измайловский поручик Гудимов. «Они мне сказали, что великий князь Константин Павлович отказался от престола и что поутру будет присяга». И далее идет эпизод, очень характерный: «Гудимов рассказывал, что слышал от Львовых (измайловские офицеры.— Я. Г.), что сейчас у отца их был член Совета Мордвинов и что он, уезжая во дворец для принятия присяги, говорил: «Может быть,

я уже более не возвращусь, ибо решился до конца жизни противиться сему избранию», — а обращаясь к детям Львова, сказал: «Теперь вы должны действовать».

Лейтенант Бодиско передает тот же эпизод подробнее и в более резких тонах: «...г. Гудимов, будучи у г. Беляевых 13 числа, сказал: Государственный совет собирается во дворце, адмирал Николай Семенович Мордвинов объявил бывшим у него офицерам гвардии (назвав г. Львовых): «Совет призывают для принесения присяги новому императору», — что он до последней капли крови будет защищать правое дело, и стыдно будет им, господам офицерам, «буде не последуют его примеру». Вскоре после этого пришел г. Арбузов и присовокупил, что адмирала не пустили в Совет и он уже возвратился домой. Еще г. Гудимов уверял, что во все полки были подсылаемы лазутчики, которые донесли, что все солдаты расположены быть верными данной ими присяге».

Бодиско добавляет еще один весьма важный штрих, который упустили и Дивов, и Беляевы: «Когда г. Арбузов пришел к г. Дивову, г. Гудимов хотел ему говорить, но первый, остановив его, спросил: «Да ты когда там был?» На ответ г. Гудимова, что он был поутру, г. Арбузов возразил, что он сей час оттуда». Речь здесь может идти только о квартире Рылеева. И стало быть, измайловец Гудимов предстает активно сочувствующим тайному обществу агитатором.

Маловероятно, чтобы Мордвинов столь определенно призывал братьев Львовых к неповиновению. Но на пустом месте такие легенды не возникают. Тем более что Львовы, как и Гудимов, были связаны с тайным обществом. Следствие предполагало сведениями, что Львовых предупредил о будущем восстании подпоручик Ростовцев.

(Как бы то ни было, мы точно знаем, что утром 14 декабря перед присягой гвардейские офицеры просили совета у Мордвинова. Его дочь вспоминала: «...прибежал к отцу Г. Д. Столыпин, в большом смущении и со слезами спрашивал: что делать? «У меня три сына, молодые офицеры гвардии, приказано сегодня присягать Николаю Павловичу, Г... уверяет, что Константин Павлович не отрекся». Графиня Мордвинова в воспоминаниях старалась всячески доказать верноподданность покойного отца. По ее словам, адмирал посоветовал Столыпину присягать. Но главное здесь то, что именно к Мордвинову в утро перед мятежом обратились за столь рискованными разъяснениями.)

Очевидно, состоялся некий разговор оппозиционного адмирала с молодыми офицерами, который они истолковали в своем духе, и скорее всего не без оснований. А декабристы немедленно превратили это толкование в средство агитации.

Дивов вслед за Бодиско подтверждает, что Арбузов вошел во время рассказа Гудимова и сообщил, что Мордвинов вер-

нулся домой. Затем Арбузов сказал офицерам: «Господа, зная ваш образ мыслей, кажется, я могу говорить с вами открыто. Завтра, вы знаете, что будет присяга; мы не должны присягать и приготовить к тому и роты. Завтра, когда люди откажутся от присяги, пользуясь сим, выведем роты на Петровскую площадь, где уже будут все полки, и там принудим Сенат утвердить составленную давно уже конституцию, чтобы ограничить государя». Обратясь к Бодиско, сказал: «Вероятно, и вы не откажетесь содействовать?» — но Бодиско ему отвечал, что он со своею ротою не будет: «Ибо как могу действовать, не зная вашего плана. Вы бываете между теми, с которыми составили заговор, вы знаете весь план и, может быть, даже уверены в хорошем окончании оногo; я же, не зная ни плана, ни одного из ваших сообщников, как могу вам дать слово к содействию». После сего ответа Арбузов старался уверить, что опасаться неудачи нечего, что все полки будут на площади и что он и сам всего плана не знает, но то лишь, что нужно ему самому делать, и открыл ему лишь то, что можно, что «если вы точно не на словах показывали любовь к отечеству; то не должны ли, оставя самолюбие, действовать всеми силами». Бодиско еще колебался. И Арбузов ушел, сказав, что у него гости.

Но, в отличие от лейтенанта Бодиско, трое мичманов, присутствовавших при этом разговоре (Гудимова уже не было), безоговорочно согласились действовать.

Гости, о которых упомянул Арбузов, — Якубович с Александром Бестужевым. Об этой важной встрече мы, к сожалению, имеем только свидетельство старшего Беляева, пришедшего в самом конце ее. А по косвенным данным ясно, что Якубович разговаривал с несколькими ротными командирами. Когда братья Беляевы явились к Арбузову, Якубович с Бестужевым собрались уже уходить. Якубович стоял со шляпой в руке. Желая ободрить молодых моряков и не упустить случая покрасоваться, он сказал им: «Господа, хотя я и не сомневаюсь, чтобы вы не были храбры, но вы еще все никогда не были под пулями, и я вам покажу пример собою». Тут и он, и Бестужев уверили мичманов в сочувствии гвардии их общему делу и в несомненности успеха.

Конечно же эти протокольные записи, даже при обилии живых деталей, не дают представления о той атмосфере суровой целеустремленности (Арбузов), колебаний (лейтенант Бодиско), восторженного энтузиазма (Дивов, Беляевы), в которой проходили эти часы. «Когда мы остались одни с Беляевыми, — рассказывал двадцатилетний Дивов, — то восхищались торжеством, если будет удача, и воображали, как народ нас будет приветствовать как избавителей».

Большинство офицеров-моряков готово было наутро следовать за Якубовичем. Однако суть их предназначения — захват

дворца — знал лишь Арбузов. Вероятно, было решено открыть им истину, только когда мощная инерция восстания исключит всякие колебания, а героическая фигура Якубовича, его красноречие и темперамент увлекут даже слабодушных.

Якубович отправился домой, Бестужев — к Рылееву.

Тогда же в дом Российско-Американской компании приехал Булатов, заезжавший перед тем к Якубовичу, но разехавшийся с ним. «Здравствуйте, друзья мои, я сделал для вас всех то, что тяжелее было для меня всего на свете, я простился с милыми моими сиротками», — и слезы покатались из глаз моих. Бестужев принял во мне участие и сквозь слезы проговорил, обратя взор к небу. «Боже, неужели отечество не усыновит нас?» — «Ну, оставьте это», — сказал я им; требовал, чтобы Рылеев сказал мне, как он распорядился и много ли мы имеем силы. Он насчитал мне очень довольно, и вот они. Измайловский целый полк, Финляндский батальон, Московские две роты, лейб-гренадер две роты, экипаж весь, кавалерии будет часть и также артиллерии. Рылеев говорит, что Якубович поехал в батальон экипажа с ними говорить и поведет их; мне это стало досадно потому, что я дал ему слово защищать друг друга. Я опять сказал ему, что если войска не придут и их будет мало, то я не потеряю даром детей и моего имени и действовать не буду, распоряжения одни и те же и нового только, что в 8 часов собраться».

В булатовском тексте, как всегда, много сведений и смысла.

Не вызывает сомнений, что в ночь с 13 на 14 декабря вожди общества были уверены в Измайловском полку — по настроению молодых офицеров; в 1-м батальоне Финляндского полка, которым командовал Тулубьев, посылку 2-й батальон Моллера шел в караул (и породил эту уверенность, скорее всего, результат вечерней поездки Рылеева в полк; с ротами москвичей Михаила Бестужева и Щепина и лейб-гренадерами все было ясно и ранее; в экипаже находились верный Арбузов и несколько офицеров, готовых идти за Якубовичем. Рассчитывали они и на кавалерию — имелся в виду коннопионерный эскадрон младшего Пущина, и на артиллерию — конноартиллерийскую бригаду, с которой был связан старший Пущин.

На исходе 13 декабря тайное общество располагало внушительными и преимущественно надежными силами. Дело было за четкостью исполнения приказаний диктатора.

Булатов уехал, недоумевая, почему Якубович все же взялся исполнять план Трубецкого, когда они словом обязались ориентироваться друг на друга...

Первый эпизод надвигающихся событий произошел еще поздним вечером.

Ротный командир Преображенского полка, а впоследствии генерал-адъютант Игнатъев вспоминал: «Во 2-ю роту, со-

ставленную из молодых солдат, вошел внезапно незнакомый офицер в адъютантском мундире*. Польстив нижним чином уверением, что вся гвардия ждет от них примера и указания, объявил он в превратном виде о назначении на следующее утро присяги государю императору Николаю Павловичу и уверял, что он собою пожертвовал, чтобы спасти первый полк русской гвардии от присяги, дерзновенно называемой им клятвопреступлением. Фельдфебель**, человек умный и вполне надежный, послал предупредить начальство и убеждал Чевкина прекратить пагубные рассказы, но безуспешно. Выведенные из терпения его дерзостью, нижние чины объявили Чевкину, что они его не выпустят. На беду, не случилось в казармах ни ротного, ни батальонного, ни полкового командиров. Пришел дежурный по батальону, перед тем прикомандированный из армии офицер, князь Урусов, товарищ Чевкина по Пажескому корпусу. Чевкин встретил его жалобами (на французском языке) на грубость нижних чинов и угрозами, что он известит начальников о его неисправностях. Урусов, сам испуганный, повелительным голосом приказал его выпустить. Тотчас после его отъезда Косяков доложил начальству обо всем, и в продолжение ночи Чевкин был отыскан и арестован... В тяжком волнении длилась бесконечная ночь***.

Эпизод этот странен и непонятен по сию пору. Плохо верится, чтобы Чевкин действовал сам по себе. Известно, что лидеры общества думали о способах воздействия на преобразенцев, стоявших рядом с дворцом и представлявших собой главную опасность при попытке ареста Николая и его семейства. Не установлено никаких связей Чевкина с обществом. Но и связей Рылеева с измайловцем Гудимовым (переведенным после 14 декабря из гвардии в армию) тоже нет на поверхности. Очевидно, мы плохо знаем этот второй ряд декабристской периферии.

Во всяком случае, появление Чевкина в казармах рядом с Зимним дворцом было зловещим признаком...

Государственный совет не оказал сопротивления воцарению Николая, потому что было уже ясно, что Константин трона не примет. Хотя некоторые из членов совета — Милорадович, Сперанский, Мордвинов — могли с надеждой ждать завтрашнего утра.

Николай понимал, что через несколько часов решаться

* Александр Чевкин (брат сенатора), бывший адъютантом Витебского генерал-губернатора князя Хованского, ныне генеральный консул в Норвегии. (Примеч. Игнатьева)

** Дмитрий Косяков, бывший впоследствии полицмейстером Павловска, уволен от службы полковником (Примеч. Игнатьева)

*** ОР ГПБ, ф 380, № 57, л 3—7.

будет не просто вопрос престолонаследия, но вопрос его жизни и существования династии. Он понимал — ему понадобится максимум аргументов, чтобы, если вспыхнут волнения, убедить гвардейские полки в справедливости и законности второй присяги. Он понимал, что заговорщики предложат гвардии свои аргументы, что козырей у них много и, быть может, главный из них — его, Николая, репутация. И потому необходим был великий князь Михаил, живой свидетель отречения Константина. Более популярный среди солдат, умеющий разговаривать с солдатами.

А Михаила Павловича все не было. На разбитой, заметенной снегом ночной российской дороге могло произойти что угодно.

Николай с ужасом думал, что присяга начнется в отсутствие Михаила. Он послал своего флигель-адъютанта Василия Перовского на заставу, через которую должен был въехать в город великий князь.

Перовский вспоминал: «Что касается собственно меня, то к вечеру 13 числа и ночь с 13-го на 14-е я провел на Нарвском въезде в ожидании е. и. в. кн. Михаила Павловича, коего государь император повелел мне предупредить, что утром 14-го числа назначена войсковая присяга».

Николай опасался, как бы его брат, не зная серьезности положения, не отправился прежде всего отдыхать с дороги. Перовскому было предписано, перехватив Михаила Павловича на заставе, объяснить ему ситуацию и не медля везти во дворец. Волею обстоятельств младший брат стал для Николая залогом спасения. И, как мы увидим, император не преувеличивал. Задержись Михаил на два-три часа — пала лошадь, сломался экипаж, — и события могли пойти по-иному.

Караул на Нарвской заставе несли солдаты Московского полка. Начальником караула был подпоручик Кушелев. Вместе с Перовским они коротали часы этой тревожной ночи. Перовский подробно рассказывал подпоручику о причинах междуцарствия и переприсяги. «Среди ночи Кушелева вызвали из караульной на улицу. То были Щепин и, кажется, Бестужев, приезжавшие уговаривать Кушелева не присягать государю императору Николаю Павловичу. Но офицер этот, предваренный мною, не поддался злонамеренным внушениям и удержал от того свою команду».

Перовский ошибся. К Кушелеву приезжали Михаил Бестужев и князь Кудашев, который членом общества не был, но вошел в проконстантиновскую группу, созданную Бестужевым. Зачем же они оказались среди ночи на краю города? Та часть роты Кушелева, что стояла в карауле, все равно не успевала в казармы к присяге, да она и не была решающей боевой силой.

Пресняков, не склонный к беспочвенным предположениям

ям, выдвигает любопытную версию: «...надо полагать, что их (Бестужева и Кудашева.— Я. Г.) мыслью было склонить на свою сторону начальника караула, с его помощью не пропустить в город Михаила или его арестовать, так как приезд этого представителя Константина грозил, как было им ясно, сорвать их агитацию в войсках»*.

Если это так — а иначе трудно объяснить ночной вояж Бестужева,— то перед нами еще одно свидетельство, что план действий был продуман руководителями общества куда подробнее и основательнее, чем это выявилось на следствии. Эпизод с Кушелевым, скажем, вообще не всплыл.

Такая акция, как арест московцами великого князя, шефа полка, почти не выполнимая в иных условиях, была реальна в данном случае, ибо Кушелев как караульный начальник обладал исключительной властью и мог, убеждая солдат, сослаться на инструкцию свыше, привезенную Михаилом Бестужевым. Бестужев был в ту ночь дежурным по караулам, и, таким образом, соблюдалась полная видимость законности. Для солдат это было крайне важно.

Однако столь значимая акция, которая могла иметь серьезнейшее влияние на ход событий, сорвалась из-за присутствия в карауле флигель-адъютанта полковника Перовского. И дело тут, скорее всего, не в его разъяснениях, а в том, что его присутствие, его вмешательство как непосредственного представителя высшей власти могло нейтрализовать в решающий момент приказ Кушелева...

Поручика Розена разбудил ночью вестовой, который принес приказа командира полка всем офицерам собраться на его квартире к восьми часам утра (Розен пишет в воспоминаниях о семи часах, но это ошибка — к семи часам полковые командиры вызваны были во дворец). «Сон прошел; с женою рассуждали об обязанностях христианина, гражданина, о предстоящих опасностях, о коих в эти последние дни мы беспрестанно беседовали; я мог ей совершенно открыться, — ее ум и сердце все понимали. Наконец, с молитвою предалась воле Божьей». (Розен женился в апреле 1825 года на сестре своего сослуживца и друга Ивана Малиновского, лицейского товарища Пушкина. Посаженной матерью на свадьбе была жена полковника Тулубьева. Гостей развлекал поручик Финляндского полка Павел Греч — остряк и балагур, брат известного литератора...)

Мичман Петр Бестужев, пришедший после полуночи к брату Александру, увидел, что тот заряжает пистолеты.

Истерзанный сомнениями Булатов почти не спал в эту ночь — писал прощальные письма, приводил в порядок бумаги, молился...

* Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. Л., 1925, с. 105.

Не спал Якубович, взвешивая возможные варианты поведения.

Кончалась ночь рубежа. Начинался день 14 декабря, который сам по себе станет огромной эпохой, огромным, необозримым историческим пространством.

В эти ночные часы шансы тайного общества на победу были гораздо выше, чем у Николая. В случае выполнения плана Трубецкого растерявшемуся и внутренне готовому к катастрофе императору с его немногочисленными сторонниками нечего было бы противопоставить стремительному удару заговорщиков.

ВОССТАНИЕ

УТРО ЛИДЕРОВ

Каховский провел ночь в тяжелых сомнениях. Он много месяцев готовил себя к цареубийству. В отличие от Якубовича он не был позером и декламатором. Жестокий и благородный жертвенный акт был для него потребностью — оправданием его несчастной, неудавшейся жизни, реализацией его высоких мечтаний. Каховский был человеком безоглядной решимости и храбрости. Сам по себе акт тираноубийства не пугал его. Но в конкретной ситуации этот акт связан был с одним страшным условием — цареубийца должен был действовать сам по себе, ни в коем случае не обнаруживать свою принадлежность к тайному обществу. Будучи схвачен — умереть молча. Избегнув расправы — навсегда бежать из России. По мысли Рылеева, тайному обществу нельзя было компрометировать себя в глазах народа убийством императора, даже в случае свержения самодержавия.

Каховский готов был жертвовать собой. Но не ценой позора, проклятья, бегства. Это было выше его сил. Он мечтал о славе Брута, а не об участи изгоя.

Еще вечером 13 декабря Александр Бестужев, не сочувствующий идее цареубийства, просил Каховского утром прийти к нему. Около шести часов утра Каховский пришел.

Александр Бестужев так описал эту сцену: «Вас Рылеев посылает на площадь Дворцовую?» — сказал я. Он отвечал: «Да, но мне что-то не хочется». — «И не ходите, — возразил я, — это вовсе не нужно». — «Но что скажет Рылеев?» — «Я беру это на себя; будьте со всеми на Петровской площади».

Каховский был еще у Бестужева, когда пришел Якубович. Сам он сообщил об этом скупое: «14-го в 6 часов утра был у Бестужева и при Каховском отказался от сего поручения (взятия дворца. — Я. Г.), предвидя, что без крови не обойдется...»

В эти минуты и началась трагедия 14 декабря.

Мы не знаем, уговаривал ли Александр Бестужев Якубовича, не знаем, чем на самом деле аргументировал «храбрый кавказец» свой отказ. Но и Бестужев, и Каховский поняли: план восстания рушится.

На одном из последующих допросов Якубович показал: «Когда я отказывался Бестужеву от поручения при Каховском, то последний сказал: «А Булатов будет ли со своими?...»

Очевидно, они знали уже и о сепаратном альянсе Якубовича с Булатовым. Отчаянный вопрос Каховского, так много сделавшего для выхода лейб-гренадер, означал: если нам изменяет Якубович, то как поступит его друг Булатов, поведет ли свой полк?

В эту страшную минуту Якубович отлично сознавал, каковы будут последствия его отказа. Он так до конца и не признался в намерении возглавить штурм дворца (хотя у следствия были неопровержимые доказательства), но в один из моментов проговорился: «Отказавшись быть орудием их замысла бунтовать войски и лично действовать, расстроил их план, и был первая и решительная неудача в намерении...»

Можно было бы поверить в гипотетичность этой фразы (каковой и представлял ее Якубович), можно было бы принять за причину отказа боязнь крови — «без крови не обойдется». Но у нас нет такой возможности — мы знаем о воздействии на Якубовича Батенкова, знаем о договоренности кавказца с Булатовым и об их совместных идеях. Своим отказом возглавить экипаж и идти на дворец — не когда-нибудь, а непосредственно перед началом восстания! — Якубович выбивал почву из-под ног Трубецкого. Он не препятствовал восстанию вообще, он тут же дал слово Бестужеву быть у Сената,— он сделал невозможным именно то восстание, которое планировал Трубецкой. Он в полном соответствии с намерениями Булатова устранял диктатора, ибо знал, что Трубецкой придает решающее значение взятию дворца. Якубович делал невозможным восстание, задуманное Трубецким, но при этом навязывал де-факто тайному обществу аморфный план Батенкова. Он исключил возможность четкого, рассчитанного революционного действия и открыл путь для импровизации — «приударить в барабан», «собрать толпу», вести переговоры с императорской фамилией, сидящей в Зимнем дворце, и так далее.

За ночь он сделал свой выбор. В хаосе, который должен был заменить четкий план Трубецкого, открывалась возможность перехватить лидерство и повести игру по-своему.

Якубович был пронизателен и сообразителен. И он вполне сознавал, что разгадать его игру не так уж трудно. Но и в день восстания, и позже его, несомненно, мучила совесть — именно потому, что он понимал катастрофический смысл совершенного. Недаром на заглавном листе журнала «Московское ежемесячное издание», который давали декабристам читать в камеры, он наколот булавкой: «Я имел высокие намерения, но Богу, верно, неужгодно было дать мне случай их выполнить. Братцы! не судите по наружности и не обвиняйте

прежде времени». (В конце следствия журнал с этим текстом попал в руки озлобленному, измученному Каховскому, и тот передал его в Следственную комиссию.)

Как бы то ни было, хорошо продуманный, сулящий успех план рушился.

Следует иметь в виду, что увлечь солдата того времени на штурм императорской резиденции было делом необычайно трудным. Тут требовался или такой любимый и авторитетный командир, как Булатов для гренадер, или же столь яркий и поражающий воображение вожак, как Якубович.

Якубович уехал домой, а Бестужев и Каховский бросились к Рылееву...

Как мы знаем, декабристы на следствии избегали говорить о своих внутренних раздорах, а следователи этим не очень интересовались. Потому разговор Рылеева с Александром Бестужевым и Каховским о Якубовиче в то утро неизвестен нам.

Нам чрезвычайно важно все, что происходило в ранние утренние часы в квартире Рылеева. Однако восстановить это нелегко, несмотря на имеющиеся показания.

Трубецкой рассказал на следствии, что «ходил к Рылееву часов в 7, поутру, и нашел, что он еще в постеле... Пока я был у него, сошел к нему Штейнгель (живший наверху в том же доме). Разговора о предшествующем вечере не было, ни о предположениях на сей день... Я рассказал только, что собирается Сенат, а Штейнгель сказал: «Пойду дописывать манифест, который, кажется, останется в кармане, он у меня в голове почти совсем кончен». С сим словом он пошел, и я тоже встал. Тут я узнал, что Штейнгель пишет манифест... Когда я встал, чтобы идти, приехал Репин сказать Рылееву, что в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру...».

Из этого показания следует, что диктатор был первым, кто пришел к Рылееву в это утро,— Рылеев был еще в постели. Стало быть, Александр Бестужев и Каховский еще не приходили к нему с известием об отказе Якубовича.

Это подтверждается и показаниями Штейнгеля: «Поутру 14-го, встав рано, я действительно набросал свои мысли на бумагу и, не dokonчив, сходил вниз к Рылееву на минуту, чтобы узнать, что у них делается, и застал тут князя Трубецкого». Штейнгель давал показания откровенные и подробные и конечно же не умолчал бы о таком потрясающем известии, как выход Якубовича из активной игры.

И тут приходится корректировать время. Очевидно, Якубович пришел к Бестужеву уже после шести часов (он мог точно не помнить, мог в показаниях не придать значения пятнадцати — двадцати минутам). А Трубецкой пришел, когда еще не было семи часов. И в то время, когда Трубецкой

встретился у Рылеева со Штейнгелем и Репиным, Якубович объяснялся с Бестужевым и Каховским. Тем более что Александр Бестужев назвал временем прихода Якубовича семь часов утра.

Офицеры-финляндцы были оповещены о сборе у командира полка очень рано (Розен говорит даже о ночи), следовательно, и Репин мог приехать с этим известием между шестью и семью часами утра.

Что же касается сбора сенаторов, о котором уже знал Трубецкой, то и он должен был начаться около половины седьмого, ибо официально заседания приказано было начать в семь часов.

Все сходится. Мы можем с высокой степенью вероятности утверждать, что Якубович приехал к Бестужеву около половины седьмого, а Трубецкой, Штейнгель и Репин встретились у Рылеева без четверти семь. Трубецкой жил совсем близко от Рылеева, санной езды там было несколько минут, а путь его лежал мимо Сената, где он и мог видеть подъезжающих сенаторов.

От этих временных вех мы и будем отталкиваться.

В семь часов Трубецкой ушел от Рылеева, не зная об измене Якубовича. Никаких угрожающих симптомов не было.

Как только ушли Штейнгель, Репин и Трубецкой, появились Александр Бестужев и Каховский со своим страшным известием...

Начальник штаба восстания князь Евгений Оболенский выехал из дому в седьмом часу. Он отправился верхом по темному Петербургу объезжать казармы. До присяги было еще далеко, но Бистром уже поехал во дворец, а Оболенский хотел свидеться с офицерами полков, на которые надеялись. Он поскакал по Фонтанке к измайловцам, а затем в Московский полк. Кого из офицеров видел он в этот свой приезд, трудно сказать. С молодыми измайловцами он, судя по всему, не встречался. Но главным среди сторонников тайного общества был в полку капитан Богданович, который после восстания покончил с собой, и никаких сведений о его действиях в эти часы не осталось. Между тем именно с ним мог встречаться тогда Оболенский. Не было бы следов пребывания Оболенского и в Московском полку, если бы Петр Бестужев не показал, что этим утром он видел в доме Российско-Американской компании Оболенского и своего брата Михаила. Очевидно, захав в московские казармы, Оболенский привез к Рылееву Михаила Бестужева, вернувшегося из поездки на Нарвскую заставу.

Тут они узнали об отказе Якубовича.

Хотя диктатор отсутствовал, но группа, собравшаяся в эти минуты у Рылеева, была достаточно представительной, чтобы в критической ситуации принять самостоятельные реше-

ния,— Рылеев, Оболенский, Каховский и трое Бестужевых. Решения, которые они приняли, были ответственными.

Во-первых, мичман Петр Бестужев немедленно отправлен был с запиской в Гвардейский экипаж предупредить Арбузова, чтоб он не ждал Якубовича. Но, разумеется, это не могло быть единственным содержанием записки. Из текста ее довольно известна только одна фраза, воспроизведенная младшим Бестужевым: «Бог за правое дело!» Но это, вероятно, по аналогии с известной нам запиской Рылеева Булатову, была концовка. О чем мог писать Рылеев Арбузову в этот тяжкий момент? Считается, что речь в ней шла о замене Якубовича Николаем Бестужевым. Это маловероятно. Если бы это было так, то Николай Бестужев был бы без замедлений вызван к Рылееву. Во всяком случае, он был бы извещен о ключевой роли, которая ему теперь предназначалась. Ничего подобного не произошло. Николай Бестужев, явно ни о чем не подозревая, пришел к Рылееву только к девяти часам, в самый последний момент.

Суть записки могла быть только одна — Рылеев просил Арбузова самому возглавить экипаж. Как мы увидим, поведение старшего Бестужева в экипаже это подтверждает...

Но, как уже говорилось, далеко не всякий мог повести экипаж на дворец. А офицеры-моряки ждали именно Якубовича. Арбузов был всего лишь один из них, а Якубович — легендарная фигура, не только герой, обстрелянный и заслуженный, но и представитель высоких оппозиционных сил, которые, по представлению мичманов и лейтенантов Гвардейского экипажа, стояли за подготовкой восстания. У Арбузова этого ореола не было. И для матросов Арбузов был хотя и любимый, но только командир одной из рот.

Неудовлетворительность кандидатуры Арбузова как руководителя операции по захвату дворца выяснилась в тот момент, когда уже надо было действовать. Начались поиски другого командующего. На это ушло драгоценное время. И никто не решился бросить восставших матросов на дворец...

Вторым решением Рылеева, Оболенского и Александра Бестужева был направлен к лейб-гренадерам Каховский. Он должен был предупредить Сутгофа и Панова о происходящем, подтвердить реальность выступления. И еще одно: основание считать, что лейб-гренадеры получили через Каховского если не приказание, то предложение огромной важности. Но об этом — позже.

Было не менее половины восьмого, когда Петр Бестужев, Каховский, Оболенский и Михаил Бестужев покинули рылевскую квартиру.

В Сенате только что начали при свечах читать манифест Николая, завещание Александра и письма Константина.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

14 декабря император Николай встал около шести часов. Около семи часов явился командующий Гвардейским корпусом генерал Воинов. Поговорив с ним, Николай вышел в залу, где собраны были вчерашним приказом гвардейские генералы и полковые командиры.

Молодой император неплохо владел собой. Но можно себе представить, с какой тревогой всматривался он в освещенные пламенем свечей лица генералов и полковников.

Когда 12 декабря он написал паническое письмо в Таганрог князю Волконскому, то он имел в виду не только тайнственных заговорщиков, скрывающихся где-то за стенами дворца. Он знал, как не любит и не хочет его большинство генералитета.

Утром 14 декабря, еще до встречи с полковыми командирами, он написал короткое письмо своей сестре, герцогине Саксен-Веймарской: «Молитесь Богу за меня, дорогая и добрая Мария! Пожалейте несчастного брата — жертву воли Божией и двух своих братьев! Я удалял от себя эту чашу, пока мог, я молил о том провидение, и я исполнил то, что мое сердце и мой долг мне повелевали. Константин, мой государь, отверг присягу, которую я и вся Россия ему принесли. Я был его подданный: я должен был ему повиноваться. Наш ангел должен быть доволен — воля его исполнена, как ни тяжела, как ни ужасна она для меня. Молитесь, повторяю, Богу за вашего несчастного брата; он нуждается в этом утешении — и пожалейте его!»

Письмо это, написанное человеком, который гордился своим подчеркнутым мужеством и солдатской выдержкой, не свидетельствует о спокойной готовности встретить опасность.

Бенкендорфу, который пришел к нему во время одевания, Николай сказал: «Сегодня вечером, быть может, нас обоих не будет более на свете; но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг».

Для того чтобы думать так, надо было сознавать себя противостоящим некоей грозной силе. Тут мало было знать о заговоре офицеров в небольших чинах и статских литераторов. Для того чтобы ожидать смертельной опасности непосредственно в день вступления на престол, мало было помнить о рассуждениях Ростовцева относительно военных поселений и Кавказского корпуса. Опасность должна была казаться близкой и неотвратимой.

Ужас положения императора был в том, что каждый из генералов и полковников, стоявших перед ним в зале Зимнего дворца, мог оказаться его врагом. Эти люди 27 ноября не дали ему взойти на престол. Милорадович и Воинов заставили

его нарушить волю Александра и присягнуть Константину. Чего можно было ждать от их непосредственных подчиненных? Бенкендорф, Орлов, Сухозанет, Левашов, Геруа... А остальные? Помня о предостережениях Милорадовича, Николай тем не менее не верил, что солдаты могут выступить против него сами по себе. Оппозицию гвардии он воспринимал как нечто единое — штаб-офицеры и генералы играли тут небольшую роль. (И он был прав.)

Николай сначала рассказал генералам и полковникам предысторию междоусобия, затем прочитал завещание Александра и отречение Константина. «Засим, получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привести их к присяге».

Тут же присутствующим вручен был циркуляр:

«Его императорское величество высочайше повелеть изволил г. г. генералам и полковым командирам по учинении присяги на верность и подданство его величеству отправиться первым в старейшие полки своих дивизий и бригад, вторым — к своим полкам.

По принесении знамен и штандартов и по отдавании им чести сделать вторично на караул, и старейшему притом или кто из старших внятно читает, прочесть вслух письмо его императорского высочества государя цесаревича великого князя Константина Павловича к его императорскому величеству Николаю Павловичу и манифест его императорского величества (которые присланы будут); после чего взять на плечо, сделать на молитву и привести полки к присяге, тогда, сделав вторично на караул, опустить знамена и штандарты, а полки распустить.

Генерал-от-кавалерии *Воинов*.

14 декабря 1825

С.-Петербург*.

Генералам, штаб- и обер-офицерам предписывалось быть во дворце после присяги к одиннадцати часам — к молебну и высочайшему выходу. Потом быстро поняли, что далеко не все полки успеют присягнуть, и перенесли съезд на час дня. Но мало кто смог узнать об этой перемене. Офицеры многих полков сразу после присяги бросились во дворец, и это, как мы увидим, имело немалое значение.

Генералы и полковые командиры присягнули во дворце и отправились по своим дивизиям, бригадам и полкам.

Было около восьми часов утра.

Процедура в Сенате и Синоде, начавшаяся в семь часов двадцать минут чтением многочисленных и многословных документов, только что закончилась.

* ОР ГТБ, ф. 380, № 58, л. 9.

После этого — причем отнюдь не сразу — началась присяга в полках.

Первой — не ранее половины девятого — присягнула Конная гвардия. Это было сделано специально — шефом полка был Константин, и присяга конногвардейцев должна была успокоительно подействовать на остальные полки.

О том, когда начали присягать остальные части, можно судить по 1-му Преображенскому батальону, стоявшему рядом с дворцом, так что командирам не пришлось долго до него добираться. «В 9-ть часов утра,— писал потом преображенец Игнатъев,— бригадный командир генерал-майор Шеншин прибыл в казармы 1-го батальона и, потребовав к себе батальонного и ротных командиров, прочел им грамоты и манифест, объявляющий о вступлении его величества на престол. За сим отдано было приказание батальону одеваться и следовать в дворцовый экзерцир-гауз, что и было без промедления исполнено. Туда прибыли к сему времени командующий корпусом генерал-от-кавалерии Воинов и командующий пехотою генерал-лейтенант Бистром 1-й»*.

Таким образом, 1-й батальон преображенцев присягнул около десяти часов. Присяга прошла гладко. Батальону придавали особое значение по его близости ко дворцу, и потому накануне солдатам были розданы деньги и водка сверх положенной. Членов тайного общества в батальоне не было. Попытка Чевкина последствий не имела.

Два первых донесения о присяге — Конной гвардии и преображенцев — несколько успокоили Николая. Тем более что Милорадович снова заверил его, что в городе спокойно.

Было десять часов утра.

Ни новый император, ни его клеветы, напряженно приглядывающиеся к происходящему, не сделали ничего для предотвращения возможного бунта. Они ждали...

В это утро правительственной стороной был предпринят один только практический шаг. Предпринял его министр финансов Канкрин.

«Г. С.-Петербургскому
вице-губернатору.

Весьма нужное. В собственные руки.

Секретно

Старайтесь, чтоб... без большой огласки кабаки, штофные подвалы и магазинны были заперты, по крайней мере с наступлением ночи; в каком-либо случае, что станут насильно отпирать кабаки, выливать вино.

Канкрин

14-го декабря».

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 4.

ШТАБ ВОССТАНИЯ. 8—10 ЧАСОВ УТРА

В начале девятого Оболенский вернулся домой от Рылеева. Он нашел генерала Бистрома 2-го, младшего брата командующего гвардейской пехотой, в беспокойстве «насчет Карла Ивановича». Это странно, ибо волнения в полках еще не начались и оснований для беспокойства как будто не было. Но, очевидно, в доме Бистромов знали немало, а старший брат не скрывал от младшего своего отношения к новому императору и своих надежд на день присяги.

Оболенский снова сел в седло и стал объезжать полки.

Прежде всего он поскакал в Гвардейский экипаж, ибо была еще надежда, что моряки начнут действовать по плану, несмотря на отсутствие Якубовича. Но присяга в экипаже еще не начиналась. Тогда он двинулся к измайловцам. Там было тихо — готовились к присяге. Он побывал у егерей и в Московском полку. Но Оболенский не только выяснял положение — он искал Бистрома, он везде спрашивал, «был ли генерал в казармах».

В то время, когда начальник штаба восстания подъехал к Московскому полку, Михаил Бестужев, Щепин ходили по ротам и призывали солдат не нарушать данную присягу. Солдаты слушали сочувственно...

На следствии, перечисляя пункты своего утреннего маршрута, Оболенский не упомянул свое посещение Рылеева около семи часов. (Он сказал об этом значительно позже — в связи с Каховским.) Скрыл он и свой второй заезд в штаб восстания. Это понятно — он хотел представить свои поездки как выполнение служебных обязанностей старшего адъютанта командования гвардейской пехотой. Заезды к Рылееву обнаруживали истинный смысл его действий. И мы не узнали бы об этой второй встрече в доме Российско-Американской компании, если бы о ней не сообщил Булатов.

По хронометрии получается, что Оболенский поскакал к Рылееву прямо от московских казарм. Очевидно, он привез обнадеживающие сведения. Во всяком случае, Александр Бестужев тут же отправился к москвичам.

Сразу после его ухода появился Пущин, а за ним Булатов.

Было около девяти часов.

Полковник Булатов выехал из дому около восьми часов. Прежде всего он поехал к Якубовичу. Якубович вернулся от Бестужева и находился дома. «Он встречает меня в дверях с чашкою кофею; мы поговорили о предстоящем нашем деле. И что же я слышу от него? «Вообразите себе, что они со мной сделали,— говорит Якубович,— обещали, что я буду начальником батальона экипажа, я еду туда и что же? Меня господа лейтенанты заставляют нести хоругвий, вот прекрас-

но! Я сам старее их и столько имею гордости, что не хочу им повиноваться».

Рассказ об обидах, которые нанесли Якубовичу в экипаже, был совершенной ложью, предназначенной доверчивому Булатову. Мы знаем из нескольких показаний, что «храброго кавказца» с полным уважением приняли накануне молодые моряки и на прощание он обещал показать им пример, как надо стоять под пулями. А в данном случае он говорил то, что хотел от него услышать Булатов. И Булатов воспринял мистификацию Якубовича как должное: «Ответ мой был ему, что мы будем обмануты, и потому подтвердили еще слово: один без другого не выезжать и не приступать к делу».

На этом Булатов оставил Якубовича допивать кофий...

От Якубовича Булатов заехал в Главный штаб. «Отсюда я поехал к Рылееву и у него в первый раз увидел Оболенского. Он ужасно обрадовался моему приходу, и мы, увидясь первый раз, поздоровались, пожали друг другу руки. Я спросил их: «Что же, господа, как наши дела?» — «Все хорошо», — отвечали мне; ну, я вам опять повторю, друзья мои: «Если войска будет мало, я себя марать не стану и не выведу к вам». Пущин спросил: «Да много ли вам надобно?» — «Столько, как обещивал Рылеев». Я опять спросил об артиллерии и кавалерии, но не получил ответа; в это время вызвал кто-то Рылеева...»

Что могли они сказать, Булатову о количестве войск, когда по договоренности с ним Якубович не только разрушил основу плана, но и поставил под сомнение выход Измайловского полка — по численности самой крупной силы из тех, на кого твердо рассчитывали. С кавалерией дело было плохо — И. Пущин сообщил перед приходом Булатова, что его брат отказывается выводить эскадрон. Что будет в артиллерии, они еще не знали. А Булатов, сам отнюдь не способствовавший привлечению живой силы, отказавшийся выводить лейб-гренадер и согласившийся встретить и возглавить их по дороге на площадь, Булатов, участник «заговора внутри заговора», поддержавший Якубовича в его сепаратистских действиях, требовал под свою команду все роды войск. Это был фактический отказ от взятых им на себя накануне обязательств.

Он хитрил с Рылеевым, Оболенским и Пуциным, он не сказал им, требуя у них отчета, что полчаса назад опять договорился с Якубовичем действовать только с учетом интересов друг друга — «один без другого не выезжать и не приступать к делу». Булатов до самого конца старался представить себя и Якубовича жертвами обмана со стороны Трубецкого и Рылеева. А все было наоборот.

Поставив свои невыполнимые условия, Булатов уехал.

Вслед за ним уехал Оболенский.

А к Рылееву второй раз за это утро спустился Штейнгель — прочитать написанный им манифест. «...Я прочитал им манифест, мною сочиненный, и только что я его дочитал, как взшел молодой Ростовцев и сказал, что большая часть гвардии уже присягнула».

Ростовцев продолжал свою игру, основанную на дезинформации. 12-го числа он обманывал Николая, утром 14-го он пытался обмануть лидеров тайного общества. К девяти часам присягнула только Конная гвардия, что не имело решающего значения.

Ростовцев ушел, а Штейнгель поднялся к себе и разорвал свой умеренный манифест, смысл которого был в том, что раз «оба великие князя не хотят быть отцами народа, то осталось ему самому избрать себе правителя, и что потому Сенат назначает до собрания депутатов Временное правительство...». Манифест этот подразумевал — в полном соответствии с действиями Ростовцева — добровольный отказ Николая от престола, что вкупе с отказом Константина создавало ситуацию, в которой решение мирно переходило в Сенат. Для плана, исходной точкой которого был арест Николая, принявшего престол, манифест никак не годился.

Линии Штейнгеля и Ростовцева постоянно пересекаются фатальным образом: стоило Штейнгелю прочитать манифест, ради которого Ростовцев фактически и старался,— как подпоручик немедленно появляется.

Неизвестно, что ответили Ростовцеву Рылеев и Пущин. Ни тот ни другой даже не упомянули на следствии об этом многозначительном эпизоде...

Еще при Штейнгеле приехал вызванный запиской Вильгельм Кюхельбекер. Его послали на Сенатскую площадь ждать войска и при их появлении кричать: «Ура, Константин!»

И тут принесли записку от Трубецкого. Князь Сергей Петрович вызывал Рылеева к себе. Он получил известие о присяге полковых командиров во дворце и желал знать, что происходит в полках.

Рылеев послал за извозчиком.

Было начало десятого. Пришел Николай Бестужев и, как было условлено, отправился в экипаж. Ему, разумеется, сообщали об отказе Якубовича.

Ушел Оболенский.

Рылеев и Пущин поехали к Трубецкому.

«14-го числа в 10-м часу был у меня Рылеев с Пущинным (статским)... я им дал прочесть манифест, за которым я посылал в Сенат, и после того они уехали; выходя, Пущин мне сказал: «Однако ж, если что будет, то вы к нам приедете?» Я, признаюсь, не имел духу просто сказать «нет» и сказал: «Ничего не может быть, что ж может быть, если выйдет какая рота или две?» Он отвечал: «Мы на вас надеемся»...

Это была горькая и страшная сцена. Горькая и страшная прежде всего для самого Трубецкого. Она, разумеется, не исчерпывалась чтением манифеста и обменом несколькими репликами. Трубецкой сообщил приехавшим, что присягнула еще только Конная гвардия, и потребовал — как диктатор — сведений о деятельности в полках.

Ничего утешительного он не услышал. Рылеев и Пущин могли рассказать ему о предательстве Якубовича, самоустранении Булатова. Еще ничего не произошло. Еще не присягал ни один из намеченных к восстанию полков. Все еще могло быть — если бы помощники диктатора, профессиональные храбрецы Якубович и Булатов, выполнили свои обязательства перед обществом.

В десятом часу диктатор Трубецкой услышал, что главные исполнители его плана отказываются этот план выполнять. Что они фактически устранились. Он понял, что заменить их некем. Он сам не обладал импозантностью и бешеным красноречием Якубовича, не было за ним, давно оставившим строевую службу, той солдатской веры и привязанности, которую питали к Булатову лейб-гренадеры, предназначенные для завершения и закрепления захвата власти в столице.

Полки еще могли выступить. Но Трубецкой увидел — с большей ясностью, чем кто бы то ни было, — что задуманная им стройная боевая операция стремительно сдвигается в сторону хаотического мятежа. Ведь даже первый, согласованный с Батенковым, вариант плана — движения полков друг за другом должно было проходить под четким руководством.

Рылеев, с его идеей революционной импровизации, не мог ощущать трагичности происходящего с такой остротой, как Трубецкой.

Ни один из руководителей Северного общества не вел такой сложной игры со следствием, как диктатор. Поэтому к его показаниям надо относиться с осторожностью. Даже не к фактической стороне, а к тому представлению, которое Трубецкой настойчиво создает о себе самом. Внимательная исследовательница судьбы диктатора В. П. Павлова тщательно проанализировала этот аспект поведения Трубецкого на следствии и показала, что робкий, колеблющийся, старающийся уклониться от деятельности перед восстанием диктатор есть прежде всего создание самого Трубецкого*. Ему удалось убедить даже такого проницательного наблюдателя, как Боровков. На самом же деле мы видели, с какой энергией и твердостью готовил восстание ветеран тайных обществ. Все его качества остались при нем и утром 14 декабря. Но страшно и, на его взгляд, непоправимо изменилась ситуация.

* См. вступительную статью в кн.: *Трубецкой С. П.*: Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983.

Чтобы понять, что произошло с Трубецким в эти утренние часы, надо вспомнить и то огромное напряжение, которое выпало на его долю в последние несколько суток. 12 и 13 декабря были сплошным вихрем встреч с самыми разными людьми — от товарищей по заговору до высоких сановников и генералов, вихрем совещаний, споров, поисков необходимых союзников. Он не спал ночь на 14 декабря. Он ощущал на себе ответственность за все дело, за всех его участников. Он понимал, что завершается целая эпоха, у истоков которой он стоял со своими сподвижниками и друзьями.

В нем не было романтической гибкости Рылеева и спокойной несокрушимости Пущина.

В отличие от Рылеева и Пущина, полковник Трубецкой сказал себе, что он проиграл это сражение.

Нет оснований доверять его показаниям на следствии, будто все утро он только и мечтал, чтобы восстание не состоялось. Это была игра. Он еще готов был возглавить войска, если бы они вышли одновременно и вовремя — даже без занятия дворца. Как мы увидим — он ждал развития событий.

Но бесспорно — сообщение Рылеева и Пущина что-то надломило в душе смертельно уставшего от напряжения Трубецкого.

Об этой сцене в доме на Английской набережной мы знаем только из двух кратких, повторяющих друг друга показаний князя Сергея Петровича. Ни Пущин, ни Рылеев не сказали об этом почти ничего. Пущин в своих показаниях об утра 14 декабря упрямо пропускал этот эпизод. (На прямой вопрос следствия он подтвердил, что Трубецкой говорил утром о нецелесообразности начинать с малым количеством войск. И все.) Трубецкой сказал только то, что соответствовало тому облику «антидиктатора», который он выстраивал перед следствием. О существовании разговора — ни слова. Они не хотели открывать следствию свои внутренние дела такого глубокого и мучительного уровня...

Было около половины десятого. Рылеев с Пущиным вышли от Трубецкого.

На Сенатской площади они встретили Одоевского, который отвел сменившийся караул в казармы и шел домой переодеться. Жил он на Исаакиевской площади.

Скорее всего, тогда же Пущин и Рылеев встретили прапорщика конной артиллерии князя Александра Гагарина. Он сообщил им о попытке нескольких офицеров-артиллеристов поднять солдат. Очевидно, Гагарин выполнял функции связного, иначе его появление у Сената в этот час непонятно. Он должен был ждать присяги в части.

Любопытно, что в показаниях Пущина данного эпизода нет, хотя он зафиксирован с его слов в «Алфавите декабристов», в справке о Гагарине. Это свидетельствует, как и ряд

других фактов, о редакции следственных материалов после окончания работы комиссии и уничтожении части первичных протоколов, что подтверждается данными о сожжении черновых записей показаний декабристов*.

Рылеев и Пущин поехали к московским казармам — ворота были заперты, внутрь попасть в штатской одежде было невозможно. Поехали мимо Измайловского полка к Гвардейскому экипажу. Заехали к младшему Пущину, убедились, что он болен и эскадрон выводить не будет.

В своих показаниях Пущин дважды говорит, что утром они ездили с Рылеевым на Дворцовую площадь и долго ходили по бульвару — Адмиралтейскому, надо полагать. Они еще надеялись на появление Гвардейского экипажа перед дворцом. Но войска не шли. Рылеев и Пущин вернулись на рылеевскую квартиру. Оставалось только ждать. Теперь все зависело от тех, кто находился в полках...

Оболенский на следствии показал, что последним пунктом его маршрута был 2-й батальон Преображенского полка, стоявший возле Таврического сада. Оболенский поехал в этот район после разговора с Булатовым, потому что здесь, рядом с преображенцами, стояла гвардейская артиллерия. Несколько офицеров конной артиллерии обещали ему и Пущину свое содействие.

Возле Таврического сада Оболенский встретил идущего пешком знакомого офицера, который сказал, что в конной артиллерии волнения. Оболенский бросился туда — это было первое обнадеживающее известие. Артиллеристы и в самом деле волновались. Еще до присяги граф Иван Коновницын, младший брат Петра Коновницына, офицера Гвардейского генерального штаба, собрал группу офицеров, которые выразили командованию свое недоверие и взбудоражили солдат. Но старшие офицеры повели себя решительно, Коновницын и его товарищи были арестованы и заперты в солдатских казармах.

Штейнгель показал, что, спустившись около девяти часов утра к Рылееву, он застал у него Пущина, который рассказывал Рылееву, что к нему прибежали два офицера конной артиллерии, которых начальник арестовал, но они выломали в комнате дверь и ушли, и что он им сказал, что без людей в них надобности нет, и отослал их назад, к своему месту, дабы напрасно не погибли.

Когда Оболенский подъехал к казармам конной артиллерии, там уже все было кончено. Он спросил у капитана Пистолькорса, одного из тех, кто подавил попытку мятежа, о Ко-

* См Движение декабристов (Именной указатель к документам фондов и коллекций Центрального государственного военно-исторического архива СССР), вып 1 М, 1975, с 44

новницыне. Пистолькорс ответил, что Коновницын куда-то ускакал (как мы знаем — к Пушкину). Оболенский хотел войти в казармы, но Пистолькорс сказал, что для этого нужно разрешение находящегося здесь командующего артиллерией генерала Сухозанета. Сухозанет писал потом в воспоминаниях: «Замечательно, что в это время приехал и хотел войти адъютант генерала Бистрома князь Оболенский, но когда ему сказали, что без доклада генералу Сухозанету его не впустят, то он ускакал стремглав».

Оболенский торопился в Московский полк, в котором, по его расчетам, должно уже было что-то решиться. Он подъехал к казармам и узнал, что некоторые роты «отказались от присяги и, ранив генералов Шеншина и Фредерикса, пошли на Сенатскую площадь».

Был одиннадцатый час утра 14 декабря 1825 года.

МОСКОВСКИЙ ПОЛК

Михаил Бестужев и Щепин-Ростовский стали поднимать солдат около девяти часов. Они начали с 6-й роты, которой командовал Щепин, потом пошли в 3-ю роту Бестужева. То, что они говорили, было потом с небольшими вариантами восстановлено полковым следствием путем опроса солдат: «Ребята, вы присягали государю императору Константину Павловичу, крест и евангелие целовали, а теперь будем присягать Николаю Павловичу?! Вы, ребята, знаете службу и свой долг!» Через некоторое время Щепин вернулся уже один в свою роту и сказал: «Ребята, все обман! Нас заставляют присягать насильно. Государь Константин Павлович не отказался от престола, а в цепях находится; его высочество шеф полка (великий князь Михаил.— Я. Г.) задержан за четыре станции и тоже в цепях, его не пускают сюда».

И солдаты верили. Они поверили потому, что все это было вполне возможно. Они не сомневались в том, что Николай Павлович может, чтобы захватить трон, заковать в цепи своих братьев. Они верили — вот что замечательно. Каковы же были их представления о политических нравах империи и личных качествах претендента на престол?

Офицеры полка — штабс-капитаны Волков и Дашкевич, поручик Брое и подпоручик князь Цицианов,— обещавшие содействие, активной агитации не вели, но самим своим присутствием как бы подтверждали сказанное, во всяком случае не возражали.

Когда в десятом часу приехал в полк Александр Бестужев, солдаты были возбуждены и наэлектризованы. Сразу после Александра Бестужева приехал от лейб-гренадер Каховский, сообщил, что гренадеры готовы действовать, и сказал: «Гос-

пода, не погубите лейб-гренадер нерешительностью!» И ушел в Гвардейский экипаж.

Александр Бестужев в своем парадном адъютантском мундире и сверкающих гусарских (не по форме) сапогах пошел в сопровождении офицеров-москвитин по ротам.

Александр Бестужев, известный тогда уже литератор и решительный драгунский офицер, не зря дружил с Якубовичем. В нем не было совершенно аморального авантюризма «храброго кавказца», но романтическая бравада и кавалерийская лихость были ему вполне свойственны. Федор Глинка показал о нем: «Я ходил задумавшись, а он рыцарским шагом, и, встретясь, говорил мне: «Воевать! Воевать!» Я всегда отвечал: «Полно рыцарствовать! Живите смиреннее!» — и впоследствии всегда почти прослышивалось, что где-нибудь была дуэль, и он был секундантом или участником».

Он любил сильную фразу. Незадолго до восстания он, входя в кабинет Рылеева и перешагивая порог, сказал: «Переступаю через Рубикон, а Рубикон значит — руби кон, то есть все, что попадается!» На следствии ему пришлось объяснять, что он не имел в виду истребление императорского семейства.

Но, в отличие от Якубовича, он был идеологически готов к революционному действию. Он готовил себя к подвигу не только в сфере романтических мечтаний. Когда в канун выступления он сказал: «Или мы ляжем на месте, или принудим Сенат подписать конституцию» — то это была программа действия, а не эффектная формула.

Вклад Александра Бестужева в подготовку восстания явно скромнее вклада Рылеева, Трубецкого, Оболенского, Каховского. Он, по его собственным словам, готовил себя к «военному делу», к вооруженному участию в мятеже. И 14 декабря он доказал, что его декларации — не пустые слова.

Придя в казармы Московского полка и оценив обстановку, Александр Бестужев начал игру ва-банк. «Говорил сильно — меня слушали жадно» — так он определил свои отношения с москвитинами.

Полковое следствие опросом солдат выяснило, что Александр Бестужев говорил в 6-й роте, «что он приехал от государя Константина Павловича секретным образом, дабы предупредить полки, что их обманывают; что Константин Павлович жалуется их пятнадцатилетней службою, любит Московский полк и прибавит жалование... Щепин-Ростовский, оба Бестужевых, Волков и Брое пошли в 3-ю роту; при входе в оную присоединился к ним подпоручик князь Цицианов и... капитан Лашкевич; вошедши в покои роты, оба Бестужева и Щепин-Ростовский возмущали нижних чинов теми же словами и потом ушли в 5-ю роту, где первых трое говорили то же нижним чинам, что и в прочих ротам... из 5-й роты Ще-

пин-Ростовский и оба Бестужевы с поручиком Броеке были во 2-й фузилерной роте и тоже возмущали нижних чинов не присягать, внушая при том им, кто не будет держаться прежней присяги, то тех колоть. Причем Александр Бестужев фельдфебелю Сергузееву велел приказать людям взять с собою боевые патроны. Потом оба Бестужевых и Щепин-Ростовский были опять в 3-й фузилерной роте и подстрекали нижних чинов к уклонению от присяги; между прочим Александр Бестужев сказал людям, что покойного государя отравили, и Михайло Бестужев велел взять с собою боевые патроны».

Агитация, как видим, велась страстно, напористо, жестоко — «кто не будет держаться прежней присяги, то тех колоть!».

Офицеры готовились к боевым действиям, а не к демонстрации. Приказав солдатам брать боевые патроны, они вооружались и сами. Щепин послал фельдфебеля своей роты на квартиру, откуда тот принес ему пистолет и боевую (в отличие от форменной шпаги) черкесскую саблю. Он велел фельдфебелю тут же зарядить пистолет ружейной пулей, а когда та оказалась велика, то нарезать из нее картечей.

В это время в казармы примчались из Гвардейского экипажа Петр Бестужев и Палицын для выяснения обстановки и оповещения моряков. Щепин велел передать, что полк выступает.

3-я и 6-я роты выбегали во двор для построения.

Пришло приказание офицерам собираться к полковому командиру — так делалось во всех полках перед присягой. Щепин крикнул посланному, что «он не хочет знать генерала!». Он был яростно возбужден еще с вечера. Но это возбуждение и неистовый темперамент сослужили в эти минуты хорошую службу восстанию.

Когда роты в полном составе вышли из казармы, «Щепин и Михайло Бестужев приказали зарядить ружья и первый с саблей, а последний с пистолетом в руках, закричавши «ура», выбежали с ротами на большой двор, причем нижние чины имели ружья на руку, а впереди их барабанщик бил тревогу. Подпоручик Веригин, собиравший в это время офицеров к полковому командиру, был окружен ими на большом дворе, коему Щепин грозя саблей, а Александр Бестужев пистолетом, принуждали его вынуть шпагу и кричать с ними «ура» Константину...».

На крики и барабанный гром из казарм выбегали солдаты других рот и пристраивались к ротам Щепина и Бестужева. Первые ряды стали выбегать с полкового двора на Фонтанку. Но тут оказалось, что забыли взять знамя. Вернулись за знаменем. При этом произошла путаница, солдат, выносивших знамя, приняли за сторонников Николая, началась рукопаш-

ная, в которой Щепин, рубя на стороны, пробился к знамени и вынес его в голову колонны. Солдат, которого Щепин ранил, крикнул ему: «Ваше сиятельство! Я за императора Константина, и хотя вы меня ранили, я иду умереть с вами!»

Перед тем как началась схватка за знамя, к Щепину подошел полковник Московского полка Неелов и сказал: «Любезный князь, я всегда готов был пролить кровь за императора Константина и готов сейчас стать в ваши ряды прапорщиком!» Это был один из тех колеблющихся, которых много было в этот день и поведение которых определялось конъюнктурой. Быть может, полковник Неелов пошел бы с восставшей частью полка на площадь и сыграл свою роль в событиях дня, если бы не началась схватка за знамя, задержавшая выступление рот с полкового двора. А эта задержка привела к инцидентам, которые не могли не смутить полковника Неелова, оказавшегося в результате по другую сторону черты.

Когда восставшие роты во второй раз двинулись на набережную, им наперерез бросились подоспевшие командир бригады генерал Шеншин, командир полка генерал Фредерикс и командир батальона полковник Хвоцинский. Увидев Щепина, размахивающего саблей, Фредерикс кинулся к нему с криком: «Что вы делаете?!» Александр Бестужев «наставил ему пистолет в лицо, повторяя: «Убьют вас, сударь!» Солдаты закричали в рядах: «Отойди, убьем!» Фредерикс шарахнулся, но Щепин-Ростовский рубанул его саблей по голове, и командир полка упал. Затем князь сшиб с ног и бригадного генерала. Полковник Хвоцинский в это время пытался уговорить Бестужева. Тут была несколько иная ситуация — полковник Хвоцинский был в прошлом членом тайного общества «Союз благоденствия». Очевидно, Александр Бестужев это знал, ибо он не стал угрожать полковнику, а вместе с Михаилом предложил ему возглавить восставший полк. (Из этого эпизода можно понять, как остро ощущали декабристы необходимость в «густых эполетах», в штаб-офицерах, — в сутолоке схватки они предлагают Хвоцинскому первое место в надежде, что полк поведет полковник!) Но Хвоцинский так громко возмущался их действиями, что привлек внимание Щепина, и тот трижды ударил его саблей.

При этой сцене присутствовал еще один генерал — начальник штаба гвардии Нейдгардт. Но он стоял в стороне. На следствии Щепин сказал, что он не тронул Нейдгардта, так как тот «не вынимал шпаги». И эта нейтральная позиция начальника штаба гвардии — многозначительна...

Теперь путь свободен. Около семисот готовых на все солдат во главе с тремя готовыми на все офицерами двинулись с заряженными ружьями по Гороховой к Сенату. Щепин обернулся к Александру Бестужеву и крикнул: «К черту конституцию!»

Роты шли беглым шагом с криком: «Ура, Константин!» Барабаны били тревогу.

С 1762 года ничего подобного не происходило в Петербурге.

Восстание началось.

Но началось оно совсем не так, как планировалось. Первая восставшая часть не шла на дворец, чтобы одним внезапным ударом нейтрализовать власть, а вышла к Сенату, оповестив тем самым противника о мятеже и дав ему возможность собрать силы.

Московцы и должны были идти к Сенату. Но — после броска Гвардейского экипажа на дворец или одновременно с ним. А они выступили первыми.

Задуманная Трубецким, одобренная Рылеевым и Оболенским четкая боевая операция закончилась, не начавшись. Ее сорвали Якубович и Булатов.

Начиналась революционная импровизация, безусловно грозная для власти, но с гораздо меньшими шансами на успех.

Когда Московский полк шел по Гороховой мимо квартиры Якубовича, он вышел на улицу и, подняв на острие сабли шляпу, пошел впереди полка.

Было около половины одиннадцатого.

ВОКРУГ СЕНАТА. 10—11 ЧАСОВ

В барабанном громе восставшие московцы стремительно прошли по Гороховой, заставляя встречных — офицеров и статских кричать: «Ура, Константин!»

Движение мятежных рот к Сенату было событием эпохальным не только по своему тактическому конкретному смыслу, но и по смыслу общеисторическому. Впервые за последние шестьдесят с лишним лет гвардейская масса снова активно вмешалась в политическую жизнь страны, пытаясь диктовать самодержавию свою волю. Переворот 1801 года был явлением совершенно иного порядка — акцией сильных персон, договорившихся с великими князьями. Это был дворцовый переворот в узком смысле слова. Здесь же мы имеем дело — фактически — с низовым движением. Солдаты Московского и других восставших полков потому так легко поверили агитации декабристов, что ее содержание полностью отвечало их представлениям и желаниям. Московцев вывели не просто именем Константина как такового, но — идеей доброго царя, защитника справедливости. Декабристы понимали эту утопическую сторону русского народного сознания и взывали прежде всего к ней. Мечта о социальной

справедливости, воплощенная в фигуре справедливого царя, обещавшего сбавить срок службы или готового соблюсти добрую волю умершего — а потому тоже перешедшего в сферу утопической справедливости — императора Александра, — вот что прежде всего вело вооруженных гвардейцев к Сенату, этому, по народному представлению, гаранту справедливости и законности.

Роты пересекли Исаакиевскую площадь, обогнули заборы, опоясывающие то место, где возводился собор, и вышли к бронзовому Петру. Бестужевы и Щепин начали строить каре возле монумента — ближе к Сенату. Они действовали точно по плану — закрепили за тайным обществом подходы к этому зданию. С той же целью была выслана стрелковая цепь в сторону Адмиралтейского бульвара, отрезавшая Сенат от Зимнего дворца.

Маленький караул финляндцев у входа в здание никакой роли не играл. В случае решительных действий он был бы или смят, или присоединился к восставшим.

Пока трое офицеров строили каре — особенно трудно рассчитать и построить неполные роты, — Якубович с площади ушел...

Служба связи у руководителей общества была поставлена лучше, чем мы себе обычно представляем. Наша информация, как правило, зависит от того, насколько успешно следствие вытягивало сведения у арестованных декабристов. Там, где подследственные упорствовали, там и мы осведомлены далеко не достаточно. (И непонятно — жалеть об этом или же этому радоваться!) Офицеры Генерального штаба Коновницын, Искрицкий, Палицын на следствии пытались представить свои утренние разъезды по городу как результат любопытства, не имеющего никакого практического смысла. На самом же деле сопоставление различных данных показывает, что они интенсивно выполняли свои функции, связывая полки, помогая координировать их действия и оповещая Штаб восстания.

Кюхельбекер показал: «Имена их (конноартиллеристов Вилламова и Малиновского.— Я. Г.) услышал я впервые от Пущина, когда 14 декабря поутру во второй раз зашел к Рылееву. Рассказывая мне, что происходит в Гвардейском экипаже, в Московском полку и так далее, он, Пущин, между прочим упомянул и об Конной артиллерии и о том, что Вилламов и Малиновский не хотели присягать...»

В одиннадцатом часу в штабе восстания ясно представляли себе, что делается в войсках. И это, конечно, был результат деятельности офицеров связи.

Рылеев и Пущин на следствии говорили о чрезвычайно важных утренних часах скупно, почти не называя фамилий тех, с кем они в эти часы виделись. Рылеева и допрашивали

главным образом о другом, а Пущин умело создавал картину пассивного ожидания, блуждания по улицам, растерянности и сомнения в возможности начать восстание. На самом же деле в эти часы шла энергичная, целенаправленная деятельность.

Петр Коновницын показал на следствии: «13 декабря Оболенский, Бестужев и Рылеев сообщили мне о задуманном ими возмущении и поручили наблюдать за движениями лейб-гренадерского полка, а Искрицкому — за полками, расположенными вдоль Фонтанки. Вследствие сего на другой день поутру заехал я в конноартиллерийские казармы, где Лукин мне сказал, что офицеры согласились отдать свои сабли, чтобы не быть принуждаемыми действовать против мятежников, которых они полагали защитниками прежде данной присяги; потом, проезжая мимо Кавалергардского полка, встретил я Муравьева (Александр Муравьев, младший брат Никиты Муравьева, член общества.— Я. Г.), который мне сказал, что полк их примет присягу, но что стрелять по мятежникам они не будут; наконец, поехал я в лейб-гренадерский полк к Сутгофу, где видел я Панова и Кожевникова, мне до сего знакомых, они просили меня узнать, что делается в городе...»

Потом Коновницын еще дважды ездил к лейб-гренадерам.

Граф Коновницын был сыном знаменитого генерала 1812 года, и следователи обращались с ним сравнительно мягко. Потому он, конечно, о многом умолчал. Но даже из его неполных показаний вырисовывается картина напряженной связанной работы.

Искрицкий поутру был в Измайловском полку, потом в Московском, именно в тех, что расположены в районе Фонтанки.

Около десяти часов, не дождавшись никого на площади, Кюхельбекер пошел в их общую с Одоевским квартиру на Исаакиевской площади. Одоевский только что вернулся после встречи с Рылеевым и Пуциным. Он и Кюхельбекер решили ехать к Рылееву. Одоевский взял с собой пистолет, а другой дал Кюхельбекеру.

Когда они приехали, Рылеев и Пущин были уже дома, и к ним пришел прапорщик Палицын, известивший их о присяге в Измайловском полку. Показательно, что на вопрос Одоевского: «Какие полки еще не присягнули?» — Рылеев ответил совершенно точно: «Московский, Финляндский, Экипаж, Лейб-гренадерский...»

Обсудив положение, Рылеев и Пущин послали Кюхельбекера в Гвардейский экипаж, а Одоевского — в Финляндский полк, для связи. Палицын должен был посетить лейб-гренадер.

В эти часы практическое руководство целиком сосредото-

чилось в руках Рылеева и Пуцина, которые держались вместе, ибо им предстояло в случае успеха вдвоем вести переговоры с Сенатом.

Они сейчас делали все возможное, чтобы обеспечить одновременность выступления, чтоб хоть как-нибудь компенсировать страшный урон, нанесенный Якубовичем. Рылеев и Пуцин верили, что выход первых рот взорвет ситуацию и послужит запалом для общего движения гвардии...

Революционную концепцию Рылеева можно назвать концепцией снежной лавины — когда сорвавшаяся с вершины глыба льда нарушает общее равновесие и возникает неостановимое движение гигантских снежных масс.

В отличие от Трубецкого, между десятью и одиннадцатью часами утра 14 декабря Рылеев, Пуцин и Оболенский были полны нервной надежды — все еще могло произойти.

Бешеный революционный темперамент и агитационное искусство Рылеева возбуждали молодых офицеров, соприкасавшихся с ним в это утро.

Одоевский, измученный после суточного дежурства во дворце, не спавший ночь, бодро мчался теперь к финляндцам. Выйдя от Рылеева, он пошел пешком, так как извозчик был отпущен, через Исаакиевскую площадь к Неве, к наплавному мосту, — Финляндский полк стоял по ту сторону Невы. У своего дома он увидел подъезжающего корнета-конногвардейца Ринкевича, которого он недавно принял в тайное общество. Тот сменился с полкового караула и спешил за инструкциями. Мы не знаем, что за инструкции дал Одоевский Ринкевичу. Знаем только, что он взял у корнета сани и дальше поехал на них. Уже на Васильевском острове Одоевский встретил Палицына, с которым недавно виделся у Рылеева. Очевидно, Палицын проезжал мимо Финляндского полка и выяснил, что там все тихо, ибо он отговорил Одоевского туда ехать, а пригласил его с собой к лейб-гренадерам. Одоевский согласился и пересел в сани Палицына...

Было около одиннадцати часов.

В это время в рылеевской квартире что-то произошло. Есть основания предполагать, что к Рылееву примчался Искрицкий, побывавший в московских казармах сразу после выхода восставших рот. Во всяком случае, около одиннадцати часов Рылеев и Пуцин поспешили к Сенату.

На Исаакиевской площади, возле Синего моста, они встретили Якубовича, у которого были свои замыслы. Неизвестно, посвятил ли он в них Рылеева и Пуцина.

Они бросились дальше и, обогнув строящийся собор, увидели внушительное каре москочцев.

Оболенский или уже был в каре, или пришел тотчас.

Не хватало Трубецкого и Булатова.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 11—12 ЧАСОВ

Великий князь Михаил Павлович приехал в Петербург около девяти часов утра. Встретивший его у Нарвской заставы Перовский передал приказание нового императора спешить во дворец. Туда прибыли к половине десятого.

Николай хорошо помнил мрачные прогнозы Михаила. «Ну, ты видишь, что все идет благополучно,— сказал он при встрече,— войска присягают, и нет никаких беспорядков». — «Дай Бог,— отвечал Михаил,— но день еще не кончился».

Первым известил императора о начале тревожных происшествий генерал Сухозанет, приехавший во дворец из казарм конной артиллерии. (Нам придется еще обращаться к воспоминаниям Сухозанета, и потому надо сказать, что воспоминания эти, отличающиеся напыщенным хвастовством, доходящим до прямой глупости, тем не менее довольно точно передают фактическую сторону дела.) «Государь вышел,— рассказывал Сухозанет,— с лицом спокойно-серiousным, и когда я вкратце рассказал, что нарушенный порядок восстановлен, что виновные арестованы и сабли их отосланы к коменданту, то государь сказал: «Возвратите им сабли — я не хочу знать, кто они», — и, возвысив голос, грозным тоном добавил: «Ну ты мне отвечаешь за все головою». Я возвратился в конную артиллерию...»

В этот момент Николай еще не столько мог, сколько хотел надеяться, что замешательство в конной артиллерии — естественное следствие путаницы с присягами, и не более того. Ему смертельно не хотелось осознавать, что обширный заговор, о котором его известил Дибич и на который намекал Ростовцев, начинает обнаруживать себя в действии. Его приказ возвратить сабли артиллеристам был попыткой убедить себя и Сухозанета в случайности происшедшего.

Однако он вызвал Михаила Павловича, успевшего переодеться в артиллерийский мундир — тот был с рождения шефом гвардейской артиллерии, — и послал его вслед за Сухозанетом: удостоверить артиллеристов в законности присяги.

Но с десяти часов, с момента приезда Сухозанета, Николай напряженно ждал страшных вестей. И они не замедлили явиться.

Уцелевший при избиении генералов в Московском полку Нейдгардт, как только мятежные роты выбежали со двора, поспешил во дворец.

Николай вспоминал об этом роковом моменте:

«Спустя несколько минут после сего (отъезда к артиллеристам Михаила Павловича.— Я. Г.) явился ко мне генерал-майор Нейдгардт, начальник штаба Гвардейского корпуса, и, взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:

— Ваше величество! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, а мятежники идут к Сенату; я едва их обогнал, чтоб донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка и Конной гвардии».

Сам по себе текст не может передать колорита этой встречи и разговора. Слова Николая о Нейдгардте — «совершенно в расстройстве» — слабая тень того, как должен был выглядеть начальник штаба, на глазах которого четверть часа назад рубили двух генералов и полковника, а сам он чудом избежал этой участи.

Особенность психологического быта представителей верхнего слоя Российской империи состояла в том, что они сознавали вулканичность почвы, по которой ходили ежедневно. Они знали и помнили, что против постоянно раздраженного крестьянства у них есть одна защита — солдаты. А против солдат, ежели они выйдут из повиновения, никакой защиты нет. Слабость военно-бюрократической диктатуры — в ограниченности и примитивности опоры, в отсутствии свободы маневра. После волнений в Семеновском полку не единожды и не одно генеральское сердце обрывалось при мысли, что поддержки семеновцев сочувствующие им преображенцы и измайловцы — и противопоставить им было бы нечего. Гвардия не пошла бы против «коренных полков». А первое следствие выхода гвардии из-под контроля — избиение ненавистных начальников...

Вот именно это и начиналось.

Николай был куда более осведомлен и ориентирован в ситуации, чем Нейдгардт, и потому ужас его был глубже и дальновиднее. «Меня весть сия поразила, как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом ослушании действия одного сомнения, которого всегда опасался, но, зная о существовании заговора, узнал в сем первое его доказательство».

Надо отдать должное Николаю: он сумел взять себя в руки и отдать приказание, которые предложил ему Нейдгардт, — привести в боевую готовность те две части, которые к этому времени присягнули, — преображенцев и конногвардейцев. А владеть собой ему было нелегко: он в эти минуты не знал ни масштаба, ни непосредственной цели заговора. Он мог ожидать массового неповиновения, резни. Перед ним конечно же встали апокалиптические картины, изображенные Ростовцевым, — империя в огне, крови, развалинах...

Он послал флигель-адъютанта Бибикова (друга Трубецкого, женатого на сестре Сергея Муравьева-Апостола) сказать, чтоб приготовили коня. А сам направился к главному караулу. По дороге он встретил генерала Апраксина, командира Кавалергардского полка, и приказал выводить полк к Сенат-

ской площади, — кавалергарды только что присягнули. «На лестнице встретил я Воинова в совершенном расстройстве. Я строго припомнил ему, что место его не здесь, а там, где войска, вверенные ему, вышли из повиновения».

Воинов, один из виновников междуцарствия и событий 27 ноября, был «в совершенном расстройстве» по причине вполне основательной. Если предположения наши верны и Воинов, принадлежавший к генеральской оппозиции против Николая, как и Милорадович, уповал на мирный отказ гвардии изменить присяге, то теперь он увидел, к чему привела эта рискованная игра. Избиение генералов в Московском полку свидетельствовало о том, что ситуация развивается совсем не так, как хотелось бы, и разъяренные солдаты, ведомые отчаянными офицерами, вряд ли будут разбираться в оттенках генеральских позиций. Но, как бы то ни было, Воинов бросился в московские казармы...

В это время прибыл из этих казарм полковник Хвоцинский, живое свидетельство ярости мятежников.

Принц Евгений Вюртембергский вспоминал: «Взор мой упал на Дворцовую площадь (из окна дворца. — Я. Г.). Я был окончательно поражен, увидев какого-то штаб-офицера, который соскочил с саней, снял кивер и показывал на голове кровавые раны».

Видя израненного Хвоцинского, видя «несметные толпы народа, из среды которого вылетали оглушительные крики» (а это была еще мирная толпа, приветствовавшая Николая!), принц Евгений вспомнил мрачные предчувствия Константина. У всех, кто узнавал о бунте москвичей, немедленно появлялось ощущение, что начинаются события катастрофические — гвардия снова берет в руки судьбу династии.

О первых действиях императора в эти минуты разом взорвавшейся ложной стабильности, имперской стабильности, обнаружившей свою мнимость, рассказал командовавший ротой Финляндского полка, занимавший в это время караулы во дворце, поручик Греч. (Всеми караулами, как мы знаем, во дворце и прилегающих районах командовал член тайного общества полковник Моллер.)

«Едва вступил во дворец главный караул, как государь император изволил выйти к оному из внутренних комнат в сопровождении генерал-адъютанта Кутузова и лейб-гвардии Московского полка полковника Хвоцинского. Когда караул выстроился на платформе, государь изволил предупредить, чтоб при отдании чести барабанщики били поход и салютвало знамя».

Это характерные детали — Николай хотел, чтобы его первое соприкосновение с войсками в качестве императора было обставлено со всей ритуальной торжественностью. И дело

здесь не в солдафонском его педантизме, а в тех надеждах, которые он возлагал на психологическое воздействие воинских ритуалов.

«По отдании чести государь изволил поздороваться с людьми, которые ответствовали тоекратным «ура!». Потом государь спросил у людей, присягали ли они? На что ответили они, что присягали. «Кому присягали?» — изволил спросить государь. Караульные ответили: «Вам, ваше величество!» — «Кому — вам?» — был вопрос государя. Ответ: «Государю императору Николаю Павловичу!» Вслед за тем государь изволил благодарить нижних чинов за верную службу и, отозвавшись потом, что теперь придется показать верность свою на самом деле, спросил: «Готовы ли вы за меня умереть?» Получив ответ удовлетворительный, государь приказал зарядить ружья и, обратясь к караульным офицерам, сказал: «Господа! Я вас знаю и потому не говорю вам ничего». Когда зарядили ружья, государь вывел караул к воротам, с внешней стороны, на площадь и приказал удвоить все наружные посты*».

От этого первого соприкосновения Николая с войсками зависело очень многое. Нелояльность караула — даже пассивная — потребовала бы немедленной его замены, что создало бы сумятицу во дворце и, став известным в полках, увеличило бы сомнения и колебания. Кроме того, разговор с караулом определил самоощущение нового императора. В дальнейшем он уже не испытывает столь дотошно — кому присягали, готовы ли умереть и так далее. Он просто командует.

Таким образом, успешность важнейших первых шагов императора связана была с позицией двух офицеров — начальника караулов Моллера и командира 6-й егерской роты Финляндского полка поручика Павла Греча.

Павел Иванович Греч, брат известного и тогда еще весьма либерального литератора Николая Ивановича Греча, мог с полным успехом оказаться членом тайного общества. Умный, живой, веселый человек, он через своего брата был близко знаком со старшими Бестужевыми, с Рылеевым, с Дельвигом и со многими другими. Когда после ареста Розена привели в Зимний дворец, то Греч, «добрый мой товарищ», как назвал его Розен, в присутствии смущенного полковника Моллера сказал, кивнув арестованному: «Ах, душа, жаль тебя!»

В этот день люди нередко оказывались по разные стороны черты достаточно случайно...

Поручику Гречу, «доброму товарищу» мятежника Розена, выпало охранять и защищать вход во дворец.

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 31.

Около половины двенадцатого император Николай, распорядившись караулом, оказался на Дворцовой площади перед толпой взволнованного и любопытствующего народа.

Вскоре вышел и построился батальон преображенцев, а затем появился Милорадович.

Эта последняя встреча Милорадовича с Николаем описана свидетелями неоднократно — и каждый раз по-иному.

Сам Николай писал: «Поставя караул поперек ворот, обратился я к народу, который, меня увидя, начал сбегаться ко мне и кричать «ура». Махнув рукой, я просил, чтоб мне дали говорить. В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказав: «Дело плохо; они идут к Сенату, но я буду говорить с ними», — ушел, и я более его ни видел, как отдавая ему последний долг».

Адъютант Николая Адлерберг, присутствовавший при этом, рассказывал: «Граф Милорадович подъехал к государю, когда 1-й батальон Преображенский подошел к углу дома Главного штаба, где начинается Адмиралтейская площадь. После донесения графом о случившемся его величество сказал ему: «Вы долго командовали гвардиею; солдаты вас знают, чтут и уважают; уговорите их, убедите, что они заблуждаются; словам вашим они, вероятно, поверят». Не утверждаю, чтобы это были точные слова государя, но за верность смысла их отвечаю».

Флигель-адъютант Бибиков, тоже стоявший в это время рядом с Николаем, свидетельствует:

«Вскоре после донесения генерала Нейдгардта о прибытии мятежных рот Московского полка на Сенатскую площадь не подошел, а прискакал на своей лошади граф Милорадович и, не имея возможности за толпою народа приблизиться к государю, с лошади через народ сказал приводимые слова.

Менее чем через пять минут, через столько времени, сколько нужно было графу Милорадовичу доскакать от государя до Сенатской площади, послышались оттуда ружейные выстрелы.

Государь вздрогнул и, приподняв руки, держа еще недочитанный манифест, громко воскликнул: «Боже мой, первая кровь пролита!»**

Здесь, конечно, перепутано все на свете. Милорадович от дворца отправился не на Сенатскую площадь, стреляли по нему гораздо позже. Но любопытно, что у Бибикова, как и у Адлерберга, Милорадович — верхом.

Но самое пространное и важное, хотя и весьма противоречивое, свидетельство принадлежит адъютанту Милорадовича Башуцкому, оказавшемуся в этот момент возле царя — ря-

* ОР ГПБ, ф. 380, № 55, л. 7.

** ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 28.

дом с преображенцами. «Граф Милорадович пришел через площадь от бульвара, следовательно, он подходил к государю сзади в то время, когда его величество шел вдоль фронта батальона. Мы шли в некотором расстоянии за государем, а потому я сейчас увидел графа. Все в его появлении было необычайно, все было диаметрально противоположно его привычкам и понятиям. он шел почти бегом, далеко отлетала его шпага, ударяясь о его левую ногу (впрочем, это и всегда было особенностью его походки), мундир его был расстегнут и частично вытасчен из-под шарфа, воротник был несколько оторван, лента измята, галстук скомкан и с висящим на груди концом,— это не могло не удивить нас. Но каковым же было наше изумление, когда с лихорадочным движением, с волнением до того сильным, что оно нарушило в нем всякое понятие о возможном и приличном, граф, подойдя к государю сзади, вдруг резко взял его за локоть и почти оборотил его к себе лицом. Взглянув быстро на это непонятное явление, государь с выражением удивления, но спокойно и тихо отступил назад. В ту же минуту Милорадович горячо и с выражением глубокой грусти произнес, указывая на себя. «Государь, вот в какое состояние они меня привели,— теперь только одна сила может воздействовать!» Не спрашивая ни о чем, государь на эту выходку ответил сперва строгим замечанием. «Не забудьте, граф, что вы ответствуете за спокойствие столицы»,— и тотчас же приказанием. «Возьмите конную гвардию и с нею ожидайте на Исаакиевской площади около манежа моих повелений, я буду на этой стороне с преображенцами близ угла бульвара». При первом слове государя Милорадович вдруг, так сказать, очнулся, пришел в себя, взглянув быстро на беспорядок своей одежды, он вытянулся, как солдат, приложил руку к шляпе, потом, выслушав повеление, молча повернулся и торопливо пошел назад по той же дороге».

Когда Николай ознакомился с воспоминаниями Башуцкого, он остался крайне недоволен. «У г. Башуцкого, кажется, очень живое воображение. Это все — совершенная выдумка». Естественно, Николаю никак не могло понравиться описание разговора между ним и Милорадовичем. Но плохо верится, чтобы Башуцкий мог выдумать такую уникальную деталь — генерал-губернатор, поворачивавший молодого царя лицом к себе. В этом спонтанном движении концентрируется многое. и привычное пренебрежение Милорадовича к Николаю, и ярость оттого, что он ошибся в расчетах и события вышли из-под контроля, и отчаяние от близкой расплаты за рискованную игру последних недель, и обычная решительность и грубоватость «русского Боярда». В этом жесте, нарушающем все нормы этикета, тем не менее нет фальши — его видишь.

Это отчаянное движение — первое свидетельство метаморфозы, происходившей в эти минуты с Милорадовичем. Он превращался из политического игрока в трагическую фигуру...

Военный генерал-губернатор Петербурга, вернувшись после присяги во дворце домой, вскоре приказал подать карету и, по свидетельству того же Башуцкого, поехал отвезти кулебяки к актрисе Екатерине Телешовой, в которую был влюблен. Уезжая, он приказал своему адъютанту. «Распорядитесь, чтобы в одно мгновение мне было дано знать обо всем, что бы ни случилось». Его мучили тревожные предчувствия. За считанные минуты между приездом из дворца и отъездом к Телешовой он четырежды говорил о дурных предзнаменованиях. Уходя, он сказал, что идет к Катеньке в последний раз. И дело было не в суеверности Милорадовича, а в том тревожном напряжении, с которым он ждал событий, им отчасти и спровоцированных. Но долго он у Телешовой не задержался. Рафаил Зотов, завтракавший в этот день у директора Большого театра Аполлона Александровича Майкова, вспоминал: «Вскоре приехал и Милорадович, со всеми поздоровался и сел за завтрак. Вдруг вошел в комнату начальник тайной полиции Фогель и, подойдя к Милорадовичу, стал ему что-то шептать на ухо. Это было известие, что бунт 14 декабря начался. Граф не продолжал завтрака, простился с хозяином и уехал с Фогелем».

Это было не ранее одиннадцати часов утра. Московцы уже стояли на площади.

Если верить Башуцкому, к Зимнему дворцу Милорадович явился в сильно помятом виде — как после рукопашной схватки. И вот этот эпизод в воспоминаниях адъютанта вызывает сильные сомнения.

Майков жил в здании Большого театра, на Театральной площади. Дорога оттуда в Зимний дворец могла пролегать и через Сенатскую площадь. Ничего невозможного в том, что Милорадович по пути встретился с мятежными москвичами, нет. Но, во-первых, стрелковая цепь, высланная Оболенским, в то время еще не препятствовала проезжать по краю площади, и генерал-губернатору надо было специально подъехать к мятежному каре, чтобы столкнуться с восставшими; во-вторых, если Милорадович подъехал к москвичам, сделал попытку уговорить их и получил такой решительный отпор, то психологически совершенно невозможно, чтобы он как ни в чем не бывало поехал к ним во второй раз.

Все это сомнительно и по другой причине. Милорадович, разумеется, не шел пешком с Театральной площади на Дворцовую. Он ехал в своей карете. Возле императора он появился — по разным версиям — или пешком, или верхом. Скорее

всего пешим, ибо Башуцкий очень конкретно рассказывает, как после разговора с царем Милорадович и он высадили из саней обер-полицмейстера Шульгина и поехали в его сани.

К своему рассказу о появлении взволнованного Милорадовича в разодранном мундире Башуцкий сделал многозначительное примечание: «Причины этого появления, его волнения, явки его в таком виде, предшествовавших его действий объяснились гораздо позже». Увы, Башуцкий не расшифровал это туманное заявление. А относится оно, конечно, не к самому факту мятежа. Об этом уже знали все. Что-то случилось с генерал-губернатором по дороге. Но что?

Можно было вовсе отмахнуться от этой сцены в передаче Башуцкого, если бы не одна деталь — только он передает приказание Николая Милорадовичу вывести Конную гвардию. А ведь генерал-губернатор и в самом деле отправился с Дворцовой площади в конногвардейские казармы, а вовсе не говорить с мятежниками, как утверждают все остальные мемуаристы...

Как бы то ни было, виновник междуцарствия отправился по приказу нового императора за Конногвардейским полком, чтобы разгонять тех, кто вышел на площадь под его, Милорадовича, лозунгом — «Ура, Константин!».

А император Николай сам возглавил единственное надежное подразделение, которое было у него под рукой, — Преображенский батальон.

Тот факт, что императору пришлось самому вести преображенцев на мятежников, еще не оценен в исторической литературе. А факт этот — поразительный. Российский самодержец, главнокомандующий армии в сотни тысяч человек, располагающий тысячами генералов и штаб-офицеров, лично выполняет функции командира батальона, каждую минуту рискуя быть убитым.

Николай не мог не понимать безумия этого риска. Он знал, что в сложившемся положении все держится на нем и его смерть или тяжелое ранение будут катастрофой для его группировки, а возможно, и для имперской системы вообще. И он рисковал головой вовсе не из бесшабашности или любви к опасности — комплекса Карла XII у него не было, — а оттого, что ему некого было послать во главе преображенцев. Те два-три генерала, на которых он мог твердо рассчитывать, отсутствовали. Всем остальным он не доверял в достаточной степени. А отдать преображенцев в руки человека, который сам мог быть причастен либо к генеральской оппозиции, либо к заговорщикам, было слишком опасно. И российский самодержец вместо того, чтобы, сидя во дворце, направить на подавление бунта своих генералов, шел пешим через Дворцовую площадь перед гвардейским батальоном, шел под выстрелы мятежников.

И эта ситуация еще раз свидетельствовала о шаткости опоры самодержавия в кризисный момент.

Николай подробно описал свои действия: «Скомандовав по-тогдашнему: «К атаке в колонну, первый и осьмой взводы, влоборота налево и направо!» — повел я батальон левым плечом вперед мимо заборов тогда достраивающегося дома Министерства финансов и иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара. Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь...»

Через несколько минут должно было произойти фронтальное столкновение самодержавия с дворянским авангардом, взявшимся за оружие, — ибо другого пути не оставалось.

Было около двенадцати часов дня.

ИЗМАЙЛОВЦЫ И ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ. 7—11 ЧАСОВ

Когда Бестужевы и Щепин с боем выводили из казарм Московский полк, провалилась попытка поднять измайловцев.

Присоединение измайловцев к восставшим было реально. Розен, со слов своих осведомленных товарищей, писал в воспоминаниях: «Измайловский полк в тот день был тоже весьма ненадежен». О ненадежности полка знал и Николай, вспоминая: «В Измайловском полку происходил беспорядок и нерешительность при присяге». После «измайловской истории» Николай был особенно непопулярен в полку. И появление перед казармами измайловцев восставшего Гвардейского экипажа с Якубовичем должно было оказать на них сильнейшее действие.

Экипаж, однако, по известным нам причинам оставался в казармах, и офицерам-измайловцам приходилось полагаться на собственные силы.

Полковое следствие, проведенное 15 декабря, выяснило: «Подпоручики: Кожевников, Фок, Андреев, Малютин и князь Вадбольский еще до принятия присяги, придя в роты ранее своих командиров (которые в то время были у полкового командира), уговаривали солдат не давать никому присяги, кроме Константина Павловича. Подпоручик Кожевников и князь Вадбольский во 2-й гренадерской и подпоручик Фок в 4-й ротах приказывали фельдфебелям раздать людям боевые патроны... Во время присяги все они кричали Константину Павловичу и возбуждали людей к неповиновению...»

В этом перечислении нет главного действующего лица — капитана Богдановича, командира 2-й гренадерской роты. А

нет его потому, что в ночь с 14 на 15 декабря член тайного общества Богданович покончил с собой. Как писал Розен, «в ту же ночь бритвою лишил себя жизни капитан Богданович, упрекнув себя в том, что не содействовал». Это не совсем точная формулировка. Богданович пытался содействовать — во время присяги он выкрикнул имя Константина, но выйти из строя и обратиться к солдатам с призывом к восстанию, сорвать присягу, как это сделано было в Московском полку, он не решился. И дело было не только в личных качествах того или иного офицера-декабриста. Дело было в особенности тех ситуаций, в которых они оказывались. Всеми заговорщиками в полках в это утро владычело одно сильнейшее опасение — оказаться со своими солдатами в одиночестве. Вывести свою роту, батальон, полк — и остаться одним лицом к лицу с правительственными частями. Это было следствием действий Якубовича и Булатова, сломавших расчисленный и четкий порядок выступления полков, превративших стройную военную революцию в революционную импровизацию.

Измайловские офицеры активно готовили солдат к выступлению, ожидая или прихода гвардейских матросов, или определенных сведений о движении других полков. Но никаких известий не поступало, и неопределенность снизила их решимость.

Вспомним, что и офицеры-московцы приступили к необратимым действиям после приезда Каховского, заверившего их, что лейб-гренадеры выступят.

Вряд ли Богданович убил себя из страха перед наказанием — он не совершил ничего непоправимого и мог надеяться на вполне благоприятный исход, как надеялись на него вечером 14 декабря многие заговорщики. Скорее всего, он понял, какую возможность упустил, понял, что его решительность могла изменить результат восстания... И не простил себе слабости.

Момент, когда капитан Богданович, несколько подпоручиков и часть солдат во время присяги выкрикнули имя Константина, был одним из роковых моментов дня, моментом возможного поворота.

Но решимости не хватило. Измайловский полк присягнул, хотя и остался ненадежным.

Каре Московского полка стояло у Сената, окруженное взволнованной и возбужденной толпой, и ожидало прихода других мятежных частей...

В это же время решающие события происходили в Гвардейском экипаже.

В ночь с 13 на 14 декабря молодые офицеры Гвардейского экипажа готовились к восстанию не только морально. Мичман Дивов показал: «...Беляев 2-й велел принести оселок и

точил им саблю для действий поутру. Я, подойдя к столу, где он сие делал, увидел пару пистолетов и удивился, найдя их исправленными, спросил его, когда их отдавали починить; он, не ответив на сей вопрос, сказал мне, что пули и порох для них готовы».

Моряки ждали Якубовича, и потому интенсивная подготовка матросов к выступлению началась рано — не позднее семи часов утра.

Арбузов вызвал фельдфебеля своей роты Боброва и приказал «объявить солдатам, что за 4 станции за Нарвою стоит 1-я армия и польский корпус и что если вы дадите присягу Николаю Паловичу, то они придут и передавят всех». Затем «призвав унтер-офицера Аркадьева,— показал на следствии Арбузов,— я делал и ему внушения всякого рода противу новой присяги».

В это же время ходили по ротам и агитировали братья Беляевы.

Мичман Дивов рассказывал: «После их (Беляевых, с которыми Дивов жил вместе.— Я. Г.) ухода пришел лейтенант Шпейер; я ему рассказал, что мы положили не присягать и что все полки пойдут на площадь, где утвердим конституцию. С ним вместе пошел я в 6-ю роту, где вокруг ротного командира лейтенанта Бодиско, собравшись, было несколько матросов, и он им говорил, что в принятии присяги они должны руководствоваться своею совестью и что он им ни приказывать, ни советовать не может. Я же со Шпейером подошел к другой кучке, где был унтер-офицер Буторин, и возбуждал их не принимать присягу».

Квартира Арбузова в казармах Гвардейского экипажа в эти часы превратилась в штаб. Офицеры приходили, обменивались новостями и мнениями, уходили. Причем были это не только офицеры экипажа. С восьми до девяти часов у Арбузова дважды побывали мичман Петр Бестужев и прапорщик Палицын — офицеры связи тайного общества. Как показал Дивов, они, «уводя Арбузова в другую комнату, возвращались назад и сей же час уезжали, говоря, что им надобно быть во многих полках».

Первое неповиновение нижних чинов произошло вскоре после восьми часов, когда матросам 1-й роты приказано было идти во дворец за знаменем для присяги. Понадобилось вмешательство командира Гвардейского экипажа капитана 1-го ранга Качалова, чтобы 1-й взвод 1-й роты пошел за знаменем.

Взводу, охранявшему знамя, полагались боевые патроны, которые и были ему выданы.

Весь Гвардейский экипаж повторял слухи о генерале или генералах, которые еще затемно предостерегали часовых от

измены первой присяге. Офицеры-декабристы их, естественно, не разубеждали.

В начале десятого часа в экипаж пришел Николай Бестужев. Он встретился с офицерами-моряками в квартире Арбузова, и то, что он сказал, свидетельствует о подлинных намерениях штаба восстания: «Кажется, мы все здесь собрались за общим делом и никто из присутствующих здесь не откажется действовать; откиньте самолюбие, пусть начальник ваш будет Арбузов, ему вы можете ввериться». Возражений, очевидно, не последовало, но здесь присутствовали младшие офицеры, находившиеся под влиянием Арбузова. Неизвестно было, как отнесутся к его кандидатуре ротные командиры. Однако сам Николай Бестужев не склонен был принимать команду без крайней необходимости. Когда кто-то из молодых офицеров сказал: «С вами мы готовы идти», — то он оборвал его.

Поскольку Арбузов был занят агитацией и подготовкой матросов и некоторых офицеров, Николай Бестужев взял на себя задачу выяснить общую обстановку и связаться с другими полками. Прежде всего — в соответствии с планом, которого декабристы еще пытались придерживаться, — Николай Бестужев послал в Измайловский полк мичмана Тыртова, а вскоре своего брата Петра в Московский полк. Сам же пошел к капитан-лейтенанту Лялину.

Капитан-лейтенант Лялин был из тех колеблющихся, которых стечение обстоятельств могло привести и в тот и в другой лагерь. Во всяком случае, он отнюдь не был сторонником Николая. В экипаже молодые офицеры в последние дни столь откровенно проповедовали истинные цели будущего выступления, что не подозревать о подоплеке их «верности Константину» Лялин просто не мог. Когда в это последнее утро лейтенант Бодиско, встревоженный и сомневающийся, попросил у него совета, капитан-лейтенант отвечал: «Как тут советовать, в этом случае каждый отвечает за себя». Он вовсе не стал призывать лейтенанта к послушанию. Наоборот, когда Бодиско сказал, что можно подождать в казармах и посмотреть, как поступят другие полки, Лялин (который, по словам Бодиско, «явно сомневался») трезво ответил, что войска, верные Николаю, «могут окружить казармы и, сделавши несколько выстрелов (орудийных. — Я. Г.), заставят присягнуть».

К капитан-лейтенанту Лялину обращался за советом и лейтенант Мусин-Пушкин. Полковое следствие установило, в частности: «В ночь с 13 на 14 приходил в квартиру капитан-лейтенанта Лялина, сказывал ему, что завтра поутру, т. е. 14 числа, будет присяга в верности государю императору Николаю Павловичу, и просил от Лялина совета, как поступить при сем случае, но, получив в ответ, что утро вечера мудренее, удалился».

Лялин ждал — как сложатся обстоятельства.

К этому человеку пошел для переговоров Николай Бестужев. Возможно, он искал кандидата в лидеры Гвардейского экипажа.

Как только Бестужев ушел от Арбузова, там появился Каховский. Его стремительная фигура пронизывает весь этот день. Он приехал в экипаж от москвичей, где Бестужевы и Щепин только начинали действовать. Перед этим он ездил к лейб-гренадерам. Каховский был наэлектризован и энергичен. Он приехал в экипаж не только как связной штаба восстания. Дивов так описал его поведение: «По уходе его (Николая Бестужева. — Я. Г.) приходит молодой человек в синем сюртуке и тоже вышел с Арбузовым в другую комнату. Придя же назад, предлагал, не нужно ли кому кинжал; но Арбузов сказал, что уже есть; мы же все отказались. И потом говорил, что артиллерия дожидается лишь нашего выхода, восхищался, что у нас более всех полков благородно мыслящих и что, конечно, тут все мы участвуем в перевороте, хотя, быть может, ожидает нас и смерть». Потом, поцеловавшись с каждым из нас, сказал: «Прощайте, господа, до свидания на площади». Спросил: «Где Бестужев 1-й?» Ему сказали, что он у Лялина, и он отправился к нему».

Александр Беляев дополнил рассказ, передав последнюю фразу уходящего Каховского: «Лучше умереть, нежели не участвовать в этом».

Какова разница между спокойным, деловым, лишенным всякой аффектации поведением Николая Бестужева и романтическим, взвинченным стилем Каховского! Он предлагает морякам кинжалы не потому, разумеется, что во время восстания придется ими драться, а потому, что кинжал — неприменный атрибут тираноборчества. «Свободы тайный страж, карающий кинжал...»

Но — в день 14 декабря оказались необходимы оба стиля...

Николай Бестужев пытался в последний момент усмирить сумятицу, вызванную неопределенностью положения и отсутствием лидера, привлечь колеблющихся и воодушевить сомневающийся, превратить возбужденную группу офицеров в боевую организацию, подготовить их за эти оставшиеся минуты к четкому, единонаправленному действию.

А рядом, в казармах, ждали матросы, уже решившиеся не присягать Николаю. Но офицеры ждали толчка, начала присяги, которая дала бы конкретный повод для выступления, сильное основание для открытого призыва к мятежу.

Время катастрофически уходило.

Николай Бестужев, понимал, что если успех еще возможен, то залог его — в синхронности выступления. Он понимал, что в сложившейся обстановке изоляция друг от друга восставших полков сделает их положение безнадежным. О

броске на дворец речи уже не было. Но если бы восставшие стремительно и одновременно сосредоточились на площади, то у них были шансы завладеть инициативой и первыми нанести удары. Во всяком случае — воздействовать на лояльные Николаю части своей многочисленностью и единодушием.

Вернулся Тыртов, которому не удалось проникнуть в охраняемые казармы измайловцев, но которому поручик Миллер сообщил о готовности некоторых офицеров полка стоять насмерть за верность Константину. Это было, разумеется, до присяги.

После половины одиннадцатого вернулся от москвичей Петр Бестужев и сообщил, что москвичи вот-вот двинутся. И тогда Николай Бестужев с Арбузовым сделали попытку форсировать события, не дожидаясь присяги.

Дивов показал. «Я пришел в 6-ю роту, где уже был лейтенант Бодиско 1-й. Прибегает Арбузов к Бодиско и упрасивает его, чтобы он вывел роту, что московские на площади, но Бодиско сказал, что с экипажем пойдет, но одну роту не выведет. Не убедив Бодиско, Арбузов с бранью побежал в свою роту, говоря: «Итак, вы не хотите действовать, вы лишь на словах либералы». Когда он ушел, то Бодиско сказал. «Подите за Арбузовым, он в энтузиазме не знает сам, что делает, уговорите его, чтобы он подождал». Я пошел за ним, но Арбузов из своей роты вышел уже в 1-ю. Войдя в роту, я увидел, что с ним ходит Каховский и что Арбузов говорит: «Ребята, пойдете за мной?» Многие из матросов кричали: «Куда угодно»; тогда он сказал: «Берите ружья и проворнее сходите вниз». Я тоже повторял, чтобы они следовали за своими офицерами. Пришед же к Бодиско, начал я также уговаривать, чтобы он вывел роту, но он отвечал: «Так как, по словам Арбузова, все войска будут действовать, то если мы и опоздаем, не сделаем вреда».

Позиция Бодиско многозначительна — Арбузов не пользовался среди ротных командиров достаточным авторитетом, чтобы увлечь их за собой.

Командир Гвардейского экипажа, видя возбуждение офицеров и матросов, не решался начать присягу без старших начальников. Бистром оповестил его, что приедет в экипаж позже всех остальных частей. И Качалов ждал командира бригады генерала Шипова.

ПОРАЖЕНИЕ МИЛораДОВИЧА

Пока Николай медленно вел преображенцев по Адмиралтейскому бульвару к Сенатской площади, Милорадович с Башуцким в отобранных у обер-полицмейстера санях торопи-

лись в казармы Конной гвардии, расположенные за Исаакиевской площадью. Но попасть туда оказалось совсем не просто. Башуцкий вспоминал: «На углу бульвара и Исаакиевской площади должно было остановиться. Быстрая рекогносцировка доказала нам, что не было никакой возможности ни пройти, ни проехать здесь на площадь эту... Вся она была сплошная масса народа, обращенного лицом к монументу». (Надо иметь в виду, что до окончания строительства Исаакиевского собора обе площади — Исаакиевская и Сенатская — представлялись современникам единым целым.) Военному генерал-губернатору Петербурга пришлось делать крюк через Поцелуев мост на Мойке, чтобы попасть к конногвардейским казармам. В это время к Сенату бежали жители столицы. Их влекло не просто любопытство, но и смутное понимание значительности происходящего. Гвардейский бунт в столице...

Было около двенадцати, когда Милорадович с адъютантом добрались до цели. Милорадович остался ждать на улице, а Башуцкого послал в казармы. «В конюшнях, когда я вошел, было чрезвычайное движение — седлали, мундштучили лошадей, люди одевались, суетились. Я побуждал их торопиться, переходя из конюшни в конюшню и встречая офицеров, я передавал им повеление, данное государем графу. Когда я вышел на улицу, граф все ходил так же быстро, по временам он нетерпеливо поглядывал на свои часы. Подняв голову, он спросил: «Где же полк?» — «Тотчас», — отвечал я. Он продолжал опять несколько минут свою судорожную и задумчивую ходьбу».

Нетрудно догадаться, о чем думал в эти минуты Милорадович, оказавшийся в совершенном тупике. Он должен был усмирять бунт, который сам же и спровоцировал, во всяком случае — сознательно допустил. Он должен был теперь силой сажать на трон Николая, чтобы затем расплатиться за события 25—27 ноября. Он понял уже, что массового мирного выступления гвардии не получается, а вооруженный бунт был для него неприемлем...

Быстрый выход Конной гвардии — не только из-за ее высокой боеспособности, но и потому, что ее шефом был цесаревич, — значил чрезвычайно много для нового императора. Недаром он послал за конногвардейцами немедленно по получении рокового известия.

Но с Конной гвардией происходило нечто странное.

Сам Орлов описал события в тонах вполне бравурных, но его мемуары дают тем не менее любопытную картину: «Первый, который известил меня о происшествиях в Московском полку, был адъютант графа Бенкендорфа, ротмистр Толстой, Павел Матвеевич, ныне в отставке. Он привез мне высочайшее повеление быть с лейб-гвардии Конным полком в готов-

ности. Это было исполнено во всех эскадронах по собственноручному моему приказанию. Минут пять по отправлении приказа адъютант государя императора (ныне генерал-адъютант) Перовский привез мне повеление выводить полки и вести его на Адмиралтейскую площадь. Я немедленно сам пошел в казармы. Люди одевались. Идя мимо них, я громко повторял приказание: «Одеваться как можно скорее и бежать в конюшни седлать лошадей». Далеко впереди меня шел только что сменившийся с внутреннего караула князь Одоевский. Мне рассказывали впоследствии, что он говорил одевшимся людям: «Успеете, нечего торопиться». От этого, однако ж, не произошло и не могло произойти замедления, потому что я сам был в казармах и вышел из них, только когда, большая половина людей была в конюшнях. Тут я сел на приведенную мне лошадь и поехал на Сенатский мост. Цель моя была осмотреть расположение мятежников и выбрать безопасную дорогу для проведения полка на площадь. Бунтовщики меня узнали и стали кричать: «Вот Орлов выезжает с медными лбами». (Имелись в виду металлические каски конногвардейцев.— *Я. Г.*) Стоявший в толпе сенатский оберсекретарь ухватился за мою ногу, умолял не ехать на площадь, где меня наверное убьют. Я поблагодарил его за добрый совет и сказал, что выеду на площадь не иначе, как с вверенным мне полком. Возвратясь к казармам, я нашел почти всех лошадей оседланными и приказал трубить тревогу. В эту минуту приехал граф Милорадович...»

Тут надо остановиться и заняться хронометрированием.

Николай, получив известие о мятеже москвичей, сразу же через Нейдгардта послал приказание Конной гвардии быть готовой к выступлению. Было это около одиннадцати часов. Нейдгардт порекомендовал эту миссию Толстому. Для того чтобы от Зимнего дворца верхом или в санях добраться до казарм Конной гвардии, нужно было не более пятнадцати минут. Толпа на Исаакиевской площади еще не собралась.

Корнет Рынкевич, отдавший около одиннадцати же часов свои сани Одоевскому возле самой Исаакиевской площади, пошел в казармы, где был, естественно, в начале двенадцатого, показал: «Я, отдавши ему их, отправился в казармы; только что я взшел, услышаны были крики и велено полку седлать; я побежал на свою квартиру и хотел одеваться в колет и кирасы, дабы следовать за полком, но попадавшие мне навстречу люди, кричавшие: «Русские русских колют», так сильно потрясли меня, что я, забыв все, и долг, и службу, надел партикулярный сюртук и отправился на конец Гороховой...»

Стало быть, конногвардейцы стали седлать лошадей в самом начале двенадцатого. И даже если к приезду Милорадовича — к двенадцати часам — «почти все лошади были оседланы», то это нельзя считать большим достижением.

Однако если принять версию Орлова, то совершенно непонятно все дальнейшее.

Башуцкий рисует происходящее в начале первого часа совершенно иначе: «Между тем не было выведено ни одной лошади. Вскоре слышался топот по звонкой ледяной коре улицы и со стороны Сарептского переулка на больших рысях явился эскадрон или взвод, не знаю, того же полка, стоявший где-то в других казармах (на Звенигородской улице.— Я. Г.)... В то же время выехали А. Ф. Орлов, его адъютант Бахметев и несколько офицеров. Там-сям усатый кирасир, выведя свою лошадь, ставил ее в принадлежащий ряд и, застегнув за луку трензель, уходил. «Куда ты?» — «Забыл рукавицы, ваше благородие», — отвечал он, или что-нибудь подобное. Время бежало. Не было и 30—40 лошадей, выведенных подобным образом».

Кому верить — Орлову или Башуцкому? Орлов был заинтересован, чтобы в книге Корфа, для которого он писал свои мемуары, его действия и поведение полка выглядели образцово, и эта установка, естественно, формировала его версию. Эта черта Орлова-мемуариста была хорошо известна. Корф записал для себя: «Как скоро пришла ожидаемая записка Орлова, содержащая в себе не только опровержение показаний Башуцкого, но и некоторые новые сведения, цесаревич (великий князь Александр Николаевич, будущий Александр II.— Я. Г.), смеясь, передал мне слова государя: «что Орлов уже столько раз рассказывал мне эту историю, что наконец и сам больше не знает, что осталось в его рассказах правды и что он в разные времена придумал для их прикрасы»*.

У Башуцкого же, человека вполне верноподданного, писавшего о декабристах зло и уничижительно, не было никакой причины клеветать на Конную гвардию. То, что он в данном случае говорил правду, подтверждает сам ход событий.

Орлов так рассказывает важнейший эпизод — нежелание Милорадовича ждать полк, за которым он, собственно, приехал, и его выезд на Сенатскую площадь: «В эту минуту приехал граф Милорадович и с довольно встревоженным видом сказал мне: «Пойдемте вместе, поговорим с бунтовщиками». Я отвечал: «Я оттуда, последуйте моему совету, граф, не ходите. Тем людям необходимо совершить преступление. Не следует давать им повода. Что до меня, то я не могу и не должен следовать за вами. Мое место рядом с полком, который я должен отвести к императору в соответствии с приказом». Милорадович: «Что это за генерал-губернатор, который не может пролить свою кровь, когда он должен ее пролить...»**

* ОР ГПБ, ф. 859, к. 37, № 23, л. 13.

** ОР ГПБ, ф. 380, № 55, л. 2—2 об. (В подлиннике диалог ведется по-французски.)

Башуцкий рисует финал пребывания Милорадовича в Конном полку несколько иначе: «Взглянув на свои часы, на линию, где должно было быть полку, и на А. Ф. Орлова, граф горячо сказал ему: «Что ж ваш полк? Я ждал 23 минуты и не жду более! Дайте мне лошадей!»

Судя по тому, как поздно появился на площади полк, Башуцкий пишет чистую правду — полк, как мы видим, вышел только через полчаса после отъезда Милорадовича на площадь.

А Милорадович торопился. Он пребывал в чрезвычайном нервном напряжении — и было отчего. Он понимал, хорошо зная нового императора, что злопамятный и самолюбивый Николай не простит ему унижений, отстранения от престола, тяжких тревог междуцарствия, демонстративного бездействия 12—13 декабря. Теперь Милорадович должен был совершить нечто из ряда вон выходящее, искупить свою вину, доказать свою незаменимость и лояльность, или же его ждали опала, отставка, возможная высылка из столицы, прозябание в провинции. Для него, привыкшего быть хозяином столицы, жить бурной, разнообразной, яркой жизнью, это означало гибель.

И теперь, когда стало ясно, что все идет не по его плану, что гвардия выходит из-под контроля и каждая минута усугубляет этот разрыв между его замыслами и реальностью, он решил отчаянно сыграть еще раз и переломить судьбу.

Взяв лошадь у Бахметева, приказав Башуцкому следовать за ним, Милорадович поскакал к площади.

«У выезда из Конногвардейской улицы близ манежа,— рассказывает Башуцкий,— А. Ф. Орлов, нагнав графа, просил его обождать одну минуту, уверяя, что полк тотчас готов, и напоминая, что ему предоставлена была честь сопровождать графа. «Нет, нет,— отвечал он ему запальчиво,— нет, я не хочу вашего (грубое ругательство) полка! Да я и не хочу, чтоб этот день был запятнан кровью... я кончу один это дело!..»

Было начало первого. Московцы больше часа стояли у Сената.

Первые двадцать — тридцать минут заняло построение каре. Оболенский, Пущин, Рылеев и Каховский присоединились к своим товарищам, когда каре уже было построено.

В это время, как и позже, наибольшую активность проявили те декабристы, которые не участвовали в выводе войск из казарм. Эта акция требовала такого колоссального напряжения душевных и физических сил, что значительная часть ресурсов оказывалась исчерпанной. Не нужно думать, что члены тайного общества легко увлекли за собой тысячи солдат. Как мы видели на примере Московского полка и как еще увидим, это был процесс мучительный, медленный. Требовалось огромное усилие, чтобы трансформировать солдат-

ское недовольство в энергию целенаправленного действия, довести солдат до того уровня убежденности, когда открытое неповиновение высшим командирам казалось им естественным и законным. Для этого приходилось использовать концентрированную мощь внушения. Там, где у офицеров-заговорщиков не хватало этой мощи, войска оставались в состоянии внутреннего сопротивления присяге, но открытого взрыва не происходило. Так было у измайловцев...

Когда в начале двенадцатого лидеры общества Рылеев, Оболенский, Пущин, Александр Бестужев собрались в московском каре, они, естественно, сразу стали думать о дальнейших действиях. Перед ними находился Сенат — фактически беззащитный. Но для того чтобы собрать сенаторов и «заставить Сенат подписать конституцию», надо было взять власть в столице. Надо было овладеть дворцом, арестовать Николая и обеспечить себе поддержку большинства полков.

Начать активные действия можно было бы с подходом мобильных войсковых частей и с появлением военных руководителей.

Понятно было, что неопределенная позиция Булатова и странное отсутствие Трубецкого еще больше усложняют и без того сложную обстановку, вызванную самоустранением Якубовича и развалом первоначального плана. И тем не менее те руководители общества, что были уже на площади, надеялись на появление Булатова с лейб-гренадерами и Гвардейского экипажа, надеялись, что Трубецкой придет и отдаст четкие приказания.

С противной стороны еще не появилось ни единого солдата. Этим надо было пользоваться. Реальное руководство в это время легло на Рылеева, Оболенского и Пущина.

Между одиннадцатью и двенадцатью часами было принято следующее — Пущин послал приехавшего Розена в Финляндский полк, послал Кюхельбекера искать Трубецкого, Рылеев с Репиным — на исходе двенадцатого часа — поспешили к финляндцам, на помощь Розену. То есть продолжался активный процесс собирания сил. До прихода подкрепления предпринять что-либо иное было невозможно.

После короткого появления Петра Бестужева стало ясно, что вот-вот должен подойти Гвардейский экипаж.

Площадь была вся уже заполнена народом.

В это время перед правым фасом каре, обращенным к строящемуся собору, появился Милорадович...

Чтобы подъехать к каре, ему надо было миновать цепь, выставленную восставшими. В следственном деле унтер-офицера Александра Луцкого сказано: «По приходе на Петровскую площадь он, Луцкий, был из колонны мятежников отряжен Александром Бестужевым для содержания цепи с строгим от него и Щепина-Ростовского приказанием, чтоб не

впускать никого (на площадь.— *Я. Г.*), а против упорствующих стрелять, что на самом деле было исполняемо (!)... Собственно зависящие от него, Луцкого, действия были те, что исполнял он приказания упомянутых лиц, а когда подошел (явная ошибка: Милорадович был на коне.— *Я. Г.*) к нему граф Милорадович и сказал: «что ты, мальчишка, делаешь», то он, Луцкий, назвав графа Милорадовича изменником, спросил его: «куда девали шефа нашего полка?»

Патрульные выполняли свой долг отнюдь не формально. Когда конный жандарм Артемий Коновалов попытался отогнать толпу от каре, то «прибежали к нему, Коновалову, л.-гв. Московского полка несколько человек, которые сначала отобрали у него палаш, а потом один из них (Луцкий.— *Я. Г.*) проколол штыком бывшую под ним, Коноваловым, лошадь в трех местах и ударил его несколько раз прикладом по спине и три раза в грудь, от чего он, Коновалов, сделавшись без чувств, упал с лошади».

Милорадовича, несмотря на все свое возбуждение, Луцкий и его солдаты тронуть не решились. Он прорвался сквозь цепь и подскакал вплотную к каре.

Было от четверти до половины первого.

Башуцкий рассказывает: «Раздвигая людей лошадью и криком, чтоб посторонились, граф медленно подвигался по тесной, с трудом очищавшейся дорожке. Так добрались мы до толпы бунтовщиков, перед которою в десяти — двенадцати шагах граф остановился. Я стал с правой стороны его лошади, народ, отшатываясь, отступал за его лошадь и, столпясь тесно кругом, оставил место впереди свободным».

Я говорил уже, что воспоминания о наполеоновских войнах были для русских военных людей того времени могучей объединяющей связью. Воспоминания о совместном подвиге были неким паролем, создававшим в людях разных слоев и классов ощущение братства. Тем более что официально эти воспоминания не поощрялись. Былая боевая общность оппозиционно противопоставлялась участниками походов нынешней ситуации. Это создавало и возможности для демагогии.

Хорошо знающий психологию солдата, Милорадович начал свою речь именно с этого: «Солдаты! Солдаты!.. Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом?..»

Милорадовича прекрасно знали. Знали и его героическое прошлое. Но это было именно прошлое. Слишком много надежд связано было у солдат с выходом на площадь, чтобы они по призыву даже такого авторитетного генерала, как Милорадович, безропотно вернулись в казармы — вернулись в прошлое.

Вряд ли Милорадович мог бы увести москвичей с площади, но смутить их он мог. Он показывал шпагу с дарственной надписью от Константина и клялся в преданности цесаревичу-

чу. Как друг Константина, он убеждал солдат в истинности его отречения. И вообще-то человек интенсивного темперамента и волевого напора, Милорадович в этот момент яростно спасал себя, свою государственную карьеру. Дилемма была проста: или он единолично ликвидирует мятеж, доказав свое огромное влияние в гвардии, после чего Николай не решится убрать его, либо — он погиб...

Оболенский показал: «Во время приезда графа Милорадовича я в каре возмутителей не стоял, но находился впереди с патрульными шестью человеками л.-гв. Московского полка (солдаты Луцкого прикрывали направление со стороны Конногвардейского манежа, патруль Оболенского — со стороны Зимнего дворца.— Я. Г.), с которыми возвратился назад, увидев, что граф довольно долго разговаривает с нижними чинами. Подошед к графу, я ему сказал: «Ваше сиятельство, извольте отъехать и оставить в покое солдат, которые делают свою обязанность». На вторичное мое приглашение граф обернулся ко мне, отвечая: «Почему ж мне не говорить с солдатами?» Я ему в третий раз повторил то же и, видя, наконец, что он стоит на том же месте, я, имея шпагу в руке, не помню, у кого из рядовых взял ружье, и подошел к графу, решительно повторяя ему, чтоб он отъехал. Граф, который стоял ко мне спиной, оборотил лошадь налево и ударил лошадь шпорами — в одно время раздался выстрел из рядов, и я, не помню каким образом, желая ли ударить штыком лошадь, или невольным движением ударил слегка штыком по седлу и, вероятно, попал также в графа... Граф поскакал, а я возвратился к своему посту».

Выстрелил в Милорадовича Каховский. В этом поступке наша наконец разрешенная напряженная тяга «русского Брута» к роковому тираноборческому акту. Каховский сказал потом, что если бы сам император подъехал к каре, то он и по нему бы выстрелил.

Как и все поступки Каховского, выстрел в Милорадовича имел два плана — общеромантический и конкретно-тактический. Милорадовича надо было убрать от каре. Каховский сделал это радикально.

От штыкового удара и выстрела лошадь генерал-губернатора шарахнулась в сторону. Милорадович упал на землю. Башуцкий едва успел подхватить его и немного смягчить удар. С огромным трудом, угрозами и побоями, адъютанту удалось заставить четырех человек из толпы помочь ему отнести тяжело раненного графа в конногвардейские казармы.

Ночью Милорадович умер.

Он сам спровоцировал междуцарствие, а тем самым сделал возможным выступление гвардии. Но те ограниченные цели, которые он преследовал в своей политической игре, не могли устроить дворянский авангард. Милорадович — волею

обстоятельств — оказался на дороге куда более целеустремленной и решительной силы, чем его «генеральская оппозиция». И погиб.

Дворянский авангард, действовавший в этот день с мужеством отчаяния, готов был перешагнуть не только через генеральские трупы, но и через труп императора.

И солдаты поддерживали эту решимость офицеров.

Сразу после выстрела Каховского фас каре, обращенный к Исаакиевскому собору, дал нестройный залп. Солдаты стреляли не в кого-то конкретного. Очевидно, это было выражение возбуждения и сочувствия тем, кто поднял руку на генерал-губернатора. Каховский показал: «Я выстрелил по Милорадовичу, когда он поворачивал лошадь, выстрел мой был не первый, по нем выстрелил и весь фас каре, к которому он подъезжал». Разумеется, утверждение, что выстрел его был не первый, для Каховского способ защиты. (Из тела Милорадовича извлекли *пистолетную* пулю.) Но что ружейные выстрелы не выдуманы Каховским — несомненно. О ружейных выстрелах в момент гибели Милорадовича говорит Бибииков*. О ружейных выстрелах в этот момент говорит Николай в записках. О том же свидетельствует ответ Оболенского на вопрос следствия: «Тем менее могу уличить Каховского, что он первый по графе выстрелил». Если бы прозвучал один только выстрел, то не стоял бы вопрос — кто выстрелил первый.

Стреляли или не стреляли в этот момент солдаты — проблема не теоретическая. Это были первые выстрелы восстания, и они сыграли свою роль в развитии событий.

Было около половины первого.

ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ. 11 ЧАСОВ — 12 ЧАСОВ 50 МИНУТ

Николай между тем продвигался с преображенцами по Адмиралтейскому бульвару в сторону площади. Он посылал одного за другим гонцов в Конную гвардию, удивляясь, что полк не выходит.

Пройдя до середины бульвара, они услышали выстрелы, и вскоре прибежал флигель-адъютант Голицын, известивший Николая о ранении Милорадовича. Сенатская площадь была рядом. Пройдя еще немного, император и преображенцы увидели стрелковую цепь восставших и услышали крики: «Ура, Константин!» В это время возле Николая появился Якубович, и между ними состоялся короткий разговор, речь о котором впереди.

Было около половины первого. И тут наконец галопом

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 28.

пришла Конная гвардия. Чтобы выйти из казарм, полку понадобилось почти полтора часа!

Николай приказал Орлову выстроить эскадроны спиной к Адмиралтейству, чтобы закрыть восставшим направление на Зимний дворец. Одна рота преобразенцев двинута была на набережную и перекрыла подход к Исаакиевскому мосту. Остальная часть батальона осталась на углу бульвара и площади — при императоре. Николай начал свой главный в этот день маневр — окружение мятежников. Но пока что у него было слишком мало сил. Галерная, по которой могли прийти гвардейские матросы, и набережная Невы, откуда ждали лейб-гренадер, оказались открытыми...

Командир бригады генерал Сергей Шипов, один из основателей декабристского движения, друг Пестеля и Трубецкого, приехал в экипаж сразу после попытки Арбузова вывести роты до присяги. Очевидно, призыв Арбузова и распоряжение Шипова строить экипаж прозвучали почти одновременно — в начале двенадцатого часа.

Возбужденные и озлобленные матросы выстроились во дворе казарм, и Шипов приказал приступать к присяге. Но когда Качалов перед чтением высочайшего манифеста командовал: «На караул!» — экипаж дружно не выполнил команду. Подготовленные к неповиновению своими офицерами, матросы в этот первый момент оказались решительнее офицеров.

В свою очередь, поведение нижних чинов дало возможность офицерам разговаривать с командованием твердо и дерзко.

Лейтенант Вишневский, не проявлявший до того особой активности, но захваченный общим настроением, потребовал от Шипова веских доказательств отречения Константина. Остальные ротные командиры поддержали его.

Шипов уже знал — не мог не знать о мятеже москвичей. Разговорами с Трубецким он был подготовлен к возможным событиям. И теперь, столкнувшись с открытым неповиновением офицеров и нижних чинов, он конечно же понял, что происходит. И, несмотря на свои прониколаевские декларации, он повел себя отнюдь не так круто, как того требовали его долг и престиж. Он стал уговаривать экипаж, убеждать офицеров. И естественно, его нерешительность только усилила недоверие матросов.

Шипову не дали прочесть манифест и отречение Константина. Матросы отказались присягать. Тогда Шипов приказал Вишневскому, как зачинщику, отдать саблю. Остальные ротные командиры заявили, что и они в таком случае отдают сабли — то есть готовы идти под арест.

Но происходящее никак не могло устроить Бестужева и Арбузова. Задача была не в том, чтобы удержать матросов от

присяги, а в том, чтобы вести их на соединение с московцами. И тут снова трагически сказывалось отсутствие лидера...

Понимая свое бессилие и не желая или не рискуя прибегать к крутым мерам, Шипов ушел в канцелярию экипажа и приказал ротным командирам следовать за собой. Экипаж остался в строю. При ротах теперь были только полные энтузиазма мичманы.

Разъяренные матросы требовали вернуть им лейтенантов.

Петр Бестужев между тем, очевидно по просьбе старшего брата, побывал на Сенатской площади. Он рассказал об этом на следствии, но, в соответствии со своей линией защиты, постарался представить дело так, как будто он пытался понять происходящее и образумить старших братьев. Огромное количество данных неоспоримо свидетельствует о другом — он был полностью осведомлен о происходящем и энергично действовал в пользу восстания. Но и в своих трансформированных условиях показания он передал замечательную фразу Михаила Бестужева, сказанную на площади. Когда младший брат, придя в каре, очевидно, высказал сомнения в успехе, — на площади стояли одни московцы, выход экипажа был еще проблематичен, — то старший ответил ему: «Ничего, мой милый, мы вышли, воротиться поздно!» Пронзительная естественность этой фразы свидетельствует о ее подлинности...

Около двенадцати Петр Бестужев вернулся в экипаж — ему не сразу удалось попасть на двор казарм — и сообщил Николаю Бестужеву, что московцы одни стоят у Сената.

Николай Бестужев понял, что ждать больше нельзя.

Прежде всего надо было освободить ротных командиров, арестованных Шиповым в канцелярии. Он поручил это Беляевым и Дивову. Те бросились в казармы. Поскольку освобождение силой офицеров, арестованных бригадным командиром, — поступок глубоко криминальный, то участники акции всячески обходили на следствии этот эпизод — не совсем ясно, при каких обстоятельствах произошло освобождение ротных командиров. Известно только, что по дороге мичманы встретили Шипова, который приказал им вернуться, но они его не послушались. Так или иначе, ротные командиры оказались снова при батальоне.

Экипаж бурлил. Некоторые роты брали боевые патроны. Командир экипажа пытался этому помешать. Напряжение достигло предела. Надо было вывести матросов.

Вышедший к строю лейтенант Чижов, друг Петра Бестужева, стал громко рассказывать матросам, что в московском полку убили генерала, который заставлял солдат присягать.

Тут Николай Бестужев сделал последнюю попытку найти старшего офицера, за которым пошли бы и матросы, и офицеры.

Дивов, находившийся в этот момент рядом с ним перед строем экипажа, рассказывал: «Капитан-лейтенант Бестужев 1-й подошел к капитан-лейтенанту Козину (своему старому товарищу.— Я. Г.), чтобы вел батальон на площадь, говоря: «Николай Глебович, ради Бога, веди батальон, медлить нельзя, дело идет о спасении отечества, каждый миг дорог»,— и, не видя ответа, сбросил с себя шинель и сказал: «Если ты не поведешь, я принимаю команду».

Николай Бестужев, человек спокойной, целенаправленной отваги, не хотел брать на себя руководство экипажем не из робости. Он никогда не служил в этой части, его там плохо знали, а он был уверен, что в такой момент экипаж должен возглавить лидер, любимый и уважаемый большинством офицеров и матросов. Лидер, который в случае надобности мог бы повести экипаж не просто на площадь, но и в бой.

Но обстоятельства не оставляли ему выхода — он должен был или отказаться от мысли вывести матросов на помощь москвцам, поднятым его братьями, или принять на себя командование, а с ним и всю ответственность. Он понимал это. После восстания он сказал: «Я сделал все, чтобы меня расстреляли».

В тот момент, когда Николай Бестужев принял решение, с площади донеслись ружейные выстрелы.

Дальнейшее произошло мгновенно.

Услышав выстрелы, Петр Бестужев конечно же подумал о братьях — Александре и Михаиле, которых недавно видел перед каре москвцев. Он бросился к строю, крича: «Ребята! Что вы стоите! Слышите стрельбу? Это ваших бьют!»

Этот крик был тем психологическим запалом, который вызвал взрыв.

Николай Бестужев скомандовал: «За мной! На площадь! Выручить своих!»

Тысяча сто гвардейских матросов ринулись за ним в ворота, отбросив Качалова, пыгавшегося задержать колонну.

Шипов предпочел в эти минуты не появляться во дворе. Старшие офицеры — капитан-лейтенанты Лялин и Козин — хранили нейтралитет.

Гвардейский морской экипаж в полном составе, с ротными и взводными командирами, бежал по набережной Екатерингофского и Крюкова каналов к Галерной улице, выходящей на Сенатскую площадь.

ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК

В начале десятого часа утра генерал Головин, командир 4-й гвардейской бригады, в которую входил Финляндский полк, приехал в казармы полка и поздравил офицеров, со-

бравшихся у полкового командира, с новым императором. Офицеры молчали. Как мы помним, одиннадцать офицеров-финляндцев встречались за три дня до этого с Оболенским у Репина и сочувственно отнеслись к агитации против новой присяги.

Поручик Розен выступил вперед и спросил у бригадного командира: «Где же наш государь цесаревич?» — «Вот я сейчас прочту — и узнаете!» — отвечал Головин.

Затем последовало долгое чтение манифеста и сопровождающих документов.

В это утро финляндцы не имели еще связи с центром. Решительно настроен был один Розен. Репин, числившийся больным, не мог появиться в полку. Полковники Моллер и Тулубьев, которые могли не допустить присяги, из игры вышли. Моллер охранял Зимний дворец.

В одиннадцать часов Финляндский полк присягнул в присутствии командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома.

После присяги Розен поехал к Репину, а от него домой. Едва успел он надеть парадную форму для предстоящего визита во дворец, как вбежал подпоручик Базин, один из участников совещания 11 декабря, и сообщил, что «на площади множество войска и народу». Они бросились к Сенату. На следствии Розен показал: «Доезжая до конца моста (Исаакиевский наплавной мост.— Я. Г.), нельзя было далее ехать от тесноты, мы соскочили из саней, не знаю, куда пошел подпоручик Базин, но я, видя на площади войско со знаменами, вошел в ближний каре лейб-гвардии Московского полка, где видел двух офицеров одного полка, мне незнакомых. Солдаты кричали: «Ура, Константин!» В ту же секунду вышел из каре и поехал в полк, где у казарм нашел полковников Тулубьева и Окулова, капитана Вяткина и подпоручиков Насакина 2-го и Бурнашева; говорил им, что был в каре возмутившихся, что все полки идут к площади и что нам должно идти туда же. Полковник Тулубьев на то согласился, и я вбежал во двор казарм и закричал на дворе: «Выходи!» В сие время собрались прочие офицеры и сам полковник Тулубьев в этом же дворе, и тогда вошел я в роту и сказал: «Выходите скорее, уже все полки идут к площади!»

Этот текст — прекрасный образец декабристских показаний, в которых соединились видимость фактической правды и утаивание смысла происходящего. В Финляндском полку и на самом деле все происходило почти так, как показал Розен. Почти...

Показания Розена принципиально корректируются как нашим знанием о его предшествующих и последующих действиях, так и его правдивыми и, как правило, точными воспоминаниями.

Во-первых, Розен, придя домой с присяги, получил записку Рыльева, который просил его быть в казармах Московского полка. Это может показаться странным — зачем офицера, который должен поднимать финляндцев, приглашать к москвичам, у которых есть свои офицеры-заговорщики? Но это — на первый взгляд. Розен, относившийся всю жизнь к Рыльеву с огромным уважением, назвавший в его честь одного из сыновей (второго он назвал Евгением в честь Оболенского), наверняка не мог перепутать или запомнить такой факт, как получение записки от Рыльева и ее содержание. Записка эта, безусловно, ждала Розена уже давно — он ведь ушел из дому до восьми часов. Рылеев, зная о том, что присяга у финляндцев еще не началась, конечно же просил Розена связать Финляндский полк с Московским для одновременных действий. Это была одна из многих утренних акций Рыльева по координации действий будущих мятежных частей. И отправлена записка была, очевидно, после визита Якубовича к Бестужеву, когда отпала надежда на удар гвардейских матросов по дворцу, который и стал бы сигналом к действиям остальных полков.

В воспоминаниях Розен рассказывает о своем приходе в каре восставших очень близко к тексту показаний — но тут обнаруживается суть происходящего. «Взъехав на Исаакиевский мост, увидел густую толпу народа на другом конце моста, а на Сенатской площади каре Московского полка. Я пробился сквозь толпу, пошел прямо к каре, стоявшему по ту сторону памятника, и был встречен громким — Ура! В каре стояли князь Д. А. Щепин-Ростовский, опершись на татарской сабле, утомившись и измучившись от борьбы во дворе казарм, где он с величайшим трудом боролся: переранил бригадного командира В. Н. Шеншина, полковника Фридрикса, батальонного полковника Хвоцинского, двух унтер-офицеров и наконец вывел свою роту; за ней следовала и рота М. А. Бестужева 3-го и еще по несколько десятков солдат из других рот. Князь Щепин-Ростовский и М. А. Бестужев ждали и просили помощи, пеняли на караульного офицера Якова Насакина, отчего он не присоединялся к ним с караулом своим? Я на это подтвердил им данную мною инструкцию накануне. (Насакин был на совещании 11 декабря, и Розен 13-го числа просил его, как караульного начальника при Сенате, охранять вход в здание, пока оно не потребуется восставшим.— Я. Г.) Всех бодрее в каре стоял И. И. Пущин, хотя он, как отставной, был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На вопрос мой Пущину, где мне отыскать князя Трубецкого, он мне ответил: «пропал или спрятался,— если можно, то достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв».

Было около двенадцати часов дня. Конная гвардия еще не вышла из казарм, а 1-й батальон преображенцев еще находился на Дворцовой площади. Московцы стояли у Сената, окруженные только возбужденной толпой.

Розен бросился обратно в казармы своего полка.

Проведенное на следующий день после восстания полковое следствие выяснило, что «штабс-капитан Репин был в каре мятежников, во все время бунта уезжал и приезжал, и многих проходящих уговаривал к ним пристать».

Сам Репин на первом допросе скупно показал: «В день 14-го числа, услыша, что на площади есть шум, я пошел в шинели на оную, чтоб увидеть, в чем оный состоит. Придя, нашел Московского полка карей, кричащий «ура!». Я подошел к карею и от оногo поехал в свой полк, интересуясь, что в оном делалось».

Репин точно обозначает свои действия, не открывая их смысла. А смысл в них был, и немалый.

Вильгельм Кюхельбекер показал, что на площади, возле каре москoвцев, поручик Финляндского полка Цебриков, сочувствующий тайному обществу, «уговаривал Рылеева еще раз съездить в Финляндский полк».

Штейнгель показал: «В 7-м часу вечера (14 декабря.— Я. Г.) пошел я к Рылееву, коего спрашивал, был ли он там (на Сенатской площади.— Я. Г.); он сказал, что ездил токмо уговаривать Финляндский полк...»

Все три поездки — Розена, Репина и Рылеева — произошли приблизительно в одно время — от четверти первого до четверти второго. Они должны были встретиться у казарм. Так оно и было, ибо существует документ, фиксирующий эту встречу.

Держа в памяти показания Розена и Репина, а также свидетельства о поездке Рылеева в Финляндский полк, прочитаем этот документ — записку генерала Головина о расследовании поведения полковника Тулубьева:

«Касательно баталиона л.-гв. Финляндского полка, по распросам у всех ротных командиров, оказывается, что баталион выведен был из казарм до получения еще через генерал-адъютанта графа Комаровского высочайшего повеления, точно по приказанию баталионного командира полковника Тулубьева; что в то же время приехал к казармам капитан Репин, рапортовавший до того больным, который, разговаривая с полковником Тулубьевым, сказал между прочим вслух, что граф Милорадович убит, а Шеншин и Фридрихс ранены; что в сем разговоре их будто бы участвовал поручик 6-го Розен, еще неподалеку от них, по словам капитана Титова, находился будто бы какой-то человек во фраке, приехавший с Репиным, который, казалось, также принимал тут некоторое

участие, хотя стоял в отдалении, и капитан Титов полагает, что едва ли это не был Рылеев, с которым Репин всегда был в тесной дружбе. Потом баталион был отпущен в казармы по приказанию полкового командира, полученному через поручика Грибовского, который нарочно послан был от полковника Тулубьева в Зимний дворец.

Полковник Тулубьев со своей стороны утверждает, что он баталион вывел из казарм под ружье, не приказывая, однако же, брать с собою боевых патронов, по известию от полицмейстера Дершау, что Московский полк, взбунтовавшись, вышел на Исаакиевскую площадь и стреляет, что сие известие передано ему было через полковника Окулова и что баталион вывел он на тот конец, чтоб иметь его в готовности под глазами. Что капитана Репина он точно видел на улице, но особо с ним ничего не говорил, а что он сказал ему громко при многих офицерах по-французски: «Милорадович ранен...» — и потом по-русски: «Кровь наша, полковник, льется, помогите!» Больше же никакого он разговора с ним не имел, и во фраке никого тут не видел, и не знает, был ли кто.

Полковник Окулов показывает, что полицмейстер Дершау точно уведомил его о беспорядке, происшедшем в Московском полку, и что есть раненые и даже убитые генералы. Что он с известием сам пошел тотчас к полковнику Тулубьеву как к старшему и застал его еще на квартире и что сей последний по известию сему приказал ротам выходить из казарм*.

Генерал Головин затем делает вывод, благоприятный для Тулубьева. И Головин, и Окулов явно хотели представить поведение полковника в выгодном для него свете и объяснить такой опасный для этого дня факт, как вывод батальона без приказа свыше, служебным рвением.

В это можно было бы поверить — даже зная о принадлежности Тулубьева к тайному обществу, — если бы не финал его поведения в этот день. Когда генерал-адъютант Комаровский привез приказ Николая выступать и батальон двинулся к Сенату, чтобы принять участие в подавлении восстания, полковник Тулубьев не пошел с батальоном, которым командовал! Он фактически отказался защищать нового императора. Это стало главным обвинением против него.

Дело наверняка могло кончиться и каторгой, но Николай не хотел, чтоб среди мятежников, которых представляли кучкой развратных или беспомощных молодых людей, был еще один — кроме Трубецкого — гвардии полковник. Поскольку все действия Тулубьева носили характер нерешительный, двусмысленный, то его просто отправили в отставку...

* ОР ГПБ, ф. 380, № 58, л. 9 об.—10 об.

Но теперь, располагая разнообразными свидетельствами, мы можем представить себе, что же произошло в это время в Финляндском полку.

Около половины первого Розен вернулся в полк с площади. Он застал перед казармами Тулубьева, Окулова, Вяткина и двух своих единомышленников — Насакина 2-го и Бурнашева. Окулов сознательно сместил последовательность событий — Тулубьев в этот момент уже знал о мятеже москвичей, но батальон не выводил. Действия батальона зависели от него. Младшие офицеры готовы были его поддержать. Он знал, что мятеж, от участия в котором он вчера отказался, начался, и начался успешно и решительно, убиты и ранены генералы, пытавшиеся противостоять действиям его товарищей по тайному обществу. Полковник Тулубьев не мог не понимать, что у восставших есть шансы на победу. Характер происшествий в Московском полку показал ему, что с противниками восставшие не церемонятся. Известие о рубке в московских казармах вообще было сильным психологическим фактором — оно должно было резко влиять на позиции гвардейских офицеров разных рангов: одних оно оттолкнуло от восставших, других поставило перед возможностью гибели от руки собственных товарищей офицеров или солдат, третьим показало вдохновляющую решимость восставших. У нас мало материала, чтобы анализировать этот важнейший процесс воздействия слухов о кровавой схватке в Московском полку на сознание гвардейских офицеров и генералов, но в случае с Тулубьевым это сыграло несомненную роль...

У нас нет оснований сомневаться в фактической точности показаний Розена. Он сообщил Тулубьеву, с которым имел неоднократные разговоры в предыдущие дни, с которым накануне, очевидно, говорил Рылеев,— этому осведомленному, но колеблющемуся человеку Розен сообщил о том, что москвичи стоят на площади, что восстание началось, что «все полки идут к площади и нам должно идти туда же». Разумеется, для Тулубьева, Розена, Насакина, Бурнашева эта фраза имела совершенно определенный смысл — речь шла о движении на помощь москвичам. И полковник Тулубьев согласился. Мы не знаем, что именно сказал ему Розен, но изложил он свои новости убедительно. Он помнил просьбу Пущина — «достань еще помощи».

Полковник Тулубьев согласился выводить батальон, чтобы спешить к Сенату, возле которого стояли *только москвичи*. Нет, стало быть, возможности считать поведение Тулубьева лояльным к Николаю. Он согласился вести батальон туда, где стояли только мятежные роты.

Было начало первого. О приближении к площади преобращенцев Розен еще не знал.

В неопубликованном деле Тулубьева последующее сформулировано так: «Барон Розен при нем (Тулубьеве.— Я. Г.) велел людям выходить»*.

Не Тулубьев выстроил батальон по получении известий от полицмейстера, а Розен с согласия Тулубьева, по приезде с площади — от мятежного каре. «Дьявольская разница», как говорил Пушкин.

Но тут приехали Репин и Рылеев, которые выехали от Сената позже, — они уже знали о ранении Милорадовича.

Первое, что сделал возбужденный Репин, — крикнул Тулубьеву, что убит Милорадович. И это было для полковника чересчур. До этого ему был известен факт выхода полка — «вышел на Исаакиевскую площадь и стреляет» (Причем, «стреляет» явно позднейшего происхождения. До часу дня никто на площади не стрелял.) Он слышал об эксцессах мятежа, но судьба Милорадовича оглушила его.

Маятник пошел назад — Тулубьев приказал распустить батальон.

Мы можем представить себе эту тяжкую сцену — терзающийся сомнениями, теряющий внезапно вспыхнувший энтузиазм Тулубьев, пораженный результатом своих слов Репин, в отчаянии кричащий ему: «Кровь наша, полковник, льется, помогите!» Репин слышит стрельбу на площади — второй час пополудни — и верит, что для Тулубьева кровь москвичей — «наша кровь».

А чуть поодаль стоит Рылеев и видит, как исчезает надежда на тысячи штыков Финляндского полка...

Сегодня, зная все обстоятельства, мы понимаем ту роль, которую мог сыграть выход на площадь финляндцев. На площади в это время — со стороны Николая — только батальон преображенцев, скованный московским каре, и Конная гвардия. Выход финляндцев создавал перевес сил у мятежников.

Для того чтобы контролировать здание Сената и противостоять преображенцам и Конной гвардии, московского каре было достаточно. Финляндцы могли быть использованы как мобильная ударная сила.

Зимний дворец защищала в этот момент только рота этого же Финляндского полка — появление на Дворцовой площади батальона Тулубьева могло и должно было сильнейшим образом воздействовать на солдат караула...

Но кто бы двинул финляндцев на дворец?

Появление у Сената в этот ранний час кроме москвичей еще и Финляндского батальона могло оказать сильнейшее влияние на настроение Трубецкого. Своим ясным военным умом он не мог не осознать выгоды положения. Перед финляндцами, перешедшими Исаакиевский мост, открывалось

* ЦГАОР, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 233, л. 1.

незащищенное направление удара — по невскому льду на дворец.

Находившийся, как мы увидим, все первые часы восстания между Дворцовой и Сенатской площадями, Трубецкой без промедления узнал бы о выходе финляндцев.

И тут надо помнить еще одно — для того чтобы у солдат хватило решимости атаковать дворец, со всеми вытекающими последствиями, их должен был вести офицер, обладающий или высоким званием, то есть служебным, иерархическим авторитетом, что придавало бы этой акции законность в глазах солдат, или же высоким личным авторитетом, способный увлечь солдат эмоционально.

Потому офицеры-морьяки выбрали своим лидером Якубовича.

В данном случае служебный авторитет гвардии полковника Тулубьева мог сыграть решающую роль.

Крупная войсковая единица во главе с законным командиром — в первый период восстания, когда мятежники имели полную свободу действий, ибо им противостояли незначительные силы, — была бы фактором огромной значимости.

Даже после самоустранения Якубовича и Булатова в день 14 декабря была несколько моментов, когда линия успеха готова была резко пойти вверх. И хотя определялось это ненавистной Трубецкому игрой и сочетанием случайностей, но возможность такая тем не менее возникала.

Согласие Тулубьева на выход из казарм батальона было первой из таких возможностей.

На несколько трагически напряженных минут судьба восстания оказалась в руках полковника Тулубьева. Но решимость его была кратковременной и неустойчивой. Вихрь событий, который придал бы силы Рылееву, Оболенскому, Пущину, который понес вперед молодых офицеров-моряков и лейб-гренадер, оказался слишком силен для него. Полковника Тулубьева этот вихрь сломал.

Батальон вернулся в казармы.

Рылеев в отчаянии бросился к лейб-гренадерским казармам на Петроградскую сторону, «но, не доехав до оных, встретился с Корниловичем и, узнав от него, что Сутгоф уже со своею ротою пошел на площадь, воротился».

Было около часа дня.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК. 10—12 ЧАСОВ

Около восьми часов утра к Панову и Сутгофу в лейб-гренадерские казармы приехал Каховский. Он не просто навестил своих младших друзей и подопечных по тайному обще-

ству, но, бесспорно, сообщил им о позиции Якубовича. Более того, дальнейший ход событий дает основания предположить, что Каховский по поручению штаба восстания произвел и принципиальную переакцентировку плана. Поскольку — с самоустранением Якубовича — надежда на Гвардейский экипаж как на ударную часть ослабла, то лейб-гренадеры, которых должен был возглавить любимый ими полковник Булатов, по логике вещей выдвигались на первый план.

И здесь — в который уже раз! — приходится говорить об огромном значении для восстания строевых командиров в штаб-офицерских чинах, обладающих влиянием на солдат своей части. Как многозначительно, что в разгар мятежа члены тайного общества предлагают командовать москвичами полковнику Хвощинскому, а гвардейскими матросами — капитан-лейтенанту Козину. Выход из игры Якубовича сразу во много раз снизил в глазах декабристов боевую ценность Гвардейского экипажа. То, что во главе лейб-гренадер еще значился Булатов, делало полк пригодным для той роли, которая предназначалась первоначально морякам. Как мы увидим, действия «колонны Панова» делают это предположение отнюдь не беспочвенным...

У лейб-гренадер Каховский пробыл недолго — в начале десятого часа он был уже в Московском полку.

За связь штаба восстания с лейб-гренадерами ответствен был Петр Коновницын. Около девяти часов, побывав в Конной артиллерии и возле Кавалергардского полка, он отправился выполнять прямое поручение Оболенского. «...Приехал я в лейб-гренадерский полк к Сутгофу, где увидел Панова и Кожевникова, мне до сего незнакомых, они присили меня узнать, что делается в городе, то я и отправился на Петровскую площадь, где, не найдя никого, полагал я, что возмущение не будет иметь действия, и, желая спасти Сутгофа, отправился обратно в лейб-гренадерский полк, но, проезжая мимо штаба, увидел сани Искрицкого, зашел к нему, и он мне подтвердил, что все в городе спокойно».

Вскоре Искрицкий узнал, что москвичи выступили, но сообщить об этом Коновницыну уже не мог. Это недоразумение — неверная информация, которой Искрицкий снабдил Коновницына, — привело к печальным последствиям. Из Гвардейского штаба Коновницын бросился к лейб-гренадерам. «Полк уже был выведен к присяге. Панов стоял у ворот (это замечательная деталь — поручик Панов столь жадно ждал известий, что вышел к воротам казарм! — Я. Г.); я ему сказал, чтоб они присягнули императору Николаю Павловичу, а он передал это Сутгофу. Я же поехал домой, полагая, что все кончено».

Шел одиннадцатый час.

Готовые к действию, но сбитые с толку сообщением Коновницына, не решающиеся бессмысленно рисковать солдатами, Сутгоф и Панов встали в строй для присяги. Положение их было тем более затруднительно, что их товарищ по полку прапорщик Жеребцов, сочувствовавший их замыслам, приехав из города в одно приблизительно время с Коновницыным, сообщил, что сам видел знамена, которые несли из всех полков после присяги...

Лейб-гренадеры присягали неохотно. «Я видел,— утверждал Сутгоф,— что многие солдаты не поднимали рук и говорили между собой во время присяги».

Сутгоф и Панов заявили потом на следствии, что присягали чисто формально, ибо «в душе готовились к возмущению». Вообще, что касается этих двух офицеров, то поражают спокойное достоинство и, я бы сказал, спартанская ясность и твердость их ответов.

Подпоручик Андрей Кожевников, человек менее уравновешенный, чем Сутгоф и Панов, измученный напряжением последних суток, не мог вынести бездействия. Он еще перед присягой, во время построения, как утверждает полковое следствие, «явился пред 2 батальон в нетрезвом виде, здоровался с некоторыми людьми и спросил, зачем выходят. На ответ же, что идут к присяге, сказал. «Как? Ведь вы недавно присягали Константину?» Версия о нетрезвости Кожевникова идет от него самого. Защищаясь на следствии, он сказал, что, «желая ободриться, чрез меру ослабил себя горячим напитком». Сутгоф впоследствии категорически это отрицал. Но, как бы то ни было, Кожевников находился в состоянии крайнего возбуждения. Во время присяги он выбежал на галерею офицерского флигеля и закричал. «Ребята! Не присягайте! Обман!» Его арестовали.

Полк присягнул и был распущен по казармам.

Вскоре после одиннадцати к лейб-гренадерам примчались Одоевский и Палицын. Сутгоф показал: «После присяги прибыл корнет князь Одоевский ко мне, который сказал: «Что вы делаете? Вы изменяете своему слову. Все полки уже на площади».

И тут мы снова вступим в область предположений. Либо Одоевский хотел воодушевить Сутгофа и, зная, что эмиссары тайного общества уже находятся в полках, намеренно предвосхитил результат их деятельности, либо — что вероятнее — по дороге в полк они с Палицыным получили какие-то новые сведения от москвичей. Ведь когда Одоевский пересел на Васильевском острове в сани Палицына, москвичи уже стояли на площади — по другую сторону Невы.

Полковое следствие установило, что к казармам подъезжали два офицера — с черным и белым султанами — и стыдили

солдат за переприсягу. Это и были Одоевский и Палицын. Возможно, что, пока Одоевский искал Сутгофа, Палицын оставался на улице, и потому Сутгоф его не назвал.

Реакция Сутгофа на укор Одоевского была мгновенной и безукоризненно четкой. Он бросился в свою роту и сказал солдатам: «Ребята, вы напрасно присягнули, ибо прочие полки стоят на площади и не присягают. Наденьте поскорее шинели и амуницию, зарядите ружья, следуйте за мною на Петровскую площадь и не выдавайте меня!»

По опросу солдат и офицеров — сразу же после восстания — полковое следствие воссоздало удивительную картину: «Вся почти рота, следуя сему внушению, мгновенно оделась и побежала за своим поручиком. Полковой командир полковник Стюрлер, известясь о сем происшествии, поспешил догонять оную, и, достигнув уже в Дворянской улице, стал останавливать и уговаривать людей, но поручик Сутгоф, находясь впереди толпы, кричал. «Ребята, не выдавай, не слушайте его, а подавайся вперед!» Усилия полкового командира остались тщетны, а рота бросилась с большим еще противу прежнего стремлением за поручиком».

И дело здесь было не только в преданности роты Сутгофу, но и в самом настроении солдат, в остром ощущении общего неблагополучия происходящего и в готовности сопротивляться высокому командованию.

1-я рота лейб-гвардии Гренадерского полка, в шинелях, с запасом хлеба, с боевыми патронами в сумках, с заряженными ружьями, бежала к Сенату.

В казармах осталась большая часть двух батальонов.

Мы не знаем, успел ли Сутгоф предупредить Панова и был ли Панов в этот момент в пределах досягаемости. Но, конечно, весть о выходе 1-й роты мгновенно распространилась в полку, взвинчивая солдат.

А 1-я рота прошла сквозь Петропавловскую крепость, которую в этот день охраняли те же лейб-гренадеры, беспрепятственно пропустившие своих однополчан, спустилась на невиский лед и бегом двинулась по реке к Сенатской площади.

Было около половины первого.

У СЕНАТА. ПОСЛЕ ПОЛОВИНЫ ПЕРВОГО

Николай продолжал осуществлять свой пассивный план окружения восставших. Сразу после Конной гвардии пришел 2-й батальон преображенцев, который поставлен был на углу площади и Адмиралтейского бульвара вместе с ротами 1-го батальона, примыкая к левому флангу конногвардейских эскадронов. Подошедший Кавалергардский полк поставлен был

на самом бульваре на подходе к площади, перекрыв направление на Зимний дворец.

Пришло около двух эскадронов коннопионеров.

События на площади в это время разворачивались чрезвычайно стремительно и густо.

Для того чтобы понять характер происходящего, надо, помимо всего прочего, представить себе топографию этого театра военных действий. Сенатская, или, как ее чаще тогда называли, Петровская, площадь была стиснута с одной стороны заборами, огораживающими стройку Исаакиевского собора, сараями со строительными принадлежностями, штабелями дров, грудями камня, лежавшими на углу Адмиралтейства и набережной. Расстояние между боевыми порядками мятежников и правительственными войсками измерялось десятками метров. Между эскадронами Конной гвардии, стоявшими спиной к Адмиралтейству, и фасом московского каре было около пятидесяти метров. Судя по воспоминаниям Николая, груды камней лежали и в тылу конногвардейцев.

Небольшое пространство между восставшими и войсками императора заполнено было шумной, находящейся в постоянном движении толпой. Все это, вместе взятое, чрезвычайно затрудняло передвижение войск и делало невозможным любой стремительный маневр. Правительственным войскам было крайне сложно атаковать мятежное каре, но и восставшие оказывались в тактической ловушке, о которой мы еще будем говорить.

Относительно спокойными и выжидательными были только первые полтора часа пребывания москвичей на площади, да и то построение каре, присоединение многих членов тайного общества, приезд и отъезд офицеров связи, представителей других частей, все увеличивающаяся возбужденная толпа создавали впечатление разнообразия и активности. Затем события приняли по-настоящему бурный и динамичный характер — появление Милорадовича и выстрел Каховского, прибытие Конной гвардии и преображенцев, предвещавшие возможное боевое столкновение или же переход их на сторону восставших, медленное движение сквозь толпу роты преображенцев и эскадронов конногвардейцев для охвата мятежников.

С этого момента на первый план выдвигается Оболенский — единственный, по отсутствию Трубецкого, Якубовича, Булатова, представитель военного руководства восстания. Он понимал свою ответственность и находился в постоянном напряжении и готовности реагировать на события. «...Я сам был в столь смятенном положении от встречи моей с графом и едва минувшей опасности, угрожавшей нам от разговора его с солдатами и вновь угрожающей от приближающегося

батальона Преображенского полка». Декабристы ждали атаки превосходящих сил. Но ее не последовало.

Николай в этот первый период чувствовал себя очень и очень неуверенно. И не без оснований. Когда он в очередной раз выехал на площадь с бульвара, то из толпы ему закричали: «Поди сюда, самозванец, мы тебе покажем, как отнимать чужое». Николай, как бы ни бодрился он в записках, ощущал идущую со всех сторон враждебность, которую признавал как опасность совершенно реальную. Ни малейшей решимости быстро и жестко подавить мятеж он не проявлял. Он не был уверен ни в генералитете, ни в большинстве полков. А настроение окружающей толпы его подданных было совершенно очевидным. Для них, как и для многих солдат из лояльных частей, он был лишь удачливым самозванцем.

Больше всего в этот момент Николай — вопреки военному здравому смыслу — не хотел прямого столкновения. Капитан Преображенского полка Игнатьев вспоминал: «Когда подошли другие войска, государь приказал принцу Евгению Вюртембергскому занять ротую его величества Исаакиевский мост. Отправляя его от себя, государь сказал капитану (самому Игнатьеву.— *Я. Г.*): «ты станешь с ротой, где принц поставит, и если будут по вас стрелять, не отвечай, пока я сам не прикажу. Ты головой мне отвечаешь»*. Николай, таким образом, настойчиво ориентировал своих сторонников на пассивность, на положение страдательное. И приказ этот выполнялся неукоснительно. Когда эскадрон коннопионеров стал неожиданно менять позицию и Игнатьеву показалось, что коннопионеры атакуют его роту, он и тогда не сделал даже приготовлений к отпору.

Само по себе стягивание войск к площади не было решением проблемы. Проблема могла решить массивная атака на мятежное каре, с тем чтобы ликвидировать очаг мятежа до присоединения к москвичам других полков. Каждая минута промедления в это время работала на тайное общество. Но император, собравший к часу дня у Сената сильный кулак пехоты и кавалерии, во много раз по численности превосходящий мятежников, принципиально бездействовал. Хотя ждать можно было только ухудшения обстановки, он ждал.

И дождался.

Временные промежутки между событиями в этот период восстания оказываются при рассмотрении необычайно короткими. Если около двадцати минут первого, когда ранен был Милорадович, на площади стояли одни москвичи, а преобразенцы с императором еще только подходили, то за последующие полчаса каре оказалось лицом к лицу с одним пехотным батальоном и двумя кавалерийскими полками.

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 7.

А приблизительно без четверти час пришла рота лейб-гренадер Сутгофа и примкнула к фасу каре, обращенному к набережной.

Наискось пройдя по замерзшей Неве, лейб-гренадеры поднялись на набережную — возле Исаакиевского моста был водопой Конной гвардии. И тут выяснилось, что и операция по окружению москвичей — единственное, что предпринял Николай, — совершенно бессмысленна. Конногвардейцы и преобразенцы, блокировавшие набережную, не сделали даже попытки задержать мятежную роту. Тот же капитан Игнатьев воспроизвел удивительную картину: «Когда лейб-гренадеры отдельными командами, входя с Невы, беспрепятственно бежали возле, на присоединение к своим, чтобы стать в ряды мятежников, солдаты роты его величества приподнимали их сумы и, удостоверившись, по их тяжести, что полное число боевых патронов в них заключалось, острились между собою, уверяя, что их пули не попадут»*. Все мемуарные свидетельства сторонников Николая о том, что преобразенцы рвались уничтожить мятежников, гроша ломаного не стоят рядом с этой сценой. Никакого озлобления против восставших солдат самого надежного полка явно не испытывали.

Приход роты Сутгофа был моментом огромной значимости и для восставших, и для правительственной стороны. Он показал, что москвичи не одиноки, что процесс сопротивления присяге развивается, что можно ждать любых сюрпризов.

В материалах полкового следствия говорится: «По показанию нижних чинов 1-й роты видно, что поручик Сутгоф, прибежав на площадь, поцеловался с князем Щепиным-Ростовским... в сие время подошло много партикулярных людей с пистолетами, кинжалами и саблями и стали целовать поручика Сутгофа, а людям говорили: «Ребята, как можно старайтесь не выдавать нас. Вот скоро прибегут сюда на помощь и финляндского полка солдаты».

Кривая настроения восставших резко пошла вверх. Бестужевы, Пущин, Каховский, Щепин знали, что в Финляндском полку сейчас находятся Розен, Рылеев, Репин. И они верили, что им удастся вывести финляндцев.

Но в это время полковник Тулубьев уже распустил выстроенный было для движения к площади батальон...

События, как я уже говорил, в эти полчаса шли чрезвычайно густо. Если бы мы могли взглянуть сразу после ранения Милорадовича на Сенатскую площадь и прилегающее пространство с птичьего полета, то увидели бы непрерывное движение войск в разных направлениях и с разной интенсивностью. Мы увидели бы, как в половине первого, обогнув заборы, пришла Конная гвардия и пять ее эскадронов двину-

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 8.

лись вдоль Адмиралтейства, а два медленно, сквозь толпу, пошли глубоким обходом по соседним улицам, чтобы выйти на площадь с другой стороны и закрыть Галерную. Мы увидели бы, как за спинами пяти конногвардейских эскадронов, ставших тылом к фасаду Адмиралтейства, пошла 1-я рота преображенцев, которую вели принц Евгений Вюртембергский и флигель-адъютант полковник Бибиков, чтобы перекрыть подходы к Исаакиевскому мосту. Через несколько минут после того, как преображенцы заняли свою позицию, с Невы вышла рота Сутгофа. И еще мы увидели бы, как тысячи и тысячи людей из разных концов столицы тянутся к площади...

Гвардейский экипаж был вырван из состояния пассивного мятежа выстрелами на площади. Что это были за выстрелы? Считается, что моряки слышали залпы москвичей, отбивавших атаку кавалерии. Но кавалерийские атаки начались значительно позднее.

Первыми выстрелами в этот день были выстрелы москвичей после ранения Милорадовича. Они и были услышаны в морских казармах и переломили, двинули ход событий. Они произвели на гвардейских матросов такое потрясающее впечатление именно потому, что были первыми знаками начавшейся схватки сторонников и противников Константина. После этого стрельба на площади велась постоянно. Но уже в присутствии и при участии экипажа.

Экипаж прибыл к Сенату вскоре после лейб-гренадер Сутгофа.

Не успел полковник Бибиков вернуться с набережной в «ставку» императора на углу площади и бульвара, как получил новое задание. «В эту минуту вдали, от Морских казарм, показывается Морской экипаж, бегущий по Галерной с распущенным знаменем. Государь, оборотясь к Бибикову (Бибиков пишет о себе в третьем лице.— *Я. Г.*), изволил приказать: «пойди и узнай, что делается с экипажем и что он медлил прибытием». Ничего не было положительно известно о расположении этой части войск. Бибиков бросился бегом вдоль забора Исаакиевской церкви и сквозь толпу народа, швырявшего камнями и поленьями дров в близ стоявший конногвардейский полк. Бибикову пришлось пробиваться сквозь толпу и проходить сквозь цепь, расставленную мятежниками,— его схватили, едва не убили и жестоко избивали»*.

Вообще надо сказать, что восставшие очень активно пикетировали площадь. Когда Одоевский прискакал к Сенату после поездки к лейб-гренадерам (он, очевидно, побывал дома и взял коня), он возглавил выдвинутый вперед взвод москвичей, усиливший стрелковую цепь.

* ОР ГТБ, ф. 380, № 57, л. 29.

Теперь понятно, почему конногвардейцы были отправлены к Галерной глубоким обходом. Пройти коротким путем они могли бы только с боем, а этого Николай не хотел. Два эскадрона Конной гвардии еще пробирались где-то, когда с Галерной вырвались матросы Гвардейского экипажа. Тысяча сто человек встали колонной к атаке между заборами и московским каре. И снова в рядах восставших началось ликование. Теперь возле монумента основателя гвардии стояло около двух тысяч мятежных гвардейцев, и основы, на которых воздвигнуто было здание империи, ощутило заколебались.

Гвардейский экипаж пришел с большинством офицеров, с полным составом нижних чинов. Значительная часть матросов имела боевые заряды в сумках. Моряки тоже выдвинули стрелковую цепь под командой Михаила Кюхельбекера.

Было не менее часа пополудни...

К сожалению, даже подробные воспоминания участников событий — с той и с другой стороны — не дают сколько-нибудь точной хронологии дня. А следствие этой хронологией не интересовалось — следователи и сами знали, что когда происходило. И нам приходится устанавливать очередность и время того или иного действия по отрывочным данным, по сопоставлениям фактов, наконец, по логике ситуаций.

Например, можно с уверенностью сказать, что кавалерийские атаки начались уже после подхода лейб-гренадер Сутгофа и экипажа. Выясняется это достаточно просто. Конная гвардия подошла к площади не ранее половины первого, а лейб-гренадеры и матросы пришли от без четверти час до часу. Таким образом, между этими событиями прошло не более двадцати минут — получаса. За это время конногвардейские эскадроны выстроились вдоль Адмиралтейства, а рота преобращенцев встала на набережной. На ограниченной заборами, сараями, камнями, заполненной толпой площади каждый маневр требовал немало времени. Известно, что конногвардейцы атаковали мятежников с нескольких направлений — «эскадроны со всех сторон понеслись в атаку», как свидетельствует принц Евгений. Есть и еще свидетельства такого рода. Но это значит, что атака производилась уже после того, как два эскадрона вышли к Сенату. А все эти перемещения никак не могли быть проделаны за те двадцать минут, что москвичи и Конная гвардия были одни на площади. Николай просто не успел бы организовать атаку каре до прихода других восставших частей. Кроме того, как мы увидим, есть и прямые свидетельства, что еще до атаки матросы и лейб-гренадеры стояли рядом с москвичами...

Два эскадрона конногвардейцев под командованием полковников Апраксина и Вельо, направленные к Сенату и Синоду, чтобы закрыть Галерную и занять позицию для возможной атаки, первыми столкнулись с восставшими. Пол-

ковник Вельо перед началом маневра осмотрел площадь и увидел весьма нерадостную для правительственных войск картину: «Деревянный забор около строящегося Исаакиевского собора выступал вперед у дома Военного министерства, и шайка революционеров, покинув свою прежнюю позицию перед Сенатом, скучилась перед этим забором и образовала каре, фронт коего обращен был к памятнику Петра I, левая сторона каре была обращена к дому, где ныне Синод... Правый фланг мятежников был обращен к Адмиралтейской площади. Забор служил им опорой с четвертой стороны. Каре это состояло из гренадер, моряков, Московского полка...» Ошибка Вельо относительно перемещения «шайки революционеров» понятна — колонна Гвардейского экипажа, вставшая между заборами и каре москвичей, создала у него впечатление, что все построение сдвинулось в эту сторону. Тем более что матросы и в самом деле стояли гораздо ближе к забору, чем мы обычно думаем и чем это изображается на планах. Поручик Цебриков, офицер-финляндец, который находился на площади с экипажем, показал: «Когда я во второй раз подошел к матросам впереди стоящим, то сказал 4-му взводу подвинуться к забору, дабы не пускать черни...» То есть колонна экипажа стояла настолько близко от заборов, что небольшое перемещение взвода перекрывало проход из одной части площади в другую. Каре и колонна к атаке, стало быть, рассекли площадь пополам. Недаром все передвижения правительственных войск происходили вокруг Исаакиевского собора и по соседним улицам.

И впечатление Вельо, и печальная участь Бибикова, ранее не сумевшего пройти мимо заборов и задержанного целью москвичей, свидетельствуют о том, что восставшие в этот период были хозяевами площади. Атаковать боевые порядки, которые благодаря особенностям окружающего пространства контролировали огнем в упор все четыре направления, было конечно же трудно и опасно...

Глубоким обходом подойдя к площади со стороны Синода и Сената, эскадроны Апраксина и Вельо столкнулись с тяжелыми препятствиями. Вельо вспоминал: «Подойдя к нашему манежу (рядом с площадью.— *Я. Г.*), Апраксин остановился. Я подъехал к нему спросить, в чем дело. Он указал мне на шайку мятежников, скрывавшихся за забором и вооруженных палками с гвоздями, ружьями и ножами, и затем мы увидели, что весь левый фланг мятежников целится в нас. Тогда я посоветовал Апраксину скомандовать своему и моему эскадронам галопом проскакать меж них — что он и исполнил, но в момент нашего натиска нас осыпали градом пуль из этого каре. Большая часть выстрелов ударила о наши кирасы, не причинив нам вреда».

Движение этих двух эскадронов было фактически проры-

вом по узкому коридору в толпе народа, частично вооруженного, между фасадом Сената и фасом московского каре. В первые мгновения восставшие решили, что конногвардейцы присоединяются к ним. Колонна экипажа пропустила их мимо себя без выстрелов, а москвичи встретили криками. «Ура, Константин!» Но когда конногвардейцы ответили. «Ура, Николай!» — то москвичи без команды дали два неприцельных залпа с руки, ранив несколько человек. Это, конечно, была «демонстрация силы». Если бы огонь велся прицельно, то оба эскадрона, находившиеся в полутора десятках шагов от каре, были бы уничтожены. Подоспевший от набережной Михаил Бестужев остановил стрельбу. «Когда кавалерия обскакивала, я удерживал людей и закричал, чтобы никто не осмеливался стрелять».

Ни та, ни другая сторона еще не хотела боевых действий. Николай рассчитывал, что мятежные части вернутся в казармы, поняв безнадежность своего положения, и не хотел провоцировать их на наступательные действия, а декабристы твердо рассчитывали на присоединение выведенных против них полков. Когда конногвардейцы оказались вплотную перед каре москвичей, то была сделана попытка перетянуть их на сторону восставших. Кавалергард Горожанский, член тайного общества, придя в самом начале восстания к каре и поговорив с Одоевским, поднялся затем в Сенат и оттуда, из окна, наблюдал за происходящим. К сожалению, он крайне скупо рассказал о том, что он видел с этого идеального наблюдательного пункта. Но о попытке агитировать конногвардейцев он сообщил дважды в своих показаниях. «Тут много ходило во фраках, т. е. в партикулярном платье, с пистолетами, но лица вовсе мне неизвестны, по крайней мере из окна не мог заметить, но знаю, из офицеров видел все Одоевского, который что-то рассуждал руками к Конной гвардии». И еще. «А я, увидя его (Одоевского.— Я. Г.) действия, будучи в Сенате, откуда хотя и не слышно было разговоров, но видно было, как он декламировал».

Речь идет, естественно, все о тех же двух эскадронах, что, едва не погибнув, стали у Сената. Но осязательного результата эта агитация не дала. Конногвардейцы могли симпатизировать и требованиям восставших, и лично своему сослуживцу Одоевскому, но никто из конногвардейских офицеров, членов тайного общества, не решился в этой ситуации призвать солдат к неповиновению, а солдаты, находясь в строю, не решились проявить инициативу...

И вот тогда, скорее всего, Николай решился атаковать. Он понимал, что дальше выжидать опасно. Ему было известно о волнениях в Измайловском полку, который все не приходил, и, если бы он вышел на стороне мятежников, это было бы для Николая катастрофой. Все еще не было Семеновского

полка. Неизвестно, что происходило с оставшимися ротами Московского полка. Не было на площади великого князя Михаила, бросившегося в московские казармы. Не было на площади командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома. Не было Егерского полка. Не было финляндцев, за которыми послан был генерал Комаровский. Неизвестно было, на чьей стороне появятся на площади полки.

А кроме того, все активнее становились толпы народа. Николай так изобразил этот момент.

«Шум и крик делались все настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в Конной гвардии и перелетали через войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх.

Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп, пули просвистали мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были бы в самом трудном положении».

Императора в равной степени тревожило настроение войск и народа.

Первая атака — по моим расчетам — началась около половины второго. Это подтверждается и тем, что оставшиеся в казармах роты лейб-гренадер именно в это время двинулись к площади, услышав залпы. Казармы полка были далеко, и нужны были именно массированные залпы, а не разрозненная стрельба, чтобы потрясти сознание лейб-гренадер и подтолкнуть их к мятежу...

Атака Конной гвардии на боевые порядки восставших шла с двух направлений — от Адмиралтейства и от Сената. Есть целый ряд свидетельств об этой атаке. Они нечетки по хронологии, но дают ощущение происходящего.

Сам Николай описал атаки кратко: «Я согласился испробовать атаковать кавалерию. Конная гвардия первая атаковала поэскадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио лишился руки».

Принц Евгений объясняет целесообразность кавалерийской атаки тем, что «в пехоте чувствовался недостаток, но кавалерии было довольно». На стороне императора и в самом деле в то время из пехотных полков были только преобразенцы.

Принц Евгений предлагал атаковать толпу народа и опрокинуть ее на боевые порядки восставших, тем самым сбив их

с позиции и рассеяв. Однако замысел этот не удался. «Предвидя опасность, народная толпа разбежалась, прежде чем последовал сигнал к атаке, и внезапно опустевшая площадь представила глазам мятежную колонну, готовую принять бой. Когда, наконец, сигнал был подан, и кавалерийские эскадроны со всех сторон понеслись в атаку, то их встретили из колонны мятежников несколькими отдельными выстрелами, а под конец даже и залпами. По большей части они были направлены в воздух, но все-таки несколько всадников было убито и ранено».

Полковник Вельо тоже подтверждает атаку с двух направлений: «Когда я увидел, что 4 и 5 эскадроны, стоявшие около дома Военного министерства, перешли в наступление, я хотел скомандовать своему то же и поднял руку с палашом — но в эту минуту пуля ударила в мой локоть и проскочила сквозь него». Вельо стоял, как мы помним, у Сената, а 4-й и 5-й эскадроны — со стороны Адмиралтейства.

Атака не удалась. И вовсе не потому, что палаша были не отпущены, то есть не наточены, — рубанув пехотинца по голове и тупым тяжелым палашом, можно вывести его из строя. Да и задача была у кавалерии вполне определенная — ей надо было смять и рассеять пехоту, а для этого достаточно вломиться в нее конями. Но Конная гвардия, проскакав несколько метров, стала поворачивать, хотя, по свидетельству Сутгофа, московцы и лейб-гренадеры обошлись с ней очень гуманно: «Первые атаки производились на лейб-гренадер и московцев, которые с большим успехом отражали конногвардейцев холостыми зарядами; последняя атака была на Гвардейский экипаж, тут им не поздоровилось, матросы их встретили боевыми зарядами, ранили полковника Вельо и многих конногвардейцев». Сутгоф, вспоминая это через много лет, не совсем прав — Вельо был ранен в первой атаке. Истина, очевидно, заключается в том, что экипаж поддержал батальным огнем фас каре, выходящий к Сенату. То, что лейб-гренадеры отбивали первую атаку холостыми зарядами, ясно и из показаний Сутгофа на следствии. Он на первом допросе показал, что его рота пришла, имея в ружьях холостые патроны, «но после атаки кавалерии зарядили люди боевыми патронами».

Не меньший урон, чем от огня, конногвардейцы у Сената понесли от камней и поленьев людей, забравшихся на сенатскую крышу. Эта бомбардировка велась постоянно, и в конце концов два эти эскадрона вынуждены были переместиться на набережную — к Исаакиевскому мосту.

Но главной причиной неудачи конногвардейцев — прекрасно обученных, прошедших наполеоновские войны кавалеристов, умевших рисковать жизнями, — было их нежелание доводить дело до смертельной схватки.

Николай еще несколько раз посылал кавалерию: «Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха». Вернее, без всякого успеха.

Сами декабристы вспоминали на следствии о кавалерии как о чем-то не очень серьезном.

Арбузов показал: «Когда первый раз конногвардейский офицер велел кавалерии идти на экипаж, что я заметил из движения руки, пошел сейчас к первому дивизиону, где у некоторых солдат уже ружья были наизготовку. Кавалерия в это время стала подвигаться, я велел взять ружья на руку и сам стал между первым и вторым взводом. Кавалерия, подъехав, постояла несколько и по команде своего офицера пошла на свое место, а я пошел на левый фланг, ибо тут составляться стала куча фраков. Спустя долгое время стоял спиной к батальону, вдруг услышал с правого фланга выстрелы, увидя барабанного старосту, закричал, чтоб ударил отбой, что в то же время исполнено, и пальба прекратилась».

Есть множество свидетельств, что офицеры-декабристы приказывали солдатам не стрелять во всадников, а целиться в лошадей, равно как и вообще удерживали солдат от стрельбы. А стрельбы на площади было много, и стреляли именно восставшие. Солдаты без команды реагировали огнем на всякие перемещения кавалерии. Но, как правило, стреляли вверх. Очевидно, в воинственность кавалеристов они не верили.

Однако все необходимые меры предосторожности принимались. Александр Бестужев показал: «Ружье у какого-то унтер-офицера я... брал, когда Конная гвардия вторично пошла на нас в атаку, ибо, стоя на углу карея во фронте, я с саблею подвергался с двух сторон нападению, а на штык лошадь не пойдет».

Восставшие не хотели обострять обстановку, но были готовы к любому повороту событий.

Скорее всего, интенсивные атаки кавалерии — Конной гвардии и кавалергардов — происходили приблизительно с половины второго до двух часов. Результатов они не дали, и Николай отказался от этих попыток.

К двум часам подошли наконец остальные полки, и окружение было завершено. Пришел с большим опозданием Измайловский полк, за которым специально был послан генерал Левашов. Николай поставил этот полк в резерве — в тылу преображенцев на Адмиралтейском бульваре, лишив тем самым ненадежных измайловцев возможности прямого контакта с мятежниками.

Пришел Семеновский полк во главе с бывшим членом тайного общества Иваном Шиповым и встал по другую сторону площади, со стороны Конногвардейского манежа.

Михаил Павлович привел те роты москвичей, которые ему удалось уговорить. Их поставили у заборов — на углу бульва-

ра и площади. А великий князь повел — разумеется, обходным путем — сводный батальон павловцев в Галерную.

Теперь все возможные пути наступательных действий или отхода восставших были перекрыты.

Николай, однако, очень беспокоился о безопасности дворца. И около двух часов император, взяв с собой эскадрон кавалергардов, поехал на Дворцовую площадь.

ФЕНОМЕН БИСТРОМА

Оценивая впоследствии поведение различных лиц 14 декабря, император Николай, сообщив об уликах, которые были против Сперанского и Мордвинова, написал: «Странным казалось тоже поведение покойного Карла Ивановича Бистрома, и должно признаться, что оно совершенно никогда не объяснилось. Он был начальником пехоты гвардейского корпуса; брат и я были его два дивизионные подчиненные ему начальники. У генерала Бистрома был адъютантом известный князь Оболенский. Его ли влияние на своего генерала, или иные причины, но в минуту бунта Бистрома нигде не можно было сыскать; наконец он пришел с лейб-гвардии Егерским полком, и хотя долг его был — сесть на коня и принять начальство над собранной пехотой, он остался пеший в шинели перед Егерским полком и не отходил ни на шаг от одного, под предлогом, как хотел объяснить потом, что полк колебался, и он опасался, чтоб не пристал к прочим заблудшим... Поведение генерала Бистрома показалось столь странным и малопонятным, что он не был вместе с другими генералами гвардии назначен в генерал-адъютанты, но получил сие звание позднее».

Генерал-адъютантское звание Бистром получил только после активного вмешательства принца Евгения Вюртембергского. Чтоб так оскорбить одного из самых заслуженных генералов, командующего гвардейской пехотой, надо было иметь серьезные основания.

Николай знал куда больше, чем написал здесь. Он знал и о роли Бистрома 25—27 ноября.

Возможно, что кроме полной пассивности на площади, дружеского покровительства Оболенскому и поддержки замыслов Милорадовича император числил за Бистромом и другие грехи.

Поведение командующего гвардейской пехотой в день 14 декабря — одно из основных составляющих сложнейшей событийной мозаики. И, чтобы понять смысл и характер действий генерала, надо проследить его путь с утра.

Присягнув вместе с гвардейским генералитетом во дворце в девять часов, Бистром около десяти часов присутствовал

на присяге 1-го батальона преображенцев, что соответствовало циркуляру — он наблюдал за присягой в старейшем полку, потом он заехал в казармы 2-го Преображенского батальона у Таврического сада, а оттуда отправился в 4-ю пехотную бригаду, состоявшую из Финляндского и Егерского полков.

В донесении штабу Гвардейского корпуса «о происшествии 14-го числа» командующий 4-й бригадой генерал Головин уделил так много места действиям Бистрома, что неизбежно возникает мысль — то ли от него требовали сведений о поведении начальника пехоты, то ли ему самому это поведение показалось странным и он подсознательно пытался его разгадать. Во всяком случае, подробное донесение Головина дает основания для некоторых выводов. «Около 11-ти часов генерал-лейтенант Бистром 1-й прибыл ко мне на квартиру,— пишет Головин,— где, дождавшись, пока принесут знамена, и батальоны (Финляндского полка.— *Я. Г.*), кроме роты его высочества, которая была в карауле, выстроились на проспекте против своего госпиталя, прибыл к полку вслед за мною».

Присяга в Финляндском полку, как мы знаем, прошла спокойно.

«Потом генерал-лейтенант Бистром 1-й отправился к Измайловскому полку, а я, спустя несколько времени, поехал в казармы лейб-гвардии Егерского полка... Тогда было уже около 11-ти часов»*. (При сопоставлении донесения Головина с другими источниками выясняется, что он сдвигает время вперед приблизительно на полчаса.)

Присяга у измайловцев уже закончилась, и не совсем понятно, зачем поехал туда Бистром, которому надлежало посещать не присягнувшие еще полки. В этот момент произошла некая странность — хотя император и командование корпуса были крайне заинтересованы в скорейшем проведении присяги. Бистром запретил приводить к присяге Егерский полк, пока он сам туда не прибудет. Никакие правила или циркулярные указания не требовали его присутствия у егерей в момент присяги. И тем не менее он счел нужным надолго задержать присягу этого полка.

Генерал Головин между тем направился к егерям. «По прибытии в лейб-гвардии Егерский полк нашел я полкового командира полковника Гартонга и всех офицеров 1-го батальона, ибо 2-ой находился в карауле, собранными в дежурной комнате, и люди были уже одеты в казармах. Но так как начальник назначил присяге быть при себе, то, дабы не заставлять его дожидаться, если не держать батальона слишком рано собранным во дворе, приказал я полковнику Гартонгу

* ОР ГПБ, ф. 380, № 58, л. 12—14 об.

послать к нему офицера, который бы заблаговременно мог нас предупредить, когда выводить людей строиться для присяги».

Головин нервничал. Он понимал, что присяга должна была уже закончиться во всех полках — было около двенадцати (он ехал от финляндцев, с Васильевского острова, напрямик через Неву, туда, где «вдоль Фонтанки» стояло большинство пехотных полков, в том числе егеря, не менее двадцати минут), — а егеря оставались неприсягнувшими.

И тут выясняется вторая странность — измайловцы стояли совсем рядом с егерями, и Бистрому естественно было поспешить именно к неприсягнувшим и дождавшимся его егерям. Но Головину и Гартонгу стало известно, что начальник гвардейской пехоты собрался предварительно посетить Московский полк, что было странно, — егеря стояли между измайловцами и москвцами, и, чтобы попасть к москвцам, Бистрому надо было специально миновать егерей.

Начальник гвардейской пехоты как мог оттягивал присягу Егерского полка.

Но дальнейшие события внесли коррективы в планы Бистрома.

Головин доносит: «Спустя несколько времени отправленный с сим поручением прапорщик Нольянов прибыл обратно. Полковник Гартонг, вышедший к нему навстречу, возвратился в дежурную комнату и сказал мне тихонько, что прапорщик Нольянов, думая найти начальника пехоты в Московском полку, поехал в казармы Глебова дома, где его не было; но он нашел там все в величайшем смятении; что нижние чины толпою теснились на дворе, офицеры бегали с обнаженными шпагами; что генерал-майоры Шеншин 1-й и Фридрихс были порублены, и что наконец большая часть Московского полка, схвативши знамена, побежали из казарм на улицу с криком: «Ура Константину!» Полковник Гартонг, пересказав сие, предложил мне привести 1-й батальон его полка к присяге, не дожидаясь начальника пехоты и пока слухи о беспорядках, происходивших в Московском полку, еще не распространились».

Теперь нужно прервать последовательность происходящего и попытаться понять, почему генерал Бистром до последнего предела оттягивал присягу именно Егерского полка.

Бистром командовал гвардейскими егерями двенадцать лет. Он стал командиром полка в 1809 году и прошел с егерями десятки сражений. Именно гвардейские егеря приняли под Бородином первый удар французов (имеется в виду не бой у Шевардинского редута, а главное сражение). Современник писал: «Кто видел Бистрома с храбрым л.-гв. Егерским полком, оборонявшего мост в Бородинской битве, тот при

желании воспламенить душу и приподнять дух солдат не будет прибегать к рыцарским временам и не станет искать в седой старине для личной храбрости лучшего примера»*.

Лейб-гвардии Егерский полк в войну 1812 года и во время заграничных походов получил все возможные награды за храбрость — кроме георгиевских знамен он имел еще и георгиевские трубы.

Егеря, отличавшиеся самоубийственной храбростью даже среди русских гвардейских полков, были достойны своего командира, а командир — умный, спокойный, абсолютно бесстрашный — достоин своих солдат.

В 1825 году в полку было еще немало солдат, которые дрались рядом с Бистромом под Бородином, под Люценом и Кульмом, которые выносили своего раненого командира с поля боя. Егеря пошли бы за Бистромом куда угодно. И он это знал.

Знал он и то, что полк был против переприсяги. Егеря во время междуцарствия говорили об этом открыто. Шефом полка был цесаревич Константин. И егеря грозили, что если их будут заставлять присягать другому, то они пойдут за своим шефом в Варшаву.

В полку прекрасно помнили «норовскую историю», происшедшую три года назад и стоившую егерям лучших офицеров. И солдаты, и Бистром знали цену образованному, храброму офицеру капитану Норову, который прошел в составе полка Отечественную войну и заграничные походы, был тяжело ранен под Кульмом, выполняя приказ Бистрома, и Николаю, не нюхавшему пороху солдафону, оскорбительно третиравшему боевых офицеров.

Без сомнения, храбрец и умница Норов, три года сражавшийся на глазах у Бистрома, был ему ближе, чем Николай...

Лейб-гвардии Егерский полк был предан Бистромом, хотел сохранить верность Константину и не любил Николая. (Когда 14 декабря полк шел к площади, то часть солдат попыталась вернуться в казармы — защищать Николая они не хотели.)

Петр в критические моменты опирался на Семеновский и Преображенский полки, Меншиков — на Ингерманландский полк, Анна Иоанновна и Бирон создали себе опору в виде Измайловского полка. Это была традиция российской политики.

В критической ситуации 14 декабря Бистром хотел иметь под рукой лично преданный ему полк. Причем полк, не связанный присягой Николаю.

И если бы Головин и Гартонг, придя в ужас от известий о бунте москвичей, не нарушили приказа своего начальника,

* Лукьянович Н. Биография генерал-адъютанта Бистрома. СПб, 1841, с. 11.

Бистром привел бы на площадь полк, сохранявший верность Константину...

Тогда возникает другой вопрос: зачем нужно это было начальнику гвардейской пехоты? Ответ может быть один: Бистром, принявший с начала междуцарствия сторону Милорадовича, заверивший Оболенского, что присягнет только Константину, вел ту же игру, что и Милорадович, — то есть надеялся на сопротивление гвардии переприсяге и собирался принять некое участие в последующих событиях. И в этом случае полк, всецело ему преданный, готовый выполнить любой его приказ, да еще к тому же не присягавший новому императору, был бы очень кстати.

Но мог ли Бистром знать о готовившемся выступлении? Даже если не принимать во внимание вполне возможный альянс с Милорадовичем, то целый ряд обстоятельств указывает на его осведомленность, разумеется ограниченную, о деятельности его адъютантов и их друзей.

Розен писал в воспоминаниях: «С лишком два месяца все подозревали его (Бистрома.— Я. Г.) тайным участником восстания или, по крайней мере, в том, что он знал о приготовлениях к 14-му декабря, потому что большая часть его адъютантов были замешаны в этом деле, а старший из них был главным зачинщиком и начальствовал над восставшими солдатами».

Розен передает дошедшие до него слухи. Но важно прежде всего то, что мысль о причастности Бистрома к восстанию казалась тогда вполне естественной. Важно, что Розен и его современники отнюдь не отвергали ее как абсурдную. Это, по их мнению, могло быть. О том же, собственно, говорит и Николай.

У тех, кто связывал поведение Бистрома с влиянием Оболенского, были для этого основания — Оболенский и Ростовцев, члены тайного общества, жили в соседних с генералом комнатах. У Оболенского в последние дни перед восстанием устраивались довольно многочисленные собрания офицеров. Там бывали и кавалеристы, которые не находились в его ведении, как старшего адъютанта командования гвардейской пехотой. Мог ли Бистром не замечать этих сборищ?

Почему, как мы помним, младший брат Бистрома генерал Бистром 2-й беспокоился о нем утром 14 декабря?

Почему начальник гвардейской пехоты, выполнив свой формальный долг — посетив присягу «коренного» Преображенского полка, стал объезжать именно ненадежные части — Финляндский и Измайловский полки? Случайность это или нет? Мог ли он знать от Оболенского, что эти полки особенно не расположены к Николаю?

Финляндский, Измайловский, Московский и Егерский полки были в поле зрения Бистрома утром 14 декабря.

Когда Оболенский утром объезжал полки, то спешил он вслед за Бистромом, пытаясь застать его в казармах. «Ехал мимо казарм Гвардейского экипажа, Измайловского, Семеновского, Егерского и Московского, брав сведения, учинена ли присяга или нет, и был ли генерал в казармах». Кроме Семеновского полка, который было просто не миновать на этом маршруте, Оболенский объезжал опять-таки, во-первых, ненадежные части, а во-вторых, те, которыми особенно интересовался в эти часы Бистром.

Сообщил ли Оболенский Бистрому о готовящемся сопротивлении второй присяге? Бистром ли, любивший своего адъютанта, всецело ему доверявший и нуждавшийся в его организационной помощи, сообщил ему нечто, известное ему самому от Милорадовича с его тайной полицией, собиравшей данные о настроениях в полках? Можно только гадать. Но явная связанность их действий в это утро наводит на размышления.

И еще один штрих — почему Бистром, узнав о роли Ростовцева в событиях, о его свидании с императором, грубо порвал со своим вторым адъютантом? Почему он решился резко отстранить от себя офицера, которого после восстания демонстративно приблизил молодой император?

Бистром вопреки своим намерениям не посетил после Измайловского Московский полк, быть может потому, что узнал о мятеже москвичей, — в это время дня мало кто об этом не знал. Поехал ли он к егерям прямо от измайловцев или заезжал еще куда-то — неизвестно. Но у егерей он оказался после двенадцати, когда 1-й батальон уже присягнул. Делать было нечего — Бистром одобрил действия Головина.

Услышав — возможно, не впервые — от Головина о событиях в Московском полку, Бистром, вместо того чтобы немедленно туда поспешить для наведения порядка, послал поручика Бера, адъютанта Головина, за подробностями. Что крайне странно.

Бистром был человеком блестящей храбрости. Нет оснований думать, что он боялся ехать в казармы мятежного полка. Он не желал этого делать по каким-то иным причинам. Быть может, потому, что, приехав туда, он волей-неволей должен был бы агитировать за Николая. А он этого явно не хотел.

Поручик Бер вернулся с известием, что командующий корпусом Воинов уже у москвичей и требует Бистрома к себе. Бистром поехал, взяв с собой Головина.

Официальные и официозные сведения о происходившем в Московском полку после ухода восстановивших рот, которыми мы обычно пользуемся, отнюдь не соответствуют действительности. Те роты, которые в начале одиннадцатого часа не последовали за Щепиным и Бестужевым, волновались и бур-

лили в казармах. Прапорщик Нольянов, появившийся в Московском полку около двенадцати, «нашел там все в величайшем смятении... нижние чины толпою теснились на дворе, офицеры бегали с обнаженными шпагами». (Это никак не может относиться к самому мятежу, ибо с тех пор прошло уже более часа.)

Офицеры с обнаженными шпагами пытались обуздать возбужденных солдат. И в какой-то степени им это удалось. Во всяком случае, когда Бистром и Головин прибыли к москвцам, они застали роты неприсягнувшими (первый час дня!), но уже в строю.

«По прибытии нашем на Глебов двор, где были уже и командующий корпусом, нашли мы примерно роты две, стоявшие во фронте, и многих офицеров лейб-гвардии Московского полка, которые рассказали нам вкратце происшедший в полку известный беспорядок. Стоявшие в строю люди были совершенно спокойны; но другая куча числом около сорока, стоявшая далее в углу при входе на другой двор, казалось, были в расположении буйном. К сей последней начальник пехоты, поздравившись с фронтом, подошел, и я также вместе с ним; люди, составлявшие сию отдельную кучу, были разных рот, в мундирах и с ружьями. Они не показывали, впрочем, никаких дерзких намерений, сохраняли должную вежливость; но только не хотели строиться, отзываясь, что роты их нет, видно также было, что они находятся в смущении и недоверчивости насчет присяги. Пока начальник пехоты старался уговорить людей сих, чтобы они возвратились к своему долгу, объясняя им все обстоятельства вступления на престол государя императора Николая Павловича, так и то, что их обманывают под предлогом верности прежде данной присяге, прибыл его высочество великий князь Михаил Павлович. После чего вскоре оставшиеся тут люди Московского полка стали принимать присягу без всякого уже сопротивления».

Все это тоже довольно странно.

Имея в своем распоряжении две роты — около пятисот штыков, — начальник гвардейской пехоты тратит время на уговоры сорока непослушных солдат. И не добивается ни малейшего успеха. Он занимается этим, хотя рядом стоят две смиренные, но неприсягнувшие роты. Офицеры сумели их построить, но не сумели заставить присягнуть. Не сумел заставить их присягнуть командующий корпусом. Да, видно, не очень и старался — во всяком случае, Головин ни словом не упоминает о каких-либо его действиях в этом направлении.

Командующий корпусом молчит. Начальник пехоты не хочет и попытаться прибегнуть к силе, чтобы ликвидировать опасную и тягостную паузу и привести оставшуюся часть полка к полной покорности.

Присяга Николаю происходит только по прибытии великого князя Михаила. А если бы он не приехал?

Михаил описал потом этот эпизод весьма выразительно: «Когда великий князь вошел на полковой двор, эти четыре роты (в казармах осталось около двух с половиной рот.— Я. Г.) стояли в сборе; перед ними ожидал священник в облачении за налоем, и расхаживали в недоумении командир гвардейского корпуса Воинов и командовавший гвардейскою пехотою Бистром».

Если сравнить поведение Воинова и Бистрома с тем, как вел себя в подобной ситуации, скажем, преданный Николаю Сухозанет, отнюдь не превосходящий их храбростью, то ясно, что оба они были очень мало заинтересованы в присяге московских рот Николаю.

По сути дела, Бистром весь день вел себя по отношению к новому императору не только пассивно, но и нелояльно.

Бистром вернулся в Егерский полк, привел его в район Сенатской площади и встал с ним на Адмиралтейском бульваре — за Измайловским полком.

Среди тех генералов, которые находились в этот день на передовой линии, окружали императора, водили в атаку кавалерию, пытались уговорить мятежников, Бистрома не было. Он ни разу не появился перед фронтом восставших. Он не сделал ничего, чтобы помочь Николаю. Он, второе по значению лицо в корпусе.

Он стоял в тылу императорских войск — между Сенатской и Дворцовой площадями — во главе преданных ему гвардейских егерей и ждал...

Он стоял в очень выгодной позиции. Между ним и Зимним дворцом не было ни одного взвода. Перед ним стоял ненадежный Измайловский полк с несколькими офицерами-заговорщиками. Полк, который некогда был так же оскорблен Николаем, как и Егерский.

В случае активных и удачных действий восставших два эти полка могли перейти на их сторону, и тогда положение Николая стало бы безнадежным.

Бистром ждал.

Принц Евгений Вюртембергский запомнил свой короткий разговор с Бистромом. Поскольку генерал находился возле егерей, то и разговор этот происходил рядом с полком. «Генерал Бистром, начальник всей гвардейской пехоты, на вопрос мой, полагается ли он на своих подчиненных, отвечал: «Как на самого себя. Но,— прибавил он с усмешкой,— этим еще немного сказано: будь я проклят, если знаю, о чем идет спор».

Бистром, разумеется, все прекрасно знал. Но ответ его весьма двусмыслен.

ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК. ПОСЛЕ ЧАСУ ДНЯ

О происшествии в Финляндском полку после отъезда Рылева существуют как мемуарные свидетельства, так и документы, зафиксировавшие событие по горячим следам.

Генерал граф Комаровский, посланный императором за полком, вспоминая через много лет, перепутал слишком многое. И пользоваться его записками можно в весьма ограниченном объеме.

Командир бригады генерал Головин, составивший свою записку в 1850 году специально для историографа Корфа, гораздо ближе к действительности. Ему же принадлежит официальное донесение на эту тему.

Но основной источник — показания на следствии поручика Розена, главного действующего лица «финляндского сюжета».

Розен рассказал через несколько дней после восстания: «Батальон выстроился одетый в мундирах и киверах (по приказу Тулубьева и Розена.— Я. Г.) и был тотчас распущен в казармы с тем, чтобы совсем раздеваться, но через минуту получил опять приказание переодеваться в шинели и фуражки и взять боевых патронов. Тут батальон скоро выстроился, и генерал-адъютант Комаровский и бригадный командир генерал-майор Головин повели его к Сенатской площади. Взойдя на мост, выстроили взводы, на половине одного остановились в сомкнутых ротных колоннах, и там приказано было заряжать ружья. По зарядке сказано было: «Вперед!» Карабинерный взвод тронулся с места в большом замешательстве, а мой стрелковый взвод закричал громко три раза: «Стой!» Капитан Вяткин (ротный командир.— Я. Г.) тотчас обратился к моему взводу, убеждал людей, чтобы следовали за карабинерами, но тщетно, и они продолжали кричать: «Стой!» Возвратился генерал-адъютант Комаровский и спрашивал людей, отчего они не следуют за первым взводом, на что взвод отвечал: «Мы не знаем, куда и на что нас ведут. Ружья заряжены, сохрани бог убить своего брата, мы присягали государю Константину Павловичу, при присяге и у обедни целовали крест!» Его высокопревосходительство приказал им раздаться в середине и подъехал к позади стоящей второй ротной колонне, которой часть было двинулась, но остановилась, и мой взвод опять закричал: «Стой!» Генерал-адъютант Комаровский уехал, взвод стоял смирно; спустя несколько времени хотели идти вперед унтер-офицеры Кухтиков и Степанов и четыре человека с правого фланга, взвод опять закричал: «Стой!» Я подбежал к этим людям, возвратил их на свои места, угрожая заколоть шпагою того, кто тронется с места. До сего не было мною сказано ни единого слова. Видя, что ста-

рания ротного командира и убеждения генерал-адъютанта остались тщетными, не смел полагать, что мои старания были бы действительными, и к тому народ, который шел на остров по обеим сторонам моста, мимоходом говорил людям, что все на площади кричат: «Ура, Константин!» В сие время пролетели три пули мимо меня и пятого ряда, люди были осадили, но я их остановил, говоря: «Стой смирно и в порядке, вы оттого не идете вперед, что верны присяге, данной государю, так стой же; я должен буду отвечать за вас; я имею жену беременную, имение, следовательно, жертвую гораздо большим, чем кто-либо, а стою впереди вас; пуля, которая мимо кого просвистела, того не убивает». Потом пришел бригадный командир, которого я встретил донося, что мой взвод еще не присягал. Его превосходительство тоже убеждал людей, чтоб вперед идти, но тщетно».

Как это часто бывало с декабристами на следствии, Розен здесь точно излагает факты, утаивая при этом главное. И картина получается бессмысленной. Почему взвод, не присягавший еще Николаю (солдаты были в карауле), остановился сам собой — это еще можно понять, но почему тогда командир взвода грозит заколоть шпагой того, кто хочет выполнить приказ высшего начальства, — совершенно неясно.

В воспоминаниях, где не все рассказано точно по времени, Розен тем не менее дает ключ к странной ситуации на мосту. «Нас остановили на середине Исаакиевского моста подле будки; там приказали зарядить ружья; большая часть солдат при этом перекрестилась, — писал Розен через несколько десятков лет. — Быв уверен в повиновении моих стрелков, вознамерился сначала пробиться сквозь карабинерный взвод, стоявший впереди меня, и сквозь роту Преображенского полка... занявшую всю ширину моста со стороны Сенатской площади. Но как только я лично убедился, что восстание не имело начальника, следовательно не могло быть единства в предприятии, и не желая напрасно жертвовать людьми, а также будучи не в состоянии оставаться в рядах противной стороны, — я решился остановить взвод мой в ту минуту, когда граф Комаровский и мой бригадный командир скомандовали всему батальону: вперед! — взвод мой единогласно и громко повторил: стой! — так что впереди стоявший карабинерный взвод дрогнул, заколебался, тронулся не весь... Батальонный командир наш, полковник А. Н. Тулубьев, исчез, был отозван в казарму, где квартировало его семейство. Дважды возвращался ко мне бригадный командир, чтобы сдвинуть мой взвод, но напрасны были его убеждения и угрозы».

Теперь все встало на свои места. Розен сам остановил солдат, чтобы не допустить присоединения батальона к правительственным войскам. И сделал все возможное, чтобы не

пропустить на берег стоящие за его взводом роты. Роты могли смять стрелковый взвод, но они не хотели этого делать. Розен стоял на мосту со шпагой в руке и ждал. Он, разумеется, не мог видеть с моста — плоского наплавного моста, — есть у восставших начальник или нет. Эту ситуацию он достроил в своем воображении мемуариста. В тот момент он просто понял, что ему со взводом не пробиться сквозь карабинеров и Преображенскую роту. Вот если бы полковник Тулубьев сделал свой выбор и возглавил батальон, то он смог бы привести финляндцев в ряды восставших. За ним пошли бы все роты. Поручик Розен в том конкретном положении, в котором он оказался, двинуть батальон на прорыв не мог.

Да и вообще — момент, когда финляндцы могли сыграть решающую роль, был упущен. После того, как Тулубьев распустил батальон, и до момента его выступления прошло более получаса. «В полчаса выстроился батальон», — вспоминал Розен. И не в том дело, что он точно помнил это обстоятельство, а в том, что опытный фрунтовик Розен точно знал, за сколько может пехотный батальон сменить форму парадную на походную, взять боезапас и выстроиться.

Вместо того чтобы прийти на площадь до половины второго, когда против москвичей, моряков и роты лейб-гренадер — то есть двух с лишним тысяч штыков — стояло со стороны Николая только два конных полка и батальон преображенцев, и создать выигрышную тактическую ситуацию, финляндцы пришли около двух часов, когда площадь была плотно окружена и никакие активные действия восставших были уже невозможны.

Розен в воспоминаниях пишет, что в момент остановки батальона шел второй час пополудни. Но немудрено через сорок лет ошибиться на сорок минут.

Генерал Головин, которого инцидент с финляндцами касался самым непосредственным образом и мог стоить ему карьеры, дважды писал о нем. Первый раз — на следующий день после восстания в специальном донесении в штаб Гвардейского корпуса, второй — через двадцать пять лет, в упомянутой уже записке для Корфа.

Генерал Головин, сопровождавший Бистрома в Московский полк, сразу по прибытии туда великого князя Михаила, видя, что москвичи успокоились, бросился в Финляндский полк, опасаясь волнений. Выехав по Гороховой на Исаакиевскую площадь, он увидел, что Сенатская площадь занята «мятежниками и толпами собравшегося народа, также и войсками», так что ему пришлось сделать небольшой крюк и пересечь Неву «уже против Горного корпуса». Было не меньше часа пополудни. Тулубьев только что распустил батальон. Тут подоспел и генерал Комаровский с приказом выступать.

«Подходя к мосту, — рассказывает Головин в донесении, —

рассудил я нужным оставить на всякий случай 3-ю егерскую роту у проложенной через лед дороги для охранений оной, а три роты повел на мост, построив их в густую взводную колонну и зарядив ружья. Между тем мятежники, занявшие пространство на Петровской площади от монумента до Сената, со всех сторон окружались уже подходящими войсками конницы и пехоты, и в толпе их по временам слышны были ружейные выстрелы. Три роты Финляндского полка, со мною прибывшие, прошли уже за половину моста, как вдруг на площади открылся довольно сильный ружейный огонь и в то же время в середине колонны закричали. «Стой!» По сему крику вся колонна остановилась и пришла в некоторое замешательство. Крик сей, как после уже объяснилось, возбужден был поручиком бароном Розеном...»*

Сильный ружейный огонь на площади неудивителен — это было время интенсивных кавалерийских атак. И если Головин правильно выстраивает факты — а прошли всего сутки! — то и события в Финляндском полку непосредственно вызваны были залпами на площади.

В записке для Корфа — тексте неофициальном — Головин воспроизвел несколько живых деталей:

«На половине пути от казарм к Исаакиевскому мосту встретил нас его высочество принц Евгений Вюртембергский верхом и сказал мне по-французски. «Поспешите со своими солдатами, нужны все». — «Ваше высочество, — отвечал я, — нужны не солдаты, а пушки». Эта встреча осталась у меня в свежей памяти. Мы шли почти бегом.

При переходе через Исаакиевский мост, когда батальон остановился на мосту за стрелковым взводом и когда я, подойдя к сему последнему, приказывал людям идти вперед, то несколько голосов из фронта отозвались. «Да куда же вы нас ведете? Это наши». — «Они бунтовщики». — «Если они бунтовщики, то мы их перевяжем; зачем нам стрелять по своим; да мы еще и не присягали новому государю»**.

Понятно, как трудно было бы Николаю заставить пехотные полки стрелять по восставшим и почему Бистром так хотел оставить егерей неприсягнувшими. Это последнее обстоятельство играло в солдатском сознании огромную роль...

На Адмиралтейском бульваре стоял впереди своих егерей генерал Бистром. И ждал.

На Исаакиевском мосту стоял с обнаженной шпагой поручик Розен впереди двух с половиной рот финляндцев.

Когда-то генерал Бистром водил в самоубийственные атаки егерей и финляндцев, входивших в специальный отряд

* ОР ГПБ, ф 380, № 58, л 14

** ОР ГПБ, ф 380, № 58, л 4 об

Ермолова, преследовавший отступающих из Москвы французов...

Поручик Розен писал через много лет: «С лишком два часа стоял я неподвижно в самой мучительной внутренней борьбе, выжидая атаки на площади...» Он был уверен, что в случае атаки восставших он сможет увлечь роты за собой и поддержать удар своих единомышленников.

На одном из допросов начальник Главного штаба генерал Дибич сказал Розену, после разговора об остановленных им ротах: «Понимаю, как тактик, вы хотели составить решительный резерв». Розен промолчал.

Собственно, так оно и было. И вполне возможно, что в случае активных действий на площади ему удалось бы двинуть в нужном направлении своих финляндцев.

Но реальны ли были эти действия?

ЛЕЙБ-ГРЕНАДЕРЫ. ПОСЛЕ ПОЛОВИНЫ ПЕРВОГО

Когда Сутгоф увел на площадь свою 1-ю роту, Панов немедленно стал готовить выход остальных рот. В материалах полкового следствия сказано: «Спустя некоторое время пришел во 2-ю гренадерскую роту, а из одной в 4-ю, поселил в нижних чинах подозрение к учиненной присяге, говоря, что их обманули, что настоящий царь наш Константин, что весь Гвардейский корпус не присягает Николаю Павловичу, собравшись на Петровской площади, что им будет худо за то, что приняли легковерно присягу, приказывал скорее людям одеваться в шинели и обещал их вести на Петровскую площадь, если они согласны будут за ним следовать».

Хотя, судя по формуляру, Панов в это время был из батальонных адъютантов переведен во фрунтовые командиры, но, очевидно, еще не получил под команду определенной войсковой единицы. Потому он обращался ко всем. Поручик Панов, двадцати одного года, делавший успешную гвардейскую карьеру, недавно еще — на обеде с Булатовым — пивший за здоровье своей невесты из ее башмачка, во втором часу дня 14 декабря начал игру ва-банк. Он принадлежал к той группе молодых членов тайного общества, которые в этот день, решив действовать, не знали колебаний.

Задача перед ним была невероятной трудности — убедить тысячу солдат, рассредоточенных по казармам, в необходимости отвергнуть, перечеркнуть только что принятую присягу и пойти за ним, вопреки воле командования, в неизвестность.

В Московском полку было трое активных заговорщиков, поддержанных еще несколькими офицерами. Причем Михаил

Бестужев и Щепин были ротными командирами. В Гвардейском экипаже почти все офицеры, все ротные командиры подали матросам пример непослушания и пошли на площадь вместе с экипажем.

Панов был один.

А против него были ротные командиры, батальонный командир, командир полка. И все же — он решил.

Обстоятельства ему помогли. Полковник Стюрлер получил приказ вести полк к императору и вывел роты на казарменный двор. Гренадеры были при боевых патронах.

Полковое следствие свидетельствует: «Когда же оба батальона, состоявшие из 4-х рот 2-го и двух первого, были построены вместе в колонну и оставались довольно долгое время на дворе, то поручик Панов старался каждую команду полкового командира и действие, ходя между каждым взводом, представлять людям с худой и для них опасной стороны». Разумеется, нельзя полностью доверять показаниям подавленных разгромом восстания солдат, но основная линия агитации, которую в этих чрезвычайных обстоятельствах выбрал Панов, просматривается достаточно ясно. «...Когда 1-я рота прежде сего уведена была поручиком Сутгофом на Петровскую площадь, то полковник Стюрлер при вторичном выводе рот велел расставить кругом цепь и не пропускать никого обратно, как из 1-й роты, равно и прочих посторонних людей, то поручик Панов говорил людям: «Смотрите, вот как начальники боятся — становятся цепь. Полки придут сюда и всех вас перебьют за ложную присягу». Когда же командовано было заряжать ружье, то и тут приказывал людям сего не исполнять, а советовал лучше сдаться без драки, когда придут противу их полки Гвардейского корпуса, и, наконец, приготовив таким образом людей, взшел в середину колонны, первый подал знак к возмущению криком: «Ура!» — и повел роты в совершенном расстройстве на Петровскую площадь».

Но сам момент выхода лейб-гренадер был куда драматичнее. Когда наэлектризованные и колеблющиеся солдаты стояли в колонне, с площади донеслись залпы. Тогда Панов, понимая, что наступил переломный момент и ждать далее нельзя, выхватил шпагу и бросился в ряды гренадер с криком: «Слышите, ребята, там уже стреляют! Побежим на выручку наших, ура!»

Мощная колонна — в лейб-гренадеры отбирали особенно высоких и сильных солдат — опрокинула охранявший ворота караул и, вырвавшись на улицу, бросилась в направлении Невы.

Было это сразу после половины второго. «Уже стреляют...» — стало быть, это были первые залпы по кавалерии. Разрозненных выстрелов в отдаленных казармах полка могли и не услышать.

Старшие офицеры полка во главе с полковником Стюрлером пытались остановить, задержать колонну. Но теперь это было уже невозможно.

И здесь, как у москочцев и моряков, решающую роль сыграл волевой напор, героический порыв представителя тайного общества. Можно было готовить восстание холодной головой, но выводить полки оказалось возможным только так. В Измайловском и Финляндском полках не хватило именно порыва.

То, что произошло далее, требует внимательного рассмотрения.

Часть пути — до Невы — колонна Панова прошла маршрутом Сутгофа. Спустилась на лед. Самый прямой и скорый путь к Сенату лежал именно по Неве, как и пошел Сутгоф. Но Панов почему-то выбрал другой путь. Он со своими солдатами пошел «наискось к Мраморному дворцу», как показал он сам. Поднявшись на набережную у Мраморного дворца, близ Марсова поля, Панов повел опять-таки колонну не кратчайшим путем по набережной, а, сделав крюк, свернул на Мильонную улицу (нынешнюю улицу Халтурина) и повел колонну на Дворцовую площадь.

Это были не беспричинные зигзаги растерявшегося юноши со шпагой. Панов вел себя точно и целеустремленно, и каждый его поворот имел смысл.

В своих лихорадочных разездах по городу, о которых у нас пойдет еще речь, полковник Булатов в четвертом часу оказался именно в том месте, где поднялся на набережную лейб-гренадерский батальон. И не случайно. Как мы помним, он должен был где-то на пути ждать лейб-гренадер, чтобы их возглавить. «...Я велел себя везти по набережной, единственно для того, чтобы увидеть лейб-гренадер и предостеречь Сутгофа, что он обманут; но, подъезжая к Фагаринской пристани или, кажется, у Мраморного дворца, спросил я: «Прошли ли лейб-гренадеры?» Мне отвечали: «Давно уже». — «Досадно», — сказал я».

Как мы увидим далее, Булатов искал лейб-гренадер не только для того, чтобы их предостеречь. При всей откровенности он все же несколько корректировал свои истинные намерения в письме великому князю. Но сейчас важно то место, где рассчитывал он встретить полк. С любой точки короткого отрезка между Гагаринской набережной и Мраморным дворцом он мог увидеть гренадер, пересекающих Неву. Он приехал туда от Исаакиевской площади, то есть от поля действий. Он ехал навстречу полку, который должен был возглавить. И Панов совершенно точно выводит колонну именно на это место. Очевидно, у Панова и Сутгофа существовала по этому поводу договоренность с Булатовым. Но Сутгоф, по малочисленности своего отряда, счел за благо присоединить-

ся к более крупным силам. Панов же попытался придерживаться намеченного плана. Его девяти сотням штыков было по силам выполнять самостоятельные задачи.

Таким образом, выход Панова на набережную у Мраморного дворца ясен.

А далее? Не встретив Булатова, поручик, как мы знаем, сделал непонятный на первый взгляд маневр. Но только — на первый взгляд... Ибо маршрут по Мильонной улице выводил Панова прямо к главным воротам Зимнего дворца.

Существуют разные версии причин, по которым лейб-гренадеры подошли к дворцу, вошли в дворцовый двор и вернулись обратно, не сделав попытки захватить дворец. Сам Панов показал: «Мы... зашли во дворец Зимний, думая, что тут Московцы, но, найдя на дворе саперов, вернулись назад». И далее: «Когда мы подходили ко дворцу, то в него вступали саперы; я принял их за измайловских и думал тут же найти московских, а так как цель моя была соединиться с ними, то я и взошел на двор, но только что увидел, что тут их нет, то и воротился». Все эти объяснения не соответствовали реальным обстоятельствам, и следствие в них не поверило. Автор официальной версии барон Корф писал в своей книге: «На пути ему (Панову.— *Я. Г.*) вдруг пришла ужасная мысль — овладеть Зимним дворцом...» И в данном случае он почти прав. Почти — потому, что мысль эта пришла Панову не «вдруг».

Есть несколько свидетельств очевидцев и участников ситуации у Зимнего дворца. И картина из их свидетельств вырисовывается крайне интересная.

Поручик Финляндского полка Греч, приятель Розена, как мы помним, командовал главным караулом. Он рассказывал: «После полудня, часу во втором (это был уже третий час.— *Я. Г.*), явились пред дворцом несколько рот л.-гв. Гренадерского полка, обманутых мятежниками и предводимых поручиком Пановым. Видя, что дворец охраняем караулом снаружи, поручик Панов начал уговаривать караул присоединиться к ним и пропустить их во дворец, но встретив непоколебимость и безмолвие, бросился в ворота. Караул, уменьшенный в числе при удвоенных постах, не мог бы удержать напора мятежников. Комендант, бывший при том, приказал ему расступиться, вероятно для избежания столкновения и действия оружием при дворце и полагая, что мятежники, увидев во дворце саперов, не пойдут далее. Так и случилось»*.

Но Греч несколько заглаживает происшедшее. Адьютант Милорадовича Башуцкий, приехавший в конце дня во дворец к своему отцу генералу Башуцкому, который и был комендантом, пропустившим лейб-гренадер, увидел отца с «окро-

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 32.

вавленною на лице повязкой». Он дает к этой фразе сноску: «Сбитый с ног л.-гв. Гренадерским полком, измятый, он страдал весь день и долго после...»

Стало быть, не так спокойно прошли гренадеры. Они именно прорвались в дворцовый двор.

Но тогда напрочь рушится версия Панова. Он не мог видеть саперов, вступающих во дворец, и принять их за измайловцев, ибо саперы уже стояли во дворе. Если он встретил у ворот караул, верный Николаю, категорически отказавшийся пропустить его солдат, то он никак не мог предположить, что за спинами этого караула стоят москвичи. Он по реакции караула понял, разумеется, что дворец в руках императора, и решил захватить его. Он считал, что дворцовый двор пуст, и силой проложил себе дорогу туда.

Но поручик Панов был не тот человек, чтобы решиться на такую дерзкую импровизацию. Весь комплекс его действий — попытка встретить Булатова, выбор маршрута, прорыв в дворцовый двор — все это говорит о том, что он был ориентирован на захват дворца. Ориентирован Каховским, приехавшим рано утром в полк от Рылеева с известием об измене Якубовича. Очевидно, Рылеев, Оболенский, Александр Бестужев решили заменить Гвардейский экипаж с Якубовичем гренадерами с Булатовым.

Они, конечно, знали о сепаратных отношениях Батенкова, Якубовича, Булатова, но не понимали серьезности этого контрзаговора. Не найдя Булатова, Панов явно попытался реализовать этот новый план самостоятельно.

Панова часто упрекали потом и малоосведомленные современники, и тем более позднейшие исследователи, что он, уже будучи во дворе дворца, не овладел им и не арестовал императорскую фамилию...

Что же произошло во дворце?

Поручик лейб-гренадерского полка барон Зальца оставил по этому поводу очень любопытный мемуар: «1825 года 14-го декабря в 12-м часу утра я находился в Кавалергардском зале Зимнего дворца, где в тот день назначен был высочайший выход. В 1-ом часу (как уже говорилось, в третьем.— *Я. Г.*) вдруг большая часть из собравшихся к выходу в зале бросилась к окнам против большого двора, куда подошел и я. Тогда я увидел, что л.-гв. Гренадерского полка нижние чины, одетые в разные формы (то есть в парадную и походную.— *Я. Г.*), в большом числе бегали по середине двора в величайшем беспорядке и грелись от холода. Первая моя мысль была присоединиться к своему полку, почему, сбежав по ближайшей лестнице, я стал спрашивать нижних чинов о причине их сходбища, на что и получил ответ: «Мы ничего не знаем, нас привел сюда поручик Панов», указывая на него в толпе. Увидев Панова, я бросился к нему: мне казалось, он

был занят чем-то важным, приложив руку к голове. Схватив его за нее, я спросил: «Панов, скажи мне, что все это значит?» Тут он, как будто пробудившись ото сна, поднял обнаженную шпагу, которую держал все время в руке, и отвечал с криком: «Оставь меня!» Видя, что я от него не отстаю и требую решительного объяснения, он закричал с гневом: «Если ты от меня не отстанешь, то я прикажу прикладами тебя убить!» Вслед за сим, как бы с новою мыслию, он закричал окружающей толпе, подняв шпагу: «Ребята, за мною!»*

Записка эта была написана через четверть века после событий, но детали, содержащиеся в ней, очень достоверны. Такие детали и в самом деле запоминаются на всю жизнь.

Ситуация с прорывом гренадер в Зимний дворец была одной из роковых, ключевых ситуаций дня. Захват дворца мог круто изменить положение. Захват дворца и арест августейшего семейства ошеломляюще повлияли бы как на самого императора, так и на его сторонников. Он мог резко изменить настроение колеблющихся солдат и офицеров. Он сделал бы невозможным — при таких заложниках — обстрел мятежников картечью и, напротив, сделал бы неизбежными конструктивные переговоры. Он дал бы возможность восставшим продержаться до темноты. И так далее. Трудно предсказать, как повернулись бы события после захвата дворца. Но ситуация бы изменилась.

Что остановило Панова — природная нерешительность? Социальная ограниченность? Нет. Он был человеком действия, а традиция вторжения во дворец у гвардейского офицерства была богатая.

Панова с его батальоном остановили гвардейские саперы.

Гвардейские саперы, тысяча солдат с высокой боевой выучкой, лично преданные Николаю, готовые насмерть драться за своего шефа, не случайно были вызваны именно во дворец, а не на площадь. И полковник Геруа сделал бы все, чтобы не допустить прорыва мятежников во дворец. Саперы стояли перед расстроенной бегом и схваткой у ворот колонной Панова в боевом строю, с заряженными ружьями, готовые к бою. По численности они ненамного превосходили гренадер, но положение их было гораздо выгоднее.

Быть может, Панов и рискнул бы ввязаться в схватку с саперами, рассчитывая на военный опыт и яростный порыв своих солдат. Но в тылу у него стояла полурота финляндцев, которая не могла задержать колонну в воротах, но вполне могла — в случае столкновения с саперами — нанести штыковой и огневой удар в спину атакующим лейб-гренадерам.

Недаром поручик Панов стоял, прижав руку ко лбу и мучительно взвешивая обстоятельства. Он понимал выгоду ов-

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 36.

ладения дворцом, но — в отличие от позднейших критиков своих — понимал он и конкретную тактическую обстановку.

У него было куда больше шансов в случае атаки погубить батальон, чем занять дворец. И Панов принял единственно верное с военной точки зрения решение — он вырвался из дворцового двора и повел солдат на присоединение к своим.

На Дворцовой площади колонну снова перехватил Стюрлер и вместе с бароном Зальца попытался отнять у гренадер знамя. Ничего из этого не получилось. Гренадеры бежали к Адмиралтейскому бульвару.

А навстречу им двигался Николай с кавалергардским эскортом.

Было около половины третьего. Смеркалось. Усилился мороз.

И на сумеречной Дворцовой площади, покрытой замерзшим снегом, разыгрался один из самых поразительных эпизодов этого дня.

Этот эпизод многократно описан в мемуарах.

Николай писал:

«Между тем, видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием штальмейстеру князю Долгорукову приготовить загородные экипажи для матушки и жены и намерен был в крайности выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам — гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного штаба, увидел я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое: «Стой!» — отвечали мне:

— Мы — за Константина!

Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:

— Когда так, — то вот вам дорога.

И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастью, что сие было так, ибо иначе началось бы кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна».

Говоря далее о заходе лейб-гренадер в дворцовый двор, Николай совершенно справедливо пишет: «Ежели бы саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе неизвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятствовать».

(Да, опоздание гвардейских саперов или своевременный выход лейб-гренадер из казарм могли круто повернуть колесо событий. Но — кроме того — в этой ситуации явственно мелькнула тень боевого плана Трубецкого, а судя по некоторым намекам, и Булатова — сковать правительственные войска у Сената и одновременно воинской частью, имеющей свободу маневра, нанести удар по дворцу. Этот призрак четкой военной революции весь день витал над Петербургом, но ни в один из моментов так и не нашел воплощения, поскольку основа его была разрушена еще рано утром.)

Николай все рассказывает правильно, кроме одного. На первом же допросе Панов показал: «Встретив кавалерию, нас останавливающую, я выбежал вперед, закричал людям: «За мною!» — и пробился штыками».

Панов давал лаконичные и точные показания. И если бы гренадеры прошли на площадь без боя, то он не стал бы выдумывать штыковой прорыв, многократно увеличивающий его вину. И члены Следственной комиссии, внимательно рассматривавшие каждый случай применения оружия восставшими, сделали очень определенный вывод, что Панов привел солдат на площадь, «несмотря на встреченное противодействие кавалерии». Версия о том, что лейб-гренадеры были пропущены кавалергардами по приказу Николая, родилась позже, когда стала создаваться легендарная картина дня.

Но колонне Панова пришлось выдержать и еще одно столкновение — выход на площадь закрывали егеря, измайловцы и преображенцы. Эта масса войск при желании могла бы смять лейб-гренадер или расстрелять их огнем во фланг — гренадеры бежали правым флангом вдоль егерей и измайловцев. Но и те и другие пропустили их беспрепятственно. А преображенцев, судя по имеющимся известиям, лейб-гренадеры отбросили. Из этого следует, что преображенские роты, по численности приблизительно равные колонне Панова, серьезного сопротивления не оказали.

Девятьсот солдат Панова присоединились к восставшим.

Было не менее половины третьего.

Московцы стояли на площади около четырех часов. Мороз усиливался. Восемь градусов ниже нуля с сырым ветром делали свое дело. Большинство восставших было в мундирах, кроме роты Сутгофа. Солдаты коченели. Московцам трудно было держать строй.

И когда подошли лейб-гренадеры, Александр Бестужев, по его показанию, «поставил свежих лейб-гренадер на фасы, московцев внутрь каре». О том, что построение было именно таково, свидетельствует и Щепин-Ростовский: «Наш полк тогда находился внутри каре, из лейб-гренадеров составленного». И сам Панов показал: «Придя на площадь, мы стали возле Московского полка кареем». Выстраивать еще одно ка-

ре возле московцев при страшной тесноте на площади было, разумеется, негде. Панов имеет в виду именно построение обводом вокруг московцев.

Полковник Стюрлер шел с гренадерами до самой площади, не переставая уговаривать их, пытаясь завладеть полковым знаменем.

Барон Зальца подробно воспроизвел финал этих уговоров, и ничто не противоречит его версии: «Между Главным Адмиралтейством и Исаакиевским собором я вторично увидел полковника Стюрлера в голове толпы; приблизясь к нему, я увидел, что он старался всячески уговорить людей возвратиться в казармы, на что они отзывались, что их ведет Панов; так мы следовали до монумента Петра I, здесь меня встретил в партикулярной одежде Каховский, с пистолетом в руке; он обратился сейчас к полковнику Стюрлеру, спрося его по-французски: «А вы, полковник, на чьей стороне». — «Я присягал императору Николаю и остаюсь ему верным», — отвечал полковник Стюрлер. В это время Каховский в него выстрелил, а князь Оболенский закричал: «Ребята, рубите, колите его», и вместе с тем нанес своеобразно Стюрлеру обнаженною саблею два удара по голове. Полковник с усилием сделал несколько шагов, зашатался и упал»*.

Тут нужна одна поправка — Каховский стрелял в Стюрлера, а Оболенский рубил его шпагой (кстати, Оболенский отрицал этот факт), конечно, не просто за его верность Николаю, а за попытки увести с площади гренадер. Это была вполне осмысленная акция.

Нервы Каховского были напряжены, и он вел себя так, как, по его представлениям, должен вести себя революционер во время мятежа. После ранения Стюрлера он ударил кинжалом свитского офицера, отказавшегося кричать: «Ура, Константин!» — что было совершенно необязательно, но тут же опомнился и увел офицера в каре, чтобы оказать ему помощь...

Теперь — между половиной третьего и тремя — на площади стояло уже более трех тысяч человек — приблизительно три тысячи сто штыков. Только с этого момента, когда закончился динамичный, целеустремленный процесс вывода мятежных войск из казарм и движения их к Сенату, восстание действительно сделалось «стоячим».

Началось то, в чем по сию пору упрекают декабристов, — пассивное противостояние правительственным войскам.

Связывают эту пассивность прежде всего с отсутствием единой командной воли, единого военного руководства — с отсутствием диктатора Трубецкого.

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 37.

ДИКТАТОР В ДЕНЬ 14 ДЕКАБРЯ

Многие из декабристов говорили на следствии о беспрецедентной ситуации, сложившейся на Сенатской площади.

В первом своем показании вечером 14 декабря потрясенный крушением всех надежд Рылеев написал: «Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади. Он не явился, и, по моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились». Рылеев имеет в виду, что в случае исполнения Трубецким своих обязанностей диктатора восстание победило бы быстро и бескровно...

Александр Бестужев показал: «В день действия обещал он (Трубецкой.— Я. Г.) ждать войск на площади, но отчего там не явился — не знаю. Это имело решительное влияние на нас и на солдат, ибо с маленькими эполетами и без имени принять команду никто не решался». Бестужев, как видим, согласен с Рылеевым — «решительное влияние».

Оболенский показал: «Каждый ожидал плана действий и собственного в оном назначения от князя Трубецкого, от которого, однако ж, ничего не получили, ибо 14-го декабря он на площади не был. Посему во всем совершенно произошел беспорядок».

Лидеры общества считали, что неявка Трубецкого имела решающее значение и была причиной поражения восстания. Но какого восстания? У нас уже шла об этом речь, и потому повторим кратко: Рылеев, Оболенский и Бестужев говорят о той революционной импровизации, которую Трубецкой считал авантюрой и которой он противопоставлял свою модель четко организованной военной революции.

А теперь посмотрим, что делал диктатор все эти страшные часы смертельного соревнования группы Николая и тайного общества, при настороженном выжидании Бистрома, Александра Вюртембергского с сыновьями, Сергея Шипова, который после ухода экипажа ничем не проявил себя как сторонник Николая, штаб-офицеров Гвардейского экипажа и многих офицеров в разных полках.

Мы помним, что в десятом часу Рылеев и Пушкин, придя к диктатору, сообщили ему о крушении самой основы разработанного им плана, о выходе из игры Якубовича и, скорее всего, Булатова, то есть тех двух лиц, которые и должны были обеспечить военную сторону переворота. Тогда же Трубецкой высказал сомнение в целесообразности начинать мятеж малыми силами — без первого парализующего власть удара.

Сам Трубецкой довольно подробно начертил свой маршрут в роковые часы 14 декабря. Его показания подтверждаются другими источниками. Но Трубецкой, понимавший, что ему грозит смертная казнь, защищался упорно и последова-

тельно, и одним из главных способов этой защиты, как мы помним, было стремление представить себя растерянным, мятущимся человеком. Так изобразил он и свои передвижения 14 декабря — как метания потерявшего голову заговорщика, понявшего тщетность своих предположений. Но если его внутреннее состояние следователи проверить не могли, то маршрут проверялся легко — Трубецкой все время был на виду, — и, сознавая это, князь говорил правду. И тут выясняется одна любопытная особенность — все часы восстания Трубецкой кружил вокруг главных пунктов развернувшихся событий: Дворцовой площади, Исаакиевской площади, Сенатской площади.

Расставшись в десятом часу с Рылеевым и Пуциным, диктатор поехал в Главный штаб, убедившись по пути, что Сенатская площадь пуста. Он провел некоторое время в канцелярии дежурного генерала Главного штаба, которая находилась рядом с Зимним дворцом. Было около десяти часов утра. Трубецкой знал от Рылеева и Пуцина, что в Гвардейский экипаж отправился Николай Бестужев, в Московский полк Александр и Михаил Бестужевы, а к лейб-гренадерам поехал Каховский. Стало быть, сохранялась надежда, что полки выйдут. Причем, если наше логическое построение, основанное на действиях Панова, верно, то Трубецкой мог ожидать удара по дворцу с двух сторон — от казарм экипажа и от казарм лейб-гвардии Гренадерского полка. После самоустранения Якубовича и невыполнимых условий, поставленных Булатовым, шансы на успех резко упали. Но пребывание диктатора в это время, от десяти до одиннадцати часов, на Дворцовой площади — многозначительно*. Трубецкой знал, что именно в это время в полках должна происходить присяга. И если бы восстание началось, то оно началось бы именно в это время.

Так оно и было. Московский полк вышел в начале одиннадцатого, а Гвардейский экипаж начал сопротивление присяге приблизительно в это же время.

Прождав около часа, Трубецкой заехал из Главного штаба к своей двоюродной сестре Татьяне Борисовне Потемкиной, которая жила рядом с Дворцовой площадью — на Мильонной улице.

Пробыв не более получаса у Потемкиной и, таким образом, не выпуская из поля зрения Дворцовую площадь до половины двенадцатого, Трубецкой поехал на квартиру к своему приятелю Бибикову, флигель-адъютанту. Полковник Ил-

* Мысль о том, что Трубецкой в Главном штабе ждал появления на Дворцовой площади восставших войск, высказал в 1926 году историк Н. Ф. Лавров, автор очень важной, но неполной по смыслу и фактам работы «Диктатор 14 декабря» (сб. «Бунт декабристов». Л., 1926).

ларион Михайлович Бибилов имел квартиру в здании Главного штаба. Самого Бибилова не было — он в это время сопровождал Николая, начавшего движение с преображенцами к Сенатской площади. Но Трубецкой оставался около полутора часа в квартире полковника, находясь, таким образом, рядом с Зимним дворцом. В начале первого он снова оказался на Дворцовой площади. Разумеется, каждому своему перемещению он находил на следствии вполне лояльное объяснение — в Главном штабе узнавал о времени присяги иногородним штаб-офицерам, потом ехал домой, чтобы переодеться к визиту во дворец, и т. д. Трубецкой утверждал, что именно в этот момент, в начале первого, выехав к Зимнему дворцу, он узнал о мятеже москвичей. Поверить в это никак невозможно. Следователи просто не дали себе труда проверить время и направление его поездок с одиннадцати до часу. Даже если Трубецкой успел проехать из Главного штаба на Мильонную до того, как у дворца стала собираться толпа, проведавшая о московском бунте, то уж возвращаясь после половины двенадцатого с Мильонной в здание Главного штаба к Бибилову (к которому вход был, судя по показаниям Трубецкого, с Невского), князь никак не мог не заметить выстроенный батальон преображенцев, волнующуюся толпу, императора, окруженного генералами и адъютантами. А увидев это, не мог не выяснить тут же, в чем причина происходящего. Даже если — вопреки вероятности — Трубецкой ухитрился бы проехать с Мильонной к началу Невского каким-нибудь закоулком, минуя площадь, то на квартире Бибилова он немедленно узнал бы о происшествиях. Там не могли целый час не знать, что происходит у них под окнами.

Скорее всего, Трубецкой отправился к Бибиловым, надеясь узнать от Иллариона Михайловича о настроениях во дворце (Бибилов был директором канцелярии начальника Главного штаба), а прежде всего, чтобы, не бросаясь в глаза, оставаться рядом с дворцом.

Но даже если предположить невероятное и согласиться с показаниями Трубецкого, что, выйдя от Бибиловых в первом часу, он только и узнал о мятеже, то следующий его поступок никак не укладывается в логику его показаний. Следуя этой логике, он должен был скрыться, уехать в другой конец города, подальше от эпицентра событий, от того места, где с минуты на минуту могли появиться восставшие войска. А что делает Трубецкой? Он опять идет в Главный штаб, идеальный наблюдательный пункт напротив дворца, приходит в канцелярию дежурного генерала и ждет. Но не просто ждет.

На коротком пути от квартиры Бибилова до канцелярии дежурного генерала у Трубецкого произошла примечательная встреча — он встретил императора Николая. Тот запомнил князя.

Николай в записках рассказывает об этом эпизоде, происшедшем, когда он вступил с преображенцами на Адмиралтейский бульвар: «Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь, но все прочие были пеши. В то время заметил я у угла дома Главного штаба полковника князя Трубецкого...» Это было именно в начале первого, когда Трубецкой направлялся от Бибиковых к дворцу. Маловероятно, чтобы Николай ошибся. Слишком знаменательна в свете последующих происшествий была для него эта встреча.

А если Николай видел в начале первого Трубецкого, наблюдавшего за движением преображенцев к Сенатской площади, то, значит, диктатор был в этот момент ясно осведомлен о происходящем.

В канцелярию дежурного генерала Главного штаба, куда пошел Трубецкой после встречи с императором, все время приходили офицеры, приносящие последние новости. Трубецкой расспросил полковника Ребиндера, только что явившегося с Сенатской площади, о действиях восставших и узнал, что они «только кричат «ура!» Константину Павловичу и стоят от одного угла Сената до другого». Ребиндер ушел с площади еще до прихода лейб-гренадер и моряков и до ранения Милорадовича. Таким образом, диктатор был вполне в курсе дела — он знал, что на площади одни москвичи, знал приблизительно их численность, знал, что главная магистраль от площади к дворцу — Адмиралтейский бульвар — перекрыта превосходящими силами преображенцев, вполне возможно, что от офицеров, с которыми он беседовал в Главном штабе, знал он и о других распоряжениях Николая — о приказе Конной гвардии, кавалергардам. То есть он представлял себе, что москвичи вот-вот окажутся в кольце, что атаковать дворец их силами при складывающейся обстановке невозможно и что присоединиться сейчас к ним — значит почти наверняка оказаться отрезанным от главного объекта, ключевой точки — Зимнего дворца.

В канцелярию дежурного генерала стекались сведения со всего Петербурга, и место, выбранное Трубецким для ориентации, надо признать удачным.

Однако, поговорив с Ребиндером и, очевидно, теряя последнюю надежду на появление восставших войск у дворца, Трубецкой решил передвинуться к Сенату. Он поехал к Исаакиевской площади, возле которой жила его сестра Елизавета Петровна Потемкина.

В воспоминаниях свояченицы Трубецкого, графини Зинаиды Ивановны Лебцельтерн, жены австрийского посланника, в доме которого был в ту же ночь арестован князь Сергей Петрович, есть сведения о том, что произошло с Трубецким после часу дня. По словам Лебцельтерн, когда Трубецкой

приехал в дом Потемкиной, графини не было дома. «Вернулась она не так скоро и сразу же спросила, не приходил ли брат; ей ответили, что приходил, но ушел или нет — этого никто не видел; его долго искали по всей квартире, пока графине не пришлось в голову заглянуть в свою молельню; здесь-то она и обнаружила его лежащим без сознания перед образами, никто не знал, с какого времени. Его подняли, положили на диван, привели в чувство. На все вопросы он отвечал как-то сбивчиво; и вдруг, услышав отчетливый грохот пушки, схватился за голову и воскликнул: «О Боже! вся эта кровь падет на мою голову!»

Графиня Лебцельтерн после ареста князя специально собирала сведения о его действиях 14 декабря. Эпизод в доме Потемкиной стал ей известен сразу же — из первых рук. И нет оснований ей не доверять.

С Трубецким, изнуренным бешеной деятельностью последних дней, гигантской ответственностью, которую он на себя взял, — не просто за судьбы десятков офицеров и тысяч солдат, а за судьбу России! — потрясенным отступничеством Якубовича и Булатова, измученным ожиданием и сомнениями последних часов, произошло то, что сегодня мы называем нервным срывом.

Я уверен, что, если бы события развивались по его плану, князь Сергей Петрович выполнил бы свой долг. Но вынести бремя тяжко усложнившейся ситуации он не смог и сломался.

Из трех лидеров, на которых держалась подготовка к восстанию, — Трубецкого, Рылеева, Оболенского — только Оболенский до конца и с полным достоинством прошел день 14 декабря. Отсутствие Рылеева на площади после часу дня, его первое показание во дворце, поставившее в труднейшее положение тех, кого допрашивали после него, в том числе и Трубецкого, говорят о том же самом нервном срыве.

Мы далеко не полностью представляем себе, в каком нечеловеческом напряжении жили и действовали эти люди последние дни перед восстанием. Люди, сделавшие отчаянную попытку одним героическим усилием переломить ход русской истории...

Однако надо рассмотреть и другой — гипотетический — вариант. Что мог бы предпринять диктатор, окажись он с самого начала во главе восставших войск?

Мог бы диктатор, возглавив около одиннадцати часов на Сенатской площади москвичей, подменив Якубовича и Булатова, взять Зимний дворец? Вопрос это весьма непростой. Во-первых, Бестужевы и Щепин были ориентированы на другую задачу и соответственно ориентировали солдат. Удалось бы декабристам убедить солдат в необходимости захвата дворца? Неизвестно. Но предположим, что удалось бы. На

то, чтобы построить в боевую колонну растянувшиеся во время бега по Гороховой роты, нужно было время. Московцы могли подойти к Зимнему дворцу только около половины двенадцатого.

Генерал Нейдгардт, свидетель мятежа в московских казармах, прискакал во дворец несколько раньше, чем московцы пришли на площадь. Удар гвардейских матросов по дворцу был задуман как внезапная операция. Дворец следовало захватить и блокировать входы в него до того, как мог подоспеть Преображенский батальон. Теперь же никакой внезапности уже не получалось. Московцы встретили бы на подходе к дворцу преображенцев, которые вместе с караульной ротой Финляндского полка вдвое превосходили по численности нападавших.

Московцы были бы опрокинуты и рассеяны. Николай получил бы возможность бить восставших по частям. Не говоря уже о деморализующем действии разгрома первого мятежного полка на остальных.

Вряд ли Трубецкой пошел бы на такую авантюру, как поздняя попытка малыми силами атаковать дворец, предупрежденный о восстании. Скорее всего, он ждал бы присоединения других частей. Делал бы то, что совершенно правильно и разумно делали Оболенский, Бестужевы, Пущин.

Московцы помимо контроля над зданием Сената выполнили еще одну существенную функцию — они сковали на Сенатской площади главные силы Николая. До половины второго, от ухода преображенцев до прихода гвардейских саперов, дворец был защищен плохо. Отразить удар скольконибудь значительных сил рота финляндцев не могла. Панов, как известно, легко прорвался во внутренний двор, опрокинув главный караул.

Уведя преображенцев от дворца, Николай совершил крупную тактическую ошибку, которая едва не привела его к катастрофе...

Трубецкой, стало быть, ждал бы вместе с каре московцев. Стягивание Николаем всех наличных сил к площади было восставшим выгодно. Второе оперативное направление на дворец — по Неве (прохода к дворцу от Сенатской площади по набережной, как теперь, тогда не было) — было открыто весь день. Появление до часу дня батальона Тулубьева давало восставшим огромные возможности. Тем более что финляндцы были легкой пехотой, предназначенной для стремительных передвижений. Но финляндцы не пришли.

Дающая некоторые возможности тактическая ситуация возникла в час дня, когда на площадь вышли рота Сутгофа и колонна гвардейских матросов. Им противостояли только преображенцы, Конная гвардия и кавалергарды. Диктатор мог бы немедленно направить матросов по Неве на дворец.

Но, как мы знаем, расстановка сил в этот момент менялась буквально от минуты к минуте. После часа Николай уже имел возможность бросить наперерез движущимся по Неве матросам кавалергардов — по Адмиралтейскому бульвару. Кавалерия, естественно, успела бы к дворцу раньше и прикрыла его хотя бы на некоторое время. А к половине второго уже подошел батальон гвардейских саперов.

В том положении, в каком оказались восставшие после крушения утреннего плана, после того как Якубович и Булатов лишили их фактора внезапности, расплыть силы было крайне опасно.

Приход лейб-гренадер Панова не изменил положения. Я уже говорил, что, выбрав позицию, почти неуязвимую для атак, декабристы оказались к концу дня в тактической ловушке. И не только потому, что их окружало около двенадцати тысяч штыков и сабель, лояльных Николаю. А потому, что их положение на Сенатской площади почти исключало возможность наступательных действий с их стороны — уже после того, как ими был накоплен внушительный войсковой кулак.

Московцы стали каре, исходя из своей главной задачи. И присутствие Трубецкого вряд ли изменило бы это. Рота Суттофа пристроилась к каре по причине своей малой численности. Наступать каре на площади, сжатой заборами, складами, грудями камня, которые лежали и на самой площади, было просто невозможно — каре распалось бы и стало беззащитным перед кавалерией. Перестраиваться в нескольких десятках шагов от противника — значило провоцировать ту же кавалерийскую атаку, отразить которую в процессе перестраивания восставшие не смогли бы. Расстроенная бегом и схватками колонна Панова пришла, когда московцы были уже деморализованы холодом, непонятным стоянием, усталостью, огромным перевесом сил другой стороны.

После половины третьего вступать в бой было уже поздно. Можно было делать только то, что и делали декабристы, — ждать темноты, под прикрытием которой некоторые полки могут решиться перейти на их сторону.

В конкретной ситуации, после того как надежда на прорыв к дворцу рухнула, противостояние правительственным войскам, оказывающее несомненное воздействие на умы солдат и побуждающее их к неповиновению, было единственной возможной формой действия.

И еще одно — когда порицающие декабристов историки говорят о необходимости атак на площади, то никогда не называют цели этих атак. Кого надо было атаковать? Противостоящие полки, вынуждая их защищаться? Что дали бы эти атаки?

Ставку Николая, чтоб захватить его в плен или уничто-

жить? Но конная группа — Николай и его «штаб» не стали бы дожидаться, пока пехота добежит до них.

Единственным осмысленным объектом атаки могли стать орудия, выдвинутые для стрельбы. Но они были выдвинуты в последний период восстания, когда гренадеры Панова уже стояли обводом вокруг московского каре и, стало быть, не могли быть использованы для атаки.

Брошенная на орудия — к углу бульвара и площади — колонна матросов неминуемо была бы отсечена от остальной массы восставших и контратакована во фланги.

Остается только повторить — в той ситуации, которая сложилась на площади (а сложилась она потому, что был сорван план Трубецкого), восставшие могли только защищаться и вести переговоры, надеясь, что их твердость заставит правительство пойти на уступки. То есть в конечном счете реализованной оказалась идея Батенкова — «собрать толпу и заставить вести с собой переговоры».

В том, что происходило в Петербурге после девяти часов утра, была своя крепкая логика. В возникшей и стремительно развивавшейся ситуации диктатору Трубецкому просто не оставалось места.

Мы видели, что изменить он, по сути дела, ничего не мог.

Он мог разделить со своими сподвижниками их военную трагедию. Но он всю первую половину дня жил и действовал по своей прежней логике, которая не дала ему этой возможности.

И быть может, князь Сергей Петрович, избежавший казни, но проживший невеселую жизнь человека, не могущего оправдаться, не раз пожалел, что не оказался в каре у монуента первому императору...

Чтобы закончить тему «декабристских ошибок» 14 декабря, надо сказать о трех «классических» обвинениях: стояние на площади, с которым мы разобрались: необъяснимое нежелание Панова захватить дворец, которое мы объяснили; наконец, орудия Гвардейского экипажа, которые не были почему-то взяты на площадь, что оставило восставших без артиллерии. Орудия действительно стояли в арсенале экипажа. И на площадь их взять можно было. Но стрелять из них на площади никто бы не смог, — все артиллерийские заряды в столице хранились в специальной артиллерийской лаборатории, из которой их с трудом получили даже посланцы генерала Сухозанета. Так что и эта ошибка декабристов ошибкой не была.

Те лидеры тайного общества, те молодые офицеры, которые вступили в действие, вывели солдат на площадь и на площади защищались, вели себя в конкретных условиях идеально точно. Они делали именно то, что могли в этих условиях делать.

И ответственность за провал восстания лежит совсем не на них.

Они и после крушения плана, в сумятице сбитой последовательности действий, неясных задач, отсутствия единого командования, сделали так много, что до последнего момента качались весы...

И Николай это прекрасно понимал.

ПАРЛАМЕНТЕРЫ

Николай прекрасно понимал шаткость и неопределенность ситуации и тогда, когда площадь была окружена. Именно тогда он приказал приготовить экипажи для бегства императорского семейства из Петербурга. Он понимал, что в любой момент полки могут начать переходить на сторону мятежников. Он понимал, что отнюдь не все генералы прилагают максимум усилий для ликвидации мятежа. Он понимал, что в любой момент он может получить, как Милорадович, ружейную или пистолетную пулю. Когда все кончилось, он сказал принцу Евгению: «Самое странное во всем этом, Евгений, так это то, что нас обоих тут же не пристрелили».

Принц Евгений, человек несомненно умный, писал в мемуарах: «И все-таки мы должны сознаться, что возможность полного ниспровержения существующего порядка, при данных исключительных обстоятельствах, зависела от счастливой случайности».

Николай понимал, что время может сработать на мятежников. Что само наличие в центре столицы негаснущего очага возмущения должно порождать сомнения в войсках. Он потому и начал с кавалерийских атак, плохо задуманных, неподготовленных и вяло выполненных, что хотел ликвидировать, снять эту ситуацию до прихода других полков. Вернее, начал он с бессмысленного стояния против мятежного кара — в жалкой надежде, что этот кошмар развеется, пройдет как во сне. Но ни это ожидание, ни кавалерийские атаки не решили проблемы.

Николаю смертельно не хотелось вступать с мятежниками в переговоры, после того как они взяли верх в вооруженных столкновениях. Но другого пути он в тот момент не видел.

Очевидно, первым парламентаром, посланным к мятежникам, был генерал Воинов. По своему положению командующего Гвардейским корпусом он и должен был первым попытаться привести мятежников к повиновению. Но он, вместе с Бистромом, безуспешно уговаривал присягнуть оставшихся в казармах москвичей, а затем, на площади, вел переговоры с восставшими — по имеющимся свидетельствам — до смешного вяло и неохотно. Генерал Воинов, храбрый и

решительный кавалерийский генерал, будучи, как и Милорадович и Бистром, одним из виновников междуцарствия, не нашел в себе — в отличие от Милорадовича — сил для отчаянной попытки исправить свое положение. Не хватило ему — в отличие от Бистрома — воли для спокойного выживания. Генерал Воинов в этот день играл жалкую роль. Он несколько раз пешим и конным приближался к каре и колонне моряков. По одним сведениям, в него стреляли, по другим — народ забросал его камнями... В 1826 году он был смещен с поста командующего гвардией.

Главные переговоры начались после неудач кавалерийских атак и по возвращении Николая с Дворцовой площади, где он столкнулся с колонной Панова.

Прежде всего Николай направил к восставшим петербургского митрополита Серафима. И то, что в качестве парламентаря использован был верховный столичный иерарх, — знаменательно. Это означало провал военных методов — воздействия воинской силой и бесперспективность генеральских приказов и уговоров. Митрополит — другая психологическая сфера. Присяга — акт, освященный церковью. И митрополит должен был объяснить мятежникам правоту Николая. Для императора, начавшего с кавалерийских атак, с демонстрации своей непреклонности, это был шаг назад, явное отступление. Николай осознавал неясность исхода событий, качание весов...

Как мы увидим, митрополит петербургский Серафим и митрополит киевский Евгений оказались на площади после половины третьего. Стало быть, из дворца они были вызваны между половиной второго и двумя. То есть после первых неудачных кавалерийских атак. Пришлось долго уговаривать двух немолодых иерархов выйти из кареты на сумеречную холодную площадь, на которой то и дело вспыхивала стрельба — восставшие реагировали на перемещения правительственных войск и подбадривали себя.

Вместе с митрополитами приехал дьякон дворцовой церкви Прохор Иванов, который вел официальные записи церковной жизни во дворце, а кроме того, собственный домашний дневник. В этом домашнем дневнике он и описал переговоры митрополитов с мятежниками:

«Когда преосвященный Серафим и иподьякон Прохор (сам мемуарист.— Я. Г.), вышед из кареты, двинулись к войску, тогда со стороны бунтующих началась сильная перепалка, а предстоящий народ, падая на землю и одерживая духовных особ, говорил: «куда вы? куда вы? ведь убьют и вас, потому что граф Милорадович смертельно ранен, да и всех, кто их уговаривает, бьют без пощады!» (Действительно, к этому времени был избит Бибиков, избит Ростовцев, попытавшийся уговаривать восставших, избито еще несколько офицеров.— Я. Г.) Между тем государь император, командуя и рас-

поряжая войском, вторично посылает генерал-адъютанта Васильчикова, чтоб убедить митрополита от имени его величества идти к мятежникам, невзирая ни на какие опасности. Преосвященный Серафим, повинуясь воззванию возлюбленного своего монарха и вспомня слова данныя сегодня присяги: «не щадя жизни своя до последней капли крови», вышел на площадь против бунтующих. Тогда-то командир Лейб-гренадерского полка Стюрлер перед глазами владыки был застрелен (этот эпизод дает возможность точно закрепить во времени выход Серафима — около половины третьего.— Я. Г.) и по отведении вскоре скончался. Тут тысячи голосов раздавались в народе, кто кричит: «не ходите, ранят, убьют!», кто говорит: «идите»; иной с угрозою кричит, что «это дело ваше, духовное, что они не суть неприятели, а христиане»,— итак, митрополит Евгений через полицмейстера г. Чихачева вызван был митрополитом Серафимом из экипажа, в коем он оставался, тогда приложась оба они к животворящему кресту, решились, жертвуя жизнью за веру, царя и отечество, идти, и первый митрополит Серафим стремительно бросился, имея в руках духовное оружие — крест — к мятежникам, а за ним Евгений и иподьяконы. Увидев они архипастыря своего, с крестом к ним грядущего, начали первоначально креститься, а потом некоторые, особливо из черни, начали и прикладываться к кресту; владыко, сблизясь с ними и подняв крест, велегласно говорил им тако: «воины, успокойтесь! Вы против Бога и церкви поступили; Константин Павлович, письменно и словесно, троекратно отрекся от Российского престола, Николай Павлович законно восходит на оный; Синод, Совет и Сенат уже присягнули: вы только одни дерзнули восстать против сего. Вот вам сам Бог свидетель, что это есть истина!» Мятежники, особенно два из них офицера, ответствовали на то, что это несправедливо: «Где Константин? Константин в оковах на станции близ столицы. Подайте его сюда! Ура, Константин! Какой ты митрополит, когда на двух неделях присягнул двум царям? Ты изменник, ты дезертир николаевский; не верим вам, поди прочь. Это дело не ваше: мы знаем, что делаем; пошлите к нам великого князя Михаила Павловича; мы с ним хотим говорить, и пр.» Сколько ни уверял и ни убеждал их владыко, однако все сие ими пренебрежено, и когда над головой архиереев начали фехтовать шпагами и вокруг ружьями окружили, тогда преосвященные принуждены были поспешно удалиться в разломанный забор к Исаакиевскому собору, в сопровождении черни, и близ Синего моста оба митрополита сели на двух простых извозчиков, назади оных иподьяконы стали в стихирях и таким образом возвратились в Зимний дворец*.

* ОР ГПБ, ф. 380, № 56, л. 6—7 об.

Дневник Прохора Иванова дает возможность точно установить очередность прихода парламентаров — раз мятежники просят прислать к ним великого князя Михаила, ясно, что он у них еще не был.

Описание переговоров внимательным очевидцем свидетельствует и о твердости восставших. За час до картечи, окруженные со всех сторон, они непоколебимо настаивают на своей первоначальной присяге. Наверняка фехтование шпагами выдуманно испуганным дьяконом, но неприязнь солдат — несомненна.

Правда, тут есть два важных обстоятельства.

Во-первых, именно в это время восставшие получили сильное подкрепление — колонна Панова прорвалась на площадь.

Во-вторых, митрополиты разговаривали с моряками, которые стояли у Сената гораздо меньше москвичей. Устанавливается это достаточно просто: в следственных делах офицеров, командовавших москвичами, — Александра Бестужева, Михаила Бестужева, Щепина — нет никаких следов споров с митрополитом. А в делах офицеров-моряков эти следы встречаются постоянно. Например, в деле Михаила Кюхельбекера сказано, что лейтенанты Арбузов, Мусин-Пушкин, Бодиско 1-й и Кюхельбекер «с некоторыми во фраках, встретив митрополита, не допустили его до батальона шагов около 15 и возражали на слова его высокопреосвященства изъявлением сомнения». Это не противоречит утверждениям дьякона, ибо солдаты и за пятнадцать шагов могли слышать «велегласные» уговоры митрополита и отвечать ему. Моряки стояли ближе к бульвару, по которому приехали иерархи, и естественно, что они подошли к ним первым.

Среди «некоторых во фраках» главным собеседником Се-рафима был Каховский, и здесь проявивший свою суровую энергию.

Приезд митрополита не дал решительно ничего, хотя Николай и его окружение весьма на иерархов надеялись. Единственный человек, с которым моряки хотели говорить, был великий князь Михаил. Но, разумеется, мятежные матросы и офицеры хотели услышать от великого князя вещи вполне определенные...

Ехать на переговоры, зная об участии Милорадовича, было страшно. Но Михаил, нейтральное лицо, посредник между Константином и Николаем, мог, по мнению императора, убедить мятежников в законности переприсяги. Наверняка мысль об этом варианте приходила в головы Николая и Михаила и раньше, но только теперь — после прямого требования восставших — царь и великий князь решились.

Михаил Павлович приехал в сопровождении генерала Левашова вскоре после митрополитов. Александр Бестужев по-

казал: «Что же касается до раны полковника Стюрлера, то вовсе происшествия сего не видал, мимо меня проходили тогда лейб-гренадеры и закрывали ближнюю к каре часть площади, и я потом видел только бегущего Стюрлера... Я вслед за сим занят был распоряжением по фронту, ибо поставил свежих лейб-гренадер на фасы, а московцев внутрь каре, а потом вскорости приехал его высочество великий князь Михаил Павлович с генералами, и я ни минуты до рассеяния не имел свободного времени».

Митрополиты ушли сразу после ранения Стюрлера. Выстрелив в полковника, Каховский поспешил устранять другую опасность — уговоры духовных лиц. Для того чтобы расчитать и построить девятьсот солдат, Панову и Бестужеву нужно было время — не менее двадцати минут. Михаил Павлович приехал, когда лейб-гренадеры уже стояли. Стало быть, это произошло около трех часов. Недаром Александр Бестужев связывает приезд великого князя с близким уже «рассеянием», расстрелом восставших картечью.

Переговоры Михаила не были ни успешны, ни даже настойчивы. Александр Бестужев показал, что «солдаты, подстрекаемые нами, заглушали слова... великого князя Михаила Павловича». Это вполне понятно — он говорил не то, что хотели от него услышать. (Щепин-Ростовский утверждал, что Михаил не подъезжал к московцам, но противоречия между его показаниями и показаниями Бестужева нет. Просто московцы в это время уже стояли внутри каре лейб-гренадер — Щепин мог быть тоже внутри и не видеть великого князя, а Бестужев постоянно находился на внешнем углу каре — ближнем к Адмиралтейскому бульвару.) Великий князь, очевидно, въехал в интервал между колонной экипажа и каре и мог обращаться и к тем, и к другим. Главным образом, он все же говорил с моряками, которые и затребовали его.

Но император и великий князь, зная о существовании тайных обществ и заговора, никак не могли понять происходящего. Им казалось, что стоит убедить мятежников в законности переприсяги, в добровольном отречении Константина — и все образуется. Им казалось, что надо просто переспорить заговорщиков, обманувших солдат. Пример Милорадовича ничему их не научил.

Глубокое подспудное ожидание перемен, жажда перемен, свойственная не только дворянскому авангарду, но и гвардейской массе, превращала противостояние на декабрьской ледяной площади в куда более серьезное дело, чем просто выбор между двумя претендентами, и для солдат. Ожидание меньшего срока службы, избавления от тирании арачьевцев, вообще ожидание какой-то другой жизни в случае победы — вот что делало солдат столь упорными и удерживало их на месте. Добровольный уход в казармы, сдача, капитуляция

могли, конечно, уменьшить их вину, но отнимали и надежду на другую жизнь.

То, что предлагали им и Милорадович, и великий князь, было, собственно, возвращением к постылому прошлому, а они смутно, но сильно хотели будущего.

Солдаты знали, что тысячи их товарищей, оказавшихся на той стороне, так же, как и они, ждут этой новой жизни. Так почему же им, выбрав момент, не присоединиться к тем, кто эту жизнь старается вырвать?

Великого князя сбивало с толку это непонятное упрямство мятежников. Но шаткость положения он чувствовал не хуже Николая.

Уговоры Михаила закончились тем, что вперед вышли трое — высокий человек в партикулярном платье и двое офицеров. В руке у штатского был пистолет. И этот высокий человек прицелился в великого князя.

Трудно наверняка сказать, что тут произошло. Была создана и тщательно распространялась официальная легенда о трех матросах экипажа, которые бросились на покушавшегося и спасли великого князя. Декабристы — и на следствии, и потом — против этой легенды решительно возражали.

Скорее всего, у поэта-тираноборца Кюхельбекера фатально осекался пистолет — то ли порох подмок, то ли ссыпался с полки. А Одоевский и Цебриков, быть может, вовсе и не желали смерти Михаила. Важно было удалить его от строя. Для них это, быть может, была просто акция устрашения. И она удалась. Великий князь ускакал.

После великого князя снова приезжал Воинов и пытался говорить с экипажем. И снова Кюхельбекер, Одоевский и Цебриков вынудили его удалиться.

После половины третьего и в самом деле началось «стоячее восстание». Но теперь уже в том-то и был смысл, чтобы выстоять. Продержаться до темноты. Дать возможность другим полкам созреть для отказа от присяги.

Но было и «стоячее подавление восстания». После неудачи конных атак, после того, как стало ясно — никакое окружение не может помешать мятежникам пробиваться на площадь, Николай только посылал парламентаров. Никаких иных действий на площади он не предпринимал. Полки стояли против полков. И всё.

Но вне площади действия предпринимались.

Вскоре после своего прибытия на Сенатскую площадь Николай послал генерала Потапова за артиллерией. Поскольку конная гвардейская артиллерия скомпрометировала себя попыткой бунта, то ставка сделана была на пешую артиллерию. (Разница между конной и пешей артиллерией заключалась в том, что в первой артиллеристы верхом сопровождали свои орудия, а во второй шли за орудиями пешим строем.)

Оповещенный Сухозанет нашел Потапова в 1-й бригаде пешей артиллерии. «...Я вбегаю — Потапов мерял шагами комнату, и когда я закричал: «Зачем вы присланы?» — он как бы проснулся. «Все взбунтовались, мой дорогой генерал, государь требует артиллерию».

Если вспомнить, что Потапов был одним из активнейших сторонников Константина, то его задумчивость и сообщение, что «все взбунтовались», приобретают особый оттенок.

Сухозанет приказал срочно впрягать лошадей и с четырьмя первыми орудиями поспешил к Сенатской площади. Одновременно адъютанта Философова он «послал прямо в лабораторию с передками, а поручика Булыгина с номерами зарядных сум (под номерами имеется в виду артиллерийская прислуга, а не цифры.— Я. Г.), чтобы привезти заряды прямо ко дворцу, приказав Булыгину захватить извозчиков, хотя бы силою — но скорее доставить первые необходимые заряды». Посадив артиллеристов на орудия, Сухозанет повел батарею через Царицын луг к Мильонной улице.

Здесь у него произошла неожиданная и опасная встреча. «...Я увидел толпу солдат, выбегавших в беспорядке из переулка Мраморного в Мильонную... «А это что?» — «Это тоже взбунтовавшиеся гренадеры», — отвечал мне Нейдгардт (только что подъехавший к артиллеристам.— Я. Г.) и с этими словами ускакал. Артиллерия была уже близ угла казарм Павловских, я скомандовал: «шагом — слезай — стой — равняйся; ребята, оправьтесь, ко дворцу надобно идти в порядке». Под этим предлогом я дал время толпе мятежников удалиться...»

Было около двух часов.

Артиллерия, без зарядов шла к Сенату. На Дворцовой площади первую батарею догнали остальные.

Сухозанет не знал, что ему предстояло быть последним парламентарем в день 14 декабря.

Но был в этот день и еще один странный парламентар, изумивший своим поведением обе противоборствующие стороны...

ЯКУБОВИЧ, БАТЕНКОВ, ШТЕЙНГЕЛЬ В ДЕНЬ 14 ДЕКАБРЯ

Придя с Московским полком на площадь, Якубович пробыл там очень недолго. Спешившие в одиннадцать часов к Сенату Рылеев и Пущин встретили Якубовича у Синего моста на Адмиралтейской площади, а он до этого успел побывать на сенатской гауптвахте и поговорить с караульным офицером. Сам он показал, что ушел от москвичей, как только каре было выстроено и заряжены ружья.

То, что Якубович предпринимал дальше, до конца понять

трудно. Но можно попытаться проанализировать мотивы его поступков.

После мимолетной встречи с Рылеевым и Пуциным Якубович двинулся в сторону дворца. На Адмиралтейском бульваре он встретил генерала Потапова, посланного, очевидно, на разведку. Якубович объявил Потапову, что «гнушается замыслами преступных», и они вместе вышли на угол бульвара и площади — «взглянуть на мятежников». Об этом Якубович рассказал сам. Поскольку все эти показания могли быть легко проверены, тем более что Потапов заседал в Следственной комиссии, то, очевидно, кавказец говорил правду.

В это время — был уже первый час — показались преображенцы и Николай. Якубович не пошел навстречу императору — он ждал его в конце бульвара.

Воспоминания полковника Вельо дают возможность определить время первого разговора Якубовича с Николаем. Сразу же после прибытия Конной гвардии на площадь Вельо увидел следующую сцену: «Государь остановился около нашего первого эскадрона и долго говорил с неким Якубовичем, раненным на Кавказе офицером». Раз Вельо наблюдал эту сцену, то, значит, происходила она не ранее половины первого.

Сам Николай в записках рассказывает, что увидел Якубовича, когда привел преображенцев к самой Сенатской площади:

«Тогда же слышали мы ясно — «Ура, Константин!» на площади против Сената и видна была стрелковая цепь, которая никого не подпускала.

В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе и узнав, что он Якубовский (ошибка Николая.— *Я. Г.*), но не зная, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко ответил:

— Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.

Я взял его за руку и сказал:

— Спасибо, вы ваш долг знаете.

От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте... В это время генерал-адъютант Орлов привел Конную гвардию».

Свидетельства Вельо и Николая соответствуют друг другу. Очевидно, Конная гвардия пришла именно в момент разговора императора с Якубовичем.

Это был тяжкий для Николая момент. Он только что узнал о судьбе Милорадовича. Генерал-губернатора ему не было жаль, но он знал теперь, чего можно ждать от мятежни-

ков. И поручение, которое Николай дал Якубовичу, надо рассматривать в связи с недавним выстрелом Каховского.

Точно восстановить разговор человека, который еще накануне собирался штурмовать Зимний дворец, и хозяина этого дворца невозможно. Несколько свидетелей — сам Николай, флигель-адъютант Дурново, командир 1-й Преображенской роты Игнатъев, генерал Комаровский — передают этот разговор весьма противоречиво. И для того чтобы представить себе смысл и направление разговора — как этого, так и следующего, — надо попытаться понять, зачем эти разговоры вообще понадобились Якубовичу. Если он хотел окончательно устраниться, то мог пойти домой или куда угодно. Зачем была ему эта двусмысленная и рискованная игра?

Якубович в своих действиях исходил из стратегического замысла Батенкова. Батенков был принципиальным противником захвата дворца — Якубович сорвал эту операцию. Батенков был принципиальным сторонником сбора войск — желательно за городом — и мирных переговоров с Николаем о возможных реформах. В результате действий Якубовича и Булатова планируемая Трубецким наступательная тактика превратилась именно в сбор войск, правда не на Пулковской горе, а в центре города. Что же до переговоров с опорой на собранные войска, то Якубович и попытался осуществить этот пункт батенковской программы. Нерешительно, расплывчато и робко — но попытался.

Что делал Якубович в те немногие минуты, что был он на площади с москвичами — после их прихода?

Александр Бестужев: «Он встретил Московский полк у Красного моста, потом был на площади и, сказав мне, что у него голова болит, исчез. Мы изумились, когда он явился парламентарем». И все. Для Александра Бестужева Якубович исчез с площади под предлогом головной боли.

Михаил Бестужев: «Якубович встретил бунтующих в Горюховой улице, кричал «ура!» Константину, взявши шляпу на саблю, когда же отстал от них и возвращался ли к ним, не знает». Очевидно, Михаил Бестужев, выстраивающий дальние фасы каре, обращенные к Неве и Сенату, просто не видел Якубовича на площади.

Зато есть чрезвычайно важное показание Щепина-Ростовского: «На площади же Якубовичу именно говорил (Щепин.— Я. Г.) о требовании, чтобы нас уволили от принятия вторичной присяги до прибытия Константина Павловича, потому что он вызвался идти объявить лично государю императору и пред тем подходил меня спрашивал».

Якубович, уходя с площади, знал, что будет делать. В этом смысле свидетельство Щепина — исчерпывающее, несмотря на его лапидарность.

Во-первых, не случайно Якубович говорил о своей пред-

стоящей акции только со Щепиным. Щепин-Ростовский, как мы помним, был один из самых умеренных декабристов. Его желания и в самом деле ограничивались воцарением Константина.

Во-вторых, Якубович ясно сказал Щепину, что идет объявить Николаю требования восставших, и наказ Щепина — отстаивать присягу Константину (не требовать конституции, реформ и так далее, а только самоустранения Николая) — его вполне устраивал.

Для Александра Бестужева, который — Якубович это знал — вообще вряд ли согласился бы на переговоры до прибытия лидеров, а уж если согласился бы, то требования его были бы куда радикальнее щепинских, — для Бестужева у Якубовича было иное объяснение своего ухода — головная боль.

Заручившись, как он считал, поддержкой Щепина-Ростовского, которому формально было вручено командование москвичами, Якубович решил попытаться начать переговоры с Николаем. Он сделал это без ведома и вопреки намерениям лидеров тайного общества, ибо последний вариант плана Трубецкого — Рылеева предусматривал переговоры разве что с уже арестованным Николаем.

(Фраза Рылеева, сказанная Кюхельбекеру позже на вопрос о Якубовиче: «Он там нужен», если глуховатый Кюхельбекер правильно ее расслышал, носит скорее саркастический характер: около императора Якубович, изменивший своему слову, нужнее, чем в рядах восставших.)

Якубович принял свое решение до того, как встретил Рылеева и Пущина. «В бытность мою в колонне бунтовщиков, кроме двух Бестужевых и князя Щепина-Ростовского, я никого не видал». А с Рылеевым и Пущиным он говорил на ходу — они спешили к москвичам, не знали еще ситуации и не могли давать ему никаких заданий...

Фраза Якубовича, переданная Николаем: «...услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам» — безусловно неточна, ибо бессмысленна. Присоединяясь к мятежникам, Якубович с самого начала должен был знать, что они за Константина, — иначе чего бунтовать?

Сравнивая различные свидетельства, можно представить себе, что Якубович так и сказал императору — был за Константина, но понял незаконность своих действий и явился к вам, как законному монарху. Для Николая раскаявшийся мятежник был в этот момент сущей находкой. После ранения Милорадовича императору и самому отнюдь не хотелось вступать в разговоры с восставшими и посылать близких к себе людей тоже. Естественно было ему предложить Якубовичу роль посредника. Если Якубович на это рассчитывал, то он рассчитал точно.

Якубович, как видим, не решился предъявить Николаю конкретные требования. Он лавировал. Он постарался запугать молодого царя, сообщив, что «Московский полк почти весь участвует в бунте», что было преувеличением. Он хотел понять — склонен Николай к переговорам, к уступкам или нет.

Судя по имеющимся свидетельствам, он принял роль посредника, не преминув сообщить о ее опасности и собственной храбрости. Он начинал какую-то свою игру, вряд ли продуманную до конца, но укладываемую в общую батенковскую схему.

Он нарушил утреннюю договоренность с Булатовым — действовать сообща. И Булатов напрасно искал его вокруг Сенатской площади.

Николай велел Якубовичу предложить мятежникам вернуться в казармы в обмен на амнистию. Якубович направился к каре, размахивая белым платком, его встретили криком «ура!». И он сказал своим товарищам, что император их боится, и посоветовал держаться крепко.

Потом он вернулся к Николаю и сообщил ему, что мятежники «решительно отказываются признавать императором кого-либо, кроме великого князя Константина». Очевидно, целью этой «челночной дипломатии» было подготовить момент для предложения некоего компромисса.

Николай на этот раз предложил Якубовичу разъяснить мятежникам позицию Константина. Но Якубович понимал, что заходить слишком далеко в разыгрывании своих недавних соратников не следует, и отказался выполнять это поручение. Вместо него пошел флигель-адъютант Дурново и едва не был заколот московцами. Тогда Якубович снова отправился в каре.

Все это происходило приблизительно от двенадцати двадцати до двенадцати пятидесяти. Поскольку от «ставки» Николая до московцев была сотня метров, то походы туда и обратно занимали минуты.

Дипломатическая деятельность Якубовича закончилась весьма драматически. Скорее всего, в каре разгадали нечистоту его игры. Сутгоф писал потом: «Якубович был оскорблен на площади кн. Щепиным-Ростовским». Поскольку, отправляясь к Николаю, Якубович как бы выполнял поручение Щепина, то, надо полагать, князь потребовал у него отчета. И не был удовлетворен результатом. Более того, Якубович сказал на следствии, что в этот второй его приход к восставшим «солдаты хотели меня тут заколоть». Этот второй его визит был столь короток, что он не успел рассмотреть, кто же еще из членов тайного общества пришел в каре.

Что произошло в каре — мы не знаем. Но ясно, что восставшие отнюдь не склонны были в этот период слушать

предложения о капитуляции и прощении,— Милорадович был тяжело ранен, а Дурново и Якубович едва не заколоты.

Хождения Якубовича прекратились с приходом лейб-гренадер Сутгофа. Случайное это совпадение или же изменилась ситуация в каре, настроение восставших — можно только предполагать.

Но безусловно другое: с этого момента Якубович считал вчерашних своих соратников — врагами.

Адъютант Милорадовича Башуцкий рассказал, что делал Якубович, уйдя с площади. Храбрый кавказец не засел дома, как можно понять из его показаний. Он снова совершил поступок трудно предсказуемый.

Приблизительно через час после того, как Милорадовича принесли в конногвардейские казармы, врачам стало ясно, что он умирает. Башуцкий собрался во дворец, чтобы сообщить эту весть. «Сходя по лестнице, я услышал стук сабли, колотившейся о ее ступени, и сказал человеку, который шел вверх, чтоб он подобрал ее. В ту же минуту этот стук замолк. На первом повороте мы встретились, то был Якубович... Быстро спрашивал меня Якубович, справедливо ли, что граф безнадёжен, умолял, как о милости, взглянуть на него, проклинал убийц, обнаруживал все признаки глубокого отчаяния».

Якубовича не было на площади, когда Каховский стрелял в Милорадовича. Естественно, находясь все время рядом с площадью, он не мог не знать о случившемся. Но до поры он был увлечен своей ролью посредника между правительством и мятежниками. Когда же игра оборвалась так обидно для него, то он вспомнил о своем друге последних дней. А может быть, как мы уже говорили, их связывала не только приязнь, но и дела политические — в умеренном варианте. Тогда становится еще яснее отчаяние Якубовича — раньше в случае поражения радикалов из тайного общества у Якубовича оставалась надежда на сотрудничество с Милорадовичем и его сторонниками. Собственно, убеждая Николая в неколебимой верности восставших солдат Константину, Якубович объективно работал на Милорадовича. Пуля Каховского разрушила и этот вариант.

Посмотрев на умирающего Милорадовича, Якубович, «весь красный и заплаканный, вполголоса начал проклинать «разбойников», совершивших это неслыханное подлое злодеяние...»

Если и раньше полулиберал Милорадович, деятель без определенной политической программы, но храбрец и рыцарь, был Якубовичу понятнее и ближе сосредоточенных на своей идее Рылеева, Оболенского, Трубецкого, то теперь — после разрыва с ними — он конечно же ощутил искреннюю скорбь по умирающему.

Когда Якубович повез Башуцкого к дворцу в своей карете, то оказалось, что у кавказца с собой целый арсенал. Он заезжал ненадолго домой, взял карету и вооружился. «Я вооружен до ушей; вот со мною еще ружье, шашка и кинжал». — «Но к чему же все это?» — спросил я, несколько удивленный, не отдавая ему пистолетов, от которых он хотел меня освободить. «Как к чему? Разве вы не знаете ничего о деле вообще и о мне в особенности?» — «Ничего, я все время был при графе». Он рассказал мне тут живо и картинно (Якубович говорил чрезвычайно хорошо), как был завлечен в заговор, — как накануне, застав заговорщиков в их собрании делившими между собой казенные деньги, дома, дворцы, он предал их анафеме и объявил им, что с этой минуты не участвует в их подлом деле, — как явился поутру государю на площади и был послан им к увещанию бунтовщиков солдат, наконец, как многие из прежних соумышленников в злобе на него ищут его по городу, являлись уже к нему на квартиру и один даже стрелял в него на перекрестке улицы».

Возможно, Башуцкий, вспоминая рассказ Якубовича, что-то добавил или переиначил, но стилистика храброго кавказца просматривается здесь совершенно безошибочно. Якубович понимал, в каком двусмысленном виде предстанет он перед современниками и потомками, и на ходу создавал романтическую легенду.

Конечно, он ни минуты не думал, что Рылеев или Пущин будут пытаться убить его. Но то, что Башуцкий сообщает о вооружении своего спутника, — не выдумка. Якубович показал на первом допросе: «Возвратясь домой и опасаясь бунтовщиков, зарядил оружие и не велел никого людям пускать к себе». Все свои романтические игры Якубович играл всерьез...

Батенков провел день 14 декабря куда менее бурно. Рано утром он «пустился в свои мечтания о временном правлении и о родовой аристократии», затем увиделся, по его словам, с Бестужевыми — что могло быть только на квартире Рылеева. Очевидно, Батенков заходил очень ненадолго, и потому никаких сведений о его пребывании там не зафиксировано. После этого он на улице встретил Рылеева и от его спутника (должно быть, Пущина) узнал, что «артиллерийские офицеры с целою батареею не присягают, а ездят по городу». Потом был разуверен встретившимися артиллерийскими же офицерами. Завтракал у Сперанского. «Потом был в дежурстве путей сообщения и узнал, что солдаты вышли на площадь; возвратясь домой, выходил на тротуар, услышал, что беспорядков никаких нет, что, хотя и кричат солдаты с толпою мужиков «Константин», но дамы спокойно возле них ездят. Я заперся дома...»

Реальность обманула Батенкова, так же как и его товари-

щей. Но они пытались — даже Якубович до времени — сломить эту враждебную реальность, противопоставить ей свой вариант — они дрались на улицах и в казармах, они стояли на площади, отражая кавалерийские атаки.

Батенков уклонился от прямого столкновения с реальностью, ибо его умеренные идеи были куда более утопичны, чем радикальные замыслы Рылеева, Оболенского, Трубецкого. И у него не хватило решимости устроить этим идеям проверку тем единственным способом, которым проверяются политические идеи, — попыткой реализации. Он близко не подошел к Сенату, на победоносные переговоры с которым недавно претендовал.

Штейнгель, разорвав проект манифеста, занимался все утро подготовкой отъезда своего в Москву, ходил в дилижансовую контору, брал билет. Потом снова ходил в дилижансовую контору, на обратном пути услышал шум на Гороховой улице — это шел на площадь Московский полк. В отличие от Батенкова, Штейнгель возле площади был, смотрел на происходящее. Перешел через Исаакиевский мост, еще не занятый Финляндским полком. Долго сидел у купца Сапожникова, жившего на Васильевском острове. Когда возвращался домой, то мост уже был занят финляндцами, и пришлось переходить Неву по льду. «Переулком пришли домой (Штейнгель был вдвоем со знакомым надворным советником. — Я. Г.), где и обедали»: Где и обедали... А три тысячи восставших солдат со своими офицерами и несколько штатских с пистолетами в руках стояли на очень холодной площади.

Но, разумеется, описания своего времяпрепровождения 14 декабря, данные на следствии двумя подполковниками, — это внешность, поверхность. А что было в душе у мудрецов и прожектеров Батенкова и Штейнгеля, отчаянных политических мечтателей и боевых офицеров, когда они слышали стрельбу у Сената?

Потом, в крепостных казематах, у них не было и того утешения, что они рискнули, испытали судьбу, вырвались в историю из тупика, в который их загоняли...

ПОЛКОВНИК БУЛАТОВ В ДЕНЬ 14 ДЕКАБРЯ

В отличие от Якубовича и несмотря на свой фактический отказ выполнить обязательства, взятые накануне, Булатов действовать собирался.

Первое действие — разрушение плана Трубецкого — удалось само собой. Но это была негативная часть контрплана. Надо было затем приступить к части позитивной.

Уехав около девяти от Рылеева, Булатов заехал к братьям.

«Вижу, что брат мой, лейб-гренадер, собирается в полк к присяге. Я отзываю его в другую комнату и прошу, чтобы он нашел Сутгофа и сказал бы ему, чтобы он моего имени не упоминал ни в коем случае». Потом полковник поехал проститься с дочерьми и благословить их. Было около десяти часов.

«Я поехал к Якубовичу. Подъезжая к подъезду, встретил его выходящим из дому. Он имел намерение куда-то заехать; мы назначили место, где нам съехаться: на Английской набережной или на бульваре (то есть рядом с Сенатской площадью.— *Я. Г.*). Заехал еще раз в комендантскую канцелярию, но опять не застал его превосходительства дома; поехал отыскивать Якубовича и, я думаю, раза три объехал Петровскую площадь и Якубовича не видал и уехал домой. Потом, как я все свои вещи отправил в полк и славное свое оружие, то и жалел очень, что не имел при себе ничего для защиты себя. Брат мой сказал мне, что присяга кончена, как вдруг вызвался на этот раз мне сделать услугу, и как он заказывал пистолеты мастеру Кноту, и я просил его заехать купить мне кинжал. Он отправился, а я уехал опять на Петровскую площадь искать Якубовича. Сделав круга два и не найдя, я возвратился опять домой (надо помнить, что дом Булатова находился на Исаакиевской площади и каждая поездка к Сенату занимала несколько минут.— *Я. Г.*); дожидаясь возвращения брата, полагал, что все кончено... Я приказал моему камердинеру прощальные мои письма сжечь, а сам, переодевшись, думал отправиться на целый день к детям. Идя Артиллерийскую площадь и выйдя на Шестилавочную улицу, услышал я выстрел...» Шестилавочная улица (нынешняя улица Маяковского) была достаточно далеко от Сената, и если Булатов там, за Литейным, слышал стрельбу, то стрельба была основательная. Это были первые выстрелы дня — в момент ранения Милорадовича, и, стало быть, время подходило к половине первого. (Тот факт, что Булатов услышал эти выстрелы в таком отдалении от площади, безусловно доказывает, что в Гвардейском экипаже они должны были прогреметь очень явственно.) «...Взял на бирже извозчика и поехал на Петровскую площадь, дабы узнать, не там ли Якубович. Выехав на площадь со стороны дома Лобанова-Ростовского и подъезжая к углу бульвара, остановился, велел извозчику подождать, а сам вышел на самую площадь, чтобы посмотреть, какого полку партия действует — две роты московские. (И здесь, и далее Булатов подсознательно приуменьшает количество вышедших войск.— *Я. Г.*) Я выходил на площадь; не знаю, по ком было сделано несколько выстрелов, и пуля или две просвистели мимо меня...» (Странно, конечно, что он не видел Николая, но император время от времени уезжал на бульвар.)

Булатов понял, что восстание началось. И он сделал то,

что утром сделали Оболенский, Рылеев и Пушин, — отправился в объезд полков. Он искал казармы экипажа, но, очевидно, не нашел. Побывал около Измайловского полка — там все было тихо. Поехал в Московский полк и получил подтверждение, что часть полка ушла на площадь. Тогда он опять поехал к дочерям. Там «выпил рюмку вина или наливки, съел кусочек хлеба и поехал домой. Подъезжая к дому (Исаакиевская площадь.— *Я. Г.*), вижу, что артиллеристы хлопочут». Было от половины третьего до трех часов. Булатов почувствовал, что приближается решающий момент. Якубович был неуловим. Они несколько раз оказывались в первую половину дня, когда Булатов кружил возле Сенатской площади, в какой-нибудь сотне шагов друг от друга — но не встречались. Якубович, увлеченный своей новой ролью посредника, забыл о назначенном месте встречи.

Булатов оценил ситуацию — утренней акцией Трубецкой оказался устранен, план его разрушен. Теперь можно было бы перехватить верховное руководство и повести игру по своему плану. А судя по отдельным проговоркам, он у Булатова был. Возможно, они обсуждали план с Якубовичем. Но для действий нужна была сила. Нужны были полки, а не только московские роты...

Булатов завернул домой. «Я, войдя в комнаты, велел дать себе одеться (в прошлый приезд он переоделся в повседневную форму, чтобы ехать к детям, теперь, стало быть, снова надевал парадную.— *Я. Г.*), увидел брата и попросил его о пистолетах; брат долго колебался, но я сказал ему: «Любезный друг, подумай, чтобы я посягнул на чью-нибудь жизнь; ты можешь быть уверен, и что кроме как на самого себя, ни один пистолет употреблен не будет». Брат жалел меня, но зарядил пистолеты, ибо они были со шпелером; я не умел их зарядить, да к тому же я торопился одеться. Я приказал оседлать себе подручную лошадь и, быв совершенно готов, взял заряженные пистолеты, один из них и кинжал я спрятал за пазуху, другой — в карман. Прощаясь очень хладнокровно с моим братом Александром, имел несчастье похвастать брату моему, что если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты и Риэги, а может быть, и превзойдут тех революционистов; имена сии я не так хорошо знал по их деяниям, как по беспрестанным произношениям меньшого брата моего (Булатов не догадывался, что его брат «беспрестанно» цитирует стихи Рылеева.— *Я. Г.*)...»

Как видим, Булатов снаряжался в бой. Причем оседланная лошадь есть свидетельство его намерений возглавить войска. «Выйдя из дому, сел я в сани, а на лошадь велел сесть человеку и ехать за мной. Артиллерия пошла вперед (около трех часов, артиллерия подтягивалась к площади, а одна батарея выходила на позиции для стрельбы.— *Я. Г.*), а я

велел взять себя по набережной единственно для того, чтобы увидеть лейб-гренадер и предостеречь Сутгофа, что он обманут...» В рассказе Булатова среди чистейшей откровенности вдруг попадают наивные хитрости измученного человека. Ну зачем было вооружаться, седлать коня, говорить о Бруте и Риеге, чтобы отправиться предупреждать Сутгофа? Абсурд. Булатов собирался возглавить лейб-гренадер, коль скоро они выступят. «...Подъезжая к Гагаринской пристани или, кажется, у Мраморного дворца спросил я: «Прошли ли лейб-гренадеры?» Мне отвечали: «Давно уже». — «Досадно», — сказал я».

Он слишком долго искал Якубовича и колебался. Тысяча двести пятьдесят лейб-гренадер Сутгофа и Панова — большая сила! — прошли задолго до того, как Булатов решился. И он снова двинулся в сторону Сената. «Приехав к Зимнему дворцу, увидя войска, я начал рассуждать и в мыслях своих делать планы движения... Я долго ездил по Дворцовой площади, встречал довольно знакомых и видел много генералов, со всеми кланялся и потихоньку поехал далее. Слышу крики «Ура!». Это измайловские, которые должны быть, по уверению Рылеева, все на их стороне, и, следовательно, во всем — обман; об Якубовиче я знал, что он тоже не будет действовать по сделанному нами условию и по слову дожидаться меня... В это время вижу я государя императора. Мне очень понравилось его мужество; был очень близко его и даже не далее шести шагов, имея при себе кинжал и пару пистолетов. Я ездил, рассуждал и очень жалел, что я не могу быть ему полезен. Обратился к собранию вечера 12 числа, где было положено для пользы отечества или, лучше сказать, партии заговорщиков убить государя. Я был подле него и совершенно был спокоен и судил, что попал не в свою компанию».

Так он и простоял больше часа возле площади, пока не ударили орудия. Он по-прежнему был уверен, что если бы он командовал восставшими, то все пошло бы по-иному: «Итак, хотя гнусное дело быть заговорщиком, но если бы они не обманули меня числом войск и открыли бы видимую пользу отечеству и русскому народу, я сдержал бы свое слово и тогда было бы труднее рассеять партию».

Разговоры об обмане «числом войск» — блеф. Булатов хитрил с самим собой. Если бы Якубович по договоренности с ним не уклонился от вывода экипажа и пошел бы с матросами к измайловцам, то полк был бы на стороне восстания. Если бы сам Булатов не ставил нелепых условий, а приехал, как предлагал ему Рылеев, в казармы лейб-гренадер утром 14 декабря, все роты своевременно выступили бы и войск, таким образом, вместе с москвичами, было бы предостаточно.

Они, Булатов и Якубович, сорвали своевременный массивный выход восставших войск. И упрекать Булатову было некого.

Ничего нового в смысле активных действий Булатов не мог предложить тем, кто стоял на площади. Своими штаб-офицерскими эполетами он мог сыграть некоторую роль в психологическом воздействии на солдат противной стороны. И — все.

Несчастный Булатов и в самом деле «попал не в свою компанию». Не понимая происходящего, не ориентируясь ни в общественной борьбе, ни во внутренних делах тайного общества, он стал, по сути дела, игрушкой в руках Якубовича, способствовал поражению восстания, не вынес страшного и непривычного для него напряжения этих дней — и погиб.

Явившийся с повинной во дворец и посаженный в крепость, Булатов сошел с ума и разбил голову о стену камеры.

Письмо великому князю Михаилу, которое я так обильно цитировал, было последним текстом, написанным им в здравом уме. Он писал еще много, но мысли его начали путаться...

Но это будет через десять дней, две, три недели. А сейчас он стоит на углу бульвара и площади и смотрит на тех, кем обещал командовать. Темнеет. Тянет холодным ветром. К орудиям подвезли боевые заряды.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ И КАРТЕЧЬ

Московцы стояли на площади уже пятый час. Моряки и рота Сутгофа — третий. Гренадеры Панова — второй. Не считая роты Сутгофа, все были в мундирах. Многие офицеры тоже. Они не ели с самого утра, кроме лейб-гренадер, успешших пообедать после присяги.

Было очень холодно.

«Каховский... раза три брал и отдавал мне пистолет, чтобы погреть руки», — рассказывал Александр Бестужев.

После того как ускакали великий князь и Левашов, а вскоре после них оборвал робкую свою попытку Воинов, мятежные и правительственные войска просто стояли друг против друга. Уже не кричали: «Ура, Константин!» Уже не стреляли в воздух.

Редела толпа. Полиция, осмелевшая с накоплением пригнувших Николаю частей, проталкивала людей мимо финляндцев через Исаакиевский мост на Васильевский остров. Но уходили они с настроением вовсе не безнадежным. «Люди рабочие и разночинцы, — писал Розен, — шедшие с площади, просили меня держаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно».

Сами восставшие и все, кто им сочувствовал, ждали темноты.

Александр Беляев вспоминал: «Во время нашего стояния

на площади из некоторых полков приходили посланные солдаты и просили нас держаться до вечера, когда все обещали присоединиться к нам; это были посланные от рядовых, которые без офицеров не решались возмутиться против начальников днем, хотя присяга их и тяготила».

И декабристы, и Николай с генералами понимали: если взбунтуется любой из правительственных полков, это разомкнет кольцо окружения, изменит всю тактическую ситуацию на площади, может вызвать цепную реакцию. Устали от многочасового стояния, холода и неопределенности восставшие. Устали и те, кого вывели против них.

Мысль об использовании артиллерии наверняка не покидала Николая с самого начала — расстрелять картечью плотное построение мятежников было наиболее точным в военном отношении выходом. Но кроме военного аспекта 14 декабря определяющую роль играли аспекты политические и общественные.

Перед Николаем сразу же вставали три вопроса.

Первый: что скажут Россия и Европа, если он проложит себе путь к трону картечными залпами? Как будут реагировать русское и европейское общественное мнение?

Русское общественное мнение интересовало Николая не само по себе — хотя ему хотелось, чтоб о нем думали хорошо, — но по вещественным результатам: неблагоприятное, оно создавало бы предпосылки для заговоров, цареубийств, демонстративных отставок. 14 декабря Николай еще плохо представлял себе, насколько прочно будет он сидеть на троне, и должен был учитывать все эти тонкости.

Европейское общественное мнение влияло на позиции правительств и, таким образом, тоже приобретало практическое выражение.

Надо было по возможности ликвидировать мятеж минимальной кровью.

Второй вопрос: станет ли артиллерия стрелять по своим? Не приведет ли такая попытка к отказу артиллеристов повиноваться? Не толкнет ли он их столь страшным приказом в лагерь мятежников?

Третий, тоже роковой вопрос: не вызовет ли расстрел верных первой присяге гвардейцев на глазах у остальных полков озлобления этих остальных полков? Не сочтут ли солдаты происходящее неоправданной жестокостью, свидетельствующей об узурпации трона? Разве настоящий царь повелит стрелять из пушек в своих подданных, когда они требуют всего-навсего доказательств законности переприсяги?

Ответить на все эти вопросы Николаю было трудно.

Стрельба картечью могла принести быстрый успех, а могла и спровоцировать взрыв, нарушить шаткое равновесие на площади...

Николай ждал, хотя время работало против него.

Единственной активной группой в правительственных войсках были офицеры и нижние чины пешей артиллерии, которые старались обеспечить зарядами свои орудия. Это оказалось нелегко. Артиллерийская лаборатория располагалась на Выборгской стороне, далеко от Сената, и полковник Челябин, плохо понимавший, что делается в городе, как уже говорилось, отказался выдать заряды. Офицерам-артиллери-стам пришлось пригрозить выломать двери склада...

Три тысячи солдат стояли на площади.

Двенадцать тысяч — вокруг площади.

Но восставшие вели себя логичнее. В ожидании темноты, присоединения к ним части войск они решили выбрать нового начальника взамен неявившихся. Они больше не надеялись ни на Трубецкого, ни на Булатова, ни тем более на Якубовича. Начальник был нужен для координации предстоящих активных действий.

Инициатором его назначения стал спокойный и рационально мыслящий лейтенант Михаил Кюхельбекер.

Оболенский рассказал на следствии: «Лейтенант Кюхельбекер подошел ко мне, спрашивая, кто наш начальник. Мой ответ ему был, что начальник наш есть князь Трубецкой, который по причинам мне неизвестным на площадь не прибыл. Тогда он, представив нам необходимость иметь начальника, я обратился к Николаю Бестужеву, как старшему по князе Трубецком и штаб-офицеру, и просил его принять начальство. Но Бестужев представил нам, что на море он мог бы принять начальство, но здесь, на сухом пути, он в командовании войсками совершенно не имеет понятия».

Шел четвертый час. Солнце зашло в три, и было совсем сумеречно. Несколько офицеров — Кюхельбекер, Николай Бестужев, Оболенский, Арбузов, об остальных можно только гадать — стояли в интервале между колонной экипажа каре. Выборы начальника не были для них актом отчаяния или паники. Наоборот, это свидетельствовало о подготовке некоей радикальной операции. Надвигалась спасительная темнота.

Командование предложили Оболенскому. «Я представлял им мою неопытность и невозможность принятия на себя какой-нибудь обязанности, но, видя, что решительный отказ мой наведет на них совершенную робость, замолчал и повиновался несчастным обстоятельствам. Кюхельбекер взял меня за руку и подвел к нижним чинам Гвардейского экипажа, объявляя им, что я их начальник...»

В материалах полкового следствия по экипажу сказано: «...когда явился перед баталионом князь Оболенский, то господа Кюхельбекер с Пушкиным (Мусин-Пушкин.— Я. Г.) и Арбузовым, встретив, закричали: «Ура!»; обнимали и предста-

вили баталиону как старшего начальника над оным...» Так виделась эта сцена матросам.

Очевидно, положение Оболенского было не столь страдательно, как он, по понятным причинам, изобразил на следствии.

Надвигалась темнота. Требовалось выработать план на случай перемены обстановки. Оболенский трижды, по его словам, пытался собрать офицерский совет. У декабристов был в запасе, как мы помним, вариант ретирады на военные поселения. И Оболенский думал о нем. Незадолго до картечи он предполагал послать за шинелями. Как он хотел это осуществить — неясно.

Собрать совет ему не удалось. Очевидно, сказалась деморализация младших офицеров.

Весы качались. Николай это знал. Императорские войска были охвачены поредевшей, но еще многочисленной возбужденной толпой. Темнота могла способствовать нападению на полки с тыла. Принц Евгений Вюртембергский вспоминал: «Однако ж вновь собравшаяся чернь стала также принимать участие в беспорядках. Начальника Гвардейского корпуса генерала Воинова чуть было не стащили с лошади; мимо адъютантов летели камни...»

Восставшие могли только ждать. У Николая была свобода действий.

Генерал Толь, Васильчиков, Сухозанет уговаривали его пустить в ход артиллерию.

Чувство нарастающей угрозы, появившееся у многих декабристов перед сумерками, было еще сильнее у их противников. Сухозанет, склонный к глуповатой бравате, и тот встревожился: «...по моему взгляду, беда возрастала — я думал, что, ежели до ночи это не кончится, мятеж делается опасным. Это мне дало вновь решимость искать государя». Он нашел Николая на бульваре. «Государь, сумерки уже близко, толпы бунтовщиков растут заметно, темнота ночи опасна — она увеличит число преступных!» Государь, не отнавливаясь, ехал шагом, не отвечая мне ни слова, но лицо его не изменилось, он, казалось, как бы взвешивал обстоятельность». Войска мерзли. Император молча ездил по бульвару.

Наконец Николай решился...

Но все же послал еще одного парламентаря с ультиматумом. Парламентарем был Сухозанет. «Почти перед сумерками я получил государево приказание — подвести орудия противу мятежников. Тогда я взял 4-е легких орудия с поручиком Бакуниным и сделал левое плечо вперед у самого угла бульвара, снял с передков, лицо в лицо противу колонн мятежников. (Одно орудие было отправлено к Конногвардей-

скому манежу, где распоряжался Михаил Павлович.— Я. Г.) В это время государь, стоявший тут же верхом у дощатого забора, не совсем даже им закрытый, подозвал меня и послал сказать последнее слово пощады — я поднял лошадь в галоп и въехал в колонну мятежников, которые, держа ружья у ноги, раздались передо мною. «Ребята, пушки перед вами, но государь милостив — не хочет знать имен ваших и надеется, что вы образумитесь, он жалеет вас». Все солдаты потупили лица, и впечатление было заметно, но несколько фраков и мундиров, в развратном виде ко мне сближаясь, произносили поругания: «...Сухозанет! Разве ты привез конституцию?» — «Я прислан с пощадою, не для переговоров». И с этим вместе порывисто обернул лошадь, бунтовщики отскочили, а я, дав шпоры, выскочил — с султана моего перья посыпались, но кажется, что выстрелы были из пистолетов, а не солдатские...»

На полях рукописи Сухозанета Корф пометил: «Генерал Сухозанет не помнит, но по нем пущен был беглый огонь из ружей, от которого за батареею Бакунина и на бульваре были раненые, ибо я ясно слышал крики болезненные и видел одного с оторванным ухом»*.

Генерал Сухозанет многое «забыл». Он забыл, что не въезжал в мятежную колонну, а благоразумно остановился поодаль. Он стыдливо заменил многоточием слово «подлец».

Эпизод с Сухозанетом лучше десятков мемуарных свидетельств и показаний выявляет упорство восставших. Стоя перед орудиями, видя, как эти орудия заряжают, они оставались тверды.

В первый раз за весь день именно в эти последние минуты был ясно сформулирован лозунг восстания: «Конституция». Лозунг членов тайного общества.

Что до солдат, то они определили свою позицию беглым огнем по генералу, грозившему пушками и обещавшему пощаду...

Верили те, кто стоял в каре и в колонне к атаке — и офицеры, и солдаты, — что Николай выполнит свою угрозу? Трудно понять. Скорее всего, им в голову приходили те же два вопроса: станут ли стрелять артиллеристы и допустят ли другие полки этот хладнокровный расстрел?

Александр Беляев вспоминал: «Под вечер мы увидели, что против нас появились орудия. Корнилович сказал: «вот теперь надо идти и взять орудия»; но как никого из вождей на площади не было, то никто не решился взять на себя двинуть батальоны на пушки и, быть может, начать смертельную борьбу...»

* ОР ГПБ, ф. 380, № 57, л. 20.

Дело тут не только в отсутствии вождей и не в пассивности нового диктатора Оболенского. Захват орудий был почти невозможен. Об этом мы уже говорили.

Пушин, Сутгоф, Александр Бестужев, став далеко впереди боевых порядков, рассматривали в холодном ветреном полумраке позиции правительственных войск. Они прикидывали варианты будущих действий. Недаром Александр Бестужев показал на следствии, что после приезда Михаила Павловича он «ни минуты не имел до рассеяния свободного времени». Бестужев говорил потом, что план атаки «вертелся у него в голове» и он ждал лишь присоединения измайловцев. Присоединение измайловцев означало удар по артиллерии с тылу и захват ее. Пушин сказал Бестужеву, «что надобно еще подождать темноты, что тогда, может быть, перейдут кое-какие полки на нашу сторону...» Похоже, что они не верили в стрельбу из пушек...

В этот момент, как писал Бестужев, «осыпало нас картежами»...

Николай дважды принимался командовать и дважды отменял команду. Наконец он скомандовал, повернул коня и поехал к дворцу.

Но выстрела не было. Солдат у правофлангового орудия с ужасом смотрел на Бакунина: «Свой, ваше благородие...» Бакунин соскочил с коня и выхватил у него пальник.

Началась пальба орудиями по порядку.

Расстояние между батареями и восставшими не превышало сотни шагов.

Эту страшную минуту русской истории, ее скорбное величие замечательно описал Николай Бестужев: «Пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились, ура солдат становились все реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек... Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронесли над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и неподвижно. С первого выстрела семь человек около меня упали; я не слышал ни одного вздоха, не заметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий повалили кучу солдат и черни,

которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием».

Корф, кропотливо собиравший сведения от очевидцев, пометил на полях рукописи Сухозанета: «Сделаны из трех орудий картечи две очереди (то есть шесть выстрелов.— Я. Г.). Потом забили дробь — первые два орудия пальбу прекратили, а третье, ставши по направлению Галерной, пустило два, а может быть, и три ядра по Галерной по личному приказу генерала Толя, который, помнится, сам направил первый выстрел. Это орудие догнало следующих у Монумента».

В пятом часу пополудни картечь опрокинула боевые порядки восставших. Солдаты и матросы бежали по набережной, по Галерной, прыгали на лед. От Конногвардейского манежа дважды ударило четвертое орудие.

Декабристы пытались оказать сопротивление. Николай и Александр Бестужевы собрали несколько десятков гвардейских матросов в начале Галерной, чтобы отбросить кавалерию, если она будет атаковать бегущих. Но орудия были переброшены к центру площади. По словам Николая Бестужева, «картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся».

Вильгельм Кюхельбекер свидетельствовал: «Толпа солдат Гвардейского экипажа бросилась на двор дома, пройдя Конногвардейский манеж. Я хотел их тут построить и повести на штыки; их ответ был: «вить в нас жарят пушками». На вопрос следствия, что побуждало его двинуть солдат «на явную гибель», он ответил с замечательной простотой: «На штыки хотел я повести солдат Гвардейского экипажа потому, что бежать показалось мне постыдным...»

Наиболее решительную попытку предпринял Михаил Бестужев. Он начал строить москворецов на невском льду, чтобы идти на Петропавловскую крепость и превратить ее в базу восстания, куда могли собраться рассеянные картечью роты.

Сухозанет, который преследовал восставших, выдвинув орудия к набережной, говорит о повальном бегстве мятежников. Однако педантичный Корф написал на полях его рукописи против этого места: «Я, приехавший на берег несколько после г. Сухозанета, видел уже некоторое стройное отступление — цепь стрелков и резервы за нею».

Но ядра разбили лед, солдаты стали тонуть, и колонна рассыпалась. Москворцы кинулись к противоположному берегу, куда уже мчалась по Исаакиевскому мосту кавалерия...

Отступавший вместе с гвардейскими матросами Оболенский предложил Арбузову возглавить солдат и идти на Пулковскую гору. Деморализованный Арбузов резко отказался.

Восстание было разгромлено.

Пушки стали решающим и неопровержимым аргументом в политическом споре о будущем России. Очень скоро — 3 января 1826 года в зимней украинской степи, под деревней Ковалевка, бьющая картечью батарея остановила и рассеяла мятежный Черниговский полк. Единственный восставший полк из тех семидесяти тысяч штыков и сабель, на которые рассчитывали вожди южан...

Героическая попытка дворянского авангарда вырвать судьбу страны из рук самодержавия закончилась катастрофой.

Мертвое отчаяние умного и чуткого к звучанию истории Николая Бестужева было отчаянием человека, ощутившего гибель своего мира...

ЭПИЛОГ

«Действователей 14 декабря» после восстания многократно называли безумцами. «О, жертвы мысли безрассудной!» — восклицал Тютчев.

Дальнейшая история империи показала, что безумцами были те, кто 14 декабря стрелял картечью в самых трезвых и здравомыслящих людей страны.

Есть свидетельство, что Сперанский, стоявший в момент первых картежных выстрелов у окна Зимнего дворца, сказал члену тайного общества Краснокутскому, оказавшемуся рядом: «И эта штука не удалась!»

Битый и ломанный российским политическим бытом Сперанский понимал, какая штука не удалась и что это значит для России.

Более уверенно чувствовавший себя Мордвинов сразу после казни и ссылки деятелей тайных обществ подал новому императору записку, в которой, в частности, было сказано: «Угнетение же всех составляет ясную гибель всего государства».

Но российское самодержавие не было способно воспринять эту мысль. И потому — обречено.

ПОСЛЕ МЯТЕЖА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чувства чистой совести достаточно для смерти. Чувство нравственного достоинства необходимо для жизни.

Н. Тургенев

1

В ночь на 15 декабря 1825 года двадцать солдат лейб-гвардии Павловского полка вошли в дом графа Лавалья на Английской набережной.

С ними был флигель-адъютант князь Голицын. Он должен был руководить обыском и изъять все бумаги зятя хозяина дома и вообще все подозрительные документы.

Вряд ли кто-нибудь в Петербурге мог предположить, что этот дом когда-либо подвергнется вторжению вооруженных гвардейцев.

Хозяин дома — граф Лаваль, — действительный статский советник, церемониймейстер двора его величества, оказавший крупные услуги Людовику XVIII перед его возвращением во Францию в 1815 году и получивший от него графский титул, был человеком известным, уважаемым и вполне лояльным.

Хозяйка дома, графиня Александра Григорьевна, урожденная Козицкая, принесяшая мужу огромное приданое, была женщиной незаурядной. Она приятельствовала со знаменитой мадам де Сталь. А Джон Адамс, первый американский посол в России и будущий президент Соединенных Штатов, писал о ней: «Эта леди кажется мне самой приятной, интеллигентной и достойной уважения русской женщиной, которую я знал».

Лавали в ту ночь ночевали у сестры графини — княгини Белосельской-Белозерской.

Солдаты Павловского полка, мерцая штыками в полутьме пустого дома, шли по комнатам, в которых бывали Пушкин и Вяземский, в которых Карамзин читал «Историю Государства Российского». Павловцы шли по комнатам, по которым ходили самые замечательные люди России тех лет.

Они шли мимо картин старых итальянцев. Они грохотали каблуками по мраморным плитам, вывезенным с Капри, из дворца императора Тиберия.

На мрачных солдат, затянутых в зеленые мундиры, смотрели двухтысячелетние римские статуи и древние греки, нарисованные на вазах, которым было две с половиной тысячи лет.

Но солдат лейб-гвардии Павловского полка это не интересовало. Они искали кабинет князя Сергея Петровича Трубецкого, женатого на дочери Лавалей Екатерине.

Сам Трубецкой был уже арестован в доме австрийского посла Лебцельтерна, женатого на другой дочери Лавалей.

Кабинет нашли. Но все ящики бюро были запорты. Их пришлось вскрывать штюками.

В конце концов в одном из взломанных ящиков был обнаружен бумажник, а в бумажнике документ.

«Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое!

В манифесте Сената объявляется.

1. Уничтожение бывшего Правления.
2. Учреждение временного до установления постоянного, выборными.

3. Свободное тиснение, и потому уничтожение Цензуры.

4. Свободное отправление богослужения всем верам.

5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей.

6. Равенство всех сословий перед Законом, и потому уничтожение военных судов и всякого рода судебных комиссий, из коих все дела судебные поступают в ведомство ближайших судов гражданских.

7. Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как-то земли, дома в деревнях и в городах. Заключать всякого рода условия между собой, тягаться друг с другом перед судом.

8. Сложение подушных подателей и недоимок по оным.

9. Уничтожение Монополий...

10. Уничтожение рекрутства и военных поселений.

11. Убавление срока службы военной для нижних чинов, и определение оного последует по уравниванию воинской повинности между всеми сословиями.

12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.

13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от Гражданского правительства назначаемых.

14. Гласность судов.

15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские».

Это были основания, на которых заговорщики собирались перестраивать жизнь России...

Если бы Николай Иванович Тургенев, старый член тайного общества, дальновидный политический мыслитель и фана-

тический противник крепостного права, увидел этот манифест, он узнал бы многие свои мысли.

Но Николай Иванович, путешествовавший в то время по Европе, готовился к переезду из Парижа в Лондон, он ни о чем не знал, и если бы ему сказали, что в то время, когда он, засидевшись допоздна у камина, читает французский роман, в Петербурге, в кабинете его друга князя Сергея Петровича Трубецкого взламывают штыками бюро,— он бы с трудом поверил.

2

5 января 1826 года. На Юге все уже было кончено, но в Зимнем дворце этого еще не знали и в тревоге ждали известий.

Император Николай писал брату Константину в Варшаву: «Только что полученное мною известие о возмущении Черниговского полка Муравьевым-Апостолом в момент, когда его должны были арестовать, заставляет меня, не откладывая, сообщить Вам, дорогой Константин, что я отдал 3-й корпус под Ваше командование, о чем я уже написал Сакену. Я уполномочиваю Вас принимать все меры, которые Вы найдете необходимыми, чтобы помешать развитию этого зародыша мятежа, Вы можете, следовательно, двинуть все войска Ваших двух корпусов, которые сочтете необходимым употребить в дело, уведомив главнокомандующего, дабы он, со своей стороны, мог урегулировать движение своей армии. Я желал бы избежать вступления польской армии в Россию, разве только это станет необходимым.

Главнокомандующий принял нужные меры; я не могу сказать того же о Щербатове: он упустил драгоценное время, и я, принимая во внимание направление, взятое Муравьевым, не могу не опасаться, как бы Полтавский полк, командуемый Тизенгаузенем, который еще не арестован, а также Ахтырский гусарский и конная батарея, командиры которых тоже должны были быть арестованы, не присоединились к восставшим. Князь Волконский, который поблизости, если он еще не арестован, вероятно присоединится к ним. Таким образом наберется от 6000 до 7000 человек, если не окажется честных людей, которые сумеют удержать порядок».

Из показаний арестованных заговорщиков Николай уже представлял себе масштабы деятельности южан. При благоприятных условиях южане могли рассчитывать на несколько десятков тысяч штыков и сабель.

Он понимал, что даже если ограничиться тремя полками и князем Волконским, то дело пахнет не шестью-семью тыся-

чами. Волконский, бригадный генерал, в тот момент замещал командира дивизии. Дивизия была в его руках.

Он писал о шести-семи тысячах, чтобы не очень взволновать Константина.

Итак, многотысячный отряд инсургентов — пехота, кавалерия, артиллерия. Во главе — талантливый боевой генерал князь Волконский, герой наполеоновских войн, любимый солдатами. С ним несколько штаб-офицеров с военным опытом. Это на первый случай. И нет никакой гарантии, что войска, посланные на усмирение, не перейдут под знамена Волконского.

Развитие событий трудно было предсказать. Во всяком случае выглядело оно весьма угрожающе.

И для того чтобы понять поведение Николая в последующие два года, о которых и пойдет у нас речь, надо помнить, что в начале 1826 года, разгромив уже восстание в Петербурге, император оказался лицом к лицу с новым возмущением, которое было чревато самыми серьезными последствиями.

Красноречива фраза письма Николая Константину: «Я желал бы избежать вступления польской армии в Россию, разве только это станет необходимым». Это могло стать необходимым только в случае восстания против императора большей части 1-й армии, в состав которой входил мятежный Черниговский полк. Николай, как видим, считал это возможным.

Надо сказать, что такие настроения были и у Константина. За три недели до событий на Сенатской площади Константин беседовал в Варшаве со своим родственником принцем Евгением Вюртембергским. Принц Евгений так писал об этом разговоре: «В Варшаве великий князь Константин Павлович, по обычаю своему, воевал с призраками. Он насказал мне ужасов о мятежном настроении русских войск и в особенности гвардии.

— Стоит кинуть брандер в Преображенский полк, и все воспламенится,— были подлинные его слова.

— Своих я держу крепко,— заметил он при этом,— потому в них я уверен.

...Великий князь, поручая мне поговорить об этом предмете с государем, наказывал непременно прибавить, что в поляках своих он вполне уверен».

Такова была расстановка сил в тот момент, по мнению Николая и Константина: готовая к возмущению русская армия и верные престолу польские войска.

Пройдет пять лет, и Константину придется бежать из мятежной Варшавы, а Николаю — вести трудную многомесячную войну, чтобы разгромить ту самую польскую армию, на помощь которой он рассчитывал.

3 января 1826 года. Все было кончено.

Поручик Сухинов сидел, прислонившись спиной к холодной, обшитой нестругаными досками стенке погреба. Ему было холодно, но холод успокаивал его. Он знал, что будущего у него нет. У него теперь было только прошедшее.

Он смотрел в черную и плоскую темноту погреба и жил тем, что случилось час назад.

Когда он увидел эскадроны гусар на пригорке и два орудия, которые разворачивались стволами навстречу черниговцам, он понял, что это его последнее сражение. Он понял, что дело, ради которого они с Муравьевым трудились, проиграно и жить больше не для чего. Он ни секунды не верил, что гусары и артиллеристы присоединятся к ним.

Он видел теперь, в погребе, яснее, чем тогда, на зимней дороге, как Муравьев, ехавший сбоку колонны, спрыгнул с коня, вынул шпагу и, показывая ею, стал отдавать неслышные ему, Сухинову, приказания. Сухинов был с арьергардом.

Муравьев выслал стрелков на фланги и вместе с Бестужевым и братом Матвеем быстро пошел впереди колонны. И Сухинов понял, что Муравьев хочет под прикрытием огня стрелков взять орудия в лоб.

Потом беглым шагом идущая колонна заслонила Муравьева, началась пальба картечью, и уже когда полк рассыпался и побежал, кто-то крикнул, что Муравьев убит. После этого Сухинов бросил свои попытки остановить и построить солдат. Тем более что гусары уже шли на них галопом...

Потом он оказался на берегу озера, затянутого тонким льдом, и вступил на этот скрипящий и гнущийся лед вместе с несколькими солдатами. А у самой кромки гусары сдерживали коней, не решаясь пустить их на лед, и, ругаясь, кричали бегущим, чтоб они вернулись...

И вот теперь он сидел в погребе у какого-то мужика, который сразу же согласился его спрятать. А по деревне рыскали гусары.

Он был совершенно спокоен и понимал, что ждать больше нечего. Он сунул руку за борт шинели, достал пистолет, упер его в грудь слева.

Он нажал спуск. Курок лязгнул. Вспыхнул порох... Выстрела не было.

Он бросил пистолет. Посидел минуту неподвижно. Достал второй. Упер в грудь слева и нажал курок. Вспышка. Осечка.

Тогда он быстро встал и швырнул второй пистолет в солому, на которой только что сидел...

Остальных черниговских офицеров в это время привезли в Трилесеы. Матвей Муравьев-Апостол писал потом: «В Трилесеы нас поместили в корчму, приставив к нам караул из

Белорусских гусар. У брата рана не была перевязана и нечем было перевязывать. Вещи наши, и белье, и прочее, расхищено гусарами.

Наступила ночь, подали огонь. Кузьмин, лежащий на соломе против меня, просил меня подойти к нему. Я ему указал на раненую голову брата, лежавшую на моем плече. Кузьмин с видимым напряжением подполз ко мне, передал рукопожатье, по которому Соединенные Славяне узнавали своих, простился дружелюбно со мной, дополз до своей соломы и тут же, лежа, застрелился из пистолета, спрятанного в сюртучном рукаве у него. Кузьмин скрыл от нас полученные им две картечные раны, одну в бок, другую в левую руку...

От выстрела, сделанного Кузьминым, с братом повторился обморок, которому он уже несколько раз до того подвергался, вследствие потери крови из перевязанной раны.

Утром 4-го января 1826 года рану перевязали, подали сани; приготовлен был конвой из Мариупольских гусар, чтобы отвезти нас в Белую Церковь...

Меня посадили в сани вместе с раненым братом. Дорогою мы утешали себя мыслью, что и в Сибири, где бы мы ни были брошены, мы будем неразлучно вместе. Молодой Мариупольский гусарский офицер, который был посажен на передке наших саней, без вызова на разговор с нашей стороны, заговорил о своем и своих сослуживцев сочувствии нам...»

Утром 4 января 1826 года Сухинов был уже далеко от Трилес.

4

«Приказ главнокомандующего 1-ю армию от 18 января 1826 года.

Главная квартира.
г. Могилев.

Злодеяние, неслыханное в российском войске, свершилось. Черниговского пехотного полка подполковник Муравьев-Апостол, преступник, прежде втайне на гнуснейшие злодеяния посягнувший, отважился укрываться от преследования законов явным возмущением полка. Несколько офицеров, все люди в сердце и душе совершенно испорченные, сделались ему достойные товарищи. Таким образом и некоторые другие офицеры и часть нижних чинов совращены с истинного пути и вовлечены в измену и клятвопреступление. Но мятеж иссяк в своем источнике. Войско, славящееся искони неограниченною любовью и преданностью к государю и престолу, не потерпело изменников: оно окружило их и в по-

рыве ожесточения готовилось истребить их на месте. Но да решит жребий их неумолимый закон с примерною строгостью, соответственной важности преступления.

Для суждения виновных офицеров, участвовавших в мятеже или к оному прикосновенных, учреждается комиссия военного суда в главной квартире армии под председательством начальника 3-й пехотной дивизии генерал-майора Набокова с назначением к производству дела полевого генерал-аудитора 5-го класса Шмакова. Суду сему предаются Черниговского пехотного полка: штабс-капитан барон Соловьев, подпоручик Быстрицкий и прапорщик Мозалевский, яко главнейшие сообщники, закованными в кандалы...

*Главнокомандующий генерал-от-инфантерии
граф Сакен».*

Подписавшись, Сакен темной старческой рукой отодвинул лист и хотел уже крикнуть адъютанта, но не крикнул.

— Вот уж не думал... — тихо сказал он самому себе, — вот уж... на восьмом десятке...

Сакен слишком хорошо помнил, как после сражения под Прейсиш-Эйлау, без малого двадцать лет назад, был он обвинен главнокомандующим Беннигсеном в неподчинении приказу, отставлен от должности, отдан под суд и, пока тянулось следствие, а тянулось оно пять лет, жил в Петербурге в нужде и неизвестности о будущем. Он, тогда уже пятидесятилетний боевой генерал, который на турок ходил, и на поляков при Великой Екатерине, и с Корсаковым в Швейцарии воевал при императоре Павле...

Слава Богу, подоспел двенадцатый год, и появилась нужда в генералах, которые воевать умеют, а не доносы писать, и его освободили от следствия по распоряжению государя... Но он хорошо помнил то чувство беспомощности и униженности, с которым жил эти пять лет. Тяжело оправдываться... И что же заставило Муравьева, которого знал он как храброго и дельного офицера, что же заставило его?.. А Пестель? Ему такую карьеру сулили... А Трубецкой? Вот уж загадка!

Он перечитал фамилии — Соловьев, Быстрицкий, Мозалевский... Там, помнится, среди главных зачинщиков был еще один... Генерал пошарил, нашел нужную бумагу — список. Вот он — Сухинов... Который все еще в бегах... Надо же — с девятого года в гусарах, ранен многократно... Герой — и на тебе! Неприятно и непонятно...

5

18 января 1826 года граф Сергей Павлович Потемкин сидел в кабинете своего московского дома на Пречистенке.

Граф был литератором, поэтом, тонким ценителем искусств, и в особенности театра.

Отец его Павел Сергеевич, екатерининский генерал, во время пугачевского мятежа был начальником двух секретных комиссий — казанской и оренбургской, которые расследовали обстоятельства дела. Потом он написал «Историю о Пугачеве». Скончавшись, оставил сыну огромное состояние, которое тот не без изящества проживал. И в конце концов — прожил.

Но в 1826 году Сергей Павлович был еще очень богат.

Граф был женат на одной из первых красавиц эпохи — Елизавете Петровне Трубецкой, родной сестре князя Сергея Петровича. Елизавета Петровна нежно любила брата и от постигшего его несчастья была в безумном горе. Сергей Павлович вполне разделял горе жены. Князя Сергея, умного и благородного, он тоже любил по-братски. Кроме того, ему было обидно и даже как-то унижительно, что брат его жены, можно сказать, его, графа Потемкина, брат, сидит в темном и грязном каземате, в кандалах. Он попробовал представить себя в этом положении, но с брезгливостью отогнал возникшую картину.

И потом, Николай Павлович, конечно, государь, но он всегда был так ограничен и зауряден... Этот генерал, не нюхавший пороху... Полковник Трубецкой дрался при Бородине и прошел Европу до Парижа... И он, граф Потемкин, проделал кампании 1805 и 1807 годов, когда великий князь Николай еще в солдатике играл...

Граф от этих мыслей все больше проникался решимостью. Хоть он и не разделял мечтаний князя Сергея, но уж раз тот попал в такую беду — нужно его выручать...

Он позвал своего камердинера Данилу Бочкова.

Тот явился.

Это был невысокий крепкий человек лет сорока, с очень светлыми волосами и бровями. Глаза у него были совсем прозрачные.

За преданность, ум и силу граф его чрезвычайно ценил, и Бочков всюду графа сопровождал.

— Вот что, Данила,— сказал ему Сергей Павлович,— двадцать лет мы с тобой не расставались, а теперь расстанемся...

Неподвижное бесцветное лицо Бочкова изменилось — на нем обозначились сжавшиеся губы и глаза потеряли прозрачность. Но он ничего не спросил и ждал, что скажет граф дальше.

— Так вот, Данила,— сказал граф, морщась,— мне, брат, и самому не хотелось бы, а надо... ты получишь вольную — ее уже готовят... Все в ближайшие дни сделаем, что полагает-

ся по закону... Я тебе денег дам... Запишешься хоть в московские мещане и делом каким-нибудь займешься... Ну, там, промыслом... Одним словом, сам придумаешь... Денег я тебе дам... И так поживешь... А там будет тебе от меня поручение. Тонкое поручение. Полагаюсь на твой ум и преданность, Данила... Вот пока и все. Больше пока ничего тебе не скажу...

— Разве я не понимаю, что у барыни горе,— сказал спокойно Бочков.

— Ну, вот видишь, ты сам все понял... Ну, иди пока, иди...

Когда Бочков вышел, Сергей Павлович посидел немного, встал и пошел в комнаты жены.

6

4 февраля Сухинов отправил из города Дубосары письмо брату Степану, который служил в городе Александрии. «Спешу тебя уведомить, что еще слава Богу жив и здоров и докудова щастлив, но без приюта и места... Пиши ко мне Кишиневской области в город Кишинев, ибо, в случае твоего замедления, что уже может быть и не застанет меня в том месте... Пожалуйста, любезный друг, не можно ли будет выпросить у батюшки хотя рублей 50, или сколько можно будет, ибо ты сам знаешь мое теперешнее положение, что крайне нуждаюсь во всем, что даже остаюсь без дневного пропитания. Пожалейте обо мне. Адрес же ко мне Кишиневской области г. Кишинев. Его благородию мил. гос. И. И. Емельянову».

5 февраля 1826 года Сухинов подъехал на попутной телеге к таможене города Дубосары на реке Днестр. За Днестром лежала Бессарабия. А из Бессарабии за границу уйти было несложно.

В таможене он предъявил свой паспорт, десятский записал его в книгу и кивнул головой.

Сухинов шагнул в Бессарабию.

Когда десятского расспрашивали потом — во время следствия — о Сухинове, он описал его так. «Роста высокого, лет около 33-х, лицом смугло-рябоват, волосы на голове темно-русые, глаза черные, говорит пространно, одет в старом черном сукна сертуке, шинеле байковой поношенной верблюжьего цвету, рейтузах черных, обшитых кожей, шапке черной из барашков наподобие крымки или жидовской ермолки. Имел при себе нагольный короткий белых овчин тулуп, войлок небольшой серый, мешок холщовый наподобие торбы».

В Кишиневе он расспросил разных людей о дороге к пограничной реке Прут и способах через нее перебраться. Пере-

ходы эти были делом обычным, торговым, и расспросы его никого не удивили.

11 февраля 1826 года стоял он уже на берегу Прута. За рекой была чужая земля. Свобода, скитания... Но уж коль за прошлую суровую свою жизнь не пропал он, так неужто там пропадет? Завербуйся в какую-нибудь армию — и служи себе.

Потом, на этапе, пешком идя в Сибирь, он говорил Соловьеву и Мозалевскому: «Горько было расставаться с родиною, я прощался с Россиею, как с родной матерью, плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться через Прут и быть вне опасности; но, увидя перед собой реку, я остановился... Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темницы, представились моему воображению. Какой-то внутренний голос говорил мне: ты будешь свободен, когда их жизнь пройдет среди бедствий и позора. Я почувствовал, что румянец покрыл мои щеки, лицо мое горело, я стыдился намерения спасти себя, я упрекал себя за то, что хочу быть свободным, и возвратился назад в Кишинев».

Недаром же он был другом и — в смысле нравственном — воспитанником Сергея Муравьева-Апостола. Он знал цену чести и благородству.

Где-то будет сидеть в цепях друг его Сергей Иванович, а он будет снова скакать на коне, пить вино, женщин любить? Он будет свободен, а Сергей Иванович — в цепях?

Так быть не могло.

Вечером 11 февраля 1826 года Сухинов повернулся спиной к пограничной реке Прут и пошел от нее прочь.

7

11 февраля 1826 года Николай Тургенев шел по улицам Лондона, сильно припадая на хромую ногу. Он припадал на нее сильнее, чем обычно, ибо не следил теперь за своей походкой.

Добротно и спокойно стояли лондонские дома. Спокойно, добродушно и уверенно выглядели горожане, которых он, хромая, обгонял. Он шел быстро. В глазах его стояли слезы.

«Никак мыслей не собрать,— думал он.— Боже мой, что происходит! Неужто мне век жить в чужой земле?.. А отечество, где гибнут люди, которых знал и любил?.. Сергей Трубецкой, Боже, Боже! Доброта и честность всегда его отличали, и куда судьба привела его? Это в нашем быту так ново и так ужасно. И ведь все были разговоры — кто б мог тогда подумать, к чему все придет... Великий Боже, кровь лилась в Рос-

сии за мнения! Что предуготовляется нашей бедной родине?.. А ужасные происшествия на Юге? Гибнут вдруг три брата Муравьевы! Право, не знаешь, что думать. Беды, несчастья, погибель!»

Он почти бежал, стуча тростью по старой лондонской мостовой, а прохожие с любопытством и участием смотрели на него.

«Боже, Боже, гибнут люди, которых знал и любил! Мне совестно видеть себя на свободе, когда они в неволе!.. Да ведь там, наверно, захватили уже мои бумаги... дневники... И что будет с моими братьями?»

В этот день, 11 февраля, он получил письмо, сообщавшее, что он и брат его Сергей привлекаются к следствию по делу 14 декабря...

8

30 января 1826 года чиновник Херсонского губернского правления Савоини прибыл в город Александрию для тайного наблюдения за родными Сухинова — не обнаружится ли их связь с беглецом.

12 февраля Савоини перехватил в александрийской почтовой экспедиции письмо Сухинова к брату.

В Кишиневе был объявлен розыск.

15 февраля Сухинова выследили и арестовали.

Его — в кандалах — повезли в Одессу. Оттуда — в Могилев, где располагался штаб 1-й армии.

Декабрист Горбачевский, со слов барона Соловьева, рассказывал: «Обхождение полицейского чиновника было грубо и даже жестоко. Сухинов переносил оное с терпением. Приехав в Житомир, частный пристав остановился в трактире обедать. Сухинов, пользуясь сим, просил позволения отдохнуть несколько времени, представляя ему, что открывшиеся раны и расстройство здоровья лишают его возможности продолжать по-прежнему дорогу. Грубости были ответом на его просьбу, Сухинов, выведенный из терпения и раздраженный жестокостями частного пристава, схватил нож, лежавший на столе, и, бросившись на него, вскричал в бешенстве: «Я тебя, каналья, положу с одного удара, мне один раз отвечать, но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе». Испуганный полицейский чиновник упал на колени и, дрожа весь от страха, просил прощения во всех оскорблениях, нанесенных им Сухинову, обещая впредь быть вежливым и делать все, что от него будет зависеть. Частный пристав сдержал свое слово».

Таков был Сухинов даже в тот момент, когда его, закованного, везли на суд.

28 декабря 1825 года император Николай сообщал великому князю Константину Павловичу в Варшаву: «Я велел написать Меттерниху, чтоб он принял меры к аресту секретаря государственного совета Николая Тургенева, путешествующего со своими двумя братьями по Италии».

Император ошибался. В то время Тургенев был в Париже, откуда вскоре уехал в Лондон.

В середине февраля 1826 года русский посол при английском дворе граф Ливен в конфиденциальной беседе с британским министром иностранных дел Каннингом просил о выдаче Николая Тургенева России. Каннинг в мягких выражениях объяснил графу Ливену, что сделать это крайне трудно. Понимая всю нелепость просьбы, Каннинг тем не менее не хотел обижать русское правительство резким отказом. В это время он был заинтересован в сближении с Россией. Только при благожелательном отношении нового русского императора Каннинг мог осуществлять свою восточную политику, которая включала, в частности, поддержку восставших против Турции греков.

Но, несмотря на это, он ничего Ливену не обещал.

Русский император не очень склонен был входить в тонкости английской конституционной системы. То, что дружески относящееся к нему английское правительство не может выдать Тургенева и тем оказать ему, императору, личную услугу,— не укладывалось у него в голове. Он вообще не обращал особого внимания на внутреннее устройство и политические традиции стран, с которыми имел дело. Ведь посоветовал же он турецкому султану несколько лет спустя — через турецкого посла — оставить мусульманские заблуждения и перейти в истинную, то есть христианскую веру.

Однако граф Ливен, сидя в Лондоне, волей-неволей вынужден был считаться с английскими порядками. Поэтому, не возобновляя больше прямых просьб о выдаче преступника, он попытался сперва уговорить английское правительство взять Тургенева под надзор.

27 февраля 1826 года Ливен через помощника Каннинга Планту передал министру иностранных дел конфиденциальное письмо:

«Милостивый государь!

Несмотря на малый успех конфиденциальных представлений, которые по предписанию моего двора я сделал Вашему превосходительству в целях заручиться содействием британского правительства для ареста господина Николая Тургенева, серьезным образом замешанного в заговоре против российского императорского правительства, я считаю тем не ме-

нее своим долгом обратить внимание Вашего превосходительства на одно обстоятельство, которое относится к существу моих предшествующих представлений и крайнюю важность которого Ваше превосходительство, без сомнения, оценит.

Только что мне доставлены безусловные доказательства существования преступной переписки между указанным господином Тургеневым и несколькими лицами в Париже, а может быть, и в других местах. Предмет этой переписки и старания, которые принимаются, чтоб скрыть ее, представляются мне настолько усиливающимися подозрения, которые уже лежат на этом лице, что я ни на минуту не останавливаюсь перед тем, чтобы поставить Ваше превосходительство в известность об этом обстоятельстве с тем, чтобы возбудить бдительность британского правительства и потребовать от него принятия мер надзора, которые были бы достаточны для раскрытия преступных действий, и тем предупредить ужасные последствия, которые эти действия могут вызвать».

Однако «возбудить бдительность британского правительства» туманными разговорами о «преступной переписке» и «ужасных последствиях» графу Ливену не удалось. Планта явно не поверил в то, что Николай Тургенев, действительный статский советник, в недавнем прошлом занимавший высокий пост в России, собирается путем переписки ввергнуть Европу в пламя мятежей.

Продержав письмо Ливена у себя в столе три недели, Планта отправил его не Каннингу, а одному из чиновников министерства с запиской: «Дорогой Гобгауз! Будьте так добры рассмотреть это предполагаемое обращение графа Ливена и сообщите мне, может ли оно быть удовлетворено путем соответствующего предписания министра внутренних дел или каким-нибудь другим образом».

Но и Гобгауз не нашел никакого способа удружить графу Ливену.

Письмо в конце концов было представлено Каннингу. Тот подождал, пока русский посол уехал в Петербург, чтобы принять участие в русско-английских переговорах, и на обороте письма начертал резолюцию: «Проекту не было дано хода, так как граф Ливен покинул Англию в настоящее время».

Николай никак не хотел примириться с тем, что Тургенев для него недостижим.

3 марта, беседа с герцогом Веллингтоном, приехавшим в Петербург для переговоров, Николай снова пугал английское правительство бедами, которые может натворить Тургенев.

Веллингтон добросовестно сообщил об этом разговоре Каннингу. Каннинг опять не испугался.

В начале апреля, принимая верительные грамоты у нового

британского посла Странгфорда, Николай совершенно неожиданно заговорил с ним о Тургеневе.

Странгфорд писал Каннингу. «Я позволю себе беспокоить Вас только изложением тех замечаний его императорского величества, которые относились к некоему Тургеневу, серьезно замешанному в недавнем заговоре, которому удалось скрыться в Англии, где он теперь и находится. Император заявил мне, что это лицо в настоящее время является гостем и излюбленным соучастником в делах лорда Голланда, г. Брофэма и (я полагаю) сэра Джона Макинтоша и что он пользуется симпатией и защитой этих господ в качестве страдающего русского патриота.

Император торжественно заявил мне, что ему совершенно безразлично, кто и как принимает это лицо в Англии, но что он считает долгом своей совести предупредить правительство его величества против Тургенева и указать на возможность для Тургенева принести значительный вред, воспользовавшись современным критическим положением с целью распространения революционных идей в тех частях Англии, где ощущается нужда и (как полагает император), может быть, и недовольство».

Николай, очевидно, надеялся повлиять на английское правительство, называя имена покровителей Тургенева. Но, не понимая особенностей страны, о которой шла речь, он добился прямо противоположного.

Упомянутые императором лица были лидерами оппозиции, и Каннинг не мог дать им столь мощное оружие против себя, как неконституционные действия в отношении политического эмигранта.

В конце мая 1826 года вопрос был решен окончательно, Англия отказалась выдать Тургенева.

10

Манифест, упразднявший самодержавие, обнаруженный Голицыным в кабинете князя Трубецкого во время обыска, был не единственным трофеем в ту ночь. В ванной комнате княгини Екатерины Трубецкой был найден литографский станок, приобретенный за четыре года до восстания Луниным.

Княгиня Екатерина Ивановна единственная из жен декабристов задолго до 14 декабря знала о тайной деятельности мужа. И не осуждала его.

Она была умна и решительна.

Декабрист Розен вспоминал о ней: «Екатерина Ивановна Трубецкая была не красива лицом, не стройна, среднего роста, но когда заговорит — так что твоя краса и глаза — просто

обворожит спокойным приятным голосом и плавною, умною и доброю речью, так все слушал бы ее. Голос и речь были отпечатком доброго сердца и очень образованного ума от разборчивого чтения, от путешествий и пребывания в чужих краях, от сближения со знаменитостями дипломатии».

Когда ей стало понятно, что мужу не миновать каторги, она решила разделить с ним судьбу его в несчастье, как делила ее в счастье и удаче.

И еще одна мысль была у нее — мысль о побеге мужа.

Она знала, что друг Сергея Николай Тургенев отказался вернуться в Россию на суд. Она знала, что правительство хлопотало о его выдаче, но Англия выдать его отказалась.

Стало быть, если оказаться в Англии или Америке, то можно жить безопасно.

Она знала, что сестра Сергея Лиза Потемкина думает о том же.

11

Сухинова, Соловьева и Мозалевского судили в Могилеве в марте 1826 года. 30 марта суд вынес им смертный приговор.

10 апреля дело поступило в Аудиторский департамент военного министерства. Аудиторский департамент, по рассмотрении дела и приговора, пришел к следующему мнению: «Соображая все сии обстоятельства с прописанными в сентенции военного суда законами, Аудиторский департамент признает из подсудимых барона Соловьева, Сухинова и Мозалевского, как по злым действиям их главных сообщников возмутителя Муравьева-Апостола, подлежащими смертной казни».

10 июля дело было отправлено императору.

Три с половиной месяца Сухинов, Соловьев и Мозалевский ждали смерти. Затем им объявили, что смертная казнь заменена вечной каторгой.

12

В ночь с 20 на 21 июля 1826 года осужденных по первому разряду мятежников начали отправлять в Сибирь.

Князь Оболенский, закованный в кандалы, сидел в тележке у подъезда комендантского дома Петропавловской крепости. Еще три упряжки стояли возле. Но они были пусты.

Оболенский сидел потупившись, глядя на свои кандалы. Вдруг тележка качнулась — кто-то сел на ее край. Оболенский поднял голову и увидел поручика Козлова — адъютанта военного министра Татищева, председателя Следственного комитета.

Козлов, с которым Оболенский едва был знаком по службе в гвардии, смотрел на него — и плакал.

Потом он пожал Оболенскому руку, погладил по плечу и прыгнул с тележки. Уже выводили остальных осужденных.

Утро застало их далеко от Петербурга.

12 августа генерал-адъютант Бенкендорф получил донесение от статского советника Грибовского. Грибовский еще в 1821 году первый послал императору Александру обширный донос на участников тайных обществ. Александр тогда сказал: «Не мне их карать», — имея в виду не то свой былой либерализм, не то участие в убийстве отца. Однако Грибовскому было поручено организовать тайную политическую полицию в армии. За что он со рвением и взялся.

Летом 1826 года он был уже статским советником и человеком, сыскная опытность которого была для начальства несомненной. Потому он был перед отъездом первой партии осужденных направлен в Нижний Новгород с несколькими агентами, чтобы следить, не нарушаются ли правила, кои предписаны были фельдъегерям в Петербурге.

Правила эти предусматривали тщательную охрану, следование по строго намеченному пути, изоляцию арестантов...

И еще одно задание было дано Грибовскому и его агентам — выяснить отношение людей всех сословий к провозимым преступникам. Это было своего рода исследование общественного мнения.

Выполнить свою задачу Грибовскому было тем более нетрудно, что незадолго до этого он занимал пост нижегородского гражданского губернатора и знал, на кого там можно опереться.

Легко себе представить, с каким чувством удовлетворения наблюдал статский советник Грибовский, когда-то член Коренной управы «Союза благоденствия», как его сотоварищей по тайному обществу везут теперь в Сибирь. Наконец-то...

Он писал Бенкендорфу: «Через Нижний Новгород провезены в три раза 10 человек государственных преступников. В первой были Якубович, Артамон Муравьев, Оболенский и Давыдов. Фельдъегерь с ними весьма молодой человек. Против почтовой конторы находится трактир купца Деулина, в котором они обедали и пили вино, заплатив за все 40 рублей. Оболенский плакал, видя, как толпа черни рассматривала их с презрительным любопытством; Муравьев несколько раз намекал, чтоб перестал плакать».

Статский советник Грибовский трудился без устали, и 25 августа Бенкендорф получил от него второе донесение. «По сведениям, собранным от приезжающих в Нижний Новгород по Ярославской дороге, государственные преступники останавливались в трактирах и по другим городам».

Тот факт, что эти господа, которых ему не удалось отпра-

вить на каторгу пять лет назад, имели наглость, гремя кандалами, обедать в трактире и пить вино, совершенно выводил статского советника Грибовского из себя.

Но, слава Богу, предупрежденное им правительство не дремало.

«В Ярославле после провоза первой партии распоряжением губернатора прекращено сие.

В Костроме останавливались почти все. Давыдов имел здесь родственников, снабжен был сам и товарищи его шлафроками и другим платьем. Здесь они также пили шампанское: Якубович, не удовольствовавшись 4 рюмками, требовал еще, но ему отказали. Оболенский сказал: «Счастье, что с нами Якубович. он утеха нам». Он отвечал. «Вам хорошо, а я за что терплю. Вы знаете, что я ничего не знал и не виноват».

Ножей им не давали, а приносили пищу разрезанной. Давыдов по болезни был раскован. Когда провозили через Кострому Волконского, Трубецкого и еще двух братьев Борисовых, первые два были грустны, последние же шутили между собой. Трубецкой писал к жене письмо, одет был в нанковый тулуп; Волконский — в плисовые куртку и шаровары. Последний, сходя по лестнице в трактире, запутался в кандалах; крестьянин сказал ему при этом: «Учись, барин»; он возразил: «Для вас...» Садясь в повозку, жандарм помогал ему. С балкона соседнего дома купец закричал: «Прокламаторы, законодатели!» Чей-то отпущенник отвечал ему: «За что бранишь? Они несчастные, наказанные». При сих словах окружающие закричали: «Да ты что, заодно с ними», — и он едва мог спастись от побоев. Вообще из рассказов по всей дороге заметить можно, что даже чувство сострадания, столь свойственное народу русскому к жесточайшим преступникам после наказания, в отношении к сим людям нигде не обнаружено, а всеобщая везде ненависть показывает ясно, как масса народа привержена правительству и установленному порядку».

Тогда, в августе 1826 года, толпа не знала, за что этих людей гонят через всю Россию.

Пройдет еще пять лет, и страшный мятеж военных поселений, поднявший десятки тысяч поселенных солдат и крестьян, покажет, «как масса народа привержена правительству».

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Есть воспоминания, которые никакая человеческая сила не может изгладить: они в Сибири...

Карл Воше

1

В апреле 1825 года в подмосковном имении застрелился граф Владимир Лаваль, двадцатидвухлетний брат Екатерины Трубецкой.

Смерть его была для всех неожиданна. Обстоятельства ее темны.

Один только Бенкендорф, которому всегда все было ясно, без колебаний решил, что причина самоубийства — «вольнодумство».

Молодой граф Лаваль был и в самом деле человеком либеральных взглядов, и родные его после 14 декабря не сомневались, что, оставшись он жив, он непременно оказался бы замешанным в заговоре.

Владимир Лаваль учился в Швейцарии и познакомился там с Карлом Августом Воше. Воше был немного старше его, образован, умен и беден. Как и молодой Лаваль, Воше был поклонником свободы.

Юноши подружились, и Владимир рекомендовал своего приятеля отцу. Воше приехал в Россию, был представлен графу Лавалю, понравился ему и стал секретарем и библиотекарем старого графа.

Он пользовался всеобщим уважением в доме, а после самоубийства Владимира, отношение к нему приобрело особый оттенок — он был другом покойного сына и брата хозяев дома.

То, что произошло 14 декабря в нескольких десятках метров от дома, в котором он жил, потрясло его. На его глазах разразилась и погибла революция.

Князь Сергей Петрович, которого он и раньше ценил за ум и доброту, стал теперь мучеником за свободу. И Воше сострадал ему, Екатерине Ивановне, их друзьям не только как близкий к семье человек, но и как единомышленник.

И когда он услышал, что княгиня Екатерина Ивановна едет вслед за мужем в Сибирь, он сразу же вызвался сопроводить ее.

Воше был хрупок. От петербургского климата у него началась чахотка. Он почти не знал по-русски, но отлично

представлял себе, что такое путешествие в несколько тысяч верст по российским дорогам.

И тем не менее он не колебался. Он сказал себе, что должен доставить Екатерину Ивановну князю Сергею Петровичу.

Он думал в тот момент только об этом. О том, что ему предстоит выполнить еще иную задачу, он не подозревал тогда.

2

1 августа 1826 года на площади города Острога, где квартировал теперь переформированный Черниговский полк, над головами Сухинова и его товарищей сломали шпаги и сорвали с них перед строем полка мундиры.

27 августа их привезли в город Васильков. Они проехали то место, где восемь месяцев назад он, Сухинов, со взводом своих grenадер остановил майора Трухина, бесновавшегося и угрожавшего, отобрал у него шпагу, сорвал эполеты и толкнул в ряды взвода... Уже восемь месяцев прошло с тех пор, как вели они полк по снежным дорогам, ждали с часу на час присоединения других полков, вели полк к свободе...

Свободы не получилось. И что, быть может, еще горше — смерти в бою Бог им тоже не послал.

28 августа их вывели на площадь.

Один из троих, барон Соловьев, писал потом: «На площади были построены Тамбовский пехотный полк и прибывшие из разных полков 9-й дивизии по сто человек рядовых с несколькими штаб- и обер-офицерами; возле самой виселицы помещен был отряд внутренней стражи. Сухинов, Соловьев и Мозалевский приведены закованными и поставлены впереди войска на большом друг от друга расстоянии».

Когда Сухинову предстала виселица на площади, ему сделалось трудно дышать. Он снова увидел, как Муравьев спрыгивает с коня возле колонны черниговцев и, указывая шпагой, отдает неслышные команды...

«Незабвенный мой Сергей Иванович,— подумал Сухинов,— они удавили тебя, подлещы... Вот на такой же...»

Виселица стояла перед ним.

«Когда приговор прочли войску, палач, подойдя к Сухинову, взял его за руку, повел через площадь к виселице и, обойдя вокруг оной три раза, передал в команду внутренней стражи. Так поступлено по очереди с другими... Зрители были не только в тесных толпах на площади, но занимали крыши домов».

Тысячи глаз смотрели на бывшего поручика Сухинова, обесчещенного, закованного в кандалы.

Тут он впервые подумал о том, кто до сих пор терялся где-то за спинами дивизионного командира, генерал-аудито-

ров, следователей, тюремщиков. Кто был этот его высший судья, император всея Руси? Молодой человек двадцати восьми лет, всю жизнь проживший в довольстве и безопасности, к двадцати восьми своим годам дивизионный генерал в гвардии, ни разу не понюхавший пороху. Он не был до сих пор прикосновенен к государственным делам, и пользы от него Россия еще не видела. А что он был за человек и фрунтовик — это Сухинов знал от Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, которому верил свято.

А кто был он, Иван Сухинов, стоявший сейчас подле виселицы?

Сын нищего дворянина, который и детей своих прокормить толком не мог, Сухинов пятнадцати лет от роду в 1809 году завербовался в Лубенский гусарский полк. Восемнадцать лет встретился с неприятелем — в 1812 году — «против австрийских и саксонских войск в перестрелках при селении Тришиле и при деревне Теребуне 26 и 27 октября». 3 ноября полк пересек русскую границу и вступил в герцогство Варшавское. Начался заграничный поход. 20 ноября Сухинов сражается при Шелятине. Французы были отброшены, и десять дней лубенские гусары преследовали отступающие части. 30 ноября французы остановились, и Сухинов дерется в сражении при Горностаевке. 2 и 4 декабря он — в бою под Волковыском.

1813 год не менее богат битвами. 23 апреля лубенские гусары атакуют французов под Волчанском. 24 апреля — бой под Гольсдорфом. Армия шла в глубь Европы. 26 апреля лубенцы форсируют Эльбу под Дрезденом. 30 апреля Сухинов дерется при Бышиверде, 3 мая — первый бой под Бауценом, 8 и 9 мая — генеральное сражение под этим городом. Лубенский полк в самом пекле. Под Бауценом Наполеон отбросил русских. Армия отступает. 10 мая — контратака под Рейхенбахом. Сухинов в первый раз ранен в кавалерийской схватке — саблей в правую руку.

Он остается в строю.

Уже 14 мая он участвует в сражении под Кенигштерном, которое длилось три дня. 18 мая он участвует в атаке на корпус Вандома. Снова ранен под Лейпцигом 2 сентября — в левую руку ниже локтя, в плечо и голову.

Он остается в строю.

И с 4 октября сражается снова под Лейпцигом в четырехдневной «битве народов».

Потом был ранен еще трижды.

В январе 1814 года Иван Сухинов воевал уже во Франции. Вся кампанию 1812—1814 годов проделал он рядовым гусаром.

В 1814 году было ему двадцать лет.

Мало кто мог назвать себя солдатом с таким правом, как

поручик Сухинов, стоявший 28 августа 1826 года под виселицей на площади города Василькова.

Там, под виселицей, вспоминая прошлую жизнь свою, вспоминая загубленного друга своего Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, видя рядом товарищей своих, униженных, ошельмованных, он решил отомстить или погибнуть.

А уж когда он принимал решение, то шел до конца.

3

Дорога в Иркутск вела через Нижний Новгород. Потому статский советник Грибовский и устроил там свою штабквартиру.

Княгиня Трубецкая и Карл Август Воше выехали из Москвы 6 августа 1826 года.

Они уезжали из дома графа Сергея Павловича Потемкина на Пречистенке. Их провожали — сам хозяин дома, графиня Елизавета Петровна Потемкина, урожденная княжна Трубецкая, многочисленные слуги.

Вещи в карету укладывал бывший камердинер графа Данила Васильевич Бочков, ныне московский мешанин.

Вечером того же дня один из лакеев графа встретился на улице с полицейским офицером и сделал ему подробное доносение о том, что происходило за последние дни в доме Потемкиных.

С первого дня пути Воше стал вести подробный дневник. Каждые два-три дня он отправлял письмо графу Лавалю.

12 августа старый Лаваль писал вслед дочери: «Вчера вечером я получил, мое дорогое дитя, несколько строчек от мсье Воше из Владимира, которые доставили мне большую радость. Я следую за тобой в твоем пути, сопровождаю тебя своими пожеланиями и молитвами к Всемогущему, чтобы он заботился о тебе и сделал твое путешествие счастливым, насколько это возможно. Судя по тому, что мне сообщает мсье Воше, мне кажется, оно началось довольно благополучно. Предполагаю, что если с вами ничего не случится, вы будете в Нижнем во вторник вечером, что вы там остановитесь на среду и четверг и что, следовательно, мое письмо найдет тебя в Казани... Тысяча и тысяча приветов мсье Воше, передай ему мою признательность и мою привязанность».

19 августа Грибовский доносил Бенкендорфу: «Жена Трубецкой проехала третьего дня через Нижний...»

От опытного взгляда статского советника не укрылся и необычный спутник княгини Екатерины Ивановны.

Люди Грибовского проследили Трубецкую и Воше до самой их остановки. А остановились они в селе Лыскове — под

Нижним, — у хозяина огромного имения князя Георгия Александровича Грузинского.

Князь Грузинский был родным дядей Сергея Петровича Трубецкого.

4

Жарким августовским днем 1826 года генерал-адъютант Бенкендорф читал и перечитывал донесения своих агентов о следовании в Сибирь государственных преступников, о толках в публике на их счет, о поступках и намерениях их родственников... «Жена Трубецкого проехала третьего дня через Нижний...» С ней был этот француз. Зачем он ехал? Разве нельзя было послать вместо него для охраны здорового парня из дворовых людей? Почему француз? Об этом стоило подумать.

Бенкендорф был уверен, что ни сами преступники, ни родственники их не успокоятся, что они будут придумывать различные извороты для облегчения судьбы, преступниками заслуженной. Что это могли быть за извороты? Подкуп местных чиновников и охраны. Запугивание местных властей громкими именами преступников и их родни. Использование родства с кем-либо из местного начальства... Это все — для послаблений.

А ведь есть и еще одна опасность. Страшно сказать — побег... Пусть не всех — это невозможно. Но даже если нескольких... Имея деньги и многочисленных пособников, можно затеряться в России или перейти в чужие края... Николай Тургенев, приговоренный к каторге, гуляет же себе по Лондону. Отчего бы ему не гулять вместе со своим другом Трубецким, скажем? «Жена Трубецкого проехала третьего дня через Нижний...» Что у них на уме? И этот француз...

Нужно предупредить Грибовского, чтобы тщательно исследовал обстоятельства. Чтоб узнал о замыслах — сколько возможно. О чем говорила княгиня с князем Грузинским? Только ли отдыхала у него в доме?

Нужно особо предупредить генерал-губернатора Бахметьева.

В то время Бенкендорф еще не знал, что генерал-от-инфантерии Бахметьев был дядей государственного преступника Трубецкого, ибо сестра его была женой князя Грузинского.

5

Филипп Филиппович Вигель писал, вспоминая свою поездку в Нижегородскую губернию: «Всепопелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного Грузинского царевича князь Егор Александрович. Я уже означил

вкратце деяния его, когда говорил о подобных ему, коих число впрочем не было велико и из коих один только рязанский Лев Дмитриевич Измайлов мог равняться с ним в необузданности. Не знаю, первые ли шаги его ознаменованы были насилиями или он постепенно достиг власти, ни на каких законах не основанной? Царского происхождения, с полуденной кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Макарьева. Все приезжие, покупатели и торгующие, находя в Лыскове гораздо более удобств и простора, нанимали тут квартиры во время ярмонки, и это время было для Грузинского самое блистательное и прибыльное в году, так что с каждым годом, казалось, сила его умножается».

Князь Георгий Александрович и в самом деле был правнуком грузинского царя Вахтанга VI, выехавшего в Россию в 1724 году. Так что мало кто мог поспорить с князем Грузинским в родовитости.

Князь Георгий Александрович имел чин действительного статского советника, придворное звание камергера, двадцать три года подряд — с 1807 по 1830 — нижегородское дворянство избирало его губернским предводителем.

Либералом он не был.

И, однако же, когда жена родного его племянника — его сестра была матерью князя Сергея Петровича — приехала к нему и просила о помощи, он, не раздумывая, ей эту помощь обещал.

Он не любил Романовых.

Его, князя Георгия, предки правили Грузией и назывались царями, когда о Романовых еще и слуху не было.

И то, что этот мальчишка Николай заковал его племянника, князя Трубецкого, в кандалы и отправил как какого-то разбойника на каторгу, приводило Георгия Александровича в бешенство.

Разумеется, ни о каких открытых действиях против императора князь Георгий Александрович и не помышлял. Но помочь племяннику, а заодно насолить Николаю и его присным — на это он был готов.

Договорились они с княгиней Екатериной Ивановной вот о чем: когда в Сибирь или из Сибири будут ехать нарочные с письмами — а письма будут такого свойства, что лучше им не попадать в руки властей, — то нарочные в Лыскове смогут остановиться, отдохнуть, в случае надобности получить денег, и — что самое главное — те, кто поскачет из Сибири, отдадут письма князю Георгию, а он своими средствами доставит их адресатам в столицы. А нарочных пусть ловят тогда на заставах и обыскивают сколько душе угодно.

О проекте побега Георгию Александровичу сообщено не было.

Через несколько дней статский советник Грибовский уже знал о длительных беседах Трубецкой с хозяином Лыскова, знал, что Воше на обратном пути должен остановиться у князя Грузинского.

Среди многочисленной дворни не так уж трудно найти человека, которого можно подкупить. Тем более что людей своих князь Георгий обижал часто и жестоко.

Полученные сведения Грибовский сообщил Бенкендорфу и генерал-губернатору Бахметьеву.

19 августа княгиня Трубецкая выехала из Лыскова.

В двадцатых числах проехала Казань и Екатерининбург.

9 сентября она была уже в Красноярске.

Воше вел дневник.

6

Генерал-губернатор Восточной Сибири Александр Степанович Лавинский оказался в большом затруднении, узнав, что государственные преступники, осужденные по делу 14 декабря, будут сосланы в подведомственные ему области.

Эти сто с лишним человек, многие из которых проявили себя людьми деятельными и решительными, могли стать для генерал-губернатора, источником неисчислимых бедствий.

Он знал свой край, населенный в значительной мере людьми буйными и готовыми на возмущение. Многие тысячи каторжников, сосланных за страшные преступления против закона — за убийства, грабежи, разбой. Многие тысячи солдат, сосланных за непокорность из армии и гвардии, множество поляков, бунтовщиков и детей бунтовщиков... Все время то здесь, то там возникали различные происшествия — мелкие бунты, побегі. Но этой постоянно волнующейся опасной стихии не хватало головы, центра, умелой руки, которая бы это волнение направила.

Теперь — с водворением в пределы края всех этих бывших генералов, полковников, поручиков, соединенных общими замыслами, общим несчастьем, — положение становилось во сто крат опаснее.

Призрак великого сибирского междоусобья встал перед генерал-губернатором...

Эти мысли томили Лавинского еще в Москве, куда он был вызван в июле на коронацию молодого императора.

Здесь, встречаясь постоянно с родными сосланных, понял он и еще одну для себя опасность — вызвать неудовольствие и ненависть этих лиц слишком строгим надзором за ссыльными. А ведь среди них были и весьма влиятельные...

Куда ни кинь — все плохо и ненадежно. Ненадежность, неопределенность тревожили его сейчас не меньше, чем воз-

возможные беды в будущем. А тут еще он узнал об отъезде княгини Трубецкой... И он решил добиться положительных, ясных инструкций — только в них было спасение.

25 августа он составил свои соображения, касающиеся вопроса частного — жен государственных преступников, едущих в Сибирь. И отправил их — эти соображения — начальнику Главного штаба барону Дибичу, чтоб посмотреть, как отнесутся там — наверху — к его беспокойству...

«Генерал-губернатор Восточной Сибири, не имея доньше никакого предписания насчет отправленных в Сибирь преступников, не знает, имелись ли в виду следующие соображения, если, впрочем, слухи о следовании за ними жен их в существе своем справедливы.

1) Будет ли сделано предписание местным властям об обходе их с теми женами, т. е. считать ли их в прежнем быту или женами ссыльных?

2) Следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они, естественно, делаются причастными их судьбе и теряют прежнее звание, а прижитые в Сибири дети поступают уже в казенные крестьяне. Неизвестно, имеют ли они о сем понятие, и ежели нет, то не должно ли оное быть им внушено, ибо многие, может быть, решаются ехать в Сибирь не из любви и привязанности к своим мужьям, но из пустого тщеславия, чтоб быть предметами разговоров и показать публике, что пожертвовали для мужей собственным благополучием своим, но коль скоро мечтания их рассеются вразумлением об ожидающей их там участи, то, может быть, исчезнет и охота к выполнению необдуманного намерения.

3) Судя по состоянию, жены сии могут иметь большие деньги. Могущественная сила оных в краю бедном, населенном людьми буйными и развратными, может иметь вредное влияние и потому не должно ли ограничить их в привозе с собою наличных сумм?..

Р. С. Не должно ли предоставить свободу крепостным людям, за теми женами едущим, возвратиться в свои края, ибо по строгой справедливости они не могут быть причастны участи как самих преступников, так и жен их, добровольно отрицающихся от прав своих, и сие послужить может к вящему их вразумлению».

Утром 31 августа 1826 года бумага Лавинского была передана Дибичем царю.

В 3 часа пополудни того же дня Лавинский получил от Дибича письмо.

«Секретно.

Милостивый государь
Александр Степанович!

Государь император высочайше повелеть соизволил для

совещания об образе присмотра в местах ссылки за осужденными по решению Верховного Уголовного Суда и о других обстоятельствах, до них относящихся, составить особый комитет, в котором присутствовать тайному советнику Сперанскому, Вашему Превосходительству, генерал-адъютанту Бенкендорфу, генерал-майору Лепарскому и мне.

Сообщая Вашему Превосходительству сию высочайшую волю, я прошу покорнейше Вас пожаловать ко мне для открытия сего комитета во вторник в 7 часов вечера. 31 августа 1826 года. № 1428.

С совершеннейшим почтением
имею быть и проч.
Барон Дибич».

Стало быть, не один Лавинский предвидел возможные последствия ссылки государственных преступников в Восточную Сибирь, раз был создан особый комитет.

Да, быть может, никто так трезво не смотрел на вещи в тот момент, как сам Николай.

В начале сентября Николай вызвал Лавинского к себе.

Речь прежде всего зашла о воинских силах. В тех местах, куда проследовали преступники, сил этих было мало.

— Ты ручаешься за безопасность края? — спросил Николай.

Лавинский собрался с духом.

— Нет, ваше величество, не ручаюсь, ежели преступники, как предполагается, будут расселены по разным заводам. Каждый завод отделен от другого значительными расстояниями и имеет отдельное управление. Для охраны преступников в таком положении придется многократно дробить воинские силы, и без того немногочисленные.

— Что же ты полагаешь?

— Я полагаю, ваше величество, соединить их вместе в Нерчинском заводе или в Чите, отобрать 150 человек надежных солдат для охраны и вверить дело в полную ответственность генерал-майору Лепарскому. И ему будет способнее охранять их в одном каземате.

Много лет спустя Михаил Бестужев писал историку Семевскому: «Вам, вероятно, кажется странным: для чего лицам, осужденным по законам в каторжную работу, следовательно должествующим быть разосланным по заводам,— этим лицам строят казематы, назначают коменданта, его огромный штат канцелярии и проч. и проч. Да, это странным покажется всякому, не посвященному в таинства нашей администрации. Ларчик открывался просто: боялись общего бунта всей Восточной Сибири».

И, как выяснилось через полтора года, не напрасно боялись.

А пока что с 1 сентября комитет начал работу. Председательствовал барон Дибич, начальник Главного штаба.

5 сентября 1826 года Сухинов, Соловьев, Мозалевский и подпоручик Быстрицкий вышли из ворот киевской тюрьмы и начали свой пеший путь в Нерчинск.

Они шли, скованные по рукам и ногам.

Горбачевский в своих записках рассказывал со слов Соловьева и Мозалевского: «Легко представить себе положение черниговских офицеров без всякого пособия, без родных, без знакомых, оставленных и забытых всеми. Они отправились в Москву полуодетые, имея при себе два рубля серебром. Наготу барона Соловьева прикрывали рубашка и старый халат. При отправлении своем из Киева они виделись в канцелярии с 12 человеками своего полка солдат и с 14-летним разжалованным юнкером, назначенным в Грузию; их свидание было трогательно; нечаянная встреча заставила их на минуту забыть свое несчастье. Слезы катились из глаз добрых солдат, видя бедственное положение своих офицеров; они хотели утешить их, но их утешения обращались в простые, но сильные выражения горести. Соловьев и его товарищи отдали своим сослуживцам последние два рубля серебром и не иначе могли их заставить принять оные, как обманом, уверяя, что они имеют деньги и ожидают еще скорой помощи от родных; сами же пошли на кормовых, которых полагается по 12 коп. в сутки».

Путь их лежал через Козелец, Нежин, Глухов, Орел, Калугу...

Ночевали они в местных тюрьмах, забытых арестантами. Кандалов с них не снимали.

Редко, но все же представлялась им возможность проехать несколько верст на обозной телеге. Измученные Соловьев, Мозалевский и Быстрицкий рады были этому короткому облегчению. Сухинов не сел на телегу ни одного раза. Его гордость не позволяла ему принимать даже такое снисхождение. Он хотел испить чашу до конца, чтобы расплатиться сполна.

Предписание из Петербурга о приготовлении лошадей для дальнейшего следования государственных преступников председатель Иркутского губернского правления действительный статский советник Николай Петрович Горлов получил еще 15 августа. Он в это время замещал гражданского губернатора.

Распорядившись о лошадях, он 18 августа дал приказание начальнику Иркутского адмиралтейства «о приготовлении казенных транспортов на здешней стороне Байкала».

Итак, все было готово для отправки осужденных в глубинную Восточной Сибири...

29 августа на берегу Ангары возле того места, где приставал паром, толпились сотни жителей Иркутска. Они ждали, когда на Московском тракте — на том берегу — покажутся скачущие тройки. В этот день в Иркутск должна была прибыть вторая партия государственных преступников. Первая — Оболенский, Якубович, Артамон Муравьев и Василий Давыдов — прибыла 27 числа.

Волконского, Трубецкого и братьев Борисовых привезли к самой ночи. Их сразу отвели в помещение полиции. Иркутский комендант генерал-майор Покровский распорядился поставить у дверей их комнаты часовых и расставил караулы вокруг здания.

Вскоре в полицию прибыл и действительный статский советник Горлов...

Когда он вошел, Волконский и Трубецкой встали, звякнув кандалами, а братья Борисовы сделали вид, что спят.

Горлов уже несколько дней назад знал, кого везут, из полученных предписаний. С горечью и тоской ждал он этой встречи.

И вот теперь они стояли друг против друга.

В 1816 году, ровно десять лет назад, когда русская армия возвратилась из Европы, когда все были опьянены победой и ожиданием неслыханных перемен, он, Горлов, встретился с этими двумя молодыми аристократами.

В том году была учреждена масонская ложа «Избранного Михаила» — в честь первого Романова на русском престоле. В этой ложе состояли Федор Глинка, Николай Бестужев, братья Кюхельбекеры, Батенков. Все они теперь осуждены по делу 14 декабря.

В этой ложе состоял и он, Горлов.

А одновременно с «Избранным Михаилом» учреждена была ложа «Трех добродетелей». Среди управляющих ею были князь Сергей Волконский и князь Сергей Трубецкой.

Обе ложи были тесно между собой связаны, ибо замыслились они как подспорье «Союзу спасения», тайному обществу...

В то время и оба князя, и он, Горлов, делали одно дело.

А в 1818 году он вместе с Батенковым основал в Томске ложу «Восточного Светила на востоке Томска в Сибири» и управлял этой ложей.

И вот теперь он стоял как власть имущий перед двумя своими единомышленниками, наряженными в непривычную одежду, худыми, закованными в кандалы.

В комнату вошли генерал Покровский и городничий Пирожков.

Не глядя на них, председатель губернского правления, ис-

правляющий временно должность гражданского губернатора, действительный статский советник Горлов сказал:

— Воинский караул можно снять. Полиции достаточно. Не надо придавать событию чрезмерной важности в глазах обывателей... От оков преступников освободить.

Повернувшись, он увидел удивленные лица коменданта и городничего.

— От оков преступников освободить! — раздраженно повторил он. — Эта мера только для безопасности следования.

Он знал, что поступает опрометчиво. Но ничего не мог с собой поделать.

Больше того: когда он, осилив судорогу в горле, приказал снять с них кандалы, он почувствовал, что кончилась тяжкая тревога, гонявшая его все эти дни по городу, не дававшая спать. Он не знал, что же он сможет сказать, увидев этих двух людей...

Он сказал: «От оков преступников освободить!» — и освободился сам. Он стал спокоен, хотя и знал, что губит себя.

Хмурый Покровский, обиженный тем, что отменено его распоряжение, вышел. Пирожков подозвал частного пристава Затопляева и велел снять с преступников кандалы.

Много позже, в апреле 1827 года, когда началось следствие по делу о подозрительных связях иркутских чиновников с государственными преступниками, подчиненный Горлова советник губернского правления Здор показывал следователям: «В то самое время, когда государственные преступники Муравьев, Давыдов, Оболенский, Якубович, Трубецкой, Волконский и двое братьев Борисовых доставлены были в Иркутск, они свезены были во двор к правящему должность гражданского губернатора председателю губернского правления Горлову, куда вслед за ними явился комендант Покровский и стеклось множество народа, при самой реке Ангаре их встречавшего. Я был завлечен в толпу прочих людей и, полагая, что их тотчас же повезут далее, подошел к повозке, где сидело два человека, из одного человеколюбия всунул им в руки 50 рублей, которые на тот раз со мной случились; около повозки их стоял жандарм безотлучно, их привезший, тут же находился фельдъегерь и многие из обывателей Иркутска. А также ходил по двору комендант Покровский, почему никто из нас не мог, да и не смел говорить с ними... Через несколько минут повозки, на коих сии четыре преступника находились, отправились к градской полиции... После чего отправился в числе прочих чиновников на завод к управляющему сборами Кузнецову; отсель часу в пятом после обеда увидели в окошке еще следующие повозки по ту сторону Ангары из московского тракта; управляющий сборами Кузнецов пригласил нас всех бывших у него, и мы отправились в полицию видеть сих последних; Кузнецов же потому более спешил к

ним, как он проговорил, мне, что тут был Трубецкой, о котором писал ему доверитель его кн. Голицын, чтоб заготовлена была квартира для жены его, которая за ним в Иркутск придет».

Город, как видим, был чрезвычайно возбужден приездом петербургских и южных мятежников. Причем отношение к прибывшим было доброе.

И еще одно крайне важное обстоятельство — письма и инструкции некоторым значительным лицам в Иркутске были посланы не только военным министром. Кузнецов, о котором пишет Здор, был городским головой. И получил, как видим, соответствующую инструкцию от дружественного Екатерине Трубецкой князя Голицына. Разумеется, не того флигель-адъютанта, что обыскивал кабинет в доме Лавалей, а куда более значительного лица. И поспешил эту инструкцию выполнить.

Что до самого Здора, то, как выяснилось, он лично знал Якубовича по Петербургу, знал приехавшего позже декабриста Назимова, явно знал Краснокутского, тоже доставленного в Иркутск. И, как он сам признался, влекло его к осужденным не только любопытство: он хотел и мог быть им полезен. Он им сочувствовал. Но власти все это выяснили позже — в 1827—1828 годах. А теперь, в августе 1826 года, советник губернского правления Здор был вне подозрений.

Ждал приезда государственных преступников в Иркутск и еще один человек — учитель здешней гимназии француз Жюльяни. Жюльяни был знаком с застрелившимся Владимиром Лавалем и его сестрой, княгиней Трубецкой.

Он был готов действовать.

9

Сухинов и его товарищи шли пешком в Сибирь.

В сентябре 1826 года они пришли в Кромы. До Москвы оставалось недалеко.

«В городе Кромах, Орловской губернии, тюрьма, в коей они провели ночь, была настоящею пыткой и сделалась почти губительною для них. В двух маленьких комнатах набито было полно арестантов, между коими находилось несколько больных женщин, который из религиозного фанатизма отрезали себе груди и были оставлены без всякого пособия; тела их были почти полусгнившие: смрад был такой, что к ним близко никто не подступал. Кроме сего, теснота, жар и дурной запах делали сию тюрьму нестерпимою. Соловьев провел всю ночь у маленького тюремного окошка; его товарищи спали под нарами, на сыром и нечистом полу, но и в сем успокоении они должны были чередоваться по причине чрез-

мерной тесноты... На другой день после сего ночлега барон Соловьев и Мозалевский заболели; смрадные и тесные тюрьмы совершенно расстроили их здоровье; с железами на руках и на ногах, они не могли даже переменить рубашку... С ними сделалась сильная горячка, так что они ничего не помнят о случившемся с ними во время дороги от Калуги до Москвы. Когда в Москву входила партия, они до того были слабы, что, лежавши на подводах своих арестантских вещей, были привязаны веревками к повозке».

Сухинов, избежавший болезни, но с трудом державшийся на ногах от измождения, шел пешком.

10

Действительный статский советник Горлов не спал в ночь с 29 на 30 августа.

Вечером он отдал приказание приготовить судно для перевозки преступников через Байкал. К Байкалу уже отправлен был полицейский офицер.

Но теперь, ночью, Горлову пришла другая мысль.

Он был волею судьбы — в отсутствие военного и гражданского губернаторов — самым главным в Иркутске и губернии. Вся власть была в его руках. Так не попытаться ли облегчить участь этих людей?.. Он еще раз просмотрел предписания военного министра. О том, что государственные преступники должны быть отправлены в Нерчинск, не было сказано ни слова. Разумеется, он прекрасно знал, что именно в Нерчинском крае должны они быть водворены, что там уже делаются приготовления... Но раз нет прямых слов в предписании, то что мешало ему, Горлову, сделать вид?.. Государственных преступников велено употребить в каторжные работы. Но и работа на солеваренных и винокуренных заводах под Иркутском тоже каторжная работа. Там каторжные и работают.

Так не отправить ли их на заводы? Пока в Петербурге разберутся, время пройдет, и — чем черт не шутит — Трубецкой и Волконский с товарищами так и останутся здесь. А ведь это все же не Нерчинские рудники... Рискнуть?

Но ведь кончиться может плохо. Ведь если потом дойдет до Лавинского, что он, Горлов, уже приказал судно готовить, так не отговориться будет незнанием. Так что же делать?

Страшно? А что же клятвы его масонские? Толки о справедливости и чести? Какая же им, клятвам и толкам этим, цена, ежели страх пересиливает? И ведь не казнь ему, Горлову, грозит, не каторга, а всего-навсего неприятности по службе. А эти неприятности он и так уже накликал, освободив их от оков... Но ведь уволят со службы — жить будет не-

чем. И сыну жить будет нечем. Но Нерчинские рудники?.. Он знал, что это такое.

Рано утром он приказал послать нарочного с отменой прежнего приказа.

На другой день после своего прибытия осужденные были отправлены по близлежащим заводам. Отношению к ним первого человека в губернии охотно последовало и более мелкое начальство.

Лица, не одобряющие такое попустительство, до времени затаились. Но когда в Иркутск вернулся гражданский губернатор Цейдлер, а осужденные были отправлены в Нерчинск, лица эти — во главе с комендантом Покровским — начали действовать. Предпринятое Покровским следствие выяснило, как содержались в заводах декабристы.

«...Во время бытности государственных преступников в заводе поручик Хоткевич обще с винокуром Смирновым имели с преступниками большие связи, такие, что не только ходили к ним каждодневно в квартиру и беспрестанно упражнялись в гуляниях по заводу, езде на дровнях Смирнова, но не один раз уезжали на уляхинскую мельницу и усольский остров с песенниками из рабочих. Хоткевич давал преступникам для постройки дому рядового Никитина. Смирнов же сверх сего 17 числа сентября минувшего года уезжал из завода с преступником Давыдовым, мещанином Ситниковым и рабочим, находившимся у Смирнова в прислугах... по подорожной, в проезде коих утверждают стоящий на бикете рядовой Матвеев и Еловский станции ямщики Григорий Носков и Захар Арсентьев, которые возили их в двух повозках до Урикского селения, и сии последние удостоверяют, что до Урикского селения поехали по дороге, лежащей к Хомутовскому селению, а потому, надобно полагать, имели свидание с преступниками, находившимися в Николаевском заводе, 18-го числа по возвращении к Еловской станции отвезены в завод теми же ямщиками и во все время бытности преступников в заводе не были употребляемы ни в какую работу».

Поездки Давыдова были отнюдь не праздными.

16 сентября в Иркутск приехала княгиня Екатерина Ивановна.

Она поселилась в доме городского головы Кузнецова. Кузнецов сразу же пригласил к себе Жульяни, знакомого княгини по Петербургу.

Жульяни, поговорив с княгиней, отправился к Горлову, и тот подписал ему подорожную до Александровского завода. Приехав в завод, он сообщил Давыдову о прибытии Трубецкой и просил известить князя Сергея Петровича. Давыдов со Смирновым отправились в Николаевский завод к Трубецкому. Жульяни ждал в Александровском. Вернулся Давыдов на следующий день — 18 сентября, а Жульяни отбыл в Иркутск

с нужными сведениями. Так была подготовлена поездка в Николаевский завод Екатерины Ивановны и Воше.

Все это было явным нарушением законов.

Они приехали в завод 19 сентября.

Екатерина Ивановна осталась ждать в тележке, а Воше в сопровождении ямщика пошел искать избу ссыльных.

Он толкнул низкую дверь и остановился, всматриваясь в полумрак. Когда глаза привыкли, он увидел стоящих посредине комнаты двух высоких людей. В одном из них он узнал Трубецкого.

Трубецкой и Волконский услышали голоса на улице, но из суеверного чувства удержали себя и не бросились навстречу.

Воше всмотрелся в худое загорелое лицо князя Сергея Петровича, увидел у того слезы на глазах и сказал:

— Князь, я привез вам княгиню...

И тоже заплакал.

11

21 октября 1826 года Бенкендорф получил письмо от нижегородского, казанского, пензенского, саратовского и самарского генерал-губернатора генерала-от-инфантерии Бахметьева.

«Секретно!

Милостивый государь мой
Александр Христофорович!

Дошли до меня слухи, что секретарь г. Лавалья Воше, проважавший княгиню Трубецкую в Сибирь к мужу ее, везет с собою оттуда в С.-Петербург много писем от преступников.

Обстоятельство сие я счел за нужное довести до сведения Вашего Превосходительства и присовокупить к тому, что Воше, остановившийся в Нижнем Новгороде на несколько часов, попадет в С.-Петербург через Москву».

Бенкендорф прочитал это послание со смешанным чувством изумления и ярости. Ему ясно было, что письмо, лежавшее теперь перед ним, сочинялось с брезгливой гримасой, а то и вовсе с издевательской ухмылкой.

Что произошло?

Подозрительный иностранец, за которым следит полиция (и Бахметьев это знает), везет письма от государственных преступников, минуя законные пути, что строжайше запрещалось (и Бахметьев это знает). Генерал-губернатору, облеченному полной властью, докладывают, что этот иностранец остановился у него под боком — тут же рядом, в Нижнем Новгороде. Что делает генерал-губернатор?

Вместо того чтобы немедленно арестовать нарушителя законов,

отобрать у него тайные письма и тем самым не только покарать преступление, но и открыть, возможно, преступные замыслы, генерал-губернатор спокойно ждет, пока этот Воше отбудет, и затем только извещает столицу, прекрасно понимая, что, пока это известие достигнет цели, Воше будет далеко.

Смысл письма, стало быть, такой: я, старый боевой генерал Бахметьев, вашими сыскными делами заниматься не желаю. Если угодно, ловите этого курьера сами. Ежели успеете...

Чувство изумления и ярости Александр Христофорович испытывал последние месяцы довольно часто, сталкиваясь с такой вот брезгливой фрондой. Это была оппозиция старых генералов и сановников. Один такой сидел на Кавказе — Ермолов, другой — в Петербурге, Мордвинов, не пожелавший голосовать за смертную казнь злодеев 14 декабря. И вот теперь открывается, что Бахметьев из этой же партии... Надо исследовать его связи и родство. То, что он был героем и при Бородине ногу потерял, — это еще ничего не значит. Полковник Трубецкой тоже отличился при Бородине...

Слух о скором приезде Воше, а затем и сведения о его приезде доложил Бахметьеву чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе титулярный советник Демьян Осипович Путивинский. Демьян Осипович был человеком опытным и старательным. Был он недаром кавалером орденов св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени. В бытность Грибовского в Нижнем Новгороде Путивинский помогал Грибовскому и по отъезде статского советника перенял налаженную там агентуру в селе Лыскове у князей Грузинских.

От подкупленных дворовых он и узнал о Воше.

Получив эти сведения, Бахметьев задумался. Не давать им ходу вовсе он не мог. Но сделать вид, что не понимает серьезности ситуации, — это было в его силах. Так он и поступил.

И кроме того, в донесении Бенкендорфу он ни словом не обмолвился, что Воше остановился в Лыскове.

Но Бенкендорф знал о поведении князей Грузинских из других источников. И умолчание Бахметьева еще раз подтвердило его, Бенкендорфа, подозрения. Он отправился с докладом к императору.

12

Более чем через год после событий, о которых идет речь, 17 ноября 1827 года, канцелярия генерал-губернатора Восточной Сибири завела «Дело о коллежском регистраторе Петрове, сделавшем навет на некоторых государственных преступников».

Дело это началось с доноса коллежского регистратора Петрова, отправленного непосредственно императору.

«1 октября 1827.

Всеавгустейший Монарх!
Всемиловитивейший Государь!

Прослужа в службе Вашего Императорского Величества 27 лет с надлежащею ревностию выполняя обязанность за что и награжден чином Коллежского регистратора и ныне всегда горя любовью к своему отечеству и имея всегда в твердой памяти оказанную Монаршую милость блаженной памяти императором Павлом Петровичем освобождением меня от ига рабства, не мог преминуть и даже вменял себе в преступление чтобы Всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству не открыть о нижеследующих у сего пунктах...»

Рассказав далее о том, как, встретив год назад под Иркутском провозимых государственных преступников, он слышал крамольные их речи, этот верный слуга отечества из бывших крепостных, дослужившийся до чина, сообщает: «...Следуя я из Илчинского завода в город Иркутск и на пути взашел описанных выше обстоятельствах в разговор с ехавшим вместе человеком, который с своей стороны объявил, что ему по одному чудному случаю досталось в руки письмо, писанное преступником Оболенским в ответ на письмо ж к одному довольно знатному чиновнику и что он побуждаясь долгом верноподданного избрал все возможные средства то письмо представить на усмотрение Вашего Императорского Величества, но оказанные милости и уважение тех злодеев и видя уже на опыте каким гонениям может он быть подвергнут, сего выполнить не имеет никакой возможности, а потому и просил меня избрать какой-либо случай... Означенный выше человек (именовать которого здесь не подвергнув величайшему гонению и даже самой смерти ежели о сем как-либо откроется невозможно) кроме выше прописанного достоверно знает как упомянутые злодеи чертили планы находясь поблизости города Иркутска по винокурным заводам и как он имеет вход ко многим знатым особам, то и имеет достоверные сведения о возобновлении здесь тайного общества которое уже ныне делает важные действия которые вероятно могут причинить много вреда хотя и не скоро, а особенно в таком месте где народ большею частию испорченной нравственности и на все злодеяния легко может решиться...»

Донос этот до императора не дошел, а попал в руки местных властей и вызвал некоторое волнение.

Началось следствие.

Но прежде чем говорить о ходе его, стоит обратить внимание на один любопытный штрих — в доносе Петрова упорно говорится о связях преступников со «знатыми чиновниками», «знатыми особами» и о том, что разоблачители пре-

ступных козней подвергаются в Иркутске гонениям и даже рискуют жизнью.

Такой представлялась маленькому озлобленному чиновнику ситуация в сибирской столице.

Что же обнаружило следствие?

Следствие прежде всего отыскало того таинственного человека, на которого ссылался Петров. И выяснилось, что Петров все представил в превратном виде.

Человека звали Григорий Андреевич Цветаев. Был он из дворовых людей. В Сибирь его сослали за побег, наказав при этом розгами. Был он человеком грамотным. В Иркутске «занимался вольнонаемно письменными делами в Казенной палате». Обучал грамоте детей.

И вообще, насколько в писаниях Петрова и во всем его поведении виден человек злобный, с ясной повадкой канцелярского крючкотвора и мошенника, настолько доброе впечатление производит Цветаев.

О доносах он, судя по всему, не помышлял. В историю эту завлекли его обстоятельства.

Как служащий Казенной палаты был он в сентябре 1826 года — вскоре после распределения осужденных по близ Иркутска лежащим заводам — прикомандирован к ревизору Попову, который следил за содержанием декабристов.

Вместе с Поповым приехал он в Александровский завод, где содержались братья Борисовы, Артамон Муравьев и Василий Давыдов. По приказанию Попова он должен был проверять канцелярские книги завода, в том числе Горный журнал, представленный управляющим Ильей Андреевичем Петуховым.

И между страниц Горного журнала наткнулся на письмо Оболенского Петухову. Так что в этой части доноса Петров не лгал.

Дальше было так. Находившийся в это время на заводе Петров ночевал в одной комнате с Цветаевым и увидел письмо. Когда Цветаев вышел, Петров схватил письмо и стал читать. Вернувшись, Цветаев письмо отобрал, но дошлый регистратор уже понял, чем дело пахнет. Он стал шантажировать Цветаева, подбивая его на донос, Цветаев обещал донести. Но так и не сделал этого. Единственно, что он сделал, — под давлением Петрова взял себе письмо. И тогда — через год — Петров написал свой донос.

На следствии Цветаев отдал хранившееся у него письмо Оболенского.

«Касательно ж какие планы чертили на винокурных заводах преступники, — показывал Цветаев, — то действительно ли они чертили здесь или еще прежде не знаю, а только в сентябре или октябре месяцах прошлого года будучи я по знакомству с людьми статского советника Горлова видел, как

жена преступника Трубецкого приезжала к нему и привезла две ландкарты или карты, которые я с другой комнаты видел, как они рассматривали, при коих находились две тетради примерно по дести, но что в них написано, а также равно к чему служить могут и планы не знаю».

Стало быть, отмечается только безумное утверждение Петрова о возобновлении тайного общества, которое уже действует.

Письмо Оболенского действительно существовало — оно подшито к делу. Планы, которые видел Цветаев в руках государственных преступников на Александровском заводе, — проект церкви, которую Муравьев и Давыдов собирались построить в заводе на свой счет.

Остается показание Цветаева о картах, которые Екатерина Ивановна Трубецкая рассматривала вместе с Горловым.

Не верить Цветаеву нет оснований. Ведь все остальное он не выдумал. И маловероятно, чтобы он стал выдумывать такую необычную ситуацию, как совместное изучение географических карт — ландкарт — женой государственного преступника и председателем губернского правления. Если бы о ком другом шла речь, можно было бы усомниться. Но Горлов, старый знакомец Трубецкого и Волконского, единомышленник-масон, приятель Батенкова, приказавший в нарушение законов расковать преступников, — Горлову Трубецкая могла довериться.

Что было целью этих географических занятий?

В тот момент казалось, что вопрос о местопребывании восьми декабристов, осужденных по первому разряду, решен. Сами они готовились к длительной жизни в окрестностях Иркутска. Стало быть, обсуждать с картой дальнейший путь не было оснований.

Предметом разговора Трубецкой и Горлова над ландкартой могло быть только одно — побег.

Княгиня Екатерина Ивановна с ее твердостью и решительностью не склонна была оставить мужа навсегда в этих Богом забытых местах. Идею побега она обдумывала тщательно и всесторонне.

Но именно исследование карты и должно было ее убедить, что бежать из Иркутска невозможно. Некуда было бежать. Путь в Россию был закрыт. Путь в Китай был невероятно труден и, главное, бессмыслен — китайцы либо убивали беглецов, либо выдавали их русской пограничной страже...

Мысль о побеге пока надо было оставить.

Это происходило в двадцатых числах сентября 1826 года, ибо Трубецкая приехала в Иркутск 16 сентября и первые дни ей было не до ландкарт, а Воше уехал из Иркутска не позднее 25 сентября.

Княгине Екатерине Ивановне необходимо было выяснить

возможности побега до отъезда Воше и с ним сообщить в Москву и Петербург.

Известия Воше повез неутешительные.

Но Воше еще не доехал до Нижнего Новгорода, а уже ситуация, как мы увидим, совершенно изменилась.

Наступил октябрь 1826 года.

И только через год коллежский регистратор Петров, учуяв своим крысиным чутьем, что положение Горлова пошатнулось и он уже не страшен, подал свой донос, в котором все замыкалось на Горлове.

Следствие по делу о письме Оболенского и ландкартах кончилось не в пользу доносчика. Ведь для Лавинского дать ход делу — значило признать, что еще год назад государственные преступники что-то затевали, а он, генерал-губернатор, все это проморгал. Лавинский не мог на это пойти.

Показания Цветаева были объявлены результатом его глупости. Хотя он был явно не глупец.

И Петров, и Цветаев были посажены на время под арест.

Но осенью 1826 года уже шло другое следствие. Следствие по делу действительного статского советника Горлова, попустительствовавшего государственным преступникам. Эпизод с ландкартами там не всплывал, но зато всплыло многое другое.

13

5 ноября 1826 года Бенкендорф отправил письмо Бахметьеву.

«Милостивый государь мой
Алексей Николаевич!

Я имел счастье доводить до сведения Государя Императора письмо Вашего Превосходительства о секретаре графа Лавая Воше.

Его Императорское Величество принял с благоволением сведения Ваши о сем человеке, поручил мне Вам изъяснить свою признательность.

Исполняю с чувствительным удовольствием сию Высочайшую волю, честь имею быть с совершенным почтением и преданностью

Вашего Высокопревосходительства
покорнейший слуга

А. Бенкендорф».

А что, собственно, они могли написать Бахметьеву? В то время — осенью 1826 года, вскоре после казни пятерых — Николай еще не решался делать выговоры государственным людям такого масштаба, как генерал-губернатор пяти цент-

ральных губерний. Ведь у этих людей была в руках реальная власть.

Николай выразил Бахметьеву свое благоволение, но судьба генерал-губернатора была решена.

Письмо было отправлено 5 ноября. А еще 2 ноября сведения о Воше были переданы начальнику Главного штаба барону Дибичу.

3 ноября Дибич отправил доверенное лицо — подпоручика Белоусова — с командой «по тракту от С.-Петербурга до Нижнего Новгорода с тем, чтобы при встрече с секретарем гр. Лаваля иностранцем Воше взял его и, опечатав все находящиеся при нем бумаги и имущество, доставил как оные, так и его самого куда повелено».

Подпоручик Белоусов исправно доехал до Нижнего Новгорода, но иностранца Воше не встретил. И не мог встретить. Воше поехал другой дорогой — через Рязань. Эту дорогу посоветовал ему князь Георгий Александрович Грузинский.

О том, что Воше станут поджидать на дороге, мог знать только Бахметьев. Но если бы Воше поехал и обычным трактом, то Белоусов все равно опоздал бы.

Впрочем, все самые важные бумаги Воше оставил князю Георгию Александровичу, как и было ранее условлено, и князь вслед за Воше отправил их в Москву с нарочным. Нарочный ни у кого не мог вызвать подозрений.

В конце октября Воше прибыл в Москву, в дом княгини Зинаиды Волконской, откуда лишь три месяца назад они с княгиней Екатериной Ивановной отправились в Сибирь. А прежнего Воше уже не было и в помине. За эти три месяца была безумная скачка в тысячи верст, сибирские дебри, грязная изба в Николаевском заводе, потрясенное лицо Трубечкого и его слезы, когда он, Воше, плача, сказал ему: «Князь, я привез вам княгиню». И князь Волконский, обросший бородой, печальный... И эти страшные рабочие в заводе — опухшие, грязные, в каком-то тряпье... Теперь Воше знал мир, который и в страшном сне не мог ему раньше присниться... Но не ужасы эти были главным — он узнал людей, которые силой духа, терпением к страданию, гордостью в бездне унижения напомнили ему древних героев, столь чтимых им. Они наполнили для него край духовным сиянием, и сейчас, целуя руку княгини Зинаиды, Воше подумал, что лучшее время его жизни — позади.

И помнил он то, что сказал ему князь Сергей Петрович, когда они с княгиней Екатериной Ивановной уезжали с завода: «Найдите способ, мой друг, умоляю вас, найдите способ и передайте ему, что на нем долг — он один спасся и он должен рассказать миру правду о нашем деле. Нас оболгали, нас представили злодеями — он должен рассказать правду...»

Речь шла о Николае Ивановиче Тургеневе.

Пока Воше скакал в Москву, в Иркутске все неожиданно и печально переменилось.

Вернувшийся в Иркутск в середине сентября гражданский губернатор Цейдлер, поразмыслив, понял, что контролировать положение он не может. На первый взгляд, все было спокойно: его доверенные на заводах внимательно следили за поведением ссыльных. Охрана была вполне достаточная. Общение с другими каторжниками им было строжайше воспрещено.

И все же...

Цейдлер знал, сколько в Иркутске и на заводах людей, сочувствующих преступникам. Они уже проявили себя в дни их прибытия. За всеми людьми не уследишь.

А главное — жены. Княгиня Трубецкая уже здесь. Скоро придут и другие. Давая им разрешение, государь, конечно, проявил похвальное человеколюбие, рассуждал Цейдлер. Но в какое положение поставил он местные власти! Родня княгини Трубецкой, урожденной графини Лаваль, и родня ее супруга остались при своих чинах, деньгах и титулах. Ссориться с этими господами? А если не ссориться, значит, попустительствовать. А если попустительствовать, к чему это может привести?

Сестра князя Волконского, ныне государственного преступника, прислала на жительство в Иркутск своего отпущенника Павлова. И не успел этот Павлов обжиться в Иркутске, как уже нашел способы незаконно проникнуть в завод, где содержался Волконский, и, минуя охрану и всех ревизоров, передать ему вещи и письма.

Генерал-губернатор Лавинский писал, узнав об этом происшествии: «Человек сей, может быть, для того, собственно, в Иркутск отправлен, дабы получать и пересылать через него какие-либо сведения и т. п., следовательно, в предупреждение сей неуместности я полагал бы выслать его обратно».

Павлова выслали. Но где гарантия, что в Иркутске не поселилось уже тайным образом несколько таких комиссионеров?

А жены — с деньгами, связями, влиянием — станут направлять действия и здешних, и приезжих доброхотов. И что из этого выйдет?

«При теперешнем распределении преступников по заводам жены могут иметь сообщение посторонними путями и даже получать и посылать своих доверенных людей и находить способы к доставлению писем и делать тому подобные самовольные поступки, которых и за строжайшим надзором предупредить не предстоит возможности», — в тревоге писал Цейдлер Лавинскому.

Мятежников, поселенных Горловым в окрестностях Иркутска, следовало немедленно отправить в Нерчинск.

Лавинский и Секретный комитет полагали так же.

Из этого перемещения могла выйти и еще одна польза — жены крепко должны были задуматься перед новым путешествием в места еще более дикие и опасные.

2 октября 1826 года фельдъегерь из Петербурга доставил Цейдлеру распоряжение Секретного комитета и инструкцию, как содержать государственных преступников. Из бумаг этих Цейдлер с некоторым ужасом понял, что в Петербурге государственных преступников считают уже отправленными в Нерчинские рудники.

Перемена судьбы была неожиданна для декабристов. Вот как это выглядело в случае с Оболенским и Якубовичем.

«Вечером 5-го октября, — вспоминал Оболенский, — в то время, когда мы играли в шахматы, входит урядник Скуратов и объявляет нам, чтобы мы собирались в дорогу и что нас велено представить в Иркутск. Первая мысль товарища была, что манифест прислан с фельдъегерем и что нас зовут в Иркутск, чтобы объявить высочайшую милость. Я молчал, но думал противное, и начал укладывать все, что можно было поместить в наши чемоданы... Мой товарищ решительно не хотел брать ничего с собою, в полной уверенности, что он скоро, на возвратном пути, легче и удобнее сможет заехать в Усолье и взять с собою все, что ему покажется нужным для обратного пути. Молча я делал свое дело: уложил наши чемоданы, но никак не мог уговорить товарища взять медных 25 рублей, которые остались на руках хозяйки до предполагаемого нашего возвращения. Тройки прибыли; при каждом из нас посадили по два казака, на третьей тройке нас провожал урядник Скуратов. Я указал молча Якубовичу на наш конвой, но он махнул рукой, говоря: «Вот услышишь, тогда поверишь», сел на передовую тройку и поспекал. Таким образом продолжали мы путь до Иркутска. В самую заутреню 6 октября мы въезжаем в город, Якубович не перестает мне махать белым платком; наконец едем далее, проезжаем весь город, нигде не останавливаясь; белый платок перестает развеиваться; «выезжаем наконец за город и на четвертой версте видим здание, окруженное войском: тут были и казаки, и пехота; часовые расставлены везде. Это были казармы казачьего войска. Въезжаем во двор; Якубович соскочил с телеги; его встречает Андрей Николаевич Пирожков. Недолго задумываясь наш казказец: «Помилуйте, Андрей Иванович, — говорит он ему, — у вас здесь собрана и пехота, и кавалерия; где же ваша артиллерия?» Андрей Иванович не мог не улыbnуться, но молча протянул нам руку, повел в верхний покой, где

мы нашли князей Трубецкого и Волконского; тут мы узнали истинную причину нашего приезда: нас отправляли в Нерчинские рудники».

Распорядившись вести ссыльных в Иркутск ночью, Цейдлер надеялся, что княгиня Трубецкая об отъезде их за Байкал узнает поздно — когда они будут далеко. Он надеялся, что внезапное исчезновение мужа и его товарищей отрезвит княгиню и отвратит от мысли следовать за ними в Нерчинск.

Не тут-то было.

Цейдлер писал Лавинскому: «Хотя были взяты все меры предосторожности, чтобы Трубецкая о том не узнала, однако она была извещена о сем каким-то человеком (о котором не премину узнать) и, вскочив с постели, бросилась пешком по городу, забежала на гауптвахту, потом в полицию, но, не найдя там преступников и узнав, что в казачьей полковой, побежала туда и, встретя там повозки, ехавшие из города с преступниками, бросилась вперед лошадей, но Трубецкой тут же ее успокоил и был уведен, после чего она прибежала ко мне в дом в таком отчаянном состоянии, что я не решился отказать ей съездить на первую от Иркутска станцию в сопровождении чиновника, дабы, простившись с мужем, тот час же возвратилась».

Если до сих пор декабристы могли надеяться и надеялись на амнистию, ждали со дня на день — как Якубович — фельдъегеря с манифестом, то теперь они поняли, что на милость Николая рассчитывать им нечего. Они могли надеяться только на самих себя.

6 октября 1826 года их в спешке, под сильным конвоем повезли к Байкалу.

15

Едва переодевшись и помывшись с дороги, Воше предстал перед княгиней Зинаидой Волконской и графиней Елизаветой Потемкиной, урожденной княжной Трубецкой.

Он рассказал им о жизни Трубецкого и Волконского в заводах, жизни хоть и скромной, но терпимой, о надеждах княгини Екатерины получить разрешение поселиться вместе с князем Сергеем, о том, что мысль о побеге за границу она пока оставила. Рассказал о том, что в Иркутске у них много друзей, которые наперебой стараются услужить и облегчить участь несчастных. Что главный друг — важный человек в городе: председатель губернского правления Горлов.

Потом Воше до ночи читал им свои записки, которые вел в Сибири ежедневно.

Ночью у него стала сильно болеть грудь, чего давно не бывало.

Он не спал и, глядя в потолок, на котором скорбно покачивалась из стороны в сторону огромная тень от пламени ночника, думал, что если ему суждено скоро умереть, то теперь, побывав в Сибири и послужив этим людям, он может умереть со спокойной душой. И что перед смертью он будет благословлять княгиню Екатерину, которая подняла его с собой на такую высоту, на которую он один никогда не взошел бы. Он думал о том, что куда бы он теперь ни поехал, где бы ни жил, великая жертва и терпение этих людей будут заслонять от него все мелкие невзгоды жизни.

На другой день стали думать, как ему добраться до Петербурга. Письма из Сибири для Лавалей Потемкины отправили со своим человеком еще накануне. Но самого Воше могли перехватить по дороге.

И тогда княгиня Зинаида вспомнила, что в Петербург собираются два ее молодых знакольца — поэты Веневитинов и Хомяков. Она отправилась с Воше к Веневитинову.

Еще через два дня Воше, сидя в карете рядом с Веневитиновым, благополучно выехал из Москвы. Хомяков ехал за ними в своем экипаже.

В тот же день начальник 2-го округа корпуса жандармов генерал Волков получил от своих агентов в доме Потемкиных донесение о прибытии в Москву и отъезде в Петербург секретаря графа Лавалей.

Волков немедленно послал курьера Бенкендорфу.

16

6 октября 1826 года гражданский губернатор Иркутской губернии Цейдлер доносил генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому, находящемуся в Петербурге и заседающему в Секретном комитете: «Преступники, по снабжению некоторых из них казенною одеждою, отправлены мною в двух партиях на 10-ти почтовых подводах с употреблением казенных прогонов и обыкновенного довольствия из экстраординарных сумм, и при двух казачьих офицерах, четырех урядниках, четырех жандармах и осьми казаках для надзора за ними в Нерчинский завод; для местного надзора назначен Верхнеудинский квартальный надзиратель Козлов, как чиновник, известный по своей благонадежности. С наставления, данного ему, также и Горному Управителю Благодатского рудника, на котором они должны быть помещены, при сем честь имею представить в списках».

Инструкция, данная Козлову, звучала так:

«1. Преступники сии должны быть содержимы и употребляемы как сыльно-каторжные и во всем обходиться с ними как с подобными сему классу людьми.

2. Наблюдать, чтобы они не имели никаких связей с прочими ссыльными кроме необходимых, не заводили скопищ, не вели разговоров на иностранных языках, не имели у себя сборищ и вообще вели бы себя как требует порядок заводской.

3. Надзор ваш простирается во время свободное от работ; во время же работы имеет таковой горное начальство...

4. Переписку между ими не позволять и строго им воспретить, а если они желают писать родственникам или женам, то письма таковые должны вручать вам, а вы запечатав их в конверт имеете присылать ко мне; но строго воспрещается, чтобы прекращены были все другие пути к переписке с кем бы то ни было».

В наставлении горному начальству Благодатского рудника говорилось:

«Употреблять их в настоящие горные работы в две смены по четыре человека, размещая оных по разным выработкам, так чтоб они не имели между собой свидания, ставя в работу каждого из них с надежным человеком, коему и отдавать его на руки... Иметь неусыпное наблюдение, чтобы они не имели никаких связей с обращающимися в тех же работах преступниками, чтобы не могли получать через них или через кого-либо крепких напитков, писем, записок или денежного пособия».

В обеих инструкциях появился новый момент — стремление изолировать государственных преступников от обыкновенных каторжан, не допустить влияния политических на уголовных.

Когда Цейдлер пишет: «чтобы... вели бы себя как требует порядок заводской», то он пишет заведомую ложь. Заводской порядок вовсе не предусматривал изоляцию одних преступников от других.

Эти требования диктовала мысль о декабристах как возможных возмутителях каторжан. Боялись бунта всей Восточной Сибири.

Выпроводив из Иркутска восьмерых декабристов, Цейдлер мог бы вздохнуть, если бы не Трубецкая.

Екатерина Ивановна умоляла, настаивала, требовала, чтоб ей разрешили ехать вслед за мужем.

«Трубецкая, быв несколько раз у меня в доме, была всемерно убеждаема, чтоб переменяла свое намерение, но ни картина жизни, ни судьба будущих детей не могли ее к тому убедить, и она, утверждаясь на записке, полученной от князя Голицына, в которой изъявил он, что государь император не препятствует ей ехать к мужу, остается совершенно непреклонной. Перемену места назначения ее мужа я старался скрыть от нее, доколе не будет он на море Байкале, и, пригласив к себе в дом, объявил, на каком условии может жить с мужем. Она, услышав о том, упала на колени и с восторгом обещалась дать подписку, что отказывается от всего, не будет

иметь даже связей с родными, готова идти пешком, лишь бы пустили ее к мужу».

Так писал Лавинскому не склонный к сантиментам Цейдлер.

17

По дороге Воше рассказывал, и Веневитинов с грустью его слушал, требуя подробностей.

Он сказал Воше: «Вы побывали в аду — как Дант».

Воше вспомнил Иркутск и ответил: «Но у меня было много Вергилиев. И грешники похожи были на святых».

На одной из станций Веневитинов, пока лошади отдыхали, написал письмо сестре. Он писал: «Я очень рад путешествию вместе с Воше. Это самый милый малый на свете, и я уже полюбил его всею душою».

При въезде в Петербург Веневитинова и Воше арестовали.

Хомяков проехал беспрепятственно и оповестил о происшедшем знакомых и родственников.

Арестованных держали на городской гауптвахте.

Веневитинова тщательно допросили и, не получив от него никаких ценных сведений, выпустили через двое суток.

Во время допросов генерал Потапов кричал на него. Это произвело на поэта, впечатлительного и болезненного, тяжкое действие. На гауптвахте он сильно простудился.

Через три месяца Веневитинов умер.

Воше, с его больной грудью, перенес заключение и допросы стойко. Он не сказал ничего, что могло бы повредить его друзьям. Нет, он не имеет никаких поручений в столицу. Нет, он не вез никаких писем. Он вез только собственный свой дневник, который при аресте у него отобрали.

Дневник Воше был представлен императору. Николай читал его с карандашом, подчеркивая и делая знаки на полях. Окончив чтение, он сказал Бенкендорфу: «Этому человеку не место в России. Он не любит ее».

«Он сам просил разрешения уехать во Францию», — отвечал Бенкендорф.

18 ноября 1826 года Воше был освобожден от ареста.

Ему был дан месяц на устройство дел.

19 ноября графиня Лаваль писала Екатерине Ивановне: «Мы только что узнали от твоего компаньона по путешествию, дорогая Каташа, что ты перенесла трудности столь долго и трудного пути с необычайным мужеством».

14 декабря Воше отправил с невестой Анненкова Полиной Гебль письмо в Москву графине Потемкиной.

«Только два слова, дорогая графиня; я боюсь собственной тени, и нужно было сильное стремление помочь человеку,

чтобы я осмелился обратиться к Вам с несколькими строками через госпожу Поль, которая готовится ехать в мою милую Сибирь. Вы могли бы оказать большую услугу этой несчастной, и я, не колеблясь, советую ей явиться к Вам, чтобы получить все сведения, которые могут быть ей полезны. Я лишился всего, у меня отняли все, даже память, которая запечатана. Но есть воспоминания, которые никакая человеческая сила не может изгладить: они в Сибири, они в Вас, дорогая графиня, они в доброй княгине Зинаиде. Прощайте, дорогая графиня, мое почтение графу; благоволите напомнить обо мне семейству Шаховских, которое я уважаю и люблю; прощайте, дорогая графиня; жду рассвета, чтобы сесть в экипаж и ехать во Францию.

Вспоминайте иногда глубоко уважающего Вас
Карла Августа Воше.

Будьте спокойны насчет результатов расследования; все было сделано в пользу тех, которые будут постоянно предметом наших помыслов и нашей любви; один я уезжаю, это нужно, и я первый просил позволения уехать, раньше, чем мне это было предписано. На случай, если б я мог быть Вам полезен во Франции, я живу в Марселе. *Der. des Bonches du Rhoue rue Tontgrand № 29*».

Письмо это, полное намеков, расшифровывается совершенно ясно. «Я лишился всего, у меня отняли все, даже память, которая запечатана». Это о дневнике, конфискованном при аресте, и о приказании молчать о Сибири.

Особенно важна приписка: «Один я уезжаю, это нужно, и я первый просил позволения уехать...» Он уезжал за границу один — мысль о побеге ссыльных пришлось отложить до других времен. В Иркутске она оказалась неисполнима. Ему нужно было ехать. Он должен был рассказать о том, что видел. Ведь он был единственный свидетель.

Полина Гебль с его письмом ехала в Москву, а его самого экипаж Лавалей уже нес к польской границе.

Он знал, что уезжает навсегда, что никогда больше не увидит этих людей и что самое высокое время его жизни — позади.

Снегу на дороге было мало. Полозья выли и скрежетали. И от дорожной тряски у него болела грудь.

С той ночи, когда на площади у Сената соскребали кровь и посыпали мостовую свежим снегом, прошел год.

18

Ноябрь и декабрь 1826 года Сухинов с товарищами провели в Московском тюремном замке.

Барона Соловьева посетил его брат и оставил ему триста

рублей. Но часть денег Соловьев тут же роздал другим несчастным, часть была потрачена на покупку необходимой одежды. А оставшиеся двести рублей ночью украли у него из-под подушки.

Черниговские офицеры опять остались нищими перед пешей дорогой в Сибирь.

Быстрицкий тяжело заболел, и его до выздоровления оставили в Москве.

Трое других вышли из Москвы 1 января 1827 года.

«Вьюги, метели и жестокие морозы встречали и провожали их на пути. Те же бедствия начались снова и не раз заставляли их вспомнить тюремное заключение в Московском замке. Однако по мере того, как они удалялись от границ Европейской России, их положение видимо улучшалось, не смотря на то, что они нуждались во всем по-прежнему. Известно, что до границы Азиатской России нет этапов; тюрьмы, наполненные всегда арестантами, темны, нечисты и смрадны; в Сибири же, напротив, построены довольно просторные этапы, в которых можно провести ночь утомленному трудною дорогою арестанту с некоторым удобством. Разумеется, это улучшение есть относительно к тому состоянию, в котором они находились; но такая дальняя и медленная дорога, сообщество развратных и порочных людей, нужда, холод, лишение всякого пособия, неизвестность о родных и друзьях, мысль никогда не видеть родины и мрачная, страшная будущность, все это может поколебать человека с самою твердою душою, и все это было представлено испытать нашим изгнанникам».

Соловьев впал в тихое отчаяние. Мозалевский шел, не видя ничего вокруг.

Ненависть и ярость Сухинова дошли до того предела, когда человек способен вынести любые лишения и решиться на все. Он стал деятельным. Он начал заговаривать с каторжанами, чего раньше никогда не делал. Некоторые из них уже бывали в сибирских заводах, и Сухинов выспрашивал у них о тамошней жизни.

Он думал теперь только об одном — о будущем мятеже.

В январе 1827 года Сухинов и его товарищи миновали Владимир.

Карл Август Воше пересекал на почтовых Германию.

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая выехала из Иркутска в Нерчинск.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В паровике нашего казематского общества бурлили пары, сжатые высоким давлением; машинисты-тюремщики еще не ознакомились с управлением такой паровой машины, которая грозила им каждую минуту страшным взрывом.

М. Бестужев

1

Восемь декабристов прибыли в Благодатский рудник 25 октября 1826 года.

Контраст с иркутским житьем был разительный.

В инструкции, разработанной Секретным комитетом для Лепарского и переданной им горному начальству, были предусмотрены все меры против возможного бунта государственных преступников и «против сообщников их и жителей того края, если бы таковые дерзнули помогать бунтовщикам».

Страх перед восстанием сибирских ссыльных во главе с государственными преступниками владел умами и в Петербурге, и в Иркутске, и в Нерчинске.

В случае такового бунта местным властям предписывалось применять холодное и огнестрельное оружие. Смерть преступников заранее прощалась.

Начальник заводов Бурнашев, человек жестокий, знал, сколь реальна опасность возмущения каторжников, и принял все зависящие от него меры.

У восьми прибывших было отнято все — вплоть до Библии.

20 октября Трубецкой писал жене в Иркутск: «Здесь находят нужным содержать нас еще строже, нежели мы содержались в крепости; не только отняли у нас все острое до иглолки, также бумагу, перья, чернила, карандаши, но даже и все книги и самое священное писание и евангелие. Должен ли я причислить сие к новому наказанию, наложенному на меня, или только к мерам осторожности или испытания, мне неизвестно. Забыл тебе сказать, что в комнате, в которой я живу, я не могу во весь свой рост ставиться, и потому я в ней должен или сидеть на стуле или лежать на полу, где моя постель. Три человека солдат не спускают глаз с меня, и когда я должен выходить из нее, то часовой с примкнутым штыком за мной следует».

Их поселили в специальной избе, половина которой была разгорожена на клетушки. В этих клетушках они разместились. Вторую половину избы занимал караул.

Позднее — 15 ноября — Цейдлер доносил Лавинскому, что по прибытии преступников на новое место «по размещении их Якубович, вошед в комнату, бросился на лавку, произнес следующие слова: что лучше быть повешенным, нежели жить в таком помещении, но от продолжения дальнейшего ропоту был приставом унят».

Работали они под землей — разбивали молотами руду.

Более молодые и сильные, как Оболенский и Якубович, справлялись с работой. Тем, кто был старше и страдал от ран, полученных в наполеоновских войнах, приходилось тяжелее.

На земле было хуже, чем под землей.

Вскоре появилась новая напасть. Клопы полчищами шли со стен и не давали ночью сомкнуть глаз. Узники натирались скипидаром. От скипидара у них слезала кожа. Но клопов скипидар не пугал.

Жизнь была невыносима.

8 ноября в Благодатск приехала Екатерина Ивановна Трубецкая.

9 ноября — Мария Николаевна Волконская.

Они поместились в избе, о которой Волконская пишет так: «Она была до того тесна, что когда я ложилась на полу на своем матрасе, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымилась, и ее нельзя было топить, когда на дворе было ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда».

Денег у княгини с собой было мало, ибо основную часть отобрали у них в Иркутске. Вскоре и эти деньги подошли к концу. Они старались посытнее кормить заключенных, передавая им обеды через солдат. Сами перешли на кашу, квас, хлеб.

Короткие свидания с мужьями им разрешались раз в три дня.

Каторжники, работавшие в руднике, относились к политическим с почтением.

«Встречаясь с нами, эти люди, закаленные, по-видимому, в преступлениях, показывали нам немое, но весьма явственное сочувствие», — пишет Оболенский.

Волконская говорит: «Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества, а, между тем, мы видели с их стороны лишь знаки уважения; скажу больше: меня и Каташу они просто обожали и не иначе называли наших узников, как «наши князья», «наши господа»; а когда работали вместе с ними в руднике, то предлагали исполнить за них урочную работу; они приносили им горячий картофель, испеченный в золе».

Если изолировать политических от остальных каторжан более или менее удавалось, особенно на земле, то не допу-

стить встреч с каторжниками жен государственных преступников было невозможно. Ведь жены эти, как и каторжане, пользовались в пределах рудника полной свободой.

Бурнашева эти связи и эта симпатия каторжников к политическим заставляли постоянно ожидать страшных событий.

Он был уверен, что княгини приехали с тем, чтобы освободить мужей и их товарищей.

«Вы хотите поднять каторжных»,— часто говорил он Волконской. Трубецкую он боялся и не доверял ей.

В феврале 1827 года горный офицер Рик, приставленный к декабристам местным начальством, решил запретить им обедать и пить чай вместе. Между тем совместные трапезы и разговоры, их сопровождавшие, были для заключенных большой отрадой.

В ответ на это приказание декабристы отказались есть вообще.

Это была первая голодовка политических в России.

Рик пришел в ярость, закричал, что это бунт, поднял караул в ружье, запер узников по их клетушкам и послал за Бурнашевым.

Грозный Бурнашев приехал.

Обе княгини были в панике.

Волконская писала: «...Приехал Бурнашев со своей свитой... Я спросила у одной из женщин, что все это значило; она мне ответила: «Секретных судить будут». Я увидела мужа и Трубецкого, медленно подходивших под конвоем солдат. Каташа, легко терявшая голову, сказала мне, что у Сергея руки связаны за спиной; этого не было, я знала его привычку так ходить. Затем я вижу, что она подбегает к стоявшему там солдату горного ведомства; она возвращается с довольным лицом и говорит мне: «Мы можем быть спокойны, ничего не случится, я сейчас спросила у солдата, приготовили ли розги, он мне сказал, что нет».— «Каташа, что вы сделали! Мы и допускать не должны подобной мысли». Мой муж приближался; я стала на колени на снегу, умоляя его не горячиться, он мне это обещал. Бурнашев (как я узнала позже) принял строгий и крутой вид, грозя им наказаньем кнутом в случае возмущения, и, после длинной речи, позволил им объясниться. Сергей сказал ему, что никто и не думал о возмущении, но что господин Рик запирает их, по возвращении с работ, в отделениях без света, не позволяя им обедать вместе; отделения же эти были низки и темны, в них нельзя было даже выпрямиться. Я увидела мужа, шедшего обратно; он спокойно сказал мне: «Все вздор».

Дело кончилось благополучно. Бурнашев не хотел скандала. Рик был отстранен и заменен другим офицером.

Так они жили в феврале 1827 года.

В марте 1827 года Воше приехал в Лондон к Николаю Ивановичу Тургеневу. Тургенев встретил его вежливо и сухо.

Воше представился и передал слова Трубецкого. Тургенев повернулся, припав на хромую ногу, ушел в другой конец большой светлой комнаты и стал листать на бюро какую-то книгу.

Воше ждал. Тургенев снова пересек комнату, молча показал рукой на кресло и сам тоже сел. Потом он заговорил.

— Я хотел вернуться,— сказал он.— Я хотел вернуться и разделить их участь... Я совсем уже было решил. Но как-то вечером сидел и читал у камина...

Он наклонился к Воше.

— Я читал какой-то роман и вдруг представил себе Фонвизина, Бриггена, Трубецкого где-нибудь на переходе в степях сибирских, под стужей и на дороге к каторге, к ссылке... Ужас объял душу! И я из свободы решаюсь разделить их участь!.. Зачем?

И без всякого перехода сказал:

— Расскажите, расскажите все...

Пока Воше рассказывал, он сидел, прикрыв глаза. Под конец только, когда Воше упомянул Горлова, Тургенев открыл глаза.

— Я знал Горлова... по масонским своим занятиям... я был когда-то ревностным масоном... он тоже.

Воше рассказывал, глядя на белые худые руки Николая Ивановича. Когда, замолчав, он взглянул Тургеневу в лицо — Тургенев плакал.

— Вы должны быть тверды,— сказал Воше.— Мы оба с вами несчастны... Я очень тоскую по ним, и у меня сильно болит грудь... Правда, мне обещают, что южный климат поправит дело...

Тургенев вытер глаза и поднялся. Воше тоже встал.

— Должен сказать вам, мсье Воше,— монотонно сказал Тургенев,— что я никак не могу почитать себя несчастливym. И где причины почитать мне себя несчастливym? Что за беда, что обстоятельства принуждают меня жить в Англии, и жить спокойно и свободно, таскаться по улицам и читать газеты? Это совсем не неприятно. Напротив, нынешний род жизни мне нравится. Давно мне хотелось посвятить несколько времени чтению и жизни спокойной...

«Трудно ему уговорить себя, что все так прекрасно»,— подумал Воше.

— Мне ли жаловаться на судьбу?! — закричал вдруг Николай Иванович.— Мне ли жаловаться на судьбу, когда Трубецкой, Фонвизин и все они теперь посреди ужасов Сибири! Боже великий! Помогите им! Спаси их!

3 апреля 1827 года действительный статский советник Горлов получил от прибывшего в Иркутск генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского запрос.

«Секретно!

...Некоторые из числа государственных преступников, осужденных Верховным Уголовным Судом, по приговору оною назначены в Сибирь на каторжную работу вечно и на определенное число лет.

Когда приговор сей приведен был в исполнение г. военным министром и по распоряжению его доставлены в Иркутск с нарочными фельдъегерями преступники Трубецкой, Волконский, Якубович и другие, в то время Ваше превосходительство, заступив место Иркутского гражданского губернатора по случаю его отсутствия, отправили сих преступников не в Нерчинск, как бы то следовало, но в заводы гражданского ведомства близ Иркутска состоящие и без разбора, что самые буйные как нарочно помещены туда, где от прочих ссыльно-каторжных происходит наиболее зловредных поступков и шалостей.

Не постигая причины, побудившей Ваше превосходительство к таковому несообразному распорядку, и не имея повода думать, чтобы Вы решили поступить так, поставив сих преступников на равное с обыкновенными каторжными, ибо самое доставление первых в Иркутск не через приказы о ссыльных при партиях, но с нарочными фельдъегерями и с ясным извещением, что они должны быть немедленно отправлены в каторжную работу, достаточно показывали, что сии преступники следуют к пересылке в Нерчинск, я в необходимости нахожусь требовать от Вас объяснения, по каким действительно причинам вовлеклись Вы в оплошность столь непростительную и решились не исполнить своего долга».

Все было ясно. Как только генерал-губернатор прибыл, ему тут же доложили о происходившем в Иркутске в августовские дни 1826 года. Но сколь подробно доложили? От этого многое зависело. Если все свои сведения Лавинский выложил в этом запросе, то была еще надежда отговориться.

Горлов ответил убедительно: про Нерчинск ему было знать неоткуда, и представил в подтверждение копии с предписаний военного министра. В предписаниях этих и в самом деле о Нерчинске речи не было. Что же до помещения преступников в те заводы, где было много «зловредных поступков и шалостей», то Горлов резонно возразил, что во всех заводах дело обстоит приблизительно одинаково. Так что особенно выбирать не приходилось.

На некоторое время все утихло. Лавинский собирал сведения. 16 апреля 1827 года он послал Горлову второй запрос.

«Секретно!

В дополнение к объяснению, сделанному Вашим превосходительством относительно преступников, Верховным Уголовным Судом осужденных, предлагаю Вам доставить мне сведения: почему Вы, решась прежде отправить их в Нерчинск, на судне, которое было уже приготовлено для перевозки их через Байкал, внезапно переменили сие правильное предположение и распределили преступников на заводы гражданского ведомства».

Тут было самое уязвимое место, и Горлов это понимал. Объяснить перемену своего решения неосведомленностью он не мог. Собирался отправить в Нерчинск — значит, знал о Нерчинске.

Он ответил уклончиво и сбивчиво.

А Лавинский продолжал наступать. 19 апреля последовал третий запрос.

«Секретно!

По доставлении в Иркутск государственных преступников, Верховным Уголовным Судом осужденных, когда к дому Градской полиции, в котором они содержались, поставлен был воинский караул, то Ваше превосходительство, исправляя в сие время должность гражданского губернатора, дали, как мне известно, приказание караул сей снять, что и было тотчас исполнено.

После сего всякий мог беспрепятственно иметь с государственными преступниками сообщение и некоторые лица даже беспрепятственно у них бывали. Рекомендую Вашему превосходительству доставить мне немедленно объяснение, по какой причине приказали Вы снять караул, приставленный к государственным преступникам, и не обращали ни малейшего внимания на сообщение с ними разных лиц; также почему приказали снять с них оковы».

Дело было так плохо — хуже некуда. Но Горлов решил сопротивляться до конца.

20 апреля он отправил Лавинскому свое объяснение. «...Я заехал в полицию осмотреть помещение преступников, нашел, что по малости комнаты теснота, как от помещения их, от жандармов, с ними прибывших, еще тут бывших и принадлежащих к полиции чиновников и некоторых служителей, и, видя по требованию за городничего исправляющего должность приведенного военного караула, я рассудил, что оный не нужен по избыточеству средств к наблюдению в самой по-

лиции и по короткому времени пробывтия преступников в оной, которых и препоручил исправляющему должность горюничего. При отъезде моем преступники жаловались на сильную боль от оков. Тронувшись их воплем, я приказал их от оных облегчить, не предполагая в том никакой важности... О допуске к ним никому дозволения не давал, а если кому и случалось у них быть, то вовсе без моего сведения».

Он отправил объяснение Лавинскому и стал ждать дальнейших запросов. Но их не последовало. Лавинский уже предполагал достаточными для обвинения данными.

30 апреля 1827 года он адресовался непосредственно к Бенкендорфу.

«Секретно!

Милостивый государь
Александр Христофорович!

...Я достоверно узнал, что Горлов, по доставлении в Иркутск преступников, решаешь уже отправить их в Нерчинск на судне, которое было приготовлено для перевозки их через Байкал, внезапно переменял свое правильное предположение и поступил, как сказано выше; и что когда к дому Иркутской полиции, в котором они содержались, приставлен был воинский караул, то Горлов дал приказание не только оный снять, но и освободить преступников от оков, по исполнению чего всякий мог беспрепятственно иметь с ними сообщение и некоторые лица даже беспрепятственно у них бывали, особенно же некто Жульяни, состоящий учителем в Иркутской гимназии и занимающийся с тем вместе в канцелярии Главного управления, который по прежнему знакомству с Давыдовым не только здесь с ним виделся, но ездил к нему в завод... что и побудило меня немедленно его уволить из штата Главного управления».

О мотивах, по которым Горлов совершил свое преступление, он писал: «Я подозреваю, не действовал ли на него в сем случае интерес или другие побуждения, не менее предосудительные».

Разумеется, упор делался не на «интерес», то есть взятку, а на «другие побуждения» — политические мотивы.

Теперь дело вышло из пределов Иркутска. Судьба Горлова зависела от императора.

4

Весной 1827 года сенатор князь Куракин был послан ревизовать сибирские учреждения. Вместе с тем поручено было ему присмотреться к тем государственным преступникам, ко-

торых встретит он в дороге, и результаты своих наблюдений сообщить Бенкендорфу.

Прибыв в Тобольск, через который провозили в то время декабристов, Куракин принялся за дело.

Он обладал не очень сильным, но систематическим умом. В своих отчетах Бенкендорфу он распределил государственных преступников по определенным категориям. Нас, собственно, интересуется одна из них:

«Государственные преступники, следовавшие через Тобольск, кои находились в веселом виде:

Бывшие:

- 1) Лейтенант Завалишин.
- 2) Дворянин Люблинский.
- 3) Канцелярист Выгодский.
- 4) Поручик Абрамов.
- 5) Поручик Лисовский.
- 6) Штаб-лекарь Вольф.

...Первые трое выделялись особенно своею преувеличенною веселостью и дерзким нахальством.

...Я поставил бы во втором разряде моего сообщения от 18-го июня Повало-Швейковского, Бечасного и Сутгофа: они удручены,— само собой разумеется, но они не показали никакого особенного знака их сокровенных чувствований. Что касается Панова, то что скажу я Вам о нем? Что мое удивление при виде сего молодого человека, столь мало чувствительного к своей участи, было велико? — Это правда. Но что слышать его говорящим то, что он говорил, превзошло меру разума, который даровала мне природа,— и это тоже правда! Дело шло о той цели, которую он и его сотоварищи поставили себе, т. е. просить у императора «конституцию с оружием в руках, чтобы положить», как он говорил, «границы власти монарха»; это он находит весьма простым и очень естественным; когда же подумаешь, что такие вещи появляются после полутора лет тюрьмы и перед перспективой каторжных работ,— я думаю, что можно без колебания сказать, что этот молодой человек еще не исправился и не раскаялся...

...Теперь остается мне сообщить Вам мои наблюдения о Якушкине и Муханове. Начну с первого, который во всех отношениях может идти наравне с маленьким Пановым, о котором я говорил Вам в сообщении от 9-го июня за № 5. Он имеет тот же непринужденный вид, тот же легкомысленный тон, когда говорит о своих прошлых подвигах, а вместе с тем, несмотря на кандалы на ногах, очень занимается своими красивыми черными усами, к которым он присоединил еще и эспаньолку. Вы согласитесь, что есть от чего «растянуться во весь рост», как говорит известная пословица: молодой че-

ловек 25-ти лет, предающий своего государя, царевбийца хотя бы по намерению, лишенный чинов и дворянства, осужденный на 15 или 20 лет каторжных работ и затем на вечную ссылку, имеет смелость, несмотря на все это, заниматься своей физиономией и находит совершенно естественным, раз войдя в члены тайного общества, не выходить из него по крайней мере до тех пор, пока истинная цель его не будет ему открыта...

Что касается Муханова, то это совсем другое дело... Представьте себе голову льва, лежащую на плечах толстого и большого человека,— и вы получите полное представление о личности, у которой видны только глаза, нос, совсем маленькая часть губ и едва-едва рот; при этом та небольшая часть кожи, которую можно рассмотреть,— пламенно-красного цвета. Остальная часть его головы положительно грива самого яркого рыжего цвета.

Борода его, закрывающая часть лица и окружающая всю переднюю часть шеи, ниспадает вплоть до середины груди, усы его, очень густые и без преувеличения каждый в 4 вершка, свисают по бороде, а волосы невероятной густоты покрывают сверху его лоб, окружают всю голову и падают густыми локонами гораздо ниже плеч. Вот точный физический портрет этого человека. Что касается моральной стороны, то что скажу я Вам? Привыкнув подходить к этим людям с мягкостью, как к людям достаточно несчастным и вызывающим жалость, и желая внушить им этим более легкости в откровенном выражении их мнений, я хотел так же начать и с этим, но представьте себе мое изумление, когда на вопрос (всегда тот же самый), довольны ли они офицерами, которым поручено их сопровождать,— вместо того, чтобы получить спокойный ответ, какой я до сих пор получал, я увидел человека, который смеется мне прямо в лицо и, насмехаясь и повторяя мой вопрос, говорит мне: «Доволен ли я офицерами? Мой Бог, вполне, да я всем вообще доволен!..» Хотя и пораженный, я сохраняю хладнокровие и предлагаю ему сказать мне, нет ли у него какой-нибудь просьбы, достаточно ли, по времени года, он тепло одет. Новый смех, после которого он говорит мне: «Я ни в чем не нуждаюсь, решительно ни в чем, кроме пары холодных сапог: мои сносились, я заказал их и прошу Вас приказать подождать их и не выступать ранее их получения; однако, если это представляет хоть малейшее затруднение, я могу обойтись и отправлюсь в тех, которые на мне... В конце концов Вы подумаете, что у меня медный лоб? Нет, у меня просто большая сила характера; я сознаю свое положение; подчиняюсь велениям провидения и полагаю, что, не будучи в состоянии изменить своей участи, лучше переносить ее с мужеством, чем позволить дать унижить себя малодушием, недостойным человека и к тому же

ни к чему не служащим. Я прекрасно знаю, что отправляюсь на каторжные работы,— и прекрасно! Бог дал мне силу и моральную, и физическую,— и я буду работать, это меня поддержит и поможет мне забыть мое положение...»

Куракин упоминает и других декабристов, сохранивших мужественное спокойствие. Например, Николая и Михаила Бестужевых. А о подпоручике Андреевиче князь выяснил, что тот собирается бежать с дороги, но не сумел найти подходящий момент.

Да и тех, кто находится в состоянии уныния, он подозревает в том, что они сожалеют вовсе не о своем преступлении, а о его неудаче.

Когда же восемьдесят мятежников собрались в Читинском остроге, даже самые слабые окрепли духом.

Они были среди своих.

5

В Благодатске жизнь шла обычным чередом.

В мае 1827 года государственных преступников перевели работать из-под земли на воздух. Это было хуже. Служка тут была внимательней, они были все время на виду. И работа тяжелее. Им вручили носилки и приказали таскать приготовленную рудоразборщиками руду с места рудоразбора на склад. Каждые носилки вмещали по пяти пудов руды. Каждой паре нужно было перенести за день тридцать таких носилок. Расстояние было двести шагов.

Стало быть, на каждого в день приходилось больше тонны.

«Не все могли исполнить урок,— писал Оболенский,— те, которые были посильнее, заменяли товарищей, и таким образом урок исполнялся... По новому распоряжению и время труда и тягость его увеличены почти вдвое».

В двенадцати верстах от рудника была китайская граница. Вокруг лежали места дикие и безлюдные.

Каждую весну каторжники десятками бежали с рудника. Их ловили. Многие с наступлением холодов сами приходили обратно. Государственным преступникам бежать с Благодатского рудника возможности не было. Жизнь была тяжела, иногда невыносима. Но они терпели, ибо надеялись.

6

О побеге декабристы думали постоянно.

Некоторым эта мысль пришла еще в Петропавловской крепости. Князь Трубецкой писал в воспоминаниях: «Когда

меня водили в комитет к коменданту или в баню, я всегда рассматривал и изыскивал средства уйти, если определено будет мне вечное здесь заключение».

Подпоручик Андреевич, один из самых решительных южан, собирался бежать с дороги.

Но до поры до времени мысль эта охлаждалась надеждой на помилование.

К концу 1827 года стало ясно, что надежд на скорую амнистию нет.

Между тем заполнялся Читинский острог. К апрелю 1827 года в Чите было уже около семидесяти узников.

Помещения Читинского острога стали тесны. Днем и ночью в остроге стоял грохот кандалных цепей, сопровождавший почти каждое движение заключенного.

Сознание, что так придется прожить многие годы, было мучительно. И тут-то побег представился не только единственно возможным, но и вполне реальным спасением.

Побег стал обдумываться тщательно и здраво.

Только ли желание избавиться от тягостей заключения двигало этими людьми? Нет.

Если мы присмотримся к тем восьмидесяти заключенным, которые в конце концов собрались в Чите, то увидим удивительную вещь. Все лучшее, что было в то время в русском обществе, имело здесь своих представителей. Мыслители и музыканты, математики и историки, литераторы и мореходы, талантливые офицеры и инженеры-изобретатели — все виды деятельности, столь необходимые тогда России. Глубокие умы и энергичные характеры были закупорены правительством в консервную банку Читинского острога.

Это были люди, доказавшие, что они готовы к действию. Это были люди, доказавшие, что они не могут смириться с существующим положением вещей. Люди, лучше других понимавшие трагедию России, необходимость перемен, — эти люди были отсечены от жизни страны, изолированы, обречены на бездействии.

Но сознание неделанного дела, невыполненного долга, оборванного действия было так сильно, что толкало их на самые дерзкие замыслы.

Оказалось, что сидение в крепостях, изматывающие допросы и издевательства не разбили их души, не поглотили их энергии и стремления к действию.

Донесения Куракина — тому первое, хотя и не окончательное, доказательство.

Планы побега — доказательство фундаментальное.

«Я сделал все, чтобы меня расстреляли, я не рассчитывал на выигрыш жизни — и не знаю, что с ним делать. Если жить, то действовать». — Это сказал Николай Бестужев. Но так думал не только он.

«Если жить, то действовать».

И была еще одна причина, требовавшая побега. Но о ней — после.

Итак, весна и лето 1827 года.

Декабрист Басаргин писал: «Помню, что в первое время нашего пребывания в Чите мы очень много толковали о возможности освободиться из нашего заключения, и вспоминаю об этом более потому, что в настоящее время предположение наше плыть по Амуру до Сахалина вполне оправдалось. Дело состояло в том, чтобы обезоружить караул и всю команду, находившуюся в Чите, задержать на время коменданта и офицеров и потом, присоединив к себе тех, которые согласятся пристать к нам, и, запасясь провиантом, оружием, снарядами, построить наскоро барку или судно, спуститься реками Аргунью или Шилкою в Амур и плыть до самого устья его, а там уже действовать и поступать по обстоятельствам. Этот план, я уверен, очень мог быть исполнен. Нас было 70 человек, молодых, здоровых, решительных людей. Обезоружить караул и выйти из каземата не представляло никакого затруднения, тем более, что большая часть солдат приняла бы сейчас нашу сторону. Вся команда состояла из ста с небольшим человек, и можно, наверное, предположить, что половина присоединилась бы к нам. Офицеры и комендант не могли бы нам противиться».

Пока дошло бы сведение о действиях наших в Иркутск и пока приняли бы меры против нас, мы легко могли бы построить судно, нагрузиться и уплыть в Амур, следовательно, быть вне преследования. В Чите мы нашли бы необходимое: провиант и оружие в достаточном количестве для нашего путешествия. Плавание по Амуру, как оказалось это впоследствии экспедицией генерал-губернатора Муравьева, совершилось бы без особенных препятствий».

Они подходили к плану побега по-разному. Одни мотивировали его для себя более романтически, другие — менее романтически, но все они говорят о решимости действовать, решимости рискнуть всем и преодолеть любые препоны.

Знаменитая формула Шекспира: «Готовность — это все» — была приложима к ним в тот момент без всяких оговорок.

Те, кто без колебаний пошел 14 декабря на Сенатскую площадь, и здесь — в Чите — сохранили свою отчаянность.

Одним из героев восстания Гвардейского экипажа был мичман Александр Беляев.

Вот что он писал о побеге:

«Тут перед нами раскидывалась необозримая, чудная, хотя и дикая, пустынная природа; новые неведомые страны, гигантская река, все это нам представлялось в очаровательных образах и манило с необычайною силою. Мы, конечно, со-

знавали, что тут нужны будут большие физические усилия, лишения, но затем нам представлялся очаровательный отдых под кровом небесного свода, среди дружеской беседы, надежда, мечтания о будущем и т. д. Может быть, мы и обольщали себя, как уже это было испытано мною при следствии в каземате, но в этом случае мы чувствовали в себе столько решимости и мужества, что готовы были решиться очертя голову в самое отважное предприятие тем легче, что тут мы рисковали только лично собою. Ивашев где-то вычитал и уже приискал какой-то корень, который при употреблении его в пищу мог долго поддерживать наши силы. Путь наш мы располагали совершить все водой, сделав себе плот, начиная с реки Читы, впадавшей в Ингоду, из Ингоды в Шилку, составляющую с Аргунью исток Амура, и наконец Амуром до Сахалина и океана.

Взглянув на подобное предприятие здраво, без увлечения, оно, конечно, было не только губительно, но и безрассудно, мы же думали не так и считали его возможным, надеясь на то, что никто бы не остановил нас среди огромной, почти пустынной реки до океана, где мы могли встретить американский корабль».

Но среди них были люди, которые отнюдь не собирались рисковать бессмысленно, люди с методическим и точным умом, хорошо знавшие географию Сибири и отдававшие себе отчет в реальных возможностях.

Одним из таких людей был Дмитрий Иринархович Завалишин, морской офицер, перед самым восстанием вернувшийся из плавания в Америку, вернувшийся сухим путем — через Дальний Восток и Сибирь. Тот самый Завалишин, который, по донесению Куракина, отличался «преувеличенной веселостью и дерзким нахальством».

К свидетельствам самоуверенного, пристрастного, злого Завалишина часто относятся с подозрением. Но в данном случае его рассказ подтверждается воспоминаниями людей совершенно надежных. И тут ему можно доверять.

А рассказывает он в главе своих воспоминаний, не вошедшей в основной текст, вот что:

«План общего побега основывался на возможности по реке Ингоде, при которой стоит Чита, сплыть в Шилку и затем по Амuru с места нашего купанья, что могло совершиться без всякого столкновения с конвойными или даже в согласии с ними, подобравши в конвой людей, еще более нас недовольных своим положением и потому согласных бежать с нами; на это тем скорее можно было рассчитывать, что в инвалидной роте, состоящей при нас, было немало солдат из числа таких, которые именно за побеги и были переведены в сибирские команды и сами делали нам намеки о возможности бежать на Амур, куда бегали уже и ссыльные с заводов. Не-

обходимую для побега большую лодку или барку подготовить было легко, будто бы для сплава грузов, так как все проходящие из Верхнеудинска сухим путем и казенные и частные грузы идут от Читы водяным путем, и давно уже шли толки о замене плотов, на которых товары часто подмачиваются, да и самые плоты иногда разбиваются, лодками.

Еще благоприятнее было то обстоятельство, что заводские крестьяне доставляют по наряду разный груз в село Бянкино и Шилкинский завод и по подряду в Горбицу и даже в Устье-Стрелочный караул, лежащий при слиянии рек Шилки и Аргуни, откуда и начинается Амур. Следовательно, постройка лодки и проводка оной к месту купания, которое было вместе с тем и местом погрузки на плоты и лодки, не могли возбудить подозрения.

Затем стоило выбрать день в июле, когда обыкновенно бывает уже снова большая вода от дождей, а ночи около новолуния уже темные, и тогда, пользуясь тем, что мы нередко оставались на купанье вместо прогулки до самых сумерек, можно было бы при быстроте течения далеко уже уплыть, прежде чем могли сделать распоряжение о поимке, которую при несуществовании тогда телеграфов и устроить было не легко, потому что даже при быстроте оповещения лежащих по реке местностей не находилось никого из взрослых людей на местах, так как в это время не только все взрослое население, но и подростки и женщины даже живут на покосах».

Очень важно, сопоставляя разные воспоминания, воссоздать максимально приближенную к истине картину. Безукоризненно честный Басаргин, разумеется, запомнил, утверждая, что декабристы собирались построить лодку уже после захвата Читы. Тут Завалишин существенно его поправляет. Лодку — а имелась в виду большая барка — должны были приготовить еще до событий. С другой стороны, показывая Басаргина о том, что побегу должны были предшествовать разоружение караула и арест офицеров охраны, безусловно, ближе к действительности, чем версия Завалишина — побег во время прогулки и купания.

Очевидно, в остроге обсуждались разные варианты и за окончательный принимался наиболее реалистичный.

В отличие от других воспоминаний, мемуары Завалишина дают массу деталей, свидетельствующих о тщательной продуманности плана побега.

«Предположим даже, что где-нибудь оповещение настолько бы опередило лодку с бежавшими, что люди с покоса и успели бы собраться, но в это время ружья ни у кого не бывают в исправности, да нет и пороху и свинцу, чем все направляются только ко времени отправления на зверопромышленность, т. е. к Покрову. А между тем весь вред, который только и могли нам сделать, состоял в том, что стали бы

стрелять в нас с берега, но мы уже решились, что сколько бы ни убили и ни ранили из нас, остальным продолжать плавание, предпочитая даже гибель на Амуре сдаче в руки преследующих, преследование же на воде было невозможно ниже Читы тогда не было больших лодок, ни даже плотов потому, что только в одной Чите, где сухопутная дорога из Верхнеудинска подходит к водяному пути, и производится перегрузка с телег на плоты и лодки летом и на сани зимой... Таким образом, опасность для нас в стрельбе с берега существовала для нас только... в течение каких-нибудь 5 или 6 дней, которые нужны были, чтобы проплыть Шилкинский завод, а там не только преследование берегом, чтобы стрелять в нас, но даже извещение двух единственных, дальнейших обитаемых мест казачьих поселений в Горбице и на Усть-Стрелке было невозможно за отсутствием всякого сообщения с ними летом.

Итак, каких-нибудь 5—6 дней риска и опасности отделяли нас от свободы! Можно представить себе, сколько обольстительного представляло поэтому подобное предприятие!

...Здесь только следует еще упомянуть об одном весьма важном обстоятельстве, тоже возбуждавшем и поддерживавшем мысль о побеге. Не все имели побуждением к побегу единственно желанием избавиться от тяжелого положения, у некоторых присоединилась к этому и политическая цель. Считали необходимым, чтоб хоть кто-нибудь мог достигнуть образованного мира и свободного народа, будь то Соединенные Штаты или Англия, и огласить правду о нашем деле и о настоящем положении России».

С планами побега по Амuru — через океан — в Америку был связан для декабристов и еще один важный психологический момент. Американская революция, деятельность Вашингтона и Франклина, американская конституция и государственное устройство играли немалую роль в политических теориях северных и южных заговорщиков. Один из авторов плана побега, Никита Муравьев, работа перед востиганием над проектом будущей конституции России, тщательно изучил конституции всех 23-х североамериканских штатов того времени. Многие декабристы считали Америку «матерью свободы» и мечтали побывать там. Князь Сергей Волконский в 1815 году, когда он и думать не думал, что попадет в Благодатский рудник и Читинский острог, собирался «околесить всю Европу и даже с предположением посетить и все части света, особенно Американские Штаты, занимавшие тогда умы нашей русской молодежи по их самостоятельному быту и по демократическому политическому составу».

Моряк Александр Беляев писал о планах Завалишина и его единомышленников — флотских офицеров — относительно калифорнийской колонии России форта Росс. «Это

местечко, населившись, должно было сделаться ядром русской свободы». А сам Завалишин уже из крепости писал императору. «Желая, чтоб общество, мною учреждаемое, не только в главной цели своей, но и во всех побочных действиях было полезно отечеству, я предполагал сделать Калифорнию главным местом его пребывания, преобразив его в орден рыцарский».

И теперь, собираясь бежать из Сибири в Америку, они как бы пытались реализовать свои давние мечты.

Строя планы побега, читинские узники могли не опасаться, что американское правительство выдаст их русскому императору. Моряки-декабристы, плававшие к американским берегам и связанные с Российско-Американской компанией, такие, как Завалишин, Михаил Кюхельбекер, знали, что при дезертирстве с русских торговых судов Америка не выдавала беглецов, несмотря на дружественные отношения с Российской империей. Через три года после описываемых событий русский консул в Филадельфии Евстафьев писал императорскому поверенному в делах при американском правительстве Сакену. «Какой русский купец пошлет сюда свой корабль, если он морально уверен, что, как только судно войдет в американский порт, его команду склонят к дезертирству?»

Что можем мы сказать, суммируя все свидетельства, управляющие и дополняющие друг друга, а также имея в виду и другие воспоминания декабристов?

К осени 1827 года в Читинском остроге был разработан подробный план побега. В план этот входило — разоружение караула, захват Читы, овладение подходящим по вместимости судном и плавание на нем по Амуру до океана, где, как знал Завалишин, была реальная надежда встретить американское китобойное или торговое судно.

Завалишин называет и вторую причину, толкавшую декабристов на побег, — необходимость рассказать миру правду о своем деле. У нас нет оснований сомневаться в этом. Мы знаем, что, например, Лунин ради этого погиб

Был ли реален план побега?

Даже абсолютно трезвый и реалистически мыслящий Розен писал. «С караулом было бы нетрудно справиться, солдаты были нам очень преданы, они волею или неволею передали бы свое оружие, следовательно, из острога могли бы освободиться и выйти из ворот частокола и из селения...»

Правда, Розен считал, что возможна эффективная погоня за беглецами, но подробные расчеты Завалишина, которые подкрепляются мнением Басаргина, опровергают его опасения.

Вооруженный захват Читы, как справедливо говорит Басаргин, не представлял особых трудностей. Среди солдат охраны было много сосланных из армейских частей за всякие

провинности. Они не были лояльны правительству и серьезного сопротивления не оказали бы.

Были ли вокруг воинские силы, способные прийти на помощь читинскому коменданту?

С этими силами дело обстояло так. Еще в 1826 году Лавинский, обдумывая надежные способы охраны преступников, писал Дибичу о войсковых возможностях Нерчинского края: «В Селенгинске находится половина 7 роты Иркутского гарнизонного полка, в коей считается рядовых 91 чел. (Из них ежедневно в карауле по 8 постам употребляется 24 человека.) Там же артиллерийского гарнизона — 55 человек. В Верхнеудинске инвалидная команда состоит из 123 человек. (Из них ежедневно в карауле на 19 постах 58 человек.) В Нерчинске инвалидная команда из 150 человек. (Из них ежедневно в карауле на 12 постах 36 человек.)

Соображение сие представляет возможность из упомянутых инвалидных команд составить, хотя бы на время, отдельную команду из 150 человек таким образом.

а) Находящуюся в городе Селенгинске полуроту гарнизонного полка из 91 человека перевести в город Верхнеудинск, а вместо караула в Селенгинске содержать токмо самые необходимые Артиллерийским гарнизонам, там находящимся.

б) Из Верхнеудинской инвалидной команды взять 91 человек для Нерчинских заводов, а посты, ими занимаемые, содержать таким же числом гарнизонных солдат по переводе их из Селенгинска.

в) Из Селенгинской команды в город Нерчинск взять 59 человек, которые вместе с взятыми из Верхнеудинска составят 150 человек для Нерчинских заводов особой команды».

Этот войсковой пасьянс был вызван тем, что некоторые части, как, например, полурота Иркутского гарнизонного полка, были совершенно небоеспособны.

Таким образом, набрав с трудом 150 человек для охраны государственных преступников, Лавинский совершенно оголил край.

В случае разоружения декабристами охраны сколько-нибудь значительных воинских частей не было вокруг на пространстве в сотни верст.

Солдаты горного батальона — плохо обученные и вооруженные — были разбросаны по рудникам.

От Читы до Иркутска гонец, выехавший в день предполагаемого восстания, мог добраться за две недели.

Но для того чтобы перебросить в Читу из Иркутска сколько-нибудь значительный воинский контингент, понадобилось бы самое меньшее месяц — для кавалерии, а для пехоты, перебрасываемой на подводах, — и того больше.

Если учесть, что декабристам для сборов, ремонта судна — в случае необходимости, — погрузки и отплытия нужно было

буквально несколько дней, то в запасе у них до прибытия карательного отряда оставалось больше месяца. Они давно бы уже плыли по Амуру — вне досягаемости для русских властей.

Психологическая реальность побега не вызывала сомнений у людей, прекрасно знавших читинских узников.

Матвей Муравьев-Апостол, живший в это время на поселении в Вилюйске, вспоминал: «Раз зашел ко мне наш комиссар. Я заметил, что он имеет мне что-то сообщить, а между тем не высказывается. Вследствие настоятельной просьбы моей не скрывать от меня полученной им вести, он предупредил меня, что дошедший до него слух несомненно встревожит и огорчит меня. Ему писали из Якутска, что в Иркутске пронесся слух, будто товарищи мои, заключенные в Читинской тюрьме, силою вырвались из острога и бежали. Само собой разумеется, до какой степени смутил и огорчил меня его рассказ. Вспомнив о задушевных друзьях и близких моих родственниках, находящихся в числе читинских узников, я впал в несказанную тоску. Хотя я и силился успокоить себя тем, что слухи эти ложны и преувеличены, но, с другой стороны, приняв в соображение тяжелую участь, постигшую людей в том возрасте, когда кипят страсти, чувствуется избыток сил душевных и самое отчаянное предприятие кажется осуществимым, я приходил к горькому заключению, что в этих слухах есть и доля правды».

Побег был реален и психологически оправдан.

Но, кроме всего прочего, для побега были необходимы деньги. И большие деньги. Ведь при благополучном исходе побега отнюдь не всякий американский шкипер согласился бы везти, поить и кормить десятки людей даром. А по прибытии в Америку тоже надо было долгое время на что-то жить. Ведь связаться с родственниками в России было совсем не легко.

Наличных денег у тех жен государственных преступников, которые уже были в Чите или должны были приехать, оставалось очень мало. В Иркутске их подвергали обыску и большую часть денег, в соответствии с инструкцией, отбирали.

30 июля 1827 года Лавинский доносил Дибичу об изъятии денег у Нарышкиной и Ентальцевой: «Через наряженную комиссию освидетельствовали имущество их, и оказалось наличными денег у Нарышкиной 6000 руб., а у Ентальцевой 1965 руб., из числа коих выдано на прогоны и путевые издержки до Читинского острога: первой 1000 руб., а последней 465, а остальные сданы для хранения в Иркутское уездное казначейство».

Жене Никиты Муравьева из 5320 рублей, бывших у нее «на прогоны, одежду и питание», дали с собой 750 рублей.

Жене Василия Давыдова — 600 рублей.

А путь от Иркутска до Читинского острога был дальний и дорогой.

Денег в Чите было мало.

Бежать без денег было невозможно.

Получить деньги можно было только из России — тайно.

И был еще один вопрос — как посмотрят на эти планы те самые родственники, которые должны были дать деньги и впоследствии помогать беглецам.

Речь, естественно, шла о родственниках богатых декабристов.

Вопрос этот был совсем не ясен.

Полина Анненкова вспоминала о том времени, когда декабристы еще сидели в крепости: «Между тем у меня появилась очень смелая мысль, которую я решила привести в исполнение, это увести Ивана Александровича за границу. А случай познакомил меня с одним немцем, который продавал мне свой паспорт за 6 тысяч рублей. Беспреданно бывая в крепости, я познакомилась там со многими и узнала, что вывести оттуда Ивана Александровича было бы не так трудно, как казалось сначала. Потом мы могли сесть на купеческое судно и с помощью паспорта, под чужим именем пробраться далее. Но для этого необходимы были деньги, и много денег, а у меня их не было». Когда же она обратилась за помощью к матери своего жениха, то произошло следующее: «...Когда я стала говорить ей о своем намерении увести Ивана Александровича за границу и просить в этом ее содействия, она откинулась назад в своем кресле и отвечала: «Мой сын беглец, сударыня?! Я никогда не соглашусь на это, он честно покорится своей судьбе».

Все эти проблемы требовали решения. А решить можно было, только связавшись с Россией — тайно и надежно.

Письма декабристов и их жен, отправляемые почтой, тщательно просматривались. Тут нужен был курьер.

До осени 1827 года такой возможности у читинских узников не было.

7

4 июня 1827 года сенатор князь Куракин писал шефу жандармов из Tobольска: «Генерал! Получив донесение о прибытии в Tobольск двадцатой партии арестантов, в числе которых находилось трое государственных преступников — бывшие офицеры Черниговского пехотного полка,— я отправился секретно в тюрьму, сопровождаемый одним полицмейстером, которому отдал соответствующие распоряжения... Соznаваясь, что они не имели никакого права на милосердие государя, они все трое очень горевали по тому поводу, что с более виноватыми было поступлено менее строго: их везли

на почтовых и приговорили к каторжным работам на срок, тогда как они шли пешком в цепях в течение девяти месяцев, будучи смешанными с убийцами и разбойниками с большой дороги и имея, сверх того, в перспективе сделать таким же образом еще 4300 верст, а также, что они осуждены на пожизненные каторжные работы... Я излагаю все эти подробности, генерал, потому, что дал Вам обещание ничего от Вас не скрывать, а Вы обещали мне не утомляться чтением этих подробностей, как бы мелочны они ни были.

Не входя в подробности тех приемов, которые я употреблял для того, чтоб раскрыть их сокровенные чувства как в отношении того, что могло их вовлечь в этот ужасный заговор, так и для того, чтобы заставить их в этом раскаяться, — я ограничусь сообщением Вам результатов и сделаю это по чистой совести. Все трое в общем удручены своим положением. Последнее очень естественно, так как положение это ужасно, но не в этом дело.

Самый старший из них, по имени Соловьев, бывший барон и штабс-капитан, несомненно тот из троих, который испытывает искренние и истинные угрызения совести: он не позволил себе ни одной фразы, ни одного слова, ни одного оправдания (последнее было бы и невозможно), — даже извинения, чтобы уменьшить свое преступление... Прибавлю, что один вид этого несчастного доказывает искренность его признаний, так как он не мог ни слушать меня, ни мне отвечать, не обливаясь слезами...

Второй, по имени Сухинов, бывший поручик (участник последней войны против французов до вступления в Париж, получивший 7 ран), сознавая, что заслужил свою участь, старался ослабить свой поступок, выставляя на вид тиранство полковых командиров, бригадных и дивизионных генералов, — тиранство, которое, приводя в отчаяние, было причиною его несчастья и вовлекло его в заговор с тем большей легкостью; о существовании же заговора он не знал еще за несколько месяцев до события. На мой вопрос о цели, которую он себе ставил, присоединяясь к заговорщикам, он брал Бога в свидетели, что у него не было никакого злого умысла против особы покойного императора, но что их целью было просто приобретение свободы. «Свободы! — возразил я ему: — Мне это было бы понятно со стороны крепостных, которые ее не имеют; но со стороны русского дворянина?.. Какой еще большей свободы может желать он, чем той, которою мы все пользуемся благодаря нашим монархам со времен Екатерины Великой до наших дней!» На этом он замолчал, перестав жаловаться на свое несчастье...

Сенатору князю Куракину не пришлось в голову, что человек может riskовать всем не ради личной своей свободы, но свободы других, крепостных например.

Этой простой вещи многие не могли понять. Люди искали в замыслах мятежников личные выгоды, как тогда говорили, и, естественно, приходили в недоумение: зачем русскому дворянину печься о свободе? Зачем князю Волконскому, владельцу обширных поместий, обладателю тысяч крепостных, ввязываться в рискованный заговор? Чтобы стать из генерал-майора генералом-от-инфантерии? Но он и так бы дослужился до высоких чинов... Непонятно.

Николай прежде всего сказал арестованному Трубецкому. «Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой!.. Как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью!..»

Николай не лицемерил: он был искренне поражен этой нелепой, на его взгляд, ситуацией.

Да что Николай! Полковник Булатов, храбрый и честный человек, попавший в заговор по стечению обстоятельств, был уверен, что Трубецкой хочет узурпировать русский трон.

Всем этим людям оказалась недоступна такая ясная формула Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала».

Но как бы то ни было — спасибо Куракину. Благодаря ему мы знаем, что Сухинов после многомесячного пешего кандалного пути обличал перед ревизором царившую в армии несправедливость и толковал ему о достижении свободы.

В это же время — возле Тобольска — черниговцев догнала Елизавета Петровна Нарышкина, ехавшая в Читу к мужу.

В разговоре Сухинов сказал ей, что менее всего думает о смирении и покорности.

Нарышкина уговаривала черниговцев терпеть, говорила о скором облегчении, когда придут они в Нерчинск. Дала им триста рублей.

До Нерчинска оставалось им идти четыре тысячи верст.

8

В Петербурге донесение Лавинского о Горлове было представлено императору.

22 июня 1827 года Лавинскому был отправлен ответ:

«Секретно!

...Государь император за таковой противузаконный поступок действительного статского советника Горлова высочайше повелеть соизволил предать его суду Тобольской уголовной палаты».

Но затем решение было Николаем пересмотрено, и в силу

особой важности преступления дело было передано суду Правительствующего Сената.

10 августа Лавинский получил соответствующий указ. Горлов был вызван в Петербург.

9

В конце сентября 1827 года в Читу из Благодатского рудника были переведены восемь государственных преступников первого разряда.

Они должны были прибыть раньше, но отправка из Благодатска задержалась из-за того, что между Благодатском и Читой восстали каторжане и блокировали дорогу.

Вместе с преступниками прибыли и их жены — Трубецкая и Волконская.

Особенно важен был приезд Трубецкой.

Новоприбывших посвятили в планы побега. Их согласие могло снять главное препятствие — отсутствие денег. Состоятельные люди (кроме уже находившихся в Чите Никиты Муравьева, Нарышкина, Ивашева) — Трубецкой, Волконский, Давыдов, Артамон Муравьев — были среди этих восьми.

И сразу же начались действия.

Завалишин писал: «Было одно обстоятельство, которое могло сделать побег бесцельным и приравнять его к самоубийству. Что, если, как утверждали иные, Амур в одном месте верхней части его прегражден порогами? Спустившись по Амуру в более теплую местность, мы могли на левой пустынной стороне, где не было опасности от китайцев и маньчжур, выстроить за зиму себе зимовье, запастись припасами, имея ружья и рыболовные снасти, и, сохранив лодку, продолжать плавание весною. Но если бы мы встретили в верхней половине Амура препятствие для плавания на лодке, то уже никаких средств для продолжения побега берегом не было, по невозможности тащить на себе все запасы, да не было бы потом и средств для постройки лодки за порогами. Итак, необходимо было прежде приступа к исполнению плана тщательно исследовать, существуют ли действительно пороги или нет? Разрешить этот вопрос выпало на мою долю по двум причинам: во-первых, потому, что я более всех настаивал на исследовании, не любивши никогда делать что-либо наобум; во-вторых, потому, что из всех нас только я один имел сведения об Амуре на основании знакомства с планами имевшего виды на Амур правителя Российско-Американской Компании Баранова и рассказов мне лично бывших Иркутских губернаторов Трескина и Корнилова, а более всего из сведений, собранных мною при переезде моем из Калифорнии через Сибирь в 1824 году, в особенности из полученных от зве-

ропромышленников, возвращающихся из колоний в Россию на корабле «Волга», который я вел из Ситхи в Охотск.

Узнав от работавших в каземате плотников из поселения, что некоторые бывали тайком на Амуре для промыслов, я отправил туда двух из них наиболее смышленных, из которых один, бывший там не раз уже, достиг Жиганского хребта, где предполагались пороги, и узнал от наших беглых и охотников, что никаких порогов нет, а товарищ его дождался с запасом провизии в Хомаре. За исследование кроме 50 рублей, данных вперед, они получили по условию 150 рублей; добавка к этому, что оба эти поселенца были раскольники и, очевидно, догадываясь о смысле исследования, давали понять, что и они будут очень рады бежать с нами, а они могли быть нам очень полезны, потому что были отличные плотники. На исследование употребили они полгода и сведения доставили вовремя, в марте 1828 г...»

В середине октября были отправлены раскольники на разведку Амура, а в начале ноября княгиня Екатерина Ивановна отправила в Москву свою горничную Авдотью с письмом.

Письмо было тщательно спрятано.

Ответ и деньги необходимо было получить до июля 1828 года — времени побега.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Если жить, то действовать

Н Бестужев

1

В конце декабря 1827 года Сухинов, Соловьев и Мозалевский, прикованные к железному пруту вместе с десятками каторжников, прошли Красноярск.

Горничная княгини Трубецкой Авдотья с письмом, зашитым в полушубок, подъезжала к селу Лыскову под Нижним Новгородом.

А действительный статский советник Горлов отвечал перед судом Правительствующего Сената. Он продолжал утверждать, что о назначении государственных преступников в Нерчинск он ничего не знал, никого к ним пускать не приказывал, а кандалы велел, снять главным образом для того, чтобы лекарь Солухин мог оказать больным преступникам помощь.

Сенат запросил Лавинского: «Кем допущены до оных преступников как учитель Иркутской гимназии Жульяни и прочие лица (о именах коих объяснить подробно), так и лекарь Солухин, делавший по показанию Горлова сим преступникам помощь по снятии с них оков (ибо Горлов показывает, что он о допуске кого-либо к означенным преступникам приказания и дозволения не давал), кому именно из оных преступников лекарь Солухин подавал помощь и в чем таковая состояла?»

5 января 1828 года Лавинский получил от управляющего общей градской управы Иркутска донесение и немедля отправил это донесение в Сенат.

«...Все государственные преступники были здоровы и никакого лекарского пособия не требовали, и чтобы лекарь Солухин их пользовал, то сего не могло быть, потому что г. Солухин, будучи одержим болезнью, 24 числа того же августа в 10 часу вечера помер; иркутской гимназии учитель французского языка Жульяни и сын означенного действительного статского советника Горлова допущены были, равно как и надворный советник Павел Здор, тогда же по личному приказанию г. Горлова».

Итак, лекарь Солухин, на которого ссылался Горлов, умер за шесть дней до прибытия в Иркутск государственных пре-

ступников, а полицейский чиновник утверждал, что приход посторонних лиц — и в том числе собственного сына — разрешил лично Горлов.

Горлов запутался.

Между тем вновь допрошенный Жульяни признался, что дорожную для поездки в Александровский завод к государственному преступнику Давыдову подписал ему тот же Горлов. И что с ведома Горлова он, Жульяни, пробыл в заводе целые сутки.

Надежды оправдаться у Горлова уже не было.

2

К вечеру 12 февраля 1828 года черниговские офицеры пришли со своей партией в Читу. Их поместили в пересыльной тюрьме недалеко от острога, где находились их товарищи. Партию остановили на отдых. Дальше путь ее лежал к Большому Нерчинскому заводу.

Ранним утром следующего дня Трубецкая, Волконская и Муравьева были уже у тюремной ограды. Им разрешили говорить с черниговцами. Они провели вместе несколько часов во дворе тюрьмы.

Жены декабристов понимали, что эти трое вынесли куда больше, чем все остальные. полтора года шли они, закованные в ручные и ножные кандалы. Женщинам хотелось хоть как-то смягчить своим сочувствием эту страшную прихоть судьбы. Они плакали и называли черниговцев братьями.

От Нарышкиной они знали о замыслах Сухинова и заговорили с ним о том, что судьба их может перемениться к лучшему и что нужно надеяться.

— Надеяться на перемену? — спросил он шепотом, выдыхая тяжелый пар. — А что эта счастливая перемена изменит в моей душе? А Сергея Ивановича повешенного она воскресит?

Трубецкая почувствовала, что ей становится дурно. Она увидела веселое лицо Сергея Муравьева — тогда, в Киеве, когда она впервые узнала об их замыслах, — и услышала его голос: «Неужели вы полагаете, что мы не примем всех мер, чтобы победить?» А она сказала ему: «Ради Бога, подумайте о том, что вы делаете! Вы погибнете сами и всех погубите!»

Бурое от морозов, со вспухшими пятнами обмороженной кожи, лицо Сухинова стало неподвижным.

— Это все он... он... его величество... будь он проклят! Разве он наказывает нас за бунт? Страданиями исправить хочет? Нет! Он нам мстит... Смерть Сергея Ивановича, страдания наши — это мщение слабой и злобной души! У него робкая и злобная душа... Он будет мучить наше отечество... Этого нельзя допустить!

Если бы черниговцев оставляли в Чите, Трубецкая без колебаний рассказала бы им о возможном побеге, о том, что их товарищи уже начали действовать. Но черниговцев вели дальше — не было смысла растревлять их души и подстегивать непреклонную решимость Сухинова.

— Я подниму Сибирь,— шепотом говорил Сухинов, глядя мимо собеседниц,— я подниму Сибирь — и тогда он ответит мне!

Трубецкая смотрела на него и узнавала решимость Сергея Муравьева. И она подумала, что, может быть, неистовый дух казенного вселился в этого высокого изможденного человека с бурым, припухшим от морозов лицом и застывшим взглядом.

Но красивый, веселый, изящный Муравьев был так не похож на него... Неизвестно, однако, каким бы он стал, пройди он пешком в кандалах семь тысяч верст.

— Я подниму Сибирь,— сказал Сухинов.
Соловьев и Мозалевский молчали.

3

В конце декабря 1827 года горничная Трубецкой Авдотья приехала в Лысково к князю Георгию Александровичу Грузинскому. Прочитав письмо от княгини Екатерины Ивановны, князь Георгий Александрович взял другое письмо, которое Авдотья тут же при нем достала, распоров полу полушубка, и отправил это письмо со своим человеком в Москву.

Сделал он это быстро и никого не оповещая, и потому титулярный советник и кавалер Путилинский узнал об этом не сразу. Но через некоторое время узнал и сообщил непосредственно в Москву генерал-майору Волкову, начальнику 2-го округа корпуса жандармов.

Письмо Трубецкой адресовано было матери Никиты Муравьева и графине Потемкиной. Никита Михайлович был один из составителей плана побега. А на мать его, добрейшую и благороднейшую Екатерину Федоровну, были едва ли не главные надежды в отношении денежной помощи. На нее, на Потемкиных и на Лавалей.

Для сыновей своих — а кроме Никиты сидел в Чите и младший брат его Александр,— для сыновей своих она на все была готова. Состояние ее было очень значительное. Позже Бенкендорф получал сведения из Москвы, что она тратит на сыновей весь свой двухсоттысячный годовой доход.

Жаловались московские жандармы и на то обстоятельство, что Екатерина Федоровна живет столь уединенно и замкнуто, что шпионить за ней, найти в ее доме доносителя со-

вершенно невозможно. Но зато генерал-майор Волков отводил душу на графах Потемкиных и князьях Грузинских. Уж в их домах для шпионства были все возможности.

Авдотья приехала в Москву в начале января 1828 года — сразу вслед за письмом, а в середине месяца отправилась в Петербург к Лавалам.

Потемкины, граф и графиня, и Муравьева часто и подолгу совещались, и к возвращению Авдотьи из Петербурга в феврале все было решено и подготовлено. Они ведь еще с августа 1826 года, когда проезжала Москву княгиня Екатерина Ивановна, ждали, что такой момент настанет.

Граф Потемкин призвал бывшего своего камердинера, а ныне московского мещанина Данилу Васильевича Бочкова, для этой цели в свое время отпущенного на свободу. Хотя тогда и неясно было, как именно придется действовать.

В немногих вещах, посылаемых с Бочковым, тщательно спрятаны были письма. А главное — вручен ему был пакет с деньгами. Большими деньгами. Для отвода глаз и для помощи с ним отправлялась дворовая девушка Аграфена.

Поскольку совещания происходили в доме Муравьевой, то генерал-майор Волков мало что знал об этих приготовлениях. Собственно, кроме приезда из Сибири Авдотьи и разъездов ее между Петербургом и Москвой он до конца марта не знал ничего определенного.

4

14 февраля 1828 года Сухинов, Соловьев и Мозалевский вышли из Читы и 16 марта добрались до Большого Нерчинского завода, расположенного в 270 верстах от Нерчинска и в 20 верстах от китайской границы. От Киева до китайской границы черниговцы шли 1 год 6 месяцев и 11 дней.

Сдав государственных преступников местным властям, сопровождавшие их кордонные казаки потребовали, чтобы кандалы с преступников были сняты и им, казакам, отданы. Они предъявили и письменное предписание своего командования — кандалы привезти обратно.

Черниговцев расковали, а так как не было специального предписания держать их закованными, то заковывать заново не стали.

Поскольку прибыли они с арестантской партией, как простые каторжники, то все трое были отправлены в Зерентуйский рудник, а не в Читу.

Так рассудило местное начальство.

Там они поселились в избе бывшего солдата-семеновца, сосланного сюда после бунта Семеновского полка. Вообще, среди каторжан в Зерентуе было много бывших солдат и

гвардейцев, и армейцев, как, впрочем, было много их раскидано по всей Сибири. Декабристы встречали их повсюду. Это был горячий материал. И это были люди, обученные драться.

Сухинов это прекрасно понимал. Сам много лет служивший солдатом, он умел находить с этими людьми общий язык без малейшего труда.

Он вообще нравился самым разным людям. Его сослуживец, соратник по черниговскому восстанию, спутник по крестному пути в Сибирь барон Соловьев писал уже после гибели Сухинова: «Как теперь смотрю на него: высокий, стройный рост, смуглое выразительное лицо, глаза быстрые, пронырливые: эта задумчивость, даже некоторая суровость в выражении глаз привлекали внимание при первом на него взгляде. Но кто знаком был с Сухиновым, кто знал душу его, тот неохотно с ним расставался. Он отличался: особенной простотой в обращении, неуклонным постоянством в делах, кротостью, приветливостью, редкой исполнительностью и сметливостью по службе. Справедливо отличенный большой доверенностью, Сухинов вместе с тем пользовался любовью и уважением товарищей, даже привязанностью солдат, несмотря на то, что был строг с последними».

Поселившись в Зерентуе, Сухинов в первые же дни собрал вокруг себя и подчинил своей воле вожаков буйной и угрюмой каторжной толпы. Это были: Павел Голиков, бывший фельдфебель учебного карабинерского полка, Василий Михайлов, бывший фельдфебель-гвардеец, Василий Бочаров, сын астраханского купца. Причастен был к делу и целовальник зерентуйского кабака, бывший гусарский юнкер Птицын. И еще несколько человек.

Горбачевский, со слов Соловьева, очевидца событий, писал о них: «Голиков, Бочаров и трое их товарищей были, каждый в своем роде, весьма замечательные люди и отличались от презренной толпы обыкновенных воров и разбойников. Ни страх наказания, ни видимая опасность не могли удержать их ни в каких замыслах; будучи доведены до крайней нищеты и унижения, не имея никакой надежды к избавлению, испытывая беспрерывно несправедливости, они были ожесточены против всяких начальств... При всем своем унижении они отличались от всех других ссыльных каким-то особенным над ними влиянием и, видимо, везде брали над своими товарищами поверхность. Голиков поражал всех диким и независимым своим нравом; какая-то душевная сила возвышала его над всеми другими и приводила в трепет самых закоснелых, отчаянных воров и разбойников».

Все эти люди не раз были биты кнутом. Прошрое их было перечеркнуто позором, будущего при обычном ходе жизни у них не было. Настоящее их было страшно.

Вот как описывал очевидец сибирский винокуранный завод тех времен: «Положение рабочих оказалось самое печальное. Сны, находясь денно и ночью у огня, и лохмотья свои обожгли, босы и полунаги... Они, отбив свою смену, заливали свое горе водкою, которую, по тамошнему заведению, дарят им винокур, и, оглодав кусок хлеба, утомленные, бросались тут же в виннице, у огня, предаваясь сну».

В горных заводах было ненамного лучше.

И так день за днем, год за годом — всегда. Бессрочная каторга.

В лучшем случае — если каторга была на определенный срок — они могли выйти на поселение больными, измученными, раздавленными.

Эти люди были готовы на все. Попав в соответствующую ситуацию, они рискнули бы своей постылой жизнью в надежде изменить ее.

Мелких бунтов было много. Но не было центра. Не было вождя.

Сухинов решил взять на себя эту роль.

В конце марта он уже сговорился с Голиковым. Этот могучий и отчаянный человек почувствовал в Сухинове родственную, но более высокую натуру и полностью ему покорился. Он готов был выполнять любые его поручения.

Они стали осторожно вербовать сообщников. Собирать оружие.

Кончался март 1828 года.

5

В конце марта 1828 года вернулись в Читу посланные Завалишиным на Амур раскольники и объявили, что порогов по Амуру нет.

Побег стал реален.

Теперь все дело было в том, что ответят родные и друзья из Москвы и Петербурга. Пришлют ли денег.

В то время в Чите еще не знали, добралась Авдотья до Москвы или нет.

А в Москве началась новая цепь событий.

28 марта генерал-майор Волков доносил из Москвы Бенкендорфу:

«Секретно.

С места ссылки государственных преступников жена бывшего полковника князя Сергея Трубецкого, урожденная графиня Лаваль, прислала в Москву к тайной советнице Муравьевой служанку свою Авдотью, которая после нескольких дней пребывания ее здесь ездила в С.-Петербург к графине

Лаваль, а по возвращении назад привезла с собою врученный ей графинею зимний салоп и другие женские уборы, в которых будто бы зашиты письма. Все сии вещи доставлены были госпоже Муравьевой, а ею переданы графине Потемкиной, урожденной княжне Елизавете Трубецкой, родной сестре сосланного брата. Она и муж ее граф Потемкин 18 числа сего марта отправили в Сибирь к помянутой Трубецкой нарочным на почтовых бывшего при графе камердинером прежнего крепостного, а ныне московского мещанина Данилу Васильевича Бочкова, человека им преданного, тайного и хитрого, и с ним дворовую девку Аграфену Николаеву, вручив им значную сумму денег и все вышеизложенные вещи. Означенная же служанка Авдотья осталась в услужении у госпожи Муравьевой».

Волков присыпал письмо песком, подождал, пока оно высохнет, положил сверху чистый лист и стал писать инструкцию, которую его офицер должен был прочитать агенту, живущему в доме Потемкиных.

«Старайся всеми мерами узнать подробно...»

Он думал о том, зачем понадобилось этим господам Потемкиным, Муравьевым, Лавалем посылать с какими-то жалкими дамскими тряпками столь доверенного человека, как Бочков, — «человека тайного и хитрого». История внезапного перехода Бочкова от крепостного состояния в вольное была известна Волкову от своего агента. Все вместе это было довольно странно. Волков знал, что граф долгие годы держал Бочкова неотлучно при себе и вдруг...

Поездка Бочкова могла иметь только одно объяснение — он вез что-то особо важное. Очевидно, в письмах, зашитых в салопе, содержались какие-то сугубо преступные замыслы. И деньги — сумма, сильно превосходящая дорожные расходы. Зачем?

Волков знал, что государственным преступникам вообще запрещено иметь на руках деньги, а их женам — можно в ограниченном количестве. Таким образом, были все основания предположить, что деньги, посланные с Бочковым, попадут, минуя законные пути, прямо в руки преступников и могут быть использованы на достижение преступных целей.

6

Деньги, которые Трубецкая и Волконская дали черниговским офицерам в Чите, подошли к концу. Но тут — в начале апреля — приехал в Зерентуй под каким-то предлогом человек из Читы — от Волконского — и передал еще денег. Целью этой поездки была не только помощь зерентуйским

каторжанам. В Читинском остроге хотели убедиться, что Сухинов не привел в исполнение свои намерения. В Чите, после возвращения раскольников с Амура, все жили ожиданием вестей из Москвы. При попытке мятежа в любом конце Нерчинского края бдительность властей сразу возросла бы.

Посланец Волконского уехал обратно в полной уверенности, что в Зерентуе все спокойно, черниговцы обживаютя, собираются покупать себе избу. Присланные деньги пришли очень кстати.

На самом деле все было не так.

Соловьев и Мозалевский жили в постоянной тревоге. Они, разумеется, видели, к чему идет дело, хотя Сухинов ни слова им не говорил. На их робкие попытки остановить его он отвечал. «Не бойтесь, я вас не замешаю. Вы ничего не знаете».

Была у Соловьева и Мозалевского и еще одна причина для беспокойства. На своих людей Сухинов много тратил. Он купил Голикову сапоги и штаны, купил штаны Бочарову, ибо те ходили совершенно оборванные.

Но главным образом деньги уходили на водку, которую он, сам не пивший, покупал своим единомышленникам. Пить — было потребностью каторжан. Только так можно было заглушить отчаяние. А теперь, когда появилась надежда на избавление, они пили, поддерживая в себе решимость.

Касса у черниговцев была общая. Они с самого начала постановили не давать друг другу отчета в тратах. И Соловьев с Мозалевским ни словом не упрекнули Сухинова. Но деньги таяли, и они видели, как снова приближается нищета.

Сухинов между тем действовал вдохновенно. Он знал, что это его последняя возможность. Он не собирался жить в неволе. И оставить неотомщенными обиды он тоже не мог.

Он мало спал по ночам. Он продумывал, глядя в темноту, будущие свои действия, собирал в уме все, что удалось ему узнать о топографии этого края и воинских силах, охранявших заводы... И перед глазами неотступно стоял Сергей Иванович Муравьев-Апостол, каким он часто его видел в двадцать пятом роковом году, — в расстегнутом сюртуке с большими штаб-офицерскими эполетами, улыбающегося своей умной и доброй улыбкой, рассказывающего ему, Сухинову, о будущем устройстве России, о древних республиках, об испанском полковнике Риеге, о новгородской свободе и долге всякого честного и благородного человека.

— Подождите, Сергей Иванович, — беззвучно говорил ему Сухинов. — Подождите, уже недолго. Они нам ответят.

Ему удалось съездить в Нерчинский завод, и там он познакомился с Алексеем Пятиным, каторжанином из солдат. Поговорил с ним откровенно, и Пятин обещал содейство-

вать. Теперь надо было ждать, пока сойдет снег и тайное сообщение с заводами легче будет поддерживать.

Сухинов тайком купил себе ружье и кинжал, собрал пороху, достал при помощи Голикова свинца и вечерами лил пули. Это все нужно было ему для самого первого момента. А там оружия будет вдоволь.

Сухинов, Голиков и Бочаров составили как бы директорию.

План они разработали надежный. И при том — единственно реальный.

Собрав человек двадцать надежных людей, ночью напасть на солдатскую казарму, обезоружить рудничный караул, арестовать начальство, вскрыть пороховой склад, вооружиться отобранным у солдат оружием, тех, кто захочет, присоединить к себе — как солдат, так и каторжников — и идти форсированным маршем на Нерчинский завод. Там, соответственно, разоружить команду, увеличить свой отряд и двигаться от рудника к руднику, от завода к заводу. И так — до Читы. Освободить из острога государственных преступников и вместе с ними разработать дальнейшие планы.

Реален ли был этот план?

Вполне.

Взять власть в Зерентуйском руднике, охраняемом горстью плохо вооруженных солдат, было несложно. Все остальные рудники и заводы охранялись столь же слабо. Отряд в полторы-две сотни вооруженных решительных людей во главе с таким человеком, как Сухинов, и состоящий при этом в значительной степени из старых солдат, определенно стал бы хозяином положения. Он увеличивался бы от рудника к руднику, а властям нечего было бы ему противопоставить. Разбросанные по всему краю караульные команды невозможно было собрать в один кулак хотя бы потому, что в оставленных ими пунктах немедленно началось бы возмущение каторжан.

В Чите к восставшим примкнули бы, конечно, отнюдь не все. Но часть определенно бы примкнула, обеспечив сухиновскую армию офицерским составом.

При значительных человеческих ресурсах восстания, при обширности и пустынности территорий, обеспечивающих восставшим свободу маневра, при отдаленности значительных войсковых частей — не ближе Иркутска, — а следовательно, при необычайной растянутости их коммуникаций карательные операции против восставших были бы крайне сложны.

И — что важно, как уже говорилось, — костяк повстанческой армии составили бы обученные солдаты, сосланные в Сибирь из армейских и гвардейских частей.

Шел апрель 1828 года.

4 апреля 1828 года Бенкендорф, не менее Волкова обеспокоенный донесениями агентов, отправил предписание генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому.

«Секретно.

Милостивый государь
Александр Степанович!

Получив от г. начальника 2-го округа корпуса жандармов генерал-майора Волкова записку об отправлении будто бы графом Потемкиным в Сибирь человека Данилы Васильевича Бочкова и девки Аграфены Николаевой с деньгами, вещами и письмами к жене государственного преступника Трубецкого, я счел нужным сообщить сие Вашему превосходительству. Не угодно ли будет Вам, милостивый государь, принять надлежащие меры предосторожности».

Сам Бенкендорф тоже задумался о том, какие же меры теперь ему принять со своей стороны. Бочков выехал из Москвы две недели назад. Даже больше. Нижний Новгород он давно миновал. Необходимо было послать сверхсрочного фельдъегеря, который бы Бочкова обогнал и предупредил Лавинского.

Перехватывать Бочкова на промежуточных станциях было делом хлопотным и ненадежным, а Иркутска ему не миновать.

В тот же день, 4 апреля, из Петербурга в Иркутск выехал курьер.

24 марта 1828 года московский мещанин Данила Васильевич Бочков прибыл вместе со своей спутницей в Лысково.

Аграфену Николаеву отправили отдыхать в девичью, а Данилу Васильевича князь Георгий Александрович велел привести в кабинет.

Князь Грузинский, иссохший, седой, с черными бровями и усами, молча взял у Бочкова письмо племянницы своей, графини Потемкиной. Прочитал. Велел Бочкову сесть, что было удивительно. Князь Георгий обычно строго, а иногда и яростно охранял расстояние между собой и простыми смертными. Не говоря уж о людях вроде Бочкова. Но тут он изменил обычаю.

Они поговорили вполголоса — недолго, минут двадцать. Потом князь велел позвать сына, князя Ивана.

Князь Иван служил в Конной гвардии. Но сейчас он был в отпуску по болезни. Подозревали у него чахотку.

Он пришел. Князь Георгий Александрович дал ему прочитать письмо и велел Бочкову повторить то, что передано было графиней Елизаветой Петровной на словах.

Когда Бочков кончил, князь Георгий Александрович сказал:

— Я в ваши шалости мешаться не намерен. Знать о них ничего не знаю и знать не хочу. Денег дам. Скупым никогда не был. Доедешь туда... скажи им от меня — Бог помощь... А что обещал княгине Катерине... Каташе... то все сделаю. Обратнo поедешь — все сделаем...

Молодой князь молчал.

Бочков пробыл в Лыскове пять дней.

29 марта Бочков и Аграфена отправились дальше.

Молодой князь их провожал. Перед тем как Бочкову садиться в сани, он сказал:

— Увидишь там князя Одоевского, скажи ему, что он мне брат... Что душа моя — с ним. Что мне душно здесь и стыдно...

С князем Одоевским они служили в Конной гвардии.

О посещении этом и об отъезде узнал 30 марта титулярный советник и кавалер Путилинский. И отправил донесение непосредственно генерал-майору Волкову в Москву.

Волков обдумал донесение, сопоставил с донесением агента из дома Потемкиных и 11 апреля 1828 года отправил суммирующее донесение Бенкендорфу:

«Секретно.

Отправленные от графини Потемкиной и госпожи Муравьевой в Нерчинск здешний мещанин Данило Бочков и дворовая девка Аграфена Николаева с письмами и посылками к сосланным туда преступникам бывшему князю Трубецкому и Муравьеву (о чем я имел честь доносить Вашему превосходительству 28 числа прошедшего марта месяца докладною запискою под № 142) по выезде своем из Москвы приехали 24 марта Нижегородской губернии Макарьевского уезда в село Лысково к князю Георгию Александровичу Грузинскому (родному дяде Трубецкого и Потемкиной). И пробыв у него пять дней, снабженные им и сыном его князем Иваном Грузинским, как говорят, знатною суммою денег и письмами, отправились в дальнейший путь к Нерчинску. Уверяют люди графини Потемкиной, что Бочков на обратном пути оттуда в сентябре месяце остановится также в Лыскове и все, что будет вручено ему женою Трубецкого в Сибири, доставит в собственные руки князя Грузинского. А уж он сам или через своего нарочного перешлет по адресам в Москву и в С.-Петербург. Заключают также, что сын его князь Иван, служа-

щий в Конной гвардии, если бы в эпоху 14-го декабря 1825 года не находился в отпуску или ремонтером, то неминуемо участвовал бы и сам в деле тех преступников».

Получив 16 апреля это послание и удостоверившись окончательно, что дело серьезное, Бенкендорф решил заблаговременно принять меры и по перехвату Бочкова на обратном пути.

18 апреля он отправил письмо генералу Бахметьеву.

«Секретно.

Милостивый государь
Алексей Николаевич!

Я получил известие из Москвы, что отправленный потайным образом в Нерчинск московский мещанин Данило Бочков и дворовая девка Аграфена Николаева с письмами и посылками к государственным преступникам Трубецкому и Муравьеву приехали 24 марта Нижегородской губернии в село Лысково к князю Георгию Александровичу Грузинскому и, пробыв у него пять дней, были снабжены от него и сына его князя Ивана, как уверяют, значащею суммою денег и письмами и отправлены далее к Нерчинску. Говорят, что Бочков на обратном пути в сентябре месяце остановится также в Лыскове и все, что ему будет вручено женою Трубецкого в Сибири, доставит в собственные руки князя Грузинского, который уже сам или через нарочного перешлет доставленное в С.-Петербург и Москву.

Вследствие сего я покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство обратить особое Ваше внимание на сие обстоятельство и собрать ближайшие сведения о справедливости сих известий, приказать принять надлежащие меры к приостановлению мещанина Бочкова, если оный точно на обратном пути будет следовать в село Лысково, и отобрать у него все письма, кои при нем найти можно».

Генерал-от-инфантерии Бахметьев без особого труда прочитал в этом письме несомненный упрек.

У него под боком — в Лыскове, — у его родственников, останавливается, как и в 1826 году, человек, нарушающий законы, везущий тайные письма государственным преступникам, а шеф корпуса жандармов узнает об этом из Москвы, но отнюдь не от нижегородского генерал-губернатора, и вынужден подсказывать ему, генерал-губернатору, решения, которые тот сам должен был принять.

Больше всего Бахметьева раздражила осведомленность Бенкендорфа о том, что делается в Лыскове. Это означало, что в Нижнем Новгороде есть тайные агенты, о которых он

не подозревает. И есть они в самом Лыскове. И князь Георгий об этом не знал. А надо бы ему знать на будущее...

Бахметьев ответил Бенкендорфу коротким письмом, в котором обещал меры к задержанию помещика Бочкова принять.

Затем он вызвал чиновника для особых поручений Путилинского и велел ему выяснить, действительно ли приезжал кто в марте к князьям Грузинским или это одно вранье. И если это правда, то к сентябрю установить на заставах в Нижнем соответствующий надзор.

В правдивости присланных из Петербурга сведений Путилинский, естественно, не сомневался. Он сам их туда отправил. Что же касается надзора в Нижнем, то у него насчет поминки помещика Бочкова были несколько иные планы. Но делиться с генерал-губернатором он ими пока не стал.

9

13 мая 1828 года, в воскресенье, Сухинов, у которого в Зерентуе все было готово к выступлению, послал в Нерчинский завод Бочарова, чтоб тот увиделся с Алексеем Пятиным и узнал, подготовил ли Пятин людей в заводе.

Вечером, около 11 часов, Бочаров вернулся обратно, пришел в казарму, в которой жили каторжане. Голиков еще не спал. И Бочаров сказал, что толку от его похода не было. Пятин он долго искал, найти не мог: по случаю праздника все были пьяные. И вдруг встретил Пятин на улице. Он тоже был пьян, и четверо солдат вели его в полицию.

Наутро Бочаров с Голиковым пришли к Сухинову и сообщили о результатах разведки. Сухинов выругался. Вместе они подсчитали приставших к ним людей. Получалось достаточно. Решили выступить в ночь с 24 на 25 мая, когда снег совсем сойдет и двигаться от рудника к руднику будет сподручнее. Да и теплее будет, а то все раздеты.

Чем ближе подходил день мятежа, тем легче становилось на душе у Сухинова, тем меньше огорчали и раздражали его печальные и осуждавшие лица Соловьева и Мозалевского. Они не понимали, к какому великому подвигу готовится он, Сухинов, и все, кто с ним пойдет.

— Уже скоро,— говорил Сухинов казненному Муравьеву,— уже совсем скоро, незабвенный мой Сергей Иванович.

В Читинском остроге между тем со дня на день ожидали вестей из столиц.

20 мая 1828 года Данила Васильевич Бочков и Аграфена Николаева остановились за несколько станций от Иркутска. Бочков снял пол-избы, и три дня они жили там. Бочков прогуливался по станции, встречал почтовые тройки от Иркут-

ска. На третий день приехал на станцию человек в тулупе поверх поддевки, по виду — небогатый купец. Они переглянулись с Бочковым, пошли в трактир. Потом отправились в избу, где ждала Аграфена, и Бочков отдал человеку в поддевке узел и бумажник.

На следующий день утром Бочков и Аграфена поскакали дальше к Иркутску.

В Читинском остроге ждали вестей, не подозревая, что судьба их замысла решается в Зерентуйском руднике.

11

В Зерентуйском руднике наступило 24 мая 1828 года.

Вечером этого дня должно было начаться восстание.

Выписка из следствия, произведенного сначала Нерчинскою горною конторою, потом господами бергтауптманом Киргизовым, коллежским секретарем Нестеровым и прапорщиком Анисимовым:

«Рапортом Нерчинская горная контора от 28 числа мая сего 1828 года донесла, что 24 числа того мая пополудни в 3 часу по приезде г. управляющего тою конторою из Кадаинского в Зерентуйский рудник явился к нему ссыльный Алексей Казаков в пьяном виде и объявил, что из числа проживающих в Зерентуйской казарме ссыльнорабочих Павел Голиков, Василий Бочаров, Федор Моршаков, Семен Семенцов, Василий Михайлов и Тимофей (кого прозвания не припомнит) и другие, коих он поименно не упомянет же, числом около двадцати человек, согласились в ту ночь под предводительством ссыльного Ивана Сухинова, сосланного за участие в государственном возмущении, собраться в назначенное ими место и, учиня побег, забрать наипервое из цейхгауза при том Зерентуйском руднике солдатские ружья с патронами, потом идти вооруженными в казармы того же рудника и принудить рабочих к побегу с ними, разбить тюрьму и освободить всех арестантов, потом зажечь все селение при Зерентуйском руднике, идти в Нерчинский завод и далее, истребляя все, что только будет упорствовать против исполнения их желания, и что он, Казаков, и обещание в том дал, но, обдумав сие злостное предприятие, решился о том объявить...»

Совершив этот «подвиг», Казаков пошел в тайное место на околице, где была у него спрятана бутылка, и выпил ее. Потом пошел ходить по улицам. Встретил Моршакова и сказал ему, подмигивая:

— Все, Федя, кончились ваши затеи...

— Это отчего же? — спросил Моршаков.

— Поди к управляющему, справься,— сказал Казаков и снова подмигнул.

Моршаков все понял и бросился разыскивать Голикова.

Через полчаса, нагулявшись, Казаков отправился в казарму поспать. Но у самой казармы встретил Бочарова. Бочаров обнял его и сказал, что в березняке ждет их Голиков с двумя штофами. Казаков мало что уже соображал и без слова пошел в обнимку с Бочаровым в рощу. Голиков шел за ними следом.

Когда они вошли в рощу, Бочаров отпустил Казакова, и тот, качаясь и напевая что-то, остановился, схватившись за березу. На березах пробились первые листочки.

Голиков, подобрав с тропинки камень, подошел к Казакову.

— Донес управляющему, Алешенька? — спросил он.

— Донес, Паша, донес, чего ж делать-то, донес... — проворкотал Казаков.

— Напроказил ты, брат,— сказал Голиков и ударил изо всей своей страшной силы Казакова камнем за ухо.

Казаков выдохнул и упал. Голиков добил его.

Потом они с Бочаровым оттащили тело к старому шурфу, сбросили туда и засыпали щебнем.

На обратном пути зашли на ключ. Голиков отмыл кровь с рук. Придя в селение, взяли у Птицына вина в долг на двадцать копеек и выпили.

Тут же у кабака какая-то девочка сказала им, что их ищут солдаты.

12

Генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский — шефу жандармов Бенкендорфу:

«Секретно.

26 мая прибыли в Иркутск из Москвы отправленные графиней Потемкиной Бочков и Николаева. По предварительному распоряжению на самом въезде в город были они оставлены полицией и имеющиеся при них вещи все без исключения доставлены в дом гражданскому губернатору, который лично сам при отряженных мною двух советниках освидетельствовал самым тщательным образом и вскрыл предъявленные Бочковым два конверта, адресованные на имя сего губернатора.

В вещах, которым имею честь препроводить реестр, не оказалось никаких вложений, и как в числе оных не найдено также упоминаемого в препровожденной от Вашего превос-

ходительства записке зимнего салоп, то уничтожается и само подозрение, будто в сих вещах были защиты письма.

В конвертах, к гражданскому губернатору адресованных, заключались: в первом письмо к нему графини Потемкиной, которым просит об отправлении прибывшей с Бочковым девки к Трубецкой, а во втором: письмо а) к Василию Львовичу Давыдову от Петра Львовича Давыдова с посылкою турецкого табаку; б) к Марье Волконской с извещением о домашних ее обстоятельствах; в) к Владимиру Лихареву от жены его; д) к Сергею Трубецкому и жене его, оба с извещением об отправленных письмах; е) к Осипу Поджио от жены его, которое будет представлено гражданским губернатором в III отделение е. и. в. канцелярии.

У Бочкова и прибывшей девки никаких денег, кроме остатков от дорожных издержек, также не найдено, а между собственными вещами Бочкова оказались письма к 1) Павлу Волкову в Иркутск от родных; 2) к Илье Обедину от девки Авдотьи Никифоровой; 3) к Ив. Борису в Тобольск от жены его; 4) к девушке, находящейся в услужении у Елизаветы Нарышкиной. Все сии письма заключают уведомление единственно о домашних обстоятельствах; 5) к Екатерине Трубецкой от девки, бывшей у нее в услугах, которая просит отпусковой. И наконец, несколько черновых писем Бочкова, содержащих о его пути и следовании. Письма и посылки, следующие в Читу, как не заключающие ничего недозволенного, будут препровождены к коменданту при Нерчинских рудниках генерал-майору Лепарскому. Мещанин Бочков имеет возвратиться из Иркутска в Москву, а девка Аграфена отправлена будет в Читу с предварительным уведомлением о том генерал-майора Лепарского.

Чтоб меру предосторожности по сему случаю еще более удостоверить, я предписал гражданскому губернатору рассматривать с особым вниманием посылки, которые могут быть получены с почтой для доставления Трубецкой, но если бы послан был зимний салоп, то освидетельствовать оный тщательно, сняв с него и самый верх, если будет покрыт и простеган».

Между тем зимний салоп и бумажник с деньгами уже двигались в сторону Читы.

Бочков в начале июня выехал из Иркутска на запад, но на той же станции, где встретил он человека в поддевке, он остановился, сказал смотрителю, что заболел и дальше ехать не может. Там он и остался поджидать ответа из Читы.

Голикова и еще несколько человек, названных Казаковым, арестовали.

Бочаров бежал.

Сухинова арестовали, заковали в кандалы и посадили отдельно.

Раздавленный гибелью последней надежды на свободу и отмщение, Голиков сразу же заговорил.

«Ссылный Голиков сознался во всех замыслах к производству вышеозначенных злодеяний, дополняя при этом, что, сверх тех предприятий, хотели они еще разбить пороховой подвал, кладовую и вынуть из них порох, денежную казну, принудить вооруженной рукою всех к бунту и побегу и, набрав таким образом сильную разбойническую шайку, идти с нею по всем заводам и рудникам, приглашая и принуждая с собою всех, и достигнуть до Читинского острога, из коего освободить всех государственных преступников, наконец, что к предприятию всех сих злодеяний был и ссылный Бочаров подговорен помянутым Сухиновым...»

Это было 25 мая 1828 года.

26 мая, когда гражданский губернатор Цейдлер рылся в багаже Данилы Васильевича Бочкова, в Нерчинском заводе был допрошен Сухинов.

Он не признал за собой никакой вины. Привели Голикова. Голиков повторил свои показания. Сухинов смотрел на него со спокойным презрением и отрицательно качал головой.

На следующем допросе — через четыре дня — Голиков на чисто отказался от возводимого на Сухинова обвинения.

«Во вторичном же допросе, отобранном в той же Нерчинской горной конторе 31 числа того же мая, помянутый Голиков показал, что он стовор с вышеописанным ссылкой к побегу учинил в пьяном образе, от ссылки ж Сухинова хотя в разговорах и слышал об одном только побеге, то из одного сожаления, что многие ссылнорабочие очень в бедном положении, и если бы он был в таковом же, то б непременно учинил побег или лишил себя жизни, по каковому поводу он, Голиков, и приглашал вышеописанных ссылкой, но о прочих обстоятельствах, как-то: о заборе из военного цейхгауза ружей с патронами и прочих злостных умыслах вовсе он, Голиков, от Сухинова и никогда не слышал...»

1 июня в Нерчинский завод приехал для производства следствия берггауптман Киргизов. Он прочитал записи допросов и велел привести Голикова.

Когда того привели, Киргизов подошел к нему и изо всей силы ударил бывшего фельдфебеля учебного карабинерского полка по лицу тростью.

Голикова били несколько дней подряд.

Он стоял на своем — Сухинов ни к чему его не подговаривал.

14

31 мая 1828 года начальник Нерчинских заводов бергтауптман фон Фриш отправил генерал-майору Лепарскому, коменданту при Нерчинских рудниках, донесение о событиях в Зерентуе.

7 июня Лепарский получил донесение фон Фриша.

Немедленно была усилена охрана Читинского острога. Войска приведены в боевую готовность. Всякое сообщение между рудниками было строго пресечено.

Побег становился невозможным. Читинские узники это поняли.

Причину они тоже узнали.

8 июня Лепарский отправил рапорт начальнику Главного штаба Дибичу.

28 июля генерал-лейтенант Селявин, вице-президент кабинета его императорского величества, получив известия из Нерчинского завода, отправил фон Фришу строгое предписание:

«1-е) принять деятельнейшие меры к преследованию и открытию скрывшегося преступника Бочарова; 2-е) усилить караулы и надзор за ссыльно-рабочими во всех рудниках и заводах в предупреждение подобных происшествий; 3-е) как из донесения видно, что ссыльно-рабочие, участвовавшие в сем происшествии, были в пьяном виде, то обратить должное внимание к отвращению их от пьянства, а между тем донести, почему они допущены к питью вина в самые даже рабочие дни...»

Между тем Лепарский в рапорте, сопровождающем донесение фон Фриша, писал вещи, над которыми в Петербурге очень задумались, хотя ничего нового в рапорте и не содержалось.

Лепарский писал. «По сему случаю не меньше поставляю моей обязанностью доложить и о том, что, сколько по разным соображениям понимать мне можно, я примечаю, что открывающиеся заговоры каторжно-ссыльных в заводах оказывают ежегодно более замысловатости. Так и в прошлом году одна партия, два раза взбунтовавшаяся, хотя и не была сильнее 25-ти человек и впоследствии почти на самой черте китайской границы побеждена пограничными казаками, но при своей защите производила, наступая и отступая, правильные эволюции, имея в предмете напасть на разные рудники, присоединить к себе убеждением или силою, под лишением жизни, каторжно-ссыльных и, таким образом усилясь, следовать по рубежу китайской границы, с направлени-

ем своего побега к Бухарии. Таких планов о прежние времена предпринимаемо не было.

Для предупреждения на будущее время подобных злонамерений или для укрощения оных при самом их открытии я осмеливаюсь Вашему сиятельству представить, что скорое укомплектование и усиление весьма слабого 5 горного батальона необходимо нужно, который совершенно утомлен по малолюдству отправлением самой тяжелой и едва ли где равной по всей империи службы. Да к тому же край, имеющий в длину более тысячи двухсот верст, отделенный от России цепью гор Яблоневого хребта и морем Байкалом, имеющий для наблюдения за внутренним спокойствием оного не более нескольких небольших инвалидных команд и одного казачьего Забайкальского полка, раскомандированного для провожания ссыльных по этапам и где этапных команд вовсе не состоит, требует необходимого умножения воинской силы хотя в Нерчинском заводе, куда ссылаются столь вредные для общества люди, а в числе коих попадаются часто самые утонченные злоумышленники».

Из рапорта этого было совершенно ясно, что идея вооруженного захвата рудников и заводов, как говорится, носилась в воздухе Нерчинского края и что при попытке сколько-нибудь серьезного возмущения разбросанные по всему краю малочисленные воинские команды не могли оказать должного сопротивления.

Речь шла о том, что возмущение в Сибири — дело реальное.

29 июля товарищ начальника Главного штаба граф Чернышев предложил генерал-лейтенанту Селявину «войти в ближайшее рассмотрение предположений генерал-майора Лепарского и принять меры к скорейшему усилению Нерчинского горного батальона».

Волнение было тем более велико, что вся ответственность лежала на них. Императора в Петербурге не было. Он был на театре военных действий. Шла русско-турецкая война.

15

1 июня 1828 года беглый Василий Бочаров вернулся в Зерентуйский рудник.

Будучи арестованным, «показал, что он о створе к побегу и прочих злых намерениях ни от кого не слыхал и никто его не подговаривал, а сам он о побеге со ссыльным Голиковым говорил или нет, будучи в 24 число мая пьян, совершенно не помнит».

Следствие зашло в тупик.

Доносчика Казакова не нашли и предположили, что он бежал.

Голиков стоял на новых своих показаниях.

Бочаров все отрицал.

Сухинов — тем более.

Доказать что-либо было невозможно.

Но тут произошло событие, которое все изменило.

«Во время производства сего следствия, 13 числа июня до полудни, проживающий в Зерентуйском руднике служитель Мирон Рудаков доставил в Нерчинскую горную контору приращенную к дому его собакою со степи человеческую левую руку, отделенную от самого плеча и имеющую невредимыми всю часть от кисти до локтя, почему в то же самое время г. шихтмейстер Мелехин с пристойным числом людей отыскивал в окрестности Зерентуйского рудника мертвое человеческое тело, от которого и найдено в неглубоком шурфу, находящемся не доходя до кладбища до Ново-Зерентуйского прииска примерно в 250-ти саженьях, череп головной с волосьями и кишки, одежных вещей шинель сукманная, белая рубаха холщовая, чарки юфтевые, кушак шерстяной, шапка овчинная, рукавицы юфтевые, пагаленки шерстяные и лоскут полушелковый старый».

Это были вещи пропавшего Казакова. Стало ясно, что он убит за донос. И, стало быть, донос его не был ложным.

Снова принялись за Голикова и Бочарова, которые и были после многодневных истязаний «доведены в присутствии сей экспедиции до признания».

Сухинов не признался ни в чем.

«Ссылный Иван Сухинов в показываемом на него заговоре к побегу и другим злоумышлениям сознания ни в чем не учинил и прямыми доказательствами ни от кого не обличен...»

Перед следственной комиссией предстал в результате такой план злоумышленников: «Забрать из цейхгауза солдатские ружья с патронами, потом идти в казармы, где проживают рабочие, и принудить всех их насильственным образом к общему побегу, разбить тюрьму, взять колодников с собою, достать из порохового подвала порох и из кладовой деньги, зажечь жительство, а чиновников посадить в тюрьму и зажечь; по выполнению ж сего идти в Нерчинский завод и сделать то же, как в Зерентуйском руднике, забрав в оном наипервое при гауптвахте из фронта ружья, освободя из тюрьмы колодников, приглася их с собою, забрав пушки из военного цейхгауза, все ружья и патроны; а забравши сие в свою разбойническую партию, то при умножении оной и вооружении ничего уже сделать не могут, после чего проходить по заводам и рудникам, забирать в партию людей, с коими пройти свободно до читинского острога и, буде возможно, освободить из оного всех содержащихся там государственных преступников, с коими соединяясь, сделать тогда особенное распоряжение и принять другие меры».

31 июля 1828 года вице-президент кабинета его величества генерал-лейтенант Селявин писал графу Чернышеву:

«Секретно.

По соображении изъясненного в предписании Вашего сиятельства от 29 сего июля № 522 донесения коменданта при Нерчинских рудниках г. генерал-майора Лепарского с имеющимися в кабинете его императорского величества сведениями оказывается: 1) По последней полученной ведомости о 5-ом Горном батальоне, состоящем при Нерчинских рудниках и заводах за минувший апрель месяц, значатся в оном батальоне: обер-офицеров 10, унтер-офицеров 40, барабанщиков 11, рядовых 524...

По проекту же штата для Нерчинского горного батальона положено: штаб-офицеров 2, обер-офицеров 18, унтер-офицеров 44, рядовых 600, барабанщиков 13. Против сего положения недостает ныне налично: штаб-офицеров 2, обер-офицеров 8, унтер-офицеров 4, рядовых 76 и барабанщиков 2, и хотя положение сие и штат не получили еще окончательного утверждения, но, приняв во уважение вскрывшиеся в Нерчинских рудниках обстоятельства, не терпящие отлагательств, кабинет его величества, руководясь означенным положением и штатом, сего же числа предписал исправляющему должность Начальника Нерчинских заводов, дабы он, не теряя времени, приступил к укомплектованию 5-го Горного батальона недостающим числом строевых нижних чинов из мастеровых тамошних горных заводов...»

Надо иметь в виду, что все это касается не армейской части, а горных войск, плохо обученных и предназначенных только для несения караульной службы. Недаром их укомплектовывали нерчинскими же мастеровыми. К боевым операциям эти войска были малоприспособлены.

Но как бы то ни было — власти действовали.

Шла русско-турецкая война.

Значительная часть русской армии и гвардия были на театре военных действий. Война началась неудачно. Исход ее в августе 1828 года был еще очень неясен. Русская армия остановилась под турецкими крепостями.

9 августа император Николай, находившийся при действующей армии, неожиданно прибыл в Одессу.

11 августа 1828 года император подписал «Указ Правительствующему Сенату».

«Рассмотрев поднесенный нам от Правительствующего Сената доклад о председателе Иркутского губернского правления действительном статском советнике Горлове, сужденном за беспорядки, допущенные им по доставлении в Иркутск государственных преступников, мы согласно с мнением Государственного Совета повелеваем отставить Горлова от занимаемого им места».

Так была решена судьба Николая Петровича Горлова.

26 августа управляющий министерства юстиции получил указание уволить Горлова от государственной службы вообще.

Столь успешная карьера действительного статского советника Горлова оборвалась навсегда...

В Сибири были взяты под надзор полиции Жульяни и Здор.

В Одессе Николая ждало известие о сухиновском деле.

Это были донесения от Чернышева и Селявина. Разрыв между событиями в Зерентуе и моментом, когда император узнал о них, был два с половиной месяца. За это время многое могло произойти.

Он вспомнил свой разговор с Лавинским в 1826 году.

Вот чем чревато пребывание этих господ в Сибири. Ситуацию в том крае — слабость воинских сил, готовность каторжан к смуте, дальность сообщений — он сознавал. И вот теперь еще сотня офицеров-бунтовщиков...

Турецкая война не удавалась. Не исключена была возможность отступления от крепостей, что было бы позором и ударом по престижу империи.

Только мятежа на Востоке теперь и недоставало. Мятежа и отложения Восточной Сибири.

«Секретно.

Коменданту при Нерчинских рудниках господину генерал-майору Лепарскому.

Усмотрев из представленного мне донесения кабинета, что ведомства Нерчинских горных заводов в Зерентуйском руднике каторжные в большом числе под производительством Ивана Сухинова в пьяном виде намеревались произвести возмущение, но по доносу Алексея Казакова были взяты и содержатся под стражею, кроме Василия Бочарова, который скрылся, я повелеваю Вам приказать отыскать непременно Василия Бочарова и всех предать немедленно военному суду, по окончании коего над теми, кои окажутся виновными, привести в исполнение приговор военного суда по силе § 7 учреждения о действующих армиях и впредь в подобных случаях разрешаю руководствоваться сим правилом, донося о том начальнику Главного штаба моего и министру императорского двора.

Николай

в Одессе

13 августа 1828 года».

Этим приказом император давал право Лепарскому применять по своему усмотрению смертную казнь и вводить военное положение.

18

«...И хоть он, Сухинов, ни в чем прописанном собственного сознания не учинил, а, напротив, опровергал то разное для сего околичностями и изменениями собственных своих сознаний, но достаточно на очных ставках изобличен ссыльными Голиковым и Бочаровым, а к тому, как он сослан в Нерчинские заводы в работу за участие в возмущении против высочайшей власти, довольно доказывается виновным; почему на основании указа 1775 года, апреля 28 дня, не домогаясь от него, как шельмованного и лишенного всех прав и доверия, собственного сознания за выше расписанные его на сии злодейства покушения, по силе узаконений: воинских артикулов на 99-й толкования, 12-го, 135 и 137-го с толкованием, и указа 1754 года мая 13-го, пункта 8-го, учинить ему, Сухинову, смертную казнь, повесить, но, сообразуясь с силою указов 1754 года, сентября 30 и 1817 года, декабря 25 дня до воспоследования разрешения наказать его кнутом тремястами ударами, поставить на лице клейма и, дабы он впредь подобных к преступлениям покушений делать не мог, заключить его, Сухинова, в тюрьму».

Лепарский изменил приговор: «Вместо того, согласно полевого уголовного уложения главы II, § 7, главы V, § 40-го, определяю: Ивана Сухинова расстрелять».

Голиков, Бочаров, Михайлов и еще двое были тоже приговорены к расстрелу. Остальные — к кнуту.

19

За несколько дней до казни Сухинов узнал, что его приговорили к наказанию кнутом, клеймению и повешению.

О решении Лепарского ему известно не было.

Итак, его, офицера, прошедшего наполеоновские войны, имеющего семь ран, мечтавшего о свободе Отечества и погибающего за эту свободу, — его собирались бить кнутом и ставить ему на лице клейма.

Он даже усмехнулся, услышав об этом. Он знал, что этого не будет.

Он этого не допустит.

Еще в начале мая он добыл у нерчинского лекаря немного мышьяка. Когда приговор стал ему известен, Сухинов принял часть мышьяка.

Лежа в темноте на нарах и мучаясь от начавшихся страшных болей, он думал о том январском дне 1826 года, когда дали осечку два его пистолета.

Сожалел ли он об этом теперь? Нет. Он должен был бороться до конца. И он боролся до конца.

Он сам выбрал свой путь. И он прошел его, ни от чего не уклоняясь.

Тогда самоубийство было слабостью, теперь — необходимостью.

Им не придется выставить его на позор.

Боли становились нестерпимыми, но он лежал молча и неподвижно, чтоб не выдать себя.

Он был слишком здоров и силен. Мышьяку было мало. У него началась рвота. К утру боли утикли.

Умереть не удалось.

Чувствовал он себя ужасно.

Следующим вечером он принял оставшуюся часть мышьяка. Она была больше первой. От боли он потерял сознание и в беспамятстве застонал. Услышал часовой. Позвали лекаря.

Сухинов остался жить.

Прошло еще несколько дней. Наступила ночь со 2 на 3 декабря 1828 года — канун казни.

Он был обессилен и истерзан. Ему было трудно двигаться.

Но когда все уснуло, он сел на нарах и отвязал кожаный ремень, которым подтягивал к поясу цепь кандалов, чтоб легче было ходить.

Он сделал петлю и привязал конец ремня к деревянному клину, вбитому между бревнами невысоко над нарами.

«Вот мы и встретимся, Сергей Иванович, любезный мой», — сказал он про себя...

Горбачевский писал: «Через несколько времени один из арестантов, проснувшись, пошел зачем-то к дверям и задел за ноги Сухинова, ему показалось это странным. Он хотел узнать, что это такое, стал искать около себя ощупью и дотронулся до тела Сухинова. Испуганный арестант начал кричать: «Спасайте, кто-то из наших повесился». Сей неожиданный крик поднял всех на ноги, принесли тотчас огонь, и первый предмет, который представился, — это было бездушное тело Сухинова. Ремень был снят с его шеи: привели лекаря, который тотчас заметил в теле признаки жизни. Можно думать, что для возвращения оной не нужно было употребить больших усилий искусства, ибо гвоздь был вбит довольно низко, и Сухинов, желая затянуть как можно крепче петлю, спустивши ноги с нар, еще коленями касался оных. Нет сомнения, что лекарь сообразил все сии обстоятельства, но, вероятно, не зная приговора правительства* и не решаясь из сострадания предать бедного Сухинова

* То есть не зная, что наказание кнутом заменено расстрелом

позорному наказанию кнутом, он не старался возратить к жизни несчастного страдальца, но приказал тело его положить на телегу и отвезти в лазарет шагом, как можно тише, как будто бы для того, чтобы не произвести в нем ни малейшего сотрясения, могущего возбудить кругообращения остановившейся крови. Тотчас по привозе в лазарет тело было спущено в погреб и положено на лед».

Там Сухинов и умер.

Утром его тело еще до общей экзекуции бросили в приготовленную для всех казненных могилу.

Когда началась казнь, то выяснилось, что ружья у солдат в совершенно неисправном виде и стрелять из них прицельно невозможно.

Приговоренных к расстрелу добивали штыками.

Это произошло 3 декабря 1828 года.

20

6 декабря 1828 года генерал-от-инфантерии Бахметьев был уволен от управления пятью губерниями и переведен в Государственный Совет.

Это была синекюра. Никакого влияния на дела государства члены Государственного Совета не имели.

26 января 1829 года титулярный советник Демьян Осипович Путилинский отправил донесение шефу жандармов Бенкендорфу:

«Бывший генерал-губернатор Нижегородской, Казанской, Самарской, Саратовской и Пензенской губерний поручил мне исполнять по отношению к нему Вашего высокопревосходительства от 18 апреля 1828 года, вследствие которого доносил я рапортом моим от 20 мая следующее: пред прошедшим праздником Пасхи приезжали из Москвы в село Лысково девка графини Потемкиной с каким-то человеком. Оба были в доме князя Грузинского и через несколько дней отправились в Сибирь; девка сия послана от графини Потемкиной для услуг Трубецкой, о прочем же не иначе можно будет узнать как разве тогда, как по остановлении на обратном пути отправляющегося в Иркутск мещанина Бочкова, который есть тот самый, что был с девкою в Лыскове и с нею же уехал. После того узнал я, что упомянутая девка проехала в Сибирь по подорожной, выданной из Москвы военным губернатором князем Голицыным от 8 марта 1828 года до Иркутска на имя комиссионерши графини Потемкиной Аграфены Николаевой.

По докладу моему о сем генерал-губернатору Бахметьеву получил я вторичное предписание наблюдать за возвращением мещанина Бочкова и исполнить в точности требования

Вашего высокопревосходительства, почему и ожидал я проезда мешанина Бочкова в городе Василь, приняв к тому ниже следующие меры обще с тамошним городничим, кои состоят в том, чтобы наблюдать за проездом его при переправе его через паром, имеющийся в городе Василе на реке Суре, чрез который неминуемо следующие по Сибирскому тракту к Москве должны проезжать, но при всех ожиданиях до самого замерзания рек как он, мешанин Бочков, так и девка Аграфена Николаева не проезжали. С наступлением же зимнего пути прекратились и способы к удобному их задержанию на предположенном месте по случаю свободного проезда на вольных ямщиках по реке Волге. На почтовых же станциях по выправке моей с книгами по 1 января сего наступившего года как мешанин Бочков, так и девка Аграфена в проезде не значатся.

За увольнением генерала-от-инфантерии Бахметьева от управления губерниями я решился донести о сем Вашему высокопревосходительству».

С августа 1828 года сообразительный Путилинский устроил Бочкову засаду не в самом Нижнем Новгороде, который и объехать можно было, а в городе Василь — на восточной границе Нижегородской губернии. Место было выбрано правильно.

Но Бочков в ловушку не попался. Он знал, что торопиться ему теперь некуда. Рисковать он не хотел — письма из Нерчинска не должны были попасть в руки властей.

Он переждал и по зимнему пути, сильно отклонившись от главного тракта, приехал в Москву.

Одиссея Данилы Васильевича Бочкова закончилась к посрамлению полиции и корпуса жандармов.

Он привез в Москву известия о том, что произошло в Нерчинском крае.

21

Серьезные разногласия относительно целесообразности побега появились в Читинском остроге еще до сухиновского ареста. Но тогда сомневающихся было меньшинство, и в случае восстания они пошли бы за остальными. О таком соотношении говорит Розен, который, судя по всему, с самого начала не был энтузиастом этого предприятия.

Но большинство было настроено решительно.

24 мая — разгром сухиновского заговора — резко изменило ситуацию. Даже самые отчаянные заколебались. Усилившиеся разногласия по этому поводу в остроге и усиление бдительности тюремщиков делали побег почти невозможным.

Те немногие, что по-прежнему оставались сторонниками

побега, не считали себя вправе бежать небольшой группой. Это было крайне трудно, а главное — их товарищи попадали в тяжкое положение, ибо репрессии по отношению к знавшим, но не донесшим были бы суровы.

Когда стало ясно, что план физического освобождения перестал быть реальным, декабристы пошли по другому пути — расширения духовного пространства.

Начала работать «каторжная академия».

Розен вспоминал: «Никита Муравьев, имел собрание превосходнейших военных карт, читал нам из головы лекции стратегии и тактики, Ф. Б. Вольф — о физике, химии и анатомии, П. С. Бобрищев-Пушкин 2-й — о высшей и прикладной математике, А. О. Корнилович и П. А. Муханов читали историю России, А. И. Одоевский — русскую словесность».

Александр Беляев вспоминал: «Многие наши товарищи начали изучать языки, которых прежде не знали. Так полковник фон Бригген, как знаток, преподавал латинский язык, и многие стали заниматься латынью... Мы с братом стали изучать английский язык... Учителями нашими были Оболенский, Чернышев и другие, к которым мы прибегали за советами. При желании, при твердой воле, настойчивости мы скоро овладели книжным языком и грамматикой, а чтоб еще больше укрепиться в языке, мы с братом приняли на себя перевод истории падения Римской империи Гибона... Мы кончили этот труд в год... Ник. Алекс. Бестужев устроил часы своего изобретения с горизонтальным маятником; тогда еще он, кажется, не явился. Это было истинное, великое художественное произведение, принимая в соображение то, что изобретатель не имел всех нужных инструментов. Как он устроил эти часы — это поистине загадка... Эта работа показала, какими необыкновенными гениальными способностями обладал он».

Узники устраивали литературные вечера, на которых читались переводы и оригинальные сочинения. Например, Николай Бестужев читал свои морские повести, рукописи которых впоследствии погибли.

Через некоторое время появилась у читинских узников возможность музицировать.

А. Беляев писал: «С Читы еще устроились различные хоры как духовных песнопений, и духовных предпочтительно, так и разных романсов. Многие имели очень хорошие голоса, певали еще прежде в салонах и знали музыку. Потом уже были присланы и инструменты... Вадковский, Фед. Фед., был замечательный скрипач. Также и другие, еще прежде занимавшиеся музыкой, получили свои инструменты, так что мог составиться прекрасный квартет: 1-я скрипка — Вадковский, 2-я — Николай Крюков, альт — Алекс. Петр. Юшневский, а потом на виолончели — Петр Ник. Свистунов. Довольно за-

бавно было, что квартет должен был помещаться на чердаке среднего каземата, так как в комнатах нельзя было расставить стулья по причине нар и тесноты... Были у нас и гитары, и флейта, на которой играл Игельштром, а на чекане — Розен и Фаленберг. Музыка вообще, особенно квартетная, где игрались пьесы лучших знаменитейших композиторов, доставляла истинное наслаждение, и казематная наша жизнь много просветлела».

«...Ссылка наша целым обществом,— писал тот же А. Беляев,— в среде которого были образованнейшие люди своего времени... была, так сказать, чудесною умственной школою, как в нравственном, умственном, так и в религиозном и философском отношениях. Если бы мне теперь предложили вместо этой ссылки какое-нибудь блестящее в то время положение, то я бы предпочел эту ссылку».

И все же следует помнить, что они жили все в том же тесном каземате, что выход из острога без конвоя был невозможен — а выходили только на работы,— что среди офицеров охраны были люди грубые и жестокие. Надо помнить, что их жены не были защищены от оскорблений и даже побоев. Пьяный начальник караула грубыми издевательствами довел жену Никиты Муравьева до истерии и обморока, а когда декабристы схватили его, велел солдатам колоть их штыками. Дело чуть не кончилось катастрофой. Княгиню Трубецкую караульный солдат ударил кулаком.

Жизнь их была тяжела, и необычайная духовная насыщенность этой жизни была великой победой над судьбой, а отнюдь не подарком ее.

Оторванные от России, оторванные от всякой деятельности, они понимали, что нельзя допустить разрыва между их эпохой, их борьбой и теми, кто придет после них. Они понимали, что их противники заинтересованы в том, чтобы выкинуть из истории, из памяти страны те десять лет, которые они, декабристы, столь ярко окрасили своей борьбой. Они понимали, что донесение следственной комиссии будет выдаваться за истину, что ложь и подтасовки будут оружием их врагов. И многие из читинских узников считали своим долгом не допустить этого разрыва времен, этого поругания истины.

И тут был только один путь — написать правду самим. Еще до восстания Сергей Муравьев-Апостол и Горбачевский поклялись друг другу, что тот, кто останется жив, в случае поражения, напишет правду для потомства. В Читинском остроге многие приняли этот обет. Писать они начали позже — в Чите это было невозможно, но уже здесь они расспрашивали друг друга, уточняли спорные сведения, восстанавливали общую картину.

Раз не удался побег и нет возможности сказать миру прав-

ду немедленно, надо сохранить ее для детей и внуков. Некоторые воспоминания декабристов и их жен прямо начинаются обращением к своим детям.

Они выполняли свой долг — связь времен не распалась. Воспоминания декабристов — еще один их подвиг.

Мы изучаем теперь историю декабризма по запискам Михаила и Николая Бестужевых, Басаргина и Розена, Завалишина и Александра Беляева, Оболенского и Трубецкого, Волконского и Фонвизина, Матвея Муравьева-Апостола и Александра Муравьева, Лорера и Горбачевского, Якушина и Штейнгеля. И это еще не все...

Бесстрашный Лунин погиб, пытаясь рассказать миру правду о тайных обществах и опровергнуть официальную клевету.

Да, это был их подвиг.

Николай Васильевич Басаргин, один из летописцев, сказал: «Жестоко, безнадежно было бы нравственное положение тех, кто, жертвуя собой для общей пользы, потерпит неудачу и вместо признательности и сожаления подвергнется несправедливому осуждению современников, если бы для него не существовало истории, которая, внося в скрижали свой совершившийся фронт, постепенно с течением времени очищает его от всех неправд и представляет потомству в настоящем виде. А как человечество, хоть и незаметно, но с каждым днем идет вперед, рассеивая покрывающий его мрак, то да утешатся все те, кто действует во имя успеха и страдает в этой временной жизни за свою благую цель. Настанет несомненно та минута, когда потомство признает их заслуги и с признательностью станет произносить их имена».

22

В январе 1829 года Воше снова посетил Николая Ивановича Тургенева.

Тургенев был на этот раз вполне радушен и спросил, что привело Воше в Англию.

— Я женился на англичанке, — отвечал Воше. — Она богата. Она услышала мой рассказ о Сибири и, как натура романтическая, решила вознаградить меня за лишения. — Он улыбнулся. — Но, разумеется, мы не стали бы мужем и женой, если бы не полюбили друг друга.

— И вы постоянно будете жить в Англии?

— Нет, английский климат пагубен для меня. У меня кровь идет горлом. Мы ненадолго. А как здесь ваша жизнь?

Тургенев пожал плечами.

— Прекрасно. Я не страдаю от того, что со мной произошло. В жизни есть много других причин печалиться. И

между ними одна покрывает все прочие: несчастное положение крепостных людей в России. Если бы не это... В России я трудился для уничтожения рабства. Это сочли преступлением. Не я отказался от исполнения своего долга. Меня лишили этой возможности!

Он снова, как в прошлый раз, взволновался и стал ходить, хромя, по комнате.

— Недавно мне снился Пестель... Он читал мне Байрона. И я подумал: «Да он поэт! Тогда понятны все его заговоры...» За что его повесили? За мнения! Ведь он не действовал... Меня провидение убергло...

Вдруг он повернулся к Воше.

— Не верьте мне! — сказал он. — Жизнь моя тяжка. Но я помню, что передавали вы мне от князя Сергея... Я все помню. Я уцелел. Я расскажу... Я расскажу о нашем деле... Я расскажу...

«Как мы оба несчастны без них!» — подумал Воше.

— Господи, помоги им! — сказал Николай Иванович Тургенев.

23

Как-то Василий Андреевич Жуковский и Александр Иванович Тургенев, беседа о Николае Ивановиче, написали короткую притчу.

«Кусок золотой руды лежал в горниле на сильном огне. Голик смотрел на него из угла и так рассуждал сам с собою: «Бедное золото, жаль мне тебя. Как тебя жгут и мучат. Какому жестокому тирану досталось ты в руки». Между тем огонь погас, и золото вышло чистым из горна». Дальше Жуковский написал своей рукой: «Из него сделали крест, и люди стали в нем обожать символ спасения. Глупый голик, тебе ли судить о золоте. Положи в огонь тебя — затрепишь, разлетишься дымом и после тебя останется горсточка пепла. А золото? И в самом пылу огня не роптало оно на судьбу свою. Оно верило тому, кто положил его в горн; знало, что без огня не быть ему чистым, и даже радовалось жгучему пламени, возвышающему его достоинство... Это то же, что сказал один практический мудрец: чистой совести довольно, чтоб умереть; но жить нельзя без достоинства. Посвящено Николаю Ивановичу Тургеневу».

Это было по смыслу ~~своему~~ посвящено не только Тургеневу. Не только Тургенев ~~не~~ можно было сравнить с благородным металлом, выдержавшим испытание пламенем.

Весь декабризм выдержал это испытание.

СОДЕРЖАНИЕ

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ

<i>Пролог</i>	5
---------------------	---

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

Застольная беседа о судьбе престола	13
Аничков дворец. 25 ноября 1825 года	15
Тайное общество. 26 ноября	21
Зимний дворец. 27 ноября	24
Отступление: романтический герой в сфере практической политики	26
Тайное общество. 27 ноября	34
Зимний дворец. 27 ноября	36
Константин и Николай: за и против	39
Отступление: рационалист в сфере практической политики	45
Тайное общество. 27 ноября	49
Зимний дворец. После 27 ноября	53
Варшава. 25 ноября	57
Тайное общество. После 27 ноября	60
Петербург—Варшава. После 27 ноября	64
Сила крайностей	67
Тайное общество. После 6 декабря	70
Генералы	72
Тайное общество. Мобилизация сил	78
Стратеги	85
Диктатор	90
Финляндский полк. 9—12 декабря	97
Зимний дворец. 12 декабря	101
Полковники	108
Феномен Ростовцева	114
Что задумали Трубецкой и Рылеев	124
Батенков и Якубович	131
Тайное общество. 12 декабря, вечер	136
Феномен Милорадовича	144
День 13 декабря	148
Вечер 13 декабря	158
Отступление о цареубийстве	163
Ночь на 14 декабря	165

ВОССТАНИЕ

Утро лидеров.....	173
Зимний дворец.....	178
Штаб восстания. 8—10 часов утра.....	181
Московский полк.....	187
Вокруг Сената. 10—11 часов.....	191
Зимний дворец. 11—12 часов.....	195
Измайловцы и Гвардейский экипаж. 7—11 часов.....	203
Поражение Милорадовича.....	208
Гвардейский экипаж. 11 часов — 12 часов 50 минут.....	216
Финляндский полк.....	219
Лейб-гвардии Гренадерский полк. 10—12 часов.....	226
У Сената. После половины первого.....	229
Феномен Бистрома.....	240
Финляндский полк. После часу дня.....	248
Лейб-гренадеры. После половины первого.....	252
Диктатор в день 14 декабря.....	261
Парламентеры.....	269
Якубович, Батенков, Штейнгель в день 14 декабря.....	275
Полковник Булатов в день 14 декабря.....	282
Противостояние и картечь.....	286
<i>Эпilog</i>	294

ПОСЛЕ МЯТЕЖА

Хроника

Глава первая.....	297
Глава вторая.....	314
Глава третья.....	344
Глава четвертая.....	367

Яков Аркадьевич Гордин

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ

ПОСЛЕ МЯТЕЖА

Редактор

И. Шурыгина

Художественный редактор

И. Марев

Технический редактор

Г. Шитоева

Корректоры

Е. Коротаяева, Т. Нарва

Компьютерная верстка

И. Поных

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.

Подписано в печать 04.09.97 г.

Уч.-изд. л. 27,15. Цена 23 100 р.

Цена для членов клуба 21 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

*Книги издательства «ТЕРРА»
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеповская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

или заказать по адресу:

150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2

ТАЙНЫ

Восстание 14 декабря 1825 года оставило трагический след в истории России. Автор подробно прослеживает драматические события восстания, острую борьбу в правительстве и в рядах тайного общества (Северного общества декабристов, на республиканскую группу которого пала вся тяжесть подготовки восстания). Перед читателем предстают яркие характеры участников восстания и их противников. В книге использованы новые архивные материалы.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-01330-7



9 785300 013301